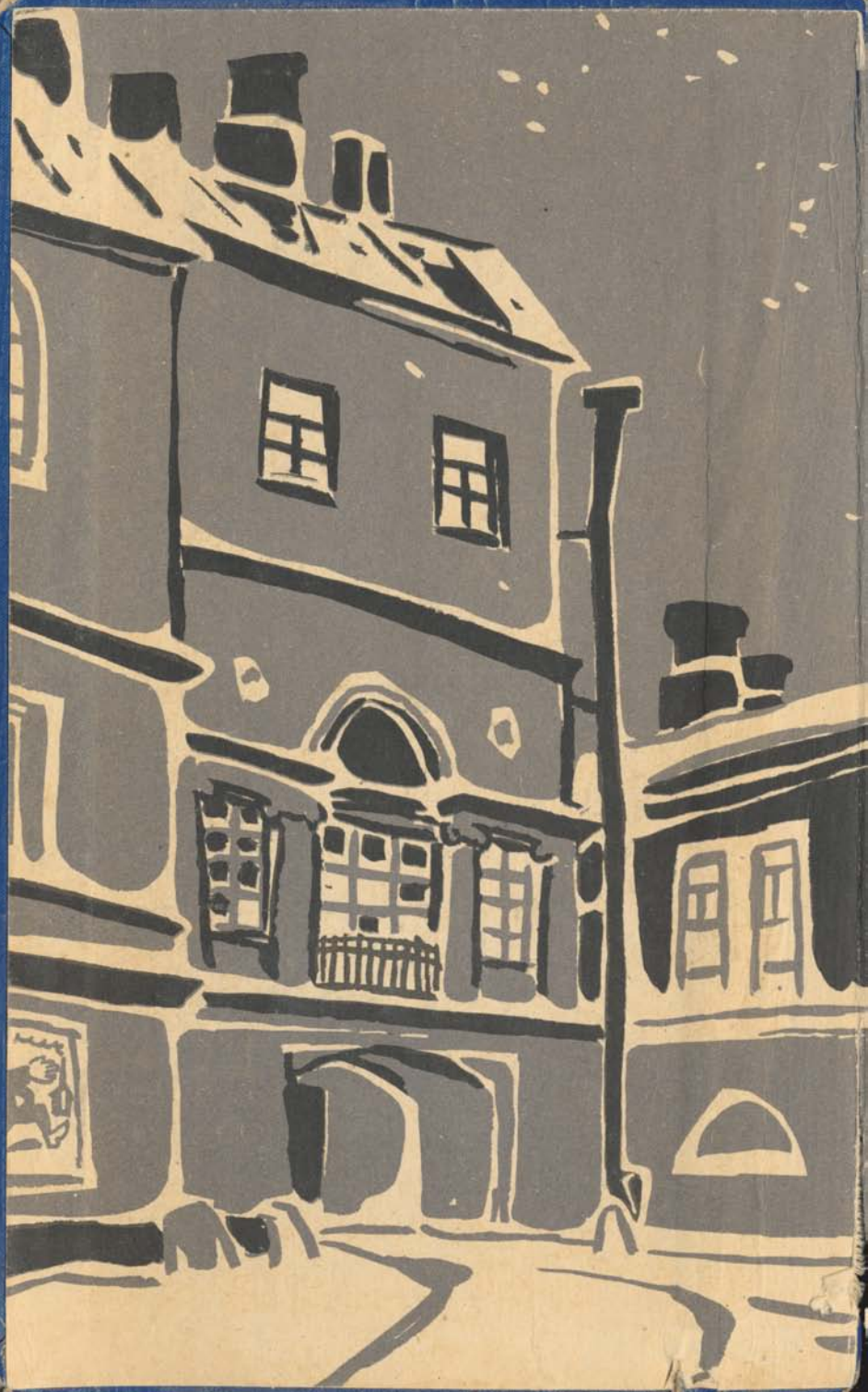




БОДУНОВ И, РЫСС ЕВГ.
**ЗАПИСКИ
СЛЕДОВАТЕЛЯ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА ~ 1966

Бодунов И., Рысс Евг.

**ЗАПИСКИ
СЛЕДОВАТЕЛЯ**

Оформление В. Кулькова

И з д а т е л ь с т в о
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книгу эту написали два автора: Иван Васильевич Бодунов, комиссар милиции третьего ранга в отставке, и Евгений Самойлович Рысс, литератор. На глазах у Ивана Васильевича Бодунова прошла история борьбы Советского государства с преступностью. В его послужном списке числится ликвидация многих банд и поимка известных в свое время преступников.

Еще и сейчас многие из людей старшего поколения помнят короткую, но бурную историю Ленки Пантелеева, ликвидацию шайки «Черных воров», дерзкое ограбление Кожсиндиката. В основе всех рассказов этой книги лежат подлинные события.

Авторы предпочли изменить фамилию главного героя и назвали его Васильевым.

Это дало им право свободнее обращаться с материалом и домысливать второстепенные, забытые или оставшиеся неизвестными подробности.



Глава первая

ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИЮ

ДЕТСТВО В МАЛЕНЬКОМ МИРЕ

Как человек выбирает свою профессию? Как он находит область, в которой наиболее полно проявляются его способности, в которой он наиболее полезен? Действуют ли тут просто случай, обстоятельства, которые за-

ставляют его заняться именно этой работой, а не другой? Или обстоятельства тут ни при чем, так или иначе человек находит себе дело по склонности и способности, идет туда, куда ведут его природные данные?

Почему Иван Васильев стал сыщиком? Почему именно борьбой с преступностью, раскрытием преступлений, преследованием воров, грабителей и убийц он занимался всю жизнь?

Отец Ивана жил в деревне Федоськино, недалеко от Москвы. Был он малоземельным крестьянином, на доходы с надела прокормиться не мог и занимался кустарным промыслом — делал щетки, головные и платяные.

Промысел не процветал. Когда-то неподалеку, в селе Рассказове, была щеточная мастерская, в которой Василий Егорович работал мастером. Потом хозяин мастерской разорился, мастерская закрылась, и стал Василий Васильев делать щетки на свой страх и риск. Детей было трое — две девочки и мальчик. Все хотели есть, а заработки были грошовые да и случайные: сегодня удалось продать несколько щеток, а завтра покупателей как ветром сдуло.

Василий Егорович был человек правдивый, суровый. Спиртного в рот не брал, единственное развлечение, которое он, хоть и очень редко, позволял себе, — это пойти в трактир попить чаю с баранками.

Был он очень молчалив. Может быть, потому, что заикался. Когда он был совсем маленьким, родители оставили его как-то одного в избе и велели никому двери не отворять.

«Если откроешь дверь, — сказали ему, — нищий тебя зарежет».

Мальчик сидел, обмирая от страха, представляя себе, как придет страшный нищий и зарежет его, беспомощного и маленького. А тут как на грех постучали. Мальчик спросил, кто там, а из-за двери ответили: «Нищий».

До самого прихода родителей мальчик бился в судорогах. Несколько лет после этого совсем не говорил. Потом говорить начал, но заикание осталось на всю жизнь.

Вообще Василию Егоровичу не везло. Щеточник он был хороший, работал добросовестно, но что толку, если щетки никто не брал. Два раза горел, с трудом отстраивался, но жить становилось труднее и труднее. Человек

он был религиозный, а в церковь никогда не ходил. Его за это и священник корил, и соседи упрекали, а он только отмалчивался. Теперь-то Иван Васильевич понимает, в чем дело. Одеться отцу было не во что. Все приходят в церковь принарядившись, а он как же пойдет? Хуже всех тоже не хочется быть.

Рядом с домом Васильевых стоял дом дьякона, человека веселого и добродушного. Именно у него Ваня зарабатывал первые деньги. Дело было в том, что дьякон очень любил выпить, а дьяконица очень не любила, когда он выпивал. Кажется, уж так строго она за мужем следила — и деньги все отбирала и не спускала глаз, — но каким-то таинственным образом муж ухитрился быть полупьяным с утра и до вечера. Допустим, были у него какие-то доходы, в которые дьяконица не была посвящена, но ведь он всегда у нее на виду — куда он, туда и она. И все-таки каждый день супруг с утра навеселе, а к вечеру и совсем пьян. Тайну этого знали только два человека — сам дьякон и Ваня Васильев. Выйдет дьякон в сад прогуляться и незаметно в условленное дупло кладет деньги. Потом станет на крылечке и свистнет особым образом. Тогда Васильевский мальчишка покрутится возле яблони и, так же незаметно достав деньги, стремглав бежит в лавку, принесет за пазухой бутылку, походит с рассеянным видом по саду, сунет незаметно бутылку в дупло и после этого, выйдя на свое крыльцо, тоже свистнет особенным образом. Дьякон уже знает, что, значит, все в порядке, идет прогуляться по саду, достает бутылку и чуть ли не на глазах у дьяконицы выпивает ее.

Ване полагалась с каждой принесенной бутылки копейка. Так как Ванины услуги требовались часто, то за день накапливалось несколько копеек, которые мальчик аккуратно вносил в семейную кассу. Здоровый человек был дьякон, жизнерадостный, и с Ваней они уживались прекрасно, да, видно, не соразмерил силы, выпил лишнего и умер. Ваня жалел его — и человек был веселый, да и доходы прекратились.

Тут подошло время учиться, и Ваня поступил в церковноприходскую школу. В школе этой было три класса; учили там арифметике, русскому языку, закону божьему и немного литературе.

Однажды учительница прочла рассказ «Много ли че-

ловеку земли нужно». Для Вани, свыкшегося с самого раннего возраста с тем, что безземелье — это значит нищета, убожество и долги, вопрос был очень интересный. И вот он услышал, как жадный человек хочет захватить себе как можно больше земли, а земли ему дадут столько, сколько он за день обойдет. Идет он, идет и торопится, задыхается, валится с ног, но идет, пока не падает мертвым.

На всю жизнь запомнился этот рассказ. Значит, было в нем что-то большее, чем простая нравоучительность; значит, что-то очень важное говорил он слушателю. В то время маленький Васильев не знал, что рассказ написан Львом Николаевичем Толстым.

В 1912 году умерла мать. Дети были малы, хозяйство стало совсем разваливаться, отец женился второй раз. Началась мировая война. В армию отца не взяли — слишком сильно заикался. Все здоровые мужчины ушли, а он остался. Казалось бы, хорошо, а получилось плохо. Стыдился очень отец: всех, мол, взяли, а он дома сидит. Стал еще мрачней, еще молчаливее. В свободное время ходил во дворы, из которых мужчин взяли в армию, солдаткам бесплатно пахал и косил, чтобы оправдаться перед ними. Все ему казалось, что он в чем-то виноват. Другие воюют, а он один сидит дома. А нищета наступала. Родился еще ребенок, уже четвертый. Мачеха начала к Ване придирается. Может быть, она и не была виновата, очень уж трудно жилось, но, так или иначе, тесно стало в семье.

Церковноприходскую школу Ваня закончил. Учился он хорошо, получал и награды. Похвальный лист получил, башлык, две книги Толстого. В свободное время помогал отцу. Дома дела шли все хуже и хуже. Щетки не продавались, и не было даже надежды выпутаться из долгов. Отец стал еще мрачнее, еще суровее, еще молчаливее. У мачехи были свои дети, и с ними хлопот хватало. Мрачно, тоскливо было дома.

Рядом с деревней было имение мелкого помещика Попова. Попов служил в Москве. Был он главным врачом в Градской больнице на Калужской улице. Вот и пошел Иван, четырнадцати лет от роду, к нему в имение просить работы. Стал он поденным рабочим. Косил, чистил картошку на кухне — в общем, делал все, что прикажут.

Тяжелое было это время для Ивана. Как-то бесцельно

проходили день за днем. Если бы он был постарше, в армию бы забрали или пошел бы в город на работу, глядишь — научился бы ремеслу какому-нибудь. А в четырнадцать лет что сделаешь? И не ребенок уж, стыдно отцовский хлеб есть, и для настоящей работы мал. День на кухне да на побегушках — Ваня, сделай то, сделай это! А вечером домой идти неохота. Отец молчит, мачеха ругается, мысли у всех одни — о долгах, как выкрутиться да как прожить. Выйдешь на улицу — перед глазами деревня, молчаливая, нищая, бедность, разорение, даже собаки и те голодные. Сегодня — как вчера. Завтра — как сегодня.

И снова пошел Иван к главному врачу Попову проситься на работу в больницу. Попов был неплохой человек. Васильева он не помнил, но, когда Ваня рассказал, что он из Федосьина, устроил земляка на работу. Стал Ваня работать в больнице кочегаром и чернорабочим. Правду сказать, работа была нелегкая. Жил в общежитии при больнице. Вставали все в шесть утра, чаю пьют — и за работу. Работали до восьми вечера, только час перерыва полагался на обед. И все-таки здесь было лучше, чем в деревне. Койка в общежитии была его собственная, законная. И не было чувства, что кого-то он объедает, занимает чье-то место, — словом, что лишний он человек. Работа была тяжелая, но легкой он и раньше не видел, сравнить было не с чем. В это время и не чувствовал Иван, что из глухой, маленькой деревни переехал в огромный город. Город был где-то там, далеко. Его мир был по-прежнему мал. Кочегарка, общежитие, больничный двор — вот и все. С первой полочки он купил большую коробку монпансье «Ландрин». Он еще не видел таких красивых коробок и не ел таких вкусных леденцов. Так целый день и проходил с леденцом во рту. За все свои четырнадцать лет наелся. Стоила эта коробка ровно половину его полочки.

Итак, малый мир: кочегарка, больничный двор, общежитие. Где-то за воротами двора, за окнами общежития — мир большой, которого Иван не видел, не знал и немного боялся. Однажды, впрочем, выглянув из окна, он увидел частицу жизни этого большого мира и стал бояться его еще больше.

Дело в том, что общежитие было на втором этаже, а

в первом этаже на время войны расположился штаб автороты. Командовал авторотой офицер, шеголеватый и красивый. У него был шофер, молодой парень, с лицом простодушным и добрым. Неизвестно, чем не угодил шофер своему начальнику, но только однажды, высунувшись в окно, Иван увидел, что шофер стоит навывтяжку, а офицер изо всех сил бьет его по щекам. Парень только вздрагивал при каждом ударе, но даже не отклонял голову. А бил офицер серьезно. Это были не символические пощечины — он ударял кулаком, спокойно, неторопливо, расчетливо, и казалось, что он совсем не раздражен, а просто рассудил, что надо парня наказать, и вот наказывает. А у парня все лицо было в крови. Кровь текла из носа, лицо покрывалось царапинами и синяками, но парень по-прежнему стоял вытянувшись. Потом офицер кончил бить, сказал что-то шоферу. Шофер открыл дверцу, офицер вошел в машину, сел на заднее сиденье и откинулся на спинку, положив красивым и плавным движением руку на борт. Шофер быстро завел машину — в то время автомобили заводили специальными ручками, — сел на свое место, и машина плавно тронулась.

Пожалуй, самое страшное было именно в обыкновенности происшествия. В том, как спокойно, без внешних признаков раздражения, бил офицер, как неподвижно стоял шофер, даже не пытаясь уклониться от удара, и как, закончив эту страшную процедуру, оба спокойно занялись своим обычным делом.

И это на всю жизнь запомнилось Ивану Васильевичу. Ему приходилось потом охотиться за преступниками, преследовать их, стрелять, гнаться за ними, собирать доказательства, на основании которых человека неизбежно ждал расстрел, но поднять на человека руку он никогда не мог.

В ЦАРСТВЕ ДУХОВ И ОДЕКОЛОНА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНКЕРТОНА

Однажды Ваню разыскала его тетка. В том малом мире, в котором Ваня жил, она считалась человеком состоятельным. У нее был домик за Бутырской заставой. Муж ее в мирное время служил главным кондуктором на Савеловской железной дороге, а во время войны за бо-

гатырский рост и пушистые, любовно выращенные усы был взят в лейб-гвардию его императорского величества. Тетка осталась одна в своем домике. Были у нее кое-какие знакомства, и, переговорив с людьми, устроила она Ивана мальчиком при конторе небольшой парфюмерной фабрики Девен. Жить она предложила ему у себя в прихожей. Там Ваня стелил себе на сундучке и спал. Вставать приходилось рано. Фабрика находилась около Елоховской площади, заработок был не такой, чтобы разъезжать на трамваях, а пешком от Бутырской заставы до Елоховской ходу было часа полтора. Обязанности Ивана были довольно неопределенные. Он состоял при конторе и выполнял самые разные поручения. Чаще всего приходилось ему развозить на извозчике по магазинам и аптекам ящики с духами и одеколоном. Одеколон в то время шел очень хорошо, особенно самый дешевый — тройной. Дело в том, что в стране на время войны был объявлен сухой закон. Водка не продавалась, и пьяницы пили одеколон. Развезя по магазинам очередную порцию духов, одеколонов и душистого мыла, Иван толкался при конторе. Обязанностью его было быть на виду, чтобы не приходилось его искать, если понадобится. Фабричка была небольшая, работало на ней человек шестьдесят рабочих и несколько провизоров. Управляющий фабрикой был очень важный господин, лохотенный, превосходно одетый, надушенный французскими духами. Видно, духам своей фабрики он не очень доверял. У него была борода, всегда тщательно подстриженная, тщательно расчесанная, какой-то необыкновенной, не встречающейся в природе формы. Чувствовалось, что он относится к бороде этой с уважением и любовью, доверяет ее только первоклассному парикмахеру, гордится ею. По фабрике он не ходил, а как бы носил себя и ухитрялся до самого конца работы сохранять на штиблетах яркий, почти зеркальный блеск.

Ваня очень боялся управляющего, а управляющий Ваню просто не замечал. Даже самым старым и уважаемым рабочим он только небрежно кивал головой, даже провизорам подавал один палец. Зато очень подружился Ваня с главным химиком, заведующим лабораторией. Хозяева очень его ценили, а другие фирмы старались его переманить. Он был по тем временам необыкновенно прост в обращении и как с равными разговаривал с ра-

бочими. Даже с конторским мальчиком Ваней, стоявшим на самом низу социальной лестницы, разговаривал он как равный с равным. Обедать Васильев домой не ходил и в перерыв съедал завтрак, состоявший чаще всего просто из хлеба с солью, запивая его кипятком. Заведующий лабораторией тоже завтракал здесь, на фабрике, но его завтрак казался Ване торжеством гастрономии. Когда разворачивался пакет, там оказывались и колбаса, и сыр, и котлеты. Заведующий делился этими роскошными яствами с конторским мальчиком и делал это так просто, так искренне радушно, что конторский мальчик не испытывал никакой неловкости. Но больше всего Ваня любил старого химика за разговоры. В перерыве лаборатория пустела, провизоры расходились кто домой, кто в ресторан, а старик, которому было много за шестьдесят, и юноша, которому было семнадцать, дружно жевали бутерброды и разговаривали. Васильев спрашивал, химик объяснял и рассказывал. «Что такое дворяне?» — спрашивал, например, Ваня. В ответ химик читал целую лекцию о происхождении дворянства в России, о роли дворянства в разные периоды истории. Он был очень образованный человек и рассказывал подробно, с фактами, с датами, а однажды, закончив увлекательный свой рассказ, подумал и сказал:

— Да, раньше дворянство владело Россией. Дворяне думали, что они совсем другие люди, чем все остальные. А сейчас владеют Россией деньги, и будь ты хоть тысячу раз дворянин, а стоишь ты столько, сколько у тебя денег. Ну конечно, помещики... про них я не говорю. Еще те, кто при дворе. У них связи, влияние... те же деньги. А одно происхождение, если ни денег, ни связей, мало что стоит. Вот ты знаешь, у нас три работницы немолодые такие, всегда вместе ходят. Они ведь дворянки, и древних родов, а работают, как и все, как и все, одеваются и едят, как и все, получают жалованье. А управляющий наш из купеческого сословия, а вот какой барин!

Революция не очень была замечена Васильевым. В том очень малом и тесном мире, в котором он жил, искажались масштабы событий большого мира. Слишком мало видел и знал Иван, для того чтобы понять значение совершившегося. Глухая деревня, кухня, больничная кофегарка да больничный двор, маленькая фабрика да де-

ревянный домик тетки у Бутырской заставы — вот и все, что он видел, почти все, что он знал. Царь был фигурой далекой, загадочной, с ним не связывалось никакое реальное представление, всего только слово из четырех букв: «царь». То, что его свергли, тоже было не очень понятно и не очень значительно. Казалось, что это не имеет отношения к реальной жизни, к тому миру, в котором он, Иван, существует. Заведующий лабораторией к свержению царя отнесся настороженно. «Царя убрали,— говорил он,— а что будет дальше, пока неизвестно».

Фабрика продолжала работать. Ваня развозил на извозчике коробки с духами и одеколоном, в перерыв бегал в чайную за чаем и, потягивая его из кружки, слушал разговоры заведующего лабораторией, всегда интересные, но не всегда понятные.

Пожалуй, больше, чем свержение царя, занимало Ванины мысли другое. С некоторого времени он открыл еще одну, не известную ранее область жизни, в которой все было увлекательно и волнующе. В газетных киосках продавались тоненькие книжки с яркими обложками. Книжки эти были напечатаны на очень плохой бумаге, мелким, рябщим в глазах шрифтом, но рассказывались в этих книжках вещи необыкновенно интересные. Оказывается, в далеких заморских странах существовали знаменитые сыщики — Нат Пинкертон, Боб Руланд и еще другие. Сыщики эти были людьми необыкновенной храбрости, ловкости, силы и удивительного ума. Они занимались тем, что раскрывали таинственные преступления, по еле заметным признакам точно определяли, как преступление было совершено и кто его совершил. Но мало этого: узнав, кто преступник, они бросались в смелую погоню за ним. Они вскакивали в поезда на полном ходу и на полном ходу прыгивали с поездов. По водосточным трубам они поднимались на крыши многоэтажных домов, с безумной храбростью падали с огромной высоты и ухитрялись оставаться живыми и здоровыми. Ничего не боясь, они проникали в логово преступника. От кровожадных злодеев они спасали похищенных красавиц, которым угрожала мучительная смерть. Они преследовали преступников в страшных притонах, в городских трущобах, спускались по веревке в пропасти. Кажется, вот-вот гибель ждет несчастного сыщика, кажется, он погиб уж, ан нет. Вот он снова жив

и здоров, избежал неотвратимой опасности и снова бро-сается в погоню.

Ваня разумно смотрел на вещи. Он допускал, что, мо-жет быть, тут кое-что и приукрашено, но самая основа несомненно была верна — нельзя же было просто выду-мать эти удивительные приключения!

Книжка стоила пять копеек. Это было бы даже и по карману, но беда в том, что каждая книжка кончалась на самом интересном месте. Например, преступники захва-тили Пинкертона, несмотря на его отчаянное сопротив-ление, посадили в подвал и пустили туда воду из водо-проводных труб. Выбраться нет никакой возможности. А вода уже поднялась до подбородка, и несомненно че-рез несколько минут великий сыщик захлебнется. На этом и кончается книжка. Естественно, что необходимо купить следующую, иначе от волнения за судьбу бедняги Пин-кертона можно просто умереть. Следующая стоит еще пять копеек, получается уже десять. Вот как хочешь, так и крутись! Вскоре был найден выход. Оказывается, что прочитанную книжку можно вернуть продавцу и получить за нее назад три копейки; таким образом, ты прочитывал книжку, истратив только две копейки. Это было уже до-стижимо.

Придя домой, постелив себе на сундучке и улегшись, Ваня теперь не гасил маленькую керосиновую лампочку. При тусклом ее свете с радостным и торжественным чув-ством он раскрывал очередную тоненькую книжку.

Тетка очень была недовольна. Во-первых, зря горел керосин. А керосин повышается день ото дня в цене. До чего дойдет, просто страшно подумать! Во-вторых, мало ли: заснет парень, а лампа все закоптит или, не дай гос-поди, упадет — и дом загорится. Простое дело пожар: се-кунду недоглядел — и кончено. Ваня ждал, пока тетка заснет, и тогда, чуть дыша, тихо снова зажигал лампу.

Засыпал Ваня поздно. Просыпался с трудом. Совсем сонный слушал упреки тетки: его вина бесспорна — вчера в лампе керосина было до половины, а сегодня осталось на самом донышке. Опять читал до полуночи.

Можно предположить, что похождения Ната Пинкер-тона и Боба Руланда так увлекли Ваню потому, что имен-но к уголовному сыску, именно к погоне за преступника-ми, то есть к будущей своей профессии, готовился он.

Думается, что это неверное предположение. Кто из мальчишек не увлекался в те годы сыщицкими романами, кто не волновался за судьбу Ника Картера или Ната Пинкертона, и очень немногие из этих мальчишек посвятили свою жизнь уголовному розыску. Нет, не потому увлекался Васильев сыщицкими романами, что предстояло ему стать сыщиком, а просто потому, что был он еще совсем мальчишкой.

Однажды управляющий сказал:

— Пойди-ка, Ваня, на извозничью биржу и сговорись с ломовиками, надо битое стекло вывезти на свалку. А то набралось его столько, что по двору нельзя пройти. Да поторгуйся как следует, а то увидят мальчика и заломят цену.

Торговаться не пришлось. Ломовики, выслушав Ваню, только рассмеялись и объяснили, что надо быть дураком, чтобы свозить на свалку стекло. Они свезут его на стекольный завод, и там им хорошо заплатят. Выгодно это всем: фабрике выгодно потому, что не надо платить за вывозку стекла, ломовикам выгодно потому, что они на стекольном заводе получат больше, а ему, Ване, выгодно потому, что ломовики поделятся с ним и он хорошо заработает. Предложение было заманчивое. В самом деле, никто не страдал, и все выигрывали. Ваня согласился. Погрузили четыре воза стекла, отвезли на стекольный завод, и ломовики отвалили Ване такую сумму, какой он раньше и в глаза не видел.

Домой он шел, сияя от счастья. Во-первых, он даст тетке денег, и та перестанет пилить его за керосин. Во-вторых, на долгое время обеспечены новые выпуски сыщицких приключений.

СУДЬБА ОПРЕДЕЛИЛАСЬ, НО ЭПОХА МЕНЯЕТ СУДЬБЫ

Все получилось не так. Когда тетка увидела деньги, в глазах ее появился ужас. Она считала себя женщиной сообразительной и, разумеется, сразу все поняла. Было ясно: мальчик попал в плохую компанию, стал на путь преступлений, значит. Впереди тюрьма, каторга и вечный позор.

Ваня сам испугался. Судя по теткинскому ужасу, он, видимо, незаметно для себя действительно совершил преступление и только по молодости лет ухитрился этого не заметить. Объяснение было бурное. Ваня рассказал все как есть, но, во-первых, тетка считала, что, наверно, про главное он умалчивает,— не могут же так просто достаться мальчишке деньги. Во-вторых, даже если дело было действительно так, все равно нет сомнения, что фабрика ограблена, позор падает на голову Вани и на ее голову— ведь это она же его рекомендовала и устроила на работу.

Короче говоря, на следующий день испуганный, дрожащий Ваня вошел в кабинет управляющего. Тот сидел за столом и поглаживал свою необыкновенную, свою знаменитую бороду.

Когда Иван, запинаясь, обмирая от ужаса и стыда — он действительно считал, что совершил очень тяжелое преступление,— признался управляющему в ужасном своем грехе, тот долго молчал и гладил бороду. Он не послал за городовым, не велел немедленно схватить злоумышленника и швырнуть его за решетку. Он только поглядывал на дрожащего, сгорающего от стыда подростка, и глаза его чуть приметно улыбались.

Долго тянулось молчание. И трудно сказать, какие муки пережил Иван, ожидая решения своей судьбы. И вдруг управляющий сказал:

— Молодец!

Вероятно, это была издевка. Ну что ж, Васильев был готов к самому худшему.

Управляющий пропустил между белыми, сверкающими чистотой пальцами волнистые волосы своей удивительной бороды и повторил:

— Молодец! Деньги спрячь, они твои. Ты их заработал. Ничего ты не украл, никого не обманул, а сумел выйти из положения и заработать. Ты ведь, наверно, не навсегда собираешься остаться мальчишкой при конторе. Будешь продвигаться, а в коммерческом деле, думаешь, годятся святые мальчишки? Нет, не годятся. В коммерческом деле нужен человек, который хозяину дает прибыль. А хорошую прибыль дает тот, кто и себя не забывает. И хозяин на тебя никогда не рассердится, если у тебя счетец в банке будет понемногу расти. Лишь бы и хозяин от тебя имел выгоду. Так что деньги спрячь, истрать их

на баловство или положи в сберегательную кассу — это уж ты сам решай, а я тебе не судья. Я, наоборот, о тебе теперь лучше думаю. Есть надежда, что из тебя получится полезный для предприятия человек.

Может быть, разговор этот и сыграл бы роль в формировании характера Ивана Васильевича. Сразу-то он его не очень понял, и странными ему показались мысли управляющего, но был бы еще случай, был бы еще разговор, и постепенно, наверно, запали бы в незащищенную мальчишескую голову эти мысли. Постепенно мог бы и сформироваться характер человека с железной хваткой, из всего выжимающего пользу, человека, приспособленного для преуспевания в мире хищном, где счастлив тот, кто хитрей и ловчей.

Но дело в том, что мир этот доживал последние дни, события огромнейшего масштаба стремительно надвигались. Ваня не знал о них, а если бы и знал, то не понял бы ни масштаба их, ни значительности, а между тем именно эти события должны были определить всю его дальнейшую судьбу, перевести его жизнь на совсем другие рельсы, ведущие совсем в другую сторону, — в сторону, в которую еще никогда и никто не ездил.

Да, Васильев знал, что в большом мире происходят какие-то большие события. Но фабрика Девен не была крупным предприятием, и землетрясения, сотрясавшие большие фабрики и заводы, доходили сюда только смутным гулом из неизвестного далека. Конечно, и здесь обсуждали происшедшее в Петербурге: какой-то переворот, захват власти съездом Советов. Конечно, и сюда доносились звуки уличных перестрелок, но все это казалось далеким и не очень связанным с реальной жизнью каждого. Здесь был тесный фабричный двор, тесные, темные помещения цехов, всего шестьдесят человек, и все знали друг друга в лицо и по имени-отчеству, и какие бы бури ни бушевали в Смольном, какие бы битвы ни разыгрывались вокруг Кремля, здесь было спокойно и тихо и жизнь шла размеренная, почти не соприкасавшаяся с великим штормом, бушевавшим вокруг.

Здесь были свои заботы. Раньше перед каждым праздником в конторе начиналось оживление. Готовили подарки. «Подарки» — это было только благопристойное слово. На самом деле речь шла о самых обыкновенных, узакон-

ненных и вошедших в обычай взятках. Готовили пакет для акцизного чиновника — туда укладывали духи подороже, флаконы понаряднее да и числом побольше. Начальнику станции готовили другой пакет, для того чтобы товары фирмы не залеживались. Пакет поменьше и ценой подешевле отправляли весовщику. Пакет побольше отправляли приставу. Даже городской, стоявший на углу, высокочеленый мужчина с прославленными на всю округу усами, тоже получал пакет с набором духов и одеколонов подешевле, которые, впрочем, не разбираясь особенно в ароматах, он бесхитростно выпивал все подряд, вечером у себя дома.

Царя свергли, Россия стала буржуазной республикой, но в конторе по-прежнему упаковывали духи и одеколоны, душистые мыла и другие произведения парфюмерного искусства, чтобы разослать нужным людям. Только список нужных людей несколько изменился. Пристав и околоточный скрылись в неизвестном направлении, да и нужды в них больше не ощущалось. Вместо них появились другие адресаты. Какой-то председатель какого-то комитета, откуда-то возник какой-то заседатель, и даже понять было невозможно, какой пользы дирекция ждет от этих людей и за что посылаются им подарки. Впрочем, Васильев и не размышлял особенно на эту тему. Его дело упаковать, обвязать веревочкой, а дальше пусть управляющий думает.

Итак, где-то шла революция, бушевали митинги, тысячетелная телега огромной отсталой страны со скрипом поворачивала на новый, социалистический, никем еще не проезженный путь, а в тесном дворике фабрики Девен было тихо, и так же тихо было в деревянном домике у Бутырской заставы, и удивительные события происходили по-прежнему только в дешевых книжечках с Натом Пинкертоном, Ником Картером, Бобом Руландом, с этими замечательными парнями, жившими такой удивительной, такой необыкновенной жизнью.

Неверно, конечно, было бы сказать, что Иван не знал о событиях в Петербурге, в Москве, в стране. Шли об этом разговоры. Одни одобряли, другие сомневались, третьи иронизировали.

Однажды пришел Васильев домой после работы, а у тетки гость из Петрограда, Ванин двоюродный брат. Ста-

ли разговаривать. Двоюродный брат служил в Петрограде не на великой должности, всего только обыкновенным вахтером, и тем не менее причастен был к большим событиям и к большой жизни. Служил он на главном артиллерийском полигоне. Начальником полигона был генерал-лейтенант Василий Михайлович Трофимов, происходивший из той же деревни, из которой был родом и брат Васильева. Правда, сейчас Трофимов уже не назывался генерал-лейтенантом — генеральские звания были отменены, — но дело в том, что Василий Михайлович был не обыкновенный генерал, а ученый. По мнению вахтера, насчет артиллерии никто во всем мире столько не понимал, сколько он. Поэтому его и новая власть уважала, и он хоть и не был теперь генерал-лейтенантом, а все-таки начальником полигона остался. Человек он простой, хороший. Живет просто, да и не сейчас только, а и до революции просто жил. И солдат уважает, да и не сейчас только, а и до революции уважал, а это до революции с генералами очень редко бывало. И, между прочим, человек, отечеству преданный. Еще до мировой войны немцы ему предлагали перейти к ним на службу и сулили большие деньги, но только он против своих пойти не захотел и немцам дал полный отказ.

Так сидели, беседовали, и, может быть, впервые большой мир, в котором совершаются огромной значимости события, приобрел для Ивана реальные, видимые черты. И захотелось Ване Васильеву отправиться в этот мир. И душно стало ему, и тесным и маленьким показался ему домик тетки, с маленькими окошечками, с белой ватой между рамами, с низкими потолками.

Ваня сам не сознавал этого, но впервые коснулось его свежее дыхание эпохи — эпохи, в которой все возможно и все человеку по силам.

Приехал из Федосына отец. Он возражал против того, чтобы Ваня ехал в Петроград. От добра добра не ищут, говорил отец. Неизвестно, как будет на полигоне и что за город Петроград, а здесь хоть и скромное, но верное место, есть возможность со временем и продвигаться. Все это, может быть, было и так, но вольный ветер уже подхватил Ивана, и ветер этот был сильнее рассуждений отца, сильнее сомнений и колебаний.

СТЕНЫ РУХНУЛИ. КРУГОМ БОЛЬШОЙ МИР

Добыли билеты. С одеждой оказалось благополучно. Была курточка на заячьем меху и присланные теткинм мужем с военной службы хотя и ношенные, но справные сапоги.

В феврале, холодном вьюжном феврале восемнадцатого года, отправился Ваня в Петроград, в далекий город, откуда новая, еще не совсем ему понятная власть слала декреты, переворачивающие весь мир, все привычные представления, всю устоявшуюся жизнь.

Поезда ходили в то время плохо. Отправлялись они в непоказанное время, и нельзя было предсказать, когда они придут в пункт назначения. Погрузились в дачный вагон. Кое-как уселись. Сперва было холодно, вагон не отапливался, но народу было так много, что скоро стало жарко и душно. Поезд катился мимо снежных полей и лесов, останавливаясь на маленьких станциях и полустанках. Вагон уныло дребезжал. Хотелось спать. От невозможности переменить позу ломило кости. Время шло невыносимо медленно. С натугой пыхтел паровоз и подолгу гудел, неизвестно зачем, может быть, просто от тоски, навеянной медленной, бесконечной дорогой.

Ехали без малого сутки. Наконец в вагоне началась суета, за окнами поплыли каменные дома, и поезд медленно, тяжело, как будто из последних сил, подкатил к перрону. Петроград.

Широкие улицы и проспекты тянулись прямо, точно их вычертили по линейке. Мостовые и тротуары были завалены глубоким снегом. Огромные сугробы высились до самых окон. В ту зиму некому было убирать снег, и люди ходили по городским улицам протоптанными тропинками, так, как ходят по лесу или по заснеженному полю.

А дома были больше, красивые, один к одному, не такие, как в Москве, где часто рядом с высоким каменным домом стоит обнесенная забором совсем деревенского вида изба. И в домах первые этажи заняты магазинами. Впрочем, не всегда можно догадаться, что это магазин: витрины закрыты железными шторами, а то и просто заколочены досками. Людей на улице мало, и одеты они странно, как будто навертели на себя все, что нашлось дома: шали, шарфы, платки.

Шли долго. Дошли до широкой реки. Таких широких рек Ваня не видел и даже не представлял себе. Противоположный берег расплывался в морозном февральском тумане. Спустились на лед. По льду вела на другой берег тропинка. По сторонам лежал глубокий снег, и приходилось заходить в него чуть ли не по колени, чтобы разминуться со встречным пешеходом. Долго шли по льду и наконец выбрались на другой берег. Тут уже пошли деревянные домики, садики за заборами, калитки со щеколдами. Тут было уже почти так, как у Бутырской заставы.

Ваня вспоминал бесконечную эту дорогу с трудом. Сутки он почти не спал, усталость валила с ног, и, как ни интересен был новый город, где теперь предстояло жить, работать, может быть и учиться, все мешалось в голове, в глазах рябило, ноги еле двигались.

Потом ехали в маленьком вагончике по узкоколейке, и, хоть паровозик свистел задиристо и лихо, леса, поселки, телеграфные столбы двигались за окнами медленно-медленно.

Над воротами полигона висел плакат: «Здесь принимают добровольцы в Красную Армию». В плохо натопленной, холодной казарме укрылись всем, что только было теплого, согрелись и наконец заснули. На следующий день, когда выяснилось, что Ваня грамотно пишет и почерк у него отчетливый и красивый, зачислили его в писаря. Целыми днями он сидел за столом, переписывал ведомости, приказы, отчеты и не был доволен новой своей работой и новой своей жизнью. Казалось ему, что жизнь эта неинтересная, а интересная жизнь у тех, кто испытывает новые орудия, подносит снаряды, стреляет. По совести говоря, играло роль отчасти еще и то, что бойцам в орудийных расчетах давали полное, новое, настоящее военное обмундирование. Писарям оно тоже полагалось, но большинство писарей подумывало демобилизоваться, обмундирование получить не стремилось, все равно придется сдавать, и поэтому даже тем, кто демобилизоваться не собирался, перепадало то, что похуже, то, на что не было охотников.

Ваня стал проситься в расчет. Хоть начальство и не хотело отпускать человека с таким хорошим почерком, но Ваня ходил, просил и добился. Оказалось, однако, что и тут далеко не сладкая жизнь. Тяжелые снаряды для круп-

нокалиберных орудий носить было тяжело. Не нагулял он еще достаточно силы. Зато получил и гимнастерку, и галифе, и сапоги, и шинель. Все как следует, не хуже, чем у других.

Жили голодно. На паек давали воблу, немного крупы, липкий, тяжелый хлеб. Картошка была лакомством. Иногда удавалось выменять у крестьян меру на пару белья или полусношенное галифе. Ване в его возрасте, когда аппетит у человека серьезный, все время хотелось есть, да и ослабел он. Выменял как-то старые брюки на пол вещевого мешка картошки и не смог унести, пришлось попросить хозяина сварить котелок. Думал: поем, наберусь силы. Картошку съел, а мешок все равно не поднять. Так до дрезины волоком и тащил его по земле.

Жили впроголодь, но, как ни странно, никого это особенно не волновало, мирились с этим легко, много об этом не думали. Время, наверно, было такое. Хоть и помещался полигон в стороне от Петрограда, но ветер только что совершившейся революции веял и здесь. В Петрограде новая власть яростно боролась с бандитами, мешочниками и спекулянтами. Брали и с полигона людей в наряды. Посменно ходили они по заснеженным петроградским улицам, вступали порой в перестрелки, несли охрану, участвовали в обысках. Все было понятно: буржуи укрывают хлеб, прячут продукты, переодетые офицеры организуют заговоры и покушения. Шла война, видимая и ощутимая. И, конечно, было ясно, что именно они, буржуи, бандиты, царские чиновники и офицеры, всеми способами мешают укрепиться власти Советов и обрекают страну на голод.

Теперь уже мирная жизнь на полигоне Ваню не устраивала. Станным казалось ему, что только недавно работал он мальчиком при конторе на маленькой фабричке Девен, совсем недавно день проходил за днем и не думал он ни о каких переменах, ничего не желал и ни к чему не стремился. А теперь вдохнул он воздух удивительной этой эпохи, и состояние покоя и неподвижности стало для него непереносимо. Работая писарем, рвался он на батарею. Теперь и батарея его не удовлетворяла. На полигоне оборудовались артиллерийским снаряжением бронепоезда. Иван стал рваться на фронт. Пошел к комиссару. Комиссар, огромного роста человек, матрос Балтийского флота,

стукнул кулаком по столу, а кулак у него был точно кузнечный молот, и прогнал его. Сказал, что мал еще. Васильев не унимался, жажда участвовать в этой поразительной бурной жизни не оставляла его. Как ни боялся он комиссара, а все-таки подал еще одно заявление — с просьбой отправить его на курсы красных командиров. Ждал несколько дней; вдруг опять зовут к комиссару. Иван обдернул гимнастерку и пошел, задыхаясь от волнения, твердо решив: как бы ни кричал на него комиссар, настаивать на своем — хочу, мол, учиться.

Но дело повернулось совсем неожиданно. Когда Васильев вошел, комиссар сидел за столом, держа в руках его, Васильева, заявление.

— Значит, учиться хочешь? — спросил он. — В красные командиры?

— Прошу меня направить на курсы, — сказал Васильев. — А если нельзя на курсы, прошу откомандировать на бронепоезд.

— Так... — Комиссар посмотрел на Васильева.

Рост внушал доверие. Парень был высокий. Но силы в парне не чувствовалось. Тощая шея торчала из воротника гимнастерки. Пояс был застегнут на последнюю дырку. Щеки запали. Хоть и было ему восемнадцать лет, а казался он совсем еще мальчиком.

— Так... — повторил комиссар. — Никуда я тебя на бронепоезд не откомандирую. Мал еще. Мало каши ел. И на курсы краскомов нет у меня путевок. А учиться тебе верно надо. Вот прислали нам четыре путевки в первый Петроградский рабоче-крестьянский университет. Туда и пойдешь учиться. Есть там факультет следственно-розыскных работников и судей. Научат тебя, станешь советским сыщиком. Преступников будешь ловить. Бандитов. Понял?

Это было гораздо лучше, чем можно было себе представить. Уж Ваня-то ясно понимал, что значит быть сыщиком. Уж кто-кто, а он досконально изучил это дело. Ему были знакомы лучшие образцы сыскной работы. Как-никак похождения Пинкертон и Боба Руланда он помнил назубок.

— Согласен? — спросил комиссар.

— Согласен, товарищ комиссар, — сказал Васильев.

— Ну, иди собирайся и завтра можешь отправляться

в бывший Таврический дворец. Будешь учиться, охрану нести, кормить тебя будут. Койку дадут. Не куда-нибудь вас в бараки загнали — бывший царский дворец вам, огольцам, предоставлен. Это ценить надо. Ясно?

Васильев шел в казарму в отличнейшем настроении. Будущее обещало тысячу увлекательных приключений. Впереди открывалась ясная и влекущая перспектива.

Товарищи по казарме ждали, что он скажет. Они радостно заулыбались, когда он сказал, что идет учиться в первый рабоче-крестьянский университет. Но когда он сообщил, что будет учиться на сыщика, наступило молчание. Васильев еще увлеченно рассказывал, какие интереснейшие перспективы открываются перед ним, но в молчании своих товарищей он почувствовал недружелюбие.

— Так... — сказал один. — Значит, идешь в легавые?

— Полицейская штучка, — сказал другой.

— Как раньше шпики за нашими ходили, — сказал третий, — так и ты теперь ходить будешь?

Образ Боба Руланда, бесстрашного защитника обворованных и ограбленных, померк. Уже не таким прекрасным виделось Ване будущее. Смелые прыжки, погони, пальба из револьвера — все это, конечно, очень хорошо, но приятно ли быть презируемым хорошими людьми, чувствовать себя отверженным?

Годом позже Иван смог бы поспорить со своими товарищами. Он попытался бы доказать им, что между легавым и оперативником, защищающим безопасность честных людей от воров, грабителей и убийц, есть колоссальная разница. Но тогда, когда шел этот разговор, он не был готов к спору и даже неясно себе представлял, что такое, собственно говоря, «легавый». Он недолго пробыл на полигоне, но уже привязался к новой для него среде красноармейцев и знал, что эта среда духовно выше и чище той, которая его окружала прежде. И вот теперь стать человеком, презируемым своими товарищами! Васильев не чувствовал себя в силах спорить.

Он провел беспокойную ночь. Он засыпал и просыпался, думал и к утру все для себя решил. Встав, он сразу пошел к комиссару. Он объяснил, что не хочет учиться на следователя. Комиссар даже растерялся:

— Почему?

Васильев ничего не объяснил, да, пожалуй и не хотел объяснять. В глубине души он чувствовал, что не могут его посылать учиться плохому. Комиссару он верил, да и название «рабоче-крестьянский университет» внушало полнейшее доверие. Просто он боялся осуждающих взглядов своих товарищей.

Комиссар был человек хороший, но флотская служба приучила его к решительному способу разговора. Страшно даже вспомнить, как он ругал Васильева. А удары его кулака, огромного, как молот, по письменному столу звучали почти с такой же силой, с какой звучал залп батареи. Васильев молча ждал, пока комиссар отойдет и успокоится. Всем на полигоне было известно, что у комиссара во время грозы гром гремит с оглушающей силой, но зато гроза проходит сравнительно быстро.

Действительно, отбушевала гроза, и комиссар сказал уже более спокойно:

— Ладно, бес с тобой. Пойдешь на сельскохозяйственный факультет. Ты из крестьян. Тебе сельское хозяйство привычно. И сегодня же отправляйся. Имей в виду, я распоряжусь, чтобы тебя с довольствия сняли и выбросили твою койку. А то опять передумаешь.

Обстоятельства как будто нарочно толкали Васильева на предназначенный ему путь. Кажется, сама судьба направляла его на предназначенную ему работу. Но не было еще в нем умения правильно самому выбрать дорогу, правильно решить вопрос о своем будущем. И вот вопреки обстоятельствам Иван Васильев свернул с пути, к которому он был предназначен своими способностями и своими склонностями.

ГНЕДАЯ ЛОШАДЬ. УБИЙСТВО В ЛЕСУ

Переехал Васильев в Таврический дворец. Жизнь была, пожалуй, здесь еще тяжелей. Та же вобла, тот же суп с горсточкой крупы, но уж картошку выменять негде. И до крестьян далеко, не доберешься, и времени нет. С временем было очень плохо. По сравнению с огромной потребностью в людях, которую испытывала окруженная врагами, еще не окрепшая Советская власть, ничтожно было количество тех, на кого она могла положиться. Из первого рабоче-крестьянского университета брали студен-

тов, чтобы охранять Таврический дворец, банки, Смольный, продовольственные склады. Шайки бандитов ночью и днем действовали в Петрограде. Почти непрерывно на улицах замершего, пустынного города слышалась перестрелка. Патрули шагали по городу, зная, что из любого окна, из любого переулочка может прозвучать выстрел винтовки или пулеметная очередь. Мало было у студентов спокойных ночей, но днем, несмотря ни на что, шли занятия. Почти никогда не бывало, чтобы весь курс сидел на лекции, да и те, кто сидел, клевали носом. Времени на сон почти не оставалось. Срок обучения был шесть месяцев. А сколько времени из этих шести месяцев уходило на особые задания! Лекции читали серьезные профессора. Они привыкли готовить специалистов за пять, а то и за шесть лет, они привыкли к тому, что перед ними сидели закончившие гимназию, сдавшие экзамены, хорошо подготовленные студенты. Сейчас они видели в аудиториях молодых ребят, в лучшем случае кончивших церковно-приходское училище, голодных, измученных непрерывными нарядами, дежурствами и патрулированием. Профессора читали добросовестно, добросовестно слушали и студенты. Конечно, не могли из этого университета выйти квалифицированные агрономы, но для государства промедление было смерти подобно. Надо было переворачивать весь строй деревенской жизни. Нужны были люди, хоть немного знакомые с сельским хозяйством, и притом люди, на которых можно положиться. Они нужны были сейчас, сию минуту, через месяц, через полгода. Полгода! Как мало было этого для того, чтобы вырастить специалистов! И как трудно было ждать государству эти полгода!

Впрочем, проучиться на сельскохозяйственном факультете долго Ивану не пришлось. Через месяц он получил из Федосьина от мачехи телеграмму, что отец его убит.

Мачеха надеялась, что сын приедет на похороны отца, но сын не успел. Телеграмма шла долго, да и добраться из Петрограда в Москву было дело не простое и не быстрое. Приехал Иван в Федосьино, когда Василия Егоровича уже похоронили. В деревне было по-прежнему тихо, пустынно, голодно.

Здесь революция чувствовалась мало. Тишина, нище-

та и грязь. Мачеха растерянная, несчастная, и дети смотрели испуганно, худые, истощенные дети. Сходили на могилу, потом мачеха рассказала, при каких обстоятельствах погиб отец. Болел Василий Егорович тифом, кое-как выкарабкался, выздоровел. За время болезни семья совсем обнищала. Единственно, что лошадь сохранилась, гнедая лошадь.

Василий Егорович всегда любил лошадей и за этой хорошо ухаживал. Из последних сил выбивался, а лошадь была сыта. И вот в снежный ветреный вечер постучался человек, угрюмый такой, как будто косоватый. Смотрел исподлобья. Пришел и говорит: «У вас лошадь хорошая, свезите меня в Москву, мне кой-какой товар надо доставить». Отец сперва было отказался, слаб еще, да и деньги ничего не стоят. А пришедший говорит: «Свезите — заплачу сахаром». Ну, тут, конечно, отказываться было нельзя. Шутка ли — сахар! Дети уже забыли, когда его видели.

Попили чаю, договорились выехать в шесть утра, когда рассветет, и легли спать. Ночью пришелец вставал по нужде и выходил во двор. Мачеха слышала, что ходит, да не обратила внимания. Потом уже поняла, что он, когда ходил, часы вперед перевел и топор положил в сани.

Показали ходики шесть часов. Гость проснулся и всех разбудил. Все удивлялись, что так темно, ну, да зимой, когда пасмурно, бывает, и позже светлеет. Потом уже мачеха сверила ходики и поняла, что на самом деле было только четыре часа. Это, значит, бандит перевел, чтобы выехать ночью: и темно, и никого на дороге не встретишь. Ему полная воля.

Снарядились. А что топор в санях, не увидели — он его соломой прикрыл. Сани потом уже нашли, не доезжая деревни Терешково, проезжие люди. В санях лежал топор, весь в крови, и труп отца. Отец сидел впереди, а бандит, видно, топор из соломы вынул и с одного удара зарубил. Все из-за лошади. Лошадь и угнал.

— Как же не поймали? — спросил Иван. — Лошадь известна, снегу кругом навалило. Следы должны быть.

Мачеха только рукой махнула. Ходила она по начальству в милицию, так там ее чуть не на смех подняли. У нас-де поважней дела, и некому заниматься. Нечего было, мол, на сахар льститься, а теперь уж пиши пропало.

Иван даже зубами заскрипел. Только подумать: трудящегося человека зарубили, ограбили — и никакой защиты!

Когда он уезжал из Петрограда, Игнатьев, начальник рабоче-крестьянского университета, велел ему дать наган.

— Раз, — говорит, — такое несчастье, мало ли что может быть. Может, даже и сам с бандитом встретишься. Только зря в дело наган не пускай.

Милиция помещалась в Кунцеве. Тогда были волости. Федосьино входило в Кунцевскую волость. Дошел до Кунцева. Все честь честью, вывеска висит: «Волостная милиция». Вошел. Дощечка: «Начальник милиции». Вошел. Пустая комната. Стол для секретарши, и дальше уже дверь в кабинет к самому начальнику. Из-за двери доносился веселый смех. Иван открыл дверь в кабинет. Смеялись двое. Начальник волостной милиции и его секретарша.

Начальник решил, что посетитель поступил очень невежливо, прервав его веселый разговор с секретаршей. Поэтому он посетителя встретил хмуро, хмуро выслушал рассказ об убийстве отца и хмуро объяснил, что милиция тут ничего сделать не может, потому что неизвестно, где убийцу ловить, да и людей свободных в распоряжении начальника милиции сейчас нет. Был этот начальник, несмотря на голодное время, отлично накормлен, розовощек, с прилизанными, чем-то смазанными волосами. Наверно, до революции служил он писарем или приказчиком в лавке, а сейчас пошел на работу, на которой надеялся получить наибольшую выгоду. Может быть, можно было пойти на него жаловаться к высокому начальству, но Васильев понимал, что ни к чему это не приведет. Высокое начальство, наверно, и так знает, что в кунцевской волостной милиции сидит примазавшийся прохвост, но что будешь делать, если людей нет и негде взять. Выгонишь этого, и хоть милицию закрывай. Ох, как хотелось Васильеву вынуть наган и хотя бы помахать им перед носом этого прохвоста, поглядеть, как с его розовощекого лица сползет наглая, самоуверенная улыбка! Но Иван уже твердо знал, что обнажать оружие можно только в случае крайней необходимости. Он уже ясно понимал, что, как бы он ни был внутренне прав, как бы он ни был возмущен, все равно, размахивая наганом, делу не поможешь.

Он встал и вышел.

Шел он по заснеженному лесу назад в Федосьино, вспоминал отца и думал о том, какую несчастливую жизнь прожил Василий Егорович. Всю жизнь бедность, да долги, да волнения о завтрашнем дне. Сейчас вот, может, все бы наладилось и землю бы получил, было бы к чему приложить руки, да вот какой-то зверюга, бандит тут-то и обрубил его жизнь.

Заснеженный лес был тих. Ни одного человека не было видно ни на дороге, ни в лесу. И, ясно представляя себе, как на такой же лесной дороге сверкнул топор, опускаясь на голову отца, так же ясно представил себе Иван Васильевич бесконечные глухие леса, пустынные дороги, городские дворы и улицы и людей с топорами, с ножами, с револьверами, прячущихся за деревьями, в подворотнях и в глухих переулках, готовых зверски убить человека, чтоб отнять у него то, что он заработал долгим и тяжелым трудом.

И впервые работа следователя и сыщика представилась ему совсем в другом свете. Не эффектные подвиги Пинкертона, Картера или Руланда, не бешеные погони, не удивительные приключения, а упорная борьба день за днем, месяц за месяцем, год за годом против этих людей с топором, с ножом или револьвером, в защиту жизни и имущества честных работающих людей...

И снова долгая дорога в Петроград в набитом до отказа вагоне. Снова медленно плывущие за окном деревья, полустанки, деревянные перроны. Снег, снег и снег. Будто замерла, укрывшись снегом, страна, — страна, где разруха, запустение, голод, страна, в которой впервые выковываются формы государственности, формы общества, которых еще не знала история.

И снова идет он пешком по пустынному, заснеженному Петрограду к Таврическому дворцу. Заколочены досками витрины магазинов, навалены снежные сугробы, тропинки протоптаны по улицам, как в поле или в лесу.

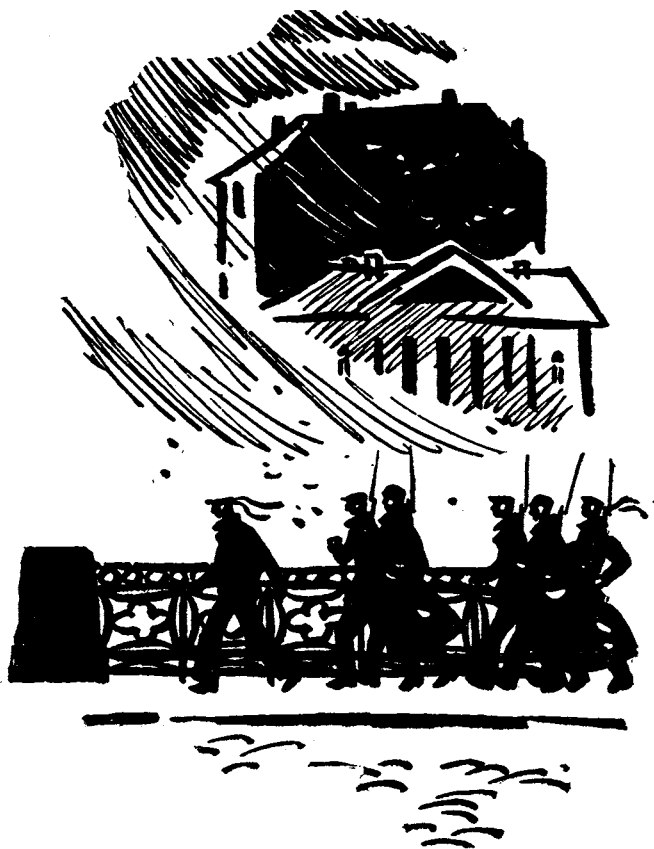
Таврический дворец. Уже родной дом. Иван, доложившись по начальству, просит разрешения войти к Игнатьеву. У него просьба: он хочет перейти с сельскохозяйственного факультета на факультет следственно-розыскных работников и судей. Он, Васильев, хочет быть следователем. Он хочет быть сыщиком.

Это нарушение правил. Государство зря проучило его на сельскохозяйственном факультете целый месяц. Целый месяц государство его хоть и скудно, но кормило. Может быть, у Васильева это случайное увлечение, которое скоро пройдет?

Нет, это не случайное увлечение. Может быть, его толкнули на это случайные обстоятельства — убийство отца, очевидная беспомощность следственных органов? Но для тысячи человек обстоятельства эти остаются лишь эпизодом, может быть, поводом для размышлений, для горести, для раздражения. А для тысяча первого это повод для коренного решения. Обстоятельства толкают на тот же путь, на который толкает природная склонность. И тогда, значит, профессия выбрана правильно.

Игнатьев смотрит на парня, стоящего перед ним. Совсем молодой парень. Сдержанный, немногословный. Наверное, чувствует больше, чем говорит.

Игнатьев думает и соглашается. Васильев переведен на другой факультет.



Глава вторая

ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРОФЕССИЮ

КУРС ОБУЧЕНИЯ

Состав преподавателей на новом факультете был отличный. Уголовное право читал профессор Ворт, преподавали профессор Косоротов, Шидловский, бывший начальник регистрационно-сысского отделения Петербурга

Сальков, начальник речного угрозыска Аркадий Аркадьевич Кирпичников. Все это были люди серьезные, знающие, обладающие огромным опытом. Трудно сказать — может быть, не все они были целиком на стороне Советской власти, но учили, во всяком случае, добросовестно. Молодым людям, не имевшим даже отдаленного представления о будущей своей работе, они старались передать и передавали весь свой опыт, все свое практическое умение раскрывать преступления. Это было очень интересно, и Васильев до сих пор с благодарностью вспоминает своих учителей, но, по совести говоря, к практическим задачам, стоявшим тогда перед студентами, лекции имели отдаленное отношение. Да, учителя знали все о том, как ловить преступников. Ученики с жадностью слушали каждое их слово. Но вот беда — преступники были совсем другие. Старые мастера розыска рассказывали интереснейшие случаи о том, как были раскрыты загадочные убийства, подделки завещаний, ограбления банков, как были пойманы международные воры, элегантнейшие люди, вращавшиеся в высшем свете, а теперь, в Петрограде, вооруженные банды с пулеметами и револьверами осаждали дома, отстреливаясь от малочисленных работников только что созданной и еще не окрепшей милиции. Со всем были не похожи преступления, совершавшиеся в девятнадцатом году в перевороченной, голодной стране, на те преступления, которые старые мастера розыска помнили и с которыми умели бороться.

Может быть, из-за этого преподавание носило бы абстрактный характер и не приносило бы ученикам реальной пользы, реального умения бороться с современными им преступлениями, но, кроме лекций, которые давали теоретическую подготовку и специальные знания, существовала практика, хотя она и не называлась практикой и как будто бы не преследовала учебных целей. Кончались лекции, расходились по домам профессора, а учеников ждала самая трудная часть рабочих суток — нельзя же, в самом деле, говорить «рабочий день», если он продолжается почти двадцать четыре часа.

Часть учеников шла в патрули. Обстановка была, по существу говоря, военная. Ночь, город замер. И вдруг стрельба! Держа винтовки в руках, устремляется на стрельбу патруль. Банда грабит склад. Тут не нужны

следственные приемы опытных розыскных работников. Преступники не скрываются и не хотят скрываться. Трудность в другом. Преступников больше, чем курсантов, и они лучше вооружены. На лекциях курсанты учатся логическому мышлению, оценке улик, неопровержимой цепи доказательств, которая бесспорно должна убедить суд в виновности подсудимого. Здесь, на улицах Петрограда, они учатся смелости, привыкают не кланяться пулям, изучают на практике простую, но очень важную истину: что одна секунда промедления может решить, кто будет побежден и кто будет победителем.

Это одна только часть работы.

Но мальчики — можно же их назвать так, если им по восемнадцать и девятнадцать лет, — участвуют и в других операциях.

Город, кажется, спит, в домах нет света, на улицах тишина, потому что ходить по улицам можно только со специальными ночными пропусками, которые мало кому даются. Но в темноте, в тишине идет другая, невидная, скрытая жизнь. В богатых квартирах, за окнами, закрытыми плотными шторами, прячутся притоны морфинистов, кокаинистов, алкоголиков и преступников. Люди, недавно еще бывшие блестящими гвардейскими офицерами, общаются с бандитами, с героями Лиговки и Обводного канала. Тут все перемешалось. Люди из самых разных слоев старого Петербурга объединяются. Гвардейский офицер, профессиональный шулер и низкопробный бандит собираются вместе, чтобы удовлетворить общие для всех трех пороки: разврат, алкоголизм, наркоманию. Когда-то они жили в разных мирах. Общение между ними было немыслимо, а теперь, оказывается, их тянет друг к другу, у них одни интересы. Бандита с Лиговки можно встретить в великолепной квартире, в которой бывшие «светские львы» гонят самогон и напиваются до бесчувствия. Бывшего высокопоставленного чиновника или видного офицера царской армии можно встретить в грязной хибаре, в которой курят опиум или нюхают кокаин.

Перемешалось и другое. Преступления уголовные и политические стало невозможно отделить друг от друга. Пока в притоне идет азартная игра в карты или в рулетку, в задней комнате группа как будто обычных картежников обсуждает очередной заговор против Советского

государства. Пока алкоголики дружно пьют самогон и приглушенными голосами поют пьяные песни, на кухне несколько совершенно трезвых мужчин сговариваются о том, как убежать на Дон к Каледину в белую армию.

И вот облавы, засады. Раскрывали эти притоны работники постарше Васильева, а Иван и его говарищи по рабоче-крестьянскому университету принимали участие в ликвидации притонов как боевая сила. Что же из того, что им было по восемнадцати, по девятнадцати лет? Революции были необходимы бойцы для решения тысяч задач, которые стояли перед молодым государством. В восемнадцать лет юноша уже был полноценным бойцом и нес на своих плечах полный груз взрослого человека. В то время взрослыми становились рано. И если мы называли сверстников Васильева мальчиками, то лишь с точки зрения наших дней, а в то время в восемнадцать лет казалось, что детство и даже юность остались далеко позади.

Васильев на всю жизнь запомнил, как впервые участвовал он в засаде. Вскрыли притон наркоманов. Содержателей притона арестовали. Важно было выяснить, кто посещал притон. Это могли быть просто наркоманы, а может быть, за этим притоном, как за многими другими, скрывалось и нечто более значительное — скрывалось политическое подполье, антигосударственный заговор.

Когда ликвидировали притон, преступники отстреливались. В перестрелке один из них был убит. Хозяев притона нельзя было вывести из квартиры: это могло обнаружить засаду. Их заперли в задней комнате, под охраной. Каждые двое суток приходила смена. Сменщики приносили скромные продукты того времени — воблу и пшено. Охране приходилось варить еду. Задержанные имели право на питание. Когда Васильев со своими товарищами, конечно в штатской одежде, пришел на смену, первое, что он увидел, — был труп, лежавший в первой же комнате. Это был один из владельцев притона, убитый в перестрелке. Вынести труп тоже было нельзя, чтобы не обнаружить засаду.

И вот настали долгие часы безмолвного сидения в полутемной комнате. Изредка раздавался условный звонок, которым посетители притона предупреждали хозяев, что идут свои и можно дверь открывать без страха. Тогда Васильев и еще один курсант становились в тамбуре, третий

открывал дверь, и все трое набрасывались на прибывшего. Некоторые сопротивлялись, другие сразу сдавались, насмерть перепуганные. Результат был один и тот же: пойманного обезоруживали, если у него было оружие, и отводили в заднюю комнату. Там все увеличивалось число задержанных. Уже их набралось пятнадцать человек, а в засаде сидело только трое. Правда, пятнадцать было обезоруженных, а трое вооруженных, но уж больно неравным было соотношение сил. Спасало одно — почти все эти пятнадцать человек были трусы да, кажется, и не очень друг другу доверяли. Если бы это были смелые люди, то, сговорившись, они могли бы сразу наброситься на трех — только трех! — сидевших в засаде. Но наркоманы редко бывают храбрыми. Воля у них ослаблена наркотиками. Решительным человеком оказался только один посетитель. Он позвонил условленным звонком — три раза, — но, когда его схватили Васильев и второй курсант, вырвался и побежал вниз по лестнице. Выхватив револьвер, Васильев помчался за ним.

— Стой! — кричал Васильев. — Стрелять буду!

Загадочный человек не обращал внимания на крики.

«Наверное, серьезный преступник, — мелькнула у Васильева мысль, — если пули не боится».

Иван выстрелил раз, потом второй раз и, наконец, третий. К сожалению, то ли потому, что в то время он был еще неважным стрелком, то ли потому, что впервые в жизни пришлось ему преследовать преступника и стрелять в него, но все три пули прошли мимо.

Вскочили во двор. Преступник бежал, не оборачиваясь. Сзади мчался Васильев. Неизвестно, чем бы кончилась погоня, если бы дворник, который знал о засаде, не бросился преступнику под ноги. Тот упал. Вдвоем с дворником они его и схватили. Привели в квартиру. Васильев был весь в поту, тяжело дышал и был очень возбужден. Шутка ли — поймал, видно, опаснейшего преступника, хотя сам еще только курсант!

К сожалению, все оказалось не так. Конечно, посетитель был преступником, но ни к каким политическим заговорам и подпольным организациям отношения не имел. Был он просто шофер, и, когда удавалось ему сэкономить пять-шесть литров бензина, приносил их продавать в эту квартиру, так как знал, что здесь охотно покупают и

платят неплохо. Воровать государственный бензин—преступление, но вряд ли за таким преступником стоило гнаться и стрелять, демаскируя засаду. Конечно, Васильев был не виноват, старшие товарищи его даже похвалили за мужество и энергию, но и подсмеивались над ним. И долго еще Иван не любил вспоминать об этой истории.

Итак, днем лекции, изучение тонкостей уголовного розыска, а после лекций патрулирование, облавы, обыски. Правда, Васильев и его товарищи были только помощниками в этих операциях, но все-таки они приучались к своему опасному и трудному делу, требующему ума, интуиции, решительности и смелости. И эта повседневная практика, постоянное участие в практической работе дополняли и, если можно так сказать, осовременивали те знания, которые студенты получали от очень опытных, но изрядно отставших от жизни профессоров.

И вот короткий курс обучения пройден. Всего шесть месяцев. Но больше нельзя, страна не может ждать. Прощание с профессорами и с товарищами, торжественные слова о тяжелых обязанностях, которые каждый из них на себя берет, и назначение.

Первое в жизни назначение!

Васильев был назначен следователем в следственную комиссию Петроградского района города Петрограда.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Следственная комиссия Петроградского района помещалась на Каменноостровском проспекте (теперь проспект Кирова). Занимала она помещение бывшей буржуазной квартиры в первом этаже огромного дома. Председателем комиссии был слесарь Балтийского завода, большевик-подпольщик Кауст. Заместителем его был Андреев. Оба они были люди хорошие, прекрасно понимавшие свои задачи, но, к сожалению, совершенные новички в следственном деле, не знающие даже его азов.

Когда Васильев подал свидетельство об окончании первого рабоче-крестьянского университета и направление на работу, Кауст очень обрадовался.

— Вот,— сказал он радостно Андрееву,— будет у нас наконец ученый человек! — Потом, обратившись к Васильеву, спросил: — Жить у тебя есть где?

— Нет,— сказал Васильев.— Койку мою уже заняли, родных в Петрограде нет.

— Ладно,— сказал Кауст,— будешь тут у нас, в бывшей ванной жить. Оно и лучше. Все время на месте. Быстрее приглядишься к работе.

И вот Иван перетащил небогатое свое имущество — пол вещевого мешка — в бывшую ванную, кое-как устроился и стал приглядываться к работе.

Он думал все время, когда наконец поручат ему самостоятельное дело. Очень уж хотелось попробовать свои силы. Страшно было, конечно: вдруг не справится, не сумеет найти преступника? Но в глубине души был уверен: не может быть, чтобы провалился. Все знает: анализ улики, показания подсудимых, технику допроса.

Думал Васильев, что самостоятельного дела придется ему ждать долго, но ему повезло: и Андреев и Кауст были завалены работой, и тут поступило заявление об убийстве.

Пришел в следственную комиссию рабочий и рассказал страшную историю. Был у него сын, который только что окончил курсы красных командиров и получил назначение в Семипалатинск. Перед отъездом решил погулять. Есть у них по соседству небольшой домик, в котором живет Алексей Иванович Новожилов с женой. Этот Алексей Иванович человек темный и подозрительный. То есть то, что он варит и продает самогон,— это соседи знают точно. То, что у него идет азартная игра, тоже известно. Но подозревали его и в худших делах. Впрочем, достоверно ничего не знали. И вот молодой красный командир сказал матери, что по случаю окончания курсов хочет пойти к Новожилову выпить, а может быть, и сыграть в карты. Как его мать ни уговаривала, он пошел.

Ждали его вечер, ночь, начало следующего дня. Отец не знал, куда сын пошел, и поэтому сначала не волновался, но на следующий день стал серьезно тревожиться. Тут мать и призналась ему, что сын пошел к Новожилову. Решили узнать у Новожилова. Три дня не могли застать Новожиловых дома. Может быть, конечно, те и были дома, да не открывали на стук. Наконец достучались. Вошли в квартиру. Новожилов полупьяный, в квартире воняет спиртищем. Оба, и хозяин квартиры и жена, уверяют, что знать ничего не знают. Был, мол, действительно молодой

красный командир Иваненко, выпили изрядно, сыграли в карты, а потом он ушел, и больше о нем ничего не известно. Говорить они это говорят, а старик Иваненко оглядел комнату и видит — на гвозде висит шинель сына, его папаху и его ремень. Иваненко сделал вид, что не заметил, и побежал в следственную комиссию.

Дело серьезное. Убийство! Да еще красного командира. Не шутки. И тут Андреев сказал:

— Займись-ка ты, Ваня, делом, а то нам не разорваться же.

Так получил Васильев первое свое самостоятельное дело. Показания старика были настолько убедительны, что Иван решил действовать сразу же и решительно. Выписал ордер на арест. Взял нескольких красноармейцев и нагрянул с обыском. Вошли. Новожилов испугался, растерялся, но делать нечего, пустил гостей. Глаза у него бегали. По всему заметно было, что есть у него основания бояться следовательских работников. Шинель, папаху и ремень обнаружили сразу, они так и висели на гвозде, в том месте, где указал Иваненко. Новожилов не отрицал, что вещи принадлежат молодому Иваненко.

— Верно,— говорил.— Сели в картишки поиграть. Денег у него не хватило, он нам шинель, папаху и ремень проиграл.

Самогонный дух был настолько явственно ощутим, что сомнений не было — самогон гонят. И действительно, без большого труда обнаружили самогонный аппарат. Стали искать тщательней. На стене обнаружили следы крови. Новожилов сказал:

— Верно, что кровь, но только к Иваненко она отношения не имеет. Пришлось мне жену поучить. Она у меня упрямая. Вот у нее носом кровь и пошла.

— Верно,— сказала жена.

Была она маленькая забитая женщина, и в глазах у нее прятался страх. Может быть, потому, что она знала об убийстве и боялась наказания, а может быть, и потому, что очень уж часто приходилось ей быть битой.

Впервые в жизни Васильев самостоятельно проводил обыск. Шинель, папаху, ремень, кровь, самогонный аппарат, даже карты, разбросанные на столе,— все это были страшные улики, но Васильев не успокаивался. Дом был деревянный, маленький, квартира бедная, потолки низкие.

Видно, ни самогон, ни картежная игра не принесли в дом благосостояния. Легко и бесчестно заработанные деньги пропивались, проигрывались, расшвыривались. Даже на обои денег не хватало. Комнаты были оклеены просто газетами. Внимательно разглядывая газеты, Васильев прошел вдоль стен. Казалось бы, бессмысленное занятие. Газеты и газеты, что в них может быть? Но, как ни странно, осмотр дал неожиданные результаты.

Газеты пожелтели от времени — хозяева не заботились о чистоте в квартире, — а одна газета была почти свежая. Видно, наклеили ее недавно, гораздо позже, чем была оклеена комната. Васильев постучал в стену. Звук показался глухим. Значит, в стене пустое пространство. Взяли лом, взломали стену. В тайнике лежала винтовка. У хозяина стал совсем испуганный вид. Список доказанных преступлений рос. Самогоноварение, хранение оружия — все это было достаточно серьезным. Но убийство все-таки осталось недоказанным. Обшарили всю квартиру. Тщательнейшим образом обыскали все. Поднялись на чердак. Чердак был завален рухлядью. Разбросали. Под рухлядью лежали патроны. Все сходилось одно к одному. Молодой краском Иваненко был убит. Была винтовка, были патроны, были вещи убитого. Не было только убитого. Еще и еще раз осмотрели, простукали каждую половицу, каждый кусочек стены. Убитого не нашли. Конечно, отсутствие его объяснить было нетрудно. Пять суток прошло после предполагаемого убийства. Иваненко можно было вынести, бросить в Неву. Много тогда находили на улицах и в реках Петрограда неопознанных мертвецов. Объяснить-то отсутствие трупа можно было. И все-таки только труп был бы бесспорным доказательством преступления.

Новожиловых арестовали. Васильев отвез их в тюрьму и вернулся в следственную комиссию. Андреев и Кауст внимательно выслушали его доклад. Сомнений в том, что Иваненко убили Новожиловы, не было ни у кого из них. Но уверенность следователя — это одно, а доказательства в суде — это все же другое.

— Может быть, сознаются, — сказал Андреев. — Тут дело в допросах. Ты человек с образованием, должен понимать. Если сумеешь заставить на допросе сознаться, тогда дело готово, можно передавать в суд. А без признания — что же мы? Признают его виновным в незаконном

хранении оружия и самогоноварении, а убийство-то останется недоказанным.

День за днем ездил Иван в тюрьму. День за днем допрашивал то жену, то мужа. Новожилов твердо стоял на своем: «Самогон варил, это верно, винтовка была, не отрицаю, а про убийство ничего не знаю. Был у нас Иваненко, выпивали мы с ним, играли в карты, проиграл он мне шинель, папаху и пояс и ушел».

Жена говорила приблизительно то же самое. Была она забитая, несчастная женщина и хотя, казалось Васильеву, сама не способна была на убийство, но так боялась мужа, что под его влиянием могла пойти на что угодно. Иван считал, что если освободить ее от этого страха, убедить в том, что теперь ей бояться мужа нечего, то может она дать очень важные показания.

День за днем он объяснял, что, будет доказано убийство или не будет, все равно того, что доказано, достаточно. Несколько лет заключения муж получит наверняка. День за днем он доказывал ей, что жизнь ее с мужем была ужасна — вечное пьянство, гульба, бесчинства, побои, — что она, запуганный человек, если и является соучастницей преступления, то суд бесспорно учтет, что действовала она под влиянием страха и заслуживает снисхождения.

Постепенно таившийся у нее в глазах страх начал проходить. Кажется, в тюрьме — даже в тюрьме! — ей жилось лучше, чем дома. Она стала свободнее держаться, разговаривала с Васильевым все откровеннее и откровеннее, много рассказывала о жестокости мужа, о страшной своей семейной жизни; казалось, была до конца откровенна с Иваном Васильевичем и только насчет убийства твердо держалась прежних своих показаний: папаху, шинель и пояс муж выиграл в карты, и Иваненко ушел.

Здесь был тупик. Следствие нельзя вести бесконечно. Если преступники не признались и главной улики — трупа — нет, то вряд ли суд признает убийство. Нервировали и родители убитого. Часто приходил старый рабочий, еще более постаревший от горя, и требовал, чтобы следствие вели энергичней. Обижался, что дело дали молодому следователю, который и взяться толком не умеет.

Старика можно было понять. Было даже что-то хорошее в том, что он так строго и требовательно относился к

следствию. В прежнее время простой рабочий никогда бы так не разговаривал с работниками государственного учреждения. Но сейчас это была его следственная комиссия, созданная его рабочей властью. Он был хозяином, и он требовал.

Все это было, конечно, очень хорошо, но все это не двигало дело вперед. Молодой парень, выращенный и воспитанный в хорошей рабочей семье, красный командир, которого ждали борющиеся с белогвардейцами войска, который был так нужен на фронте, убит негодяем, вся жизнь которого состояла из грязных обманов, из спаивания хороших людей, из обирания пьяных, и гибель этого молодого парня останется безнаказанной.

Иногда Васильеву хотелось закричать на эту глупую женщину, которая всю жизнь мучилась от негодяя мужа и, несмотря на это, изо всех сил покрывала его.

Но Васильев знал, что на эту женщину и так уже слишком много кричали и что еще один окрик не может на нее подействовать. Знал он и то, что преступник имеет право быть грубым, несдержанным, истеричным, а следователь этого права не имеет. Как бы ни был он раздражен, измучен, вымотан, он обязан быть спокойным и ровным.

И, кроме того, думал Иван, только доброжелательный, искренний разговор может подействовать на эту женщину, привыкшую к ругани и побоям.

Он оказался прав.

Настал день, когда выдержка и спокойствие следователя принесли свои плоды. В этот день Новожилова с самого начала допроса нервничала и, разговаривая со следователем, думала о чем-то своем. Васильеву показалось, что сегодня произойдет что-то новое и важное. Предчувствие не обмануло его.

Он тянул допрос, чувствуя, что Новожилова колеблется, как будто на что-то решилась и продумывает свое решение. Он боялся упустить минуту, когда она может дать важные показания.

И действительно, неожиданно прервав разговор о второстепенных деталях и обстоятельствах, она вдруг сказала:

— Пишите, гражданин следователь. Я все скажу.

Она заговорила, и Васильев еле успевал записывать.

Да, все было верно: пили, играли в карты. Иваненко проиграл все деньги, какие у него были, и собрался уже уходить, когда Новожилов вышел в соседнюю комнату и вернулся оттуда, держа в руках винтовку. Иваненко схватился за наган, но не успел достать его. Новожилов выстрелил и с первого же выстрела попал Иваненко в голову. Иваненко упал, и действительно, его кровь была на стене. Она было закричала, но муж на нее так рывкнул, что от страха она потеряла голос. Дело было уже ночью. Муж — а человек он огромной силы, это, слава богу, она на себе испытала, — взял труп и вынес. Куда он его унес, она не знает, но теперь думает, что лучше сказать правду, потому что от мужа она, кроме горя, никогда ничего не видела, человек он плохой, и покрывать его она больше не хочет.

Протокол был подписан. Новожилову увели, а Васильев помчался к себе на Каменоостровский. Снова и снова Андреев, Кауст и Иван обсуждали материалы дела. Теперь наконец все стало ясно. Новожилов, работавший до революции коридорным в дешевых номерах, холуй, за чаевые привыкший выполнять самые грязные поручения постояльцев, после революции самогонщик и притонодержатель, совершил убийство. Это бесспорно. Теперь дело можно передавать в суд.

Настало утро. В комнате плавали облака табачного дыма, и очень хотелось свежего воздуха. Была уже весна, снег на улицах стоял. Андреев подошел к окну и раскрыл его, оторвав бумагу, которой оно было заклеено. Свежий, прохладный весенний воздух ворвался в комнату. Облака табачного дыма устремились в окно, а эта свежесть и прохлада были особенно приятны после той грязи и мерзости, в которой разбирались они целую ночь. Все трое дышали с наслаждением. Как ни устал Васильев, было ему приятно думать, что первая его самостоятельная работа проведена успешно. Убийца будет наказан. Хорошее было у него настроение.

— Вы уже за работой? — раздался голос с улицы.

За окном стоял старик Иваненко.

— Я всю ночь не спал, хотел как только можно пораньше прийти к вам. Думал, вы еще отдыхаете. Ну ничего, думаю, погуляю пока на улице. Время терять нельзя. У меня важные новости.

ПЕРВАЯ НЕУДАЧА

И вот сидит старик Иваненко, и лицо у него таинственное.

— Вот что, товарищ следователь,— говорит Иваненко.— Человек вы молодой, неопытный, вглубь не заглянули, а тут дело большое, политическое, серьезное. Тут против Советской власти большие козни. Тут целая организация шурует. Большие затевают дела.

— Да что случилось? — спрашивает Васильев.

— А случилось то,— неторопливо тянет старик,— что пришло письмо из Семипалатинска от сына. Будто бы от сына, конечно. И пишет там сын, то есть будто бы сын, что проиграл в карты шинель, ремень и папаху, что стыдно было ему показаться домой и он прямо поехал по месту назначения, в Семипалатинск. Что там он будто бы прямо все рассказал начальству и начальство его наказало, но не очень строго. Что он, мол, то есть будто бы он, просит нас о нем не волноваться и, мол, теперь будет нам все подробно сообщать.

Васильев смотрел на старика, и в голове у него, как карусель, крутились мысли: но ведь жена Новожилова призналась! Винтовка найдена. Казалось, что улики бесспорны. Неужели это он себя уговорил? Неужели Новожилов говорил правду, а жена врала?

Но старик еще не высказался.

— Понимаете, какая тут катавасия? — спрашивает старик.— Тут большая организация шурует.

Васильев смотрит на старика и никак не может понять, о чем тот говорит, какая организация.

— Вас, молодой человек,— продолжает старик,— государство поставило на ответственный пост. Вы должны оберегать государство, а вы политически недооцениваете.

— Что недооцениваю? — спрашивает Иван.

— Да ведь видно же, что письмо убийцы подстроили. Тут не один Новожилов, тут контра организована. Красных командиров уничтожают. Один здесь убивает красного командира, другие оправдания убийце подгоняют, чтобы он сухим из воды вышел. Тут классовая борьба. Тут ниточка далеко тянется.

Васильев думал. Что-то слишком хитро с письмом. Откуда семипалатинские контрреволюционеры могли

знать, что Новожилов арестован? Мудрит старик Иваненко. Горюет о сыне, и чудится всякое. Но если старик мудрит, значит, письмо настоящее. Значит, молодой краском служит себе в Семипалатинске. Ну, наверно, отсидел на гауптвахте, искупил вину. Человек молодой. Первая ошибка в жизни. А может быть, все-таки старик прав? Новожилова же призналась, никуда это не денешь. Винтовка была замурована. Самогон, спекуляция, картеж — как тут не поверить в убийство?

Так или иначе, он, Иван, виноват. Если старик прав, он виноват в том, что за простой уголовщиной не разглядел антисоветской организации, не добрался до политического смысла дела. А если старик неправ, все равно Васильев виноват: создал следовательскую версию, стройную, доказанную, а она, как карточный домик, взяла да и рухнула.

Прежде всего, думает Иван, нельзя терять голову, нельзя действовать под влиянием настроения. Нельзя бросаться в разные крайности. Именно сейчас, когда ясно, что совершена ошибка, нужно сохранять четкость ума, полную объективность. Тщательно взвесить все обстоятельства дела, хладнокровно продумать все «за» и «против», проверить каждую мелочь.

Иваненко был очень раздражен. Он и раньше злился на Васильева за то, что так долго не могут раскрыть убийство, даже труп найти не могут. И похоронить-то сына нельзя. Раньше он злился только за сына. Теперь, оказывается, он даже сам не понимал, как глубоко он был прав. Тут не только убийство сына раскрыть не могут, тут проглядели контру. Классовым врагам позволяли свободно действовать. Они под рабочее государство подкапываются, а этот молодой человек, извольте видеть, и в ус не дует.

«Какие же появились новые обстоятельства дела? — думал Васильев, вполуха слушая упреки старика. — Письмо».

— Дайте письмо, — сказал он Иваненко.

Письмо было написано карандашом, на серой бумаге, не очень грамотно и не очень уверенным почерком. Содержание письма старик изложил точно и подробно. Разбирал письмо Васильев долго. И почерк был малоразборчив, и шло письмо больше месяца — в то время письма

ходили медленно,— и за этот месяц поистрепалось оно в почтовых мешках, потому что конверта не было и письмо было сложено треугольником.

Разбирал письмо Иван и думал: почерк—вот единственное, за что можно ухватиться.

— Почерк сына вы признаете? — спросил он.

— А кто его знает,— сказал Иваненко.— Может, его, а может, не его. Так каждый написать может.

— А другие письма его у вас есть?

— Откуда же у нас его письма? Жили вместе, куда же писать?!

— Ну, что-нибудь написанное им, бумага какая-нибудь, заявление, что-нибудь должно же быть!

Старику казалось, что этот молодой человек, который так долго тянет дело об убийстве сына, хотя оно было ясно с самого начала, даже сейчас, когда дело приобрело политический характер, занимается ерундой, вместо того чтобы вскрыть антисоветскую организацию. Может быть, тут лень, а может быть, кое-что и похуже. Разные способы находят враги, чтобы бороться с рабочей властью. Тут нужен глаз да глаз.

— Нет, заявлений нет,— сказал старик.— Вот тетрадки школьные, кажется, у матери сохранились.

— Принесите тетрадки,— попросил Васильев.— Вы можете сейчас принести?

— Отчего же, могу,— согласился старик, но посмотрел на Васильева подозрительно.

Через час он принес тетради. За это время Васильев, Андреев и Кауст успели обсудить удивительную новость. Мнения разделились. Собственно, даже трудно сказать, что мнения разделились. Просто все трое колебались. Либо убийства не было вообще, либо старик прав и за этим убийством стоит целая организация. Письмо-то вот оно. Кто-то должен был его написать.

Старик принес тетрадки. Сличили почерк. Видно, молодой Иваненко в школе особенным прилежанием не отличался. Почерк в тетрадках был неуверенный, крупный. Такой же, как и в письме. Впрочем, так или приблизительно так пишут все, у кого почерк не выработан.

— Черт тут разберет! — хмуро сказал Андреев.— Надо бы на графическую экспертизу отдать.

Все трое только тяжело вздохнули. Какая там графиче-

ческая экспертиза! Уголовный розыск работал в то время кустарно. Тогда еще нигде в мире не было лабораторий, не производились точнейшие анализы и сложные экспертизы, без которых сейчас ни один серьезный следователь не может представить себе работу.

Но даже по сравнению с тогдашним мировым уровнем розыска в девятнадцатом году дело у нас обстояло плохо. Старая, налаженная система уголовного розыска разладилась, а новая еще не успела наладиться. Трудно было найти эксперта, да и нельзя было до конца доверять его заключению. Оставалось одно: запросить Семипалатинск. Адрес части в письме был. Составили подробную телеграмму и немедленно отправили. Теперь оставалось ждать. В наше время на такой запрос ответ был бы получен в крайнем случае на следующее утро. В то время надеяться на скорость не приходилось. Телеграммы шли очень долго. И, кроме того, Васильев представлял себе, что телеграфный ответ из части тоже ничего не разъяснит. Могло быть и так, что под фамилией Иваненко, с его документами, прибыл совсем другой человек. Если это политическая организация, то чего лучше, если свой человек будет служить красным командиром.

Пошел Васильев в тюрьму. Шел и думал. Вот создал он себе ясную картину преступления, и казалось ему, что все без исключения факты бесспорно ее подтверждают. А на самом деле, настоящее это письмо или фальшивое, все равно обстоятельства дела не таковы, какими он их себе представлял. Может быть, если следователь заранее создал себе картину, то факты почти обязательно ее подтвердят, потому просто, что вольно или невольно он будет каждый факт истолковывать в пользу своей версии. Вот и сейчас горе и ярость старика Иваненко уже начали действовать на воображение Васильева. Уже он представлял себе подпольную организацию, разбросанную по всей стране, связанную с уголовниками типа Новожилова, использующую их в своих политических целях. Фантазия разыгралась. Усилием воли он обуздал воображение. Никаких заранее составленных версий. Только беспристрастный анализ фактов.

Все это так, но ведь Новожилова призналась.

Он сразу вызвал ее на допрос.

Конечно, он не сказал ей ни слова ни о письме, ни о

вновь возникших подозрениях. Он просто попросил ее еще раз рассказать об обстоятельствах преступления.

Новожилова вздохнула, ей надоело без конца повторять одно и то же, но начала рассказывать. Васильев внимательно следил за всеми подробностями. Может быть, хоть какую-нибудь мелочь она изложит не так, как на прошлых допросах. Он помнил ее рассказ совершенно точно. До сих пор он ни разу не уличил ее хотя бы в мелком противоречии. Может быть, он был недостаточно внимателен? Ведь все-таки он ждал ее признания, хотел его добиться, и когда она наконец призналась, то ему хотелось, чтобы ее показания были до конца убедительными и достоверными. Может быть, мозг его бессознательно отбрасывал все, что могло ее показания опорочить. Теперь он ее допрашивал с пристрастием. Он заставлял себя выискивать каждую неточность. Он сомневался во всем, он старался настроить себя на то, что ее показания лживы и он должен ее уличить во лжи. Но нет, все подробности сходились, картина была ясная.

Васильев отпустил ее и вызвал Новожилова. Тот снова клялся, божился, демонстративно молился богу, призывая его в свидетели своей невиновности. Все это производило впечатление неискренности и лживости. Были в показаниях Новожилова и мелкие противоречия. Путался он, говоря о том, откуда у него винтовка. То он говорил, что купил ее, то — что выменял на продукты.

Васильев ушел из тюрьмы растерянный. Снова и снова вспоминал он обстоятельный, подробный, точный рассказ Новожиловой. Нет, не могло здесь быть лжи. Снова и снова вспоминал он явно лживый, неискренний рассказ Новожилова. Конечно же, Новожилов врал, темнил. Но тогда откуда письмо?

Месяц прошел, а ответа из Семипалатинска все еще не было. Часто заходил Иваненко. Он по-прежнему был хмур и на Васильева смотрел подозрительно. Видно было, что разные мысли приходят ему в голову. Ему все казалось, что слишком мало волнуется этот молодой человек, что подозрительно медленно он ведет следствие. Не связан ли и он с этой организацией, масштабы которой в глазах старика вырастали день ото дня.

А Васильев места себе не находил. Замучило его это дело. Снова и снова перебирал он все доводы за убийст-

во и против убийства. Они уравновешивали друг друга. На одной чашке весов лежали показания Новожиловой, на другой — письмо из Семипалатинска.

Васильев устроил очную ставку Новожилова с женой. Но очная ставка ничего не разъяснила. Новожилова твердо стояла на своем: видела, как муж убил и вынес труп, а куда его дел, не знает. Новожилов тоже твердо стоял на своем: самогон варил, винтовку хранил, а в убийстве не виноват.

Совсем недавно Васильеву казалось, что в своей новой профессии он начал работать успешно, что следственная работа ему удастся, что именно для нее он создан, что он правильно определил свое призвание. Теперь ему казалось совсем обратное. Видно, есть у него какие-то качества, которых не должно быть у настоящего следователя. Или нет у него качеств, которые необходимы для следователя. Ведь вот запутался он в первом же деле. Чего он, в сущности, добился? Ну, скажем, придет письмо о том, что Иваненко жив, и, стало быть, Новожилов в убийстве не виноват. Так оно пришло бы и без Васильева. Каждый бы догадался отправить запрос в Семипалатинск.

Он понимал, что нельзя верить этим настроениям, так же как нельзя было раньше быть уверенным в правильности своей первой версии. Командир военного отряда, капитан корабля, начальник экспедиции не имеют права поддаваться панике при неудачах. Так же не может, не имеет права поддаваться панике следователь. Ох, как легко это сказать — не поддаваться панике! И как это трудно на самом деле. Многое передумал Иван за этот месяц. Да, интуиция, находка, смелое предположение — это должно быть в работе. Без этого следователь никуда не годится. Но интуиция, предположение — все это только причина искать во всех направлениях. Искать объективные, точные, неопровержимые улики.

Ждали, ждали письма, и, как всегда, когда чего-нибудь долго ждешь, письмо пришло неожиданно. Васильев вернулся с очередного допроса, опять измученный неясностью и сомнениями, и сразу по лицам Андреева и Кауста понял, что оно пришло.

Командир части сообщал, что Иваненко действительно прибыл в часть, действительно признался, что проиграл в карты ремень, шинель и папаху, за что и получил сутки

ареста. Однако запрос из следственной комиссии встревожил командира части. В письмо была вложена фотография Иваненко, и командир просил телеграфно сообщить, действительно ли это тот самый Иваненко или с его документами в часть пробрался враг.

Немедленно вызвали старика. Старик фотографию опознал, но письму не поверил. Речь шла о его сыне, и он должен был наверняка знать, жив его сын или нет.

Он убедился только через несколько дней, когда получил от сына письмо. Сын писал о многих подробностях своего детства и домашней жизни, которых никто, кроме него, знать не мог.

Тогда Иваненко пришел к Васильеву вместе с женой. Он развязал кисет и предложил Ивану махорки. Вид у него был виноватый. Он смущенно заговорил о том, что небось замучил комиссию своим недоверием и подозрительностью, и потом сказал:

— Мы неправы, Новожилов подлец и грязный человек, но сына он не убивал, сын жив.

Снова Васильев вызвал Новожилова на допрос.

— Зачем вы мне лгали? — сказал он. — Иваненко жив, вот письмо из части, вот его фотография.

Новожилова заплакала. Из длинного и бессвязного ее рассказа Иван понял главное. Муж ее запугал, забил, травил. Уйти от него она боялась. Она так привыкла его бояться, что ей казалось: куда бы она ни ушла, он ее всюду найдет. Только если бы мужа осудили за убийство, она бы от него освободилась.

У Новожилова хватало преступлений и без убийства. За незаконное хранение оружия, за самогон и спекуляцию он получил восемь лет заключения. Васильев присутствовал при его прощании с женой, оно не было нежным.

— Имей в виду, — сказал Новожилов жене, — если хоть что-нибудь из имущества продашь или обменяешь, вернусь — за все рассчитаюсь.

— На что же она вам передачи будет носить? — не утерпев, спросил Васильев.

— Это ее дело, пусть достает где хочет.

Так он и уехал в лагерь, ненавидя жену и больше всего беспокоясь за жалкое свое имущество.

Жену отпустили домой, учли ее несознательность и энергичный характер супруга.

Дело было кончено. Скверное настроение было у Васильева. Все он напутал. Может быть, действительно следственная работа не для него?

И все-таки, может быть, с этого дела он и начал формироваться как следователь. Ему повезло. На нелегком опыте он убедился, что только точные и объективные данные могут решить вопрос о виновности или невинности, что никаким, даже самым, казалось бы, искренним показаниям подсудимых, самому полному сознанию, можно верить только тогда, когда проверенные и неоспоримые улики их подтверждают. Может быть, полная удача при первых шагах принесла бы ему вред. И неоценимую пользу принесла ему эта первая, тяжело пережитая неудача.

УЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В начале 1921 года следственную комиссию расформировали, и Васильева направили в сводный боевой летучий отряд при Ленинградском УГРО.

В семь утра начинались занятия. В Михайловском саду обучали стрельбе и строю. Командовали бывшие унтер-офицеры, народ грубый, привыкший тиранить подначальных. Обращались они с бойцами сводного отряда так же, как когда-то с солдатами: изобретательно и обидно ругались, из-за каждого пустяка грозили страшными карами. Бойцы сводного отряда старательно выполняли команды, беспрекословно выслушивали ругань, и поглядеть со стороны — казалось, что унтер-офицеры командуют такой же бессловесной массой, какой командовали и прежде, в недоброй памяти царской армии.

Однако это только так казалось. Беспрекословно выполняя приказы начальников, молча выслушивая их угрозы и ругань, бойцы отряда на самом деле не очень-то их боялись. Все было не так, как раньше. Усатый унтер мог грозить какими угодно страшными карами, на самом деле жизнь и благополучие бойца от унтера не зависели. Мог унтер сколько угодно грозить кулаком. Пусть бы он только попробовал пустить его в ход! И командиры и подчиненные понимали, что в этом случае плохо пришлось бы унтеру, а не бойцу. И все-таки бойцы беспрекословно слушали ругань и даже, казалось, с трепетом вы-

слушивали угрозы начальства. Причины этому были особые. Унтер-офицеры привыкли так обучать рядовых и не умели иначе. Бойцы прощали им неприятные эти привычки. Пусть ругаются и грозят, лишь бы учили толком. Никто другой не сможет научить бойцов не только храбро, но и умело драться.

Впрочем, в Михайловском саду проводилась только самая легкая часть обучения. Главные занятия проходили в обыкновенных, пустующих после революции квартирах, на лестницах обычных домов, на чердаках, в подвалах. Именно в этих условиях предстояло воевать бойцам сводного боевого летучего отряда. Нужно было уметь укрыться от пули бандита, который отстреливается на лестнице, и не дать ему убежать. Нужно было суметь окружить банду, засевшую в подвале или на чердаке, правильно использовать хитрую топографию дворов и подворотен, лестничных клеток, чердачных ходов и окон. Надо было уметь проползти в тесную щель между поленищами дров, появиться перед бандитом неожиданно, на секунду раньше его выстрелить из револьвера. Надо было уметь, если бандиткинется на тебя с финкой, молниеносно вытащить свою финку и оказаться сильнее его в бою на ножах.

И так без конца разыгрывались эти условные, примерные, опытные схватки. Бойцы врывались в квартиры, вели жестокие битвы на чердаках, пролезали в узкие щели, учились замечать любое возможное укрытие — трубу, дымоход, кучу хлама, безобидный, плотно закрытый шкаф. Всюду мог укрыться бандит и отовсюду мог послать тебе в спину смертельную пулю.

Без конца повторяли бойцы перебежки по лестнице, учились быть незаметными, прячась за дымоходом, за поленицей дров, учились замечать за поленицей дров или дымоходом ловко спрятавшегося врага.

Так проходили дни, а по ночам вся эта наука проверялась на деле: поднятые по тревоге бойцы шли на операцию. Тут уже командовали настоящие начальники, бывшие матросы или кавалеристы, члены партии большевиков, иногда бывшие подпольщики, знавшие, как использовать топографию городского квартала, на собственной шкуре изучившие тактику войны в проходных дворах, в подвалах и подворотнях.

Сколько ни ликвидировали банд, на смену им появлялись новые. Людские отребья объявили новой власти войну. Война была отчаянная, война на уничтожение, война без законов и правил.

Были случаи, когда бандиты уходили, прикрываясь женщинами и детьми, зная, что бойцы отряда не решатся стрелять. Был даже случай, когда банда выпустила пух из нескольких перин. Долго мела по улице пуховая пурга. Долго нельзя было разобрать, где свой, где враг. Так и ушли бандиты.

Порой перестрелка затягивалась на полсутки, и редко когда мог рассчитывать сводный отряд на подкрепление. Откуда его было взять, это подкрепление? Выигрыш в беспощадной войне определялся медленно и в конечном счете не количественным соотношением сил. Были среди бандитов талантливые, изобретательные, много было среди них отчаянно смелых и хладнокровных в бою. И почти все были жестокими до зверства, беспощадными к людям, ко всем людям, не только к противнику, не только к мужчине, не только ко взрослым. На улицах подбирали трупы детей, изуродованные трупы женщин. Не только зверство руководило бандитами, когда они стреляли в девочку или подвергали жестоким пыткам попавшую им в руки женщину. Зверство соединялось с расчетом. Они хотели, чтоб их боялись, чтоб каждый человек, независимо от пола и возраста, трепетал перед ними. Они добились этого. Только это привело не к тому результату, на который они рассчитывали. У убитого ребенка были родители, у убитой женщины — муж, родные, подруги. Ненависть окружала банды, и от этой ненависти некуда было укрыться. Где бы они ни собрались, где бы ни хотели отдохнуть или посоветоваться — в квартире ли, в пустом складе, в подвале или на чердаке, — тысячи глаз следили за ними. И вот безобиднейшая старушка бежала в отряд сообщить точный их адрес. Маленький мальчик тянул за рукав бойца и шепотом предупреждал: на заднем дворе есть лаз, они могут уйти. Женщина указывала на поленницу дров: там они, там двое спрятались! А как же можно укрыться от людей в пусть опустевшем, но все же большом, населенном городе!

Когда защищаться становилось уже невозможно, больше всего боялись бандиты попасть в руки населения.

Кому угодно из отряда, кому угодно из угрозыска, пусть даже самому Кишкину, лишь бы не населению. Для них мирного населения не было. Они знали, какие страшные самосуды устраивали над сдавшимися бандитами разъяренные их зверствами люди. Знали они и то, что если уж попадут в руки мирных людей, то единственным их защитником будет угрозыск, и совсем неизвестно, удастся ли отряду угрозыска бандитов отбить.

Знаменитый Кишкин был в то время начальником Петроградского угрозыска. О его отчаянной храбрости ходили легенды. Он был худощав, на одном глазу была у него черная повязка, на голове лихо сидела бескозырка, и на ленточке бескозырки красовалось название его миноносца — «Грозящий». Неизвестно было, когда он спал. Не было у него ни семьи, ни дома. Жил он одними только делами и мыслями революции и действительно ничего не боялся. Зато как же боялись его! Его бесстрашие действовало гипнотически, бандитам казалось, что пуля его не берет. Может быть, именно потому, что верили — попасть в Кишкина невозможно, промахивались лучшие стрелки из бандитов. А он во весь рост, размахивая наганом, вел на бандитов отряд, и легендарная его слава, его бесстрашие подавляли бандитов, сеяли среди них панику, лишали надежды на спасение.

И все-таки, как ни боялись его бандиты, мирных жителей они боялись больше. Бывали случаи, когда засевшая где-нибудь в подвале банда после отчаянной перестрелки, поняв, что сопротивляться бессмысленно и удрать не удастся, начинала переговоры. Из забаррикадированного окна раздавался голос:

— Кишкин здесь?

— Здесь,— отвечал Кишкин.

— Кишкину сдадимся! — кричал бандит. — Только народ отгоните.

— Ладно,— соглашался Кишкин,— выходи.

Бойцы оцепляли путь от подвала до машины угрозыска. Между цепями бойцов проходили бандиты, опустив глаза, чтобы не встречаться взглядами с мирными жителями, стоящими за цепью. Странно, многие из бандитов знали, что расстрела им не миновать. Казалось бы, чего же бояться: все равно один конец. А все-таки страшнее расстрела было попасть в руки родителей убитых де-

тей, мужей замученных женщин, сыновей расстрелянных стариков. Лучше уж к Кишкину.

Ненавидящими глазами смотрели на проходивших женщины, дети и старики. Только цепь бойцов отделяла их от бандитов. Бойцы молодые, худощавые, как говорится — кожа да кости. Да и как им не быть худощавыми? Всего-то еды попадает — немного пшенной каши с ложкой льняного масла да в хороший день оладьи из жмыха. А чай и забыли, когда пили в последний раз.

Опустив глаза, проходят бандиты к машине, даже спиной чувствуя ненавидящие взгляды детей, женщин и стариков. Бандитов ждет трибунал, приговор и расстрел. Закон революции беспощаден. Но все-таки хорошо, что закрылась дверца машины и не преследуют уже ненавидящие глаза мирных жителей Петрограда.

ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Одной мартовской ночью подняли особый сводный отряд по тревоге, как, впрочем, поднимали почти каждую ночь. Казалось, все было как обычно. Опять, наверно, где-то бесчинствует банда, опять, наверно, ночь пройдет в перестрелке, в мелких перебежках по лестницам и дворам, в событиях острых, опасных, но давно уже ставших привычными. И все же в сегодняшней ночи было что-то не похожее на другие. Как отличает опытный боец учебную тревогу от тревоги боевой? Трудно сказать. По особой отчетливости команд, по особой подтянутости командиров, по многим оттенкам, которые неопытный человек не заметит и даже опытный не сумеет определить словами. Все тревоги в особом сводном отряде были боевыми, но эта была какая-то сверхбоевая, особенная среди боевых. Никто ничего не знал, но это почувствовали все сразу. Вызывал отряд сам начальник угрозыска Кишкин. Он стоял в стороне от стола, вытянувшись в струну, в правой руке держа наган, левой взявшись за пояс. Он был, как всегда, в бушлате и бескозырке, на которой золотилась надпись «Грозящий», пустая глазница была закрыта черной повязкой, единственный глаз смотрел строго и хмуро. Сдержанным напряжением дышала фигура Кишкина. Казалось, не было необходимости держать в руке наган — кругом были свои и никакая опасность

Кишкину не угрожала,— но душевное его состояние требовало соответствующей позы. Наган в руке подчеркивал напряженность и ответственность минуты. Неподвижно стоял он, смотря, как входят и размещаются бойцы. Торопить никого не приходилось, каждый спешил занять место, каждый старался двигаться бесшумно. Минута была торжественной. Что-то случилось трагическое и важное. Никто не мог бы объяснить, почему он это чувствовал, но чувствовал это каждый. В стороне, на стульях у стены, сидели братья Крамер. Старший, Яша,— заместитель Кишкина, Миша, младший,— начальник собачьего питомника. Оба были веселые, разговорчивые люди, оба вечно шутили и улыбались, а сейчас оба сидели молча и смотрели прямо перед собой хмурым, серьезным взглядом.

Тихий шорох слышался, пока размещались бойцы, но вот он затих. Последний боец нашел свое место и застыл. Кишкин выждал паузу и сказал:

— Контра, товарищи, подняла в Кронштадте мятеж.

Он замолчал, и с минуту молчал, и стоял по-прежнему не шевельясь, и эта неподвижность его была торжественнее любого жеста.

— Генерал Козловский,— продолжал Кишкин,— и старший писарь эсер Петриченко собрали врагов революции и многих честных морячков обманули лживыми лозунгами.

Опять замолчал Кишкин. По тому, как задрожала его рука, державшая наган, по тому, как стиснула она рукоятку револьвера, чувствовалось, с каким напряжением заставляет он себя оставаться внешне спокойным.

— Контра подняла мятеж. Нашлись гады в Балтийском флоте.— Кишкин скрипнул зубами и снова минуту молчал.— Дело плохо, товарищи,— продолжал он негромко и хмуро.— Март на дворе. Скоро вскроется залив, как ее тогда возьмешь, контру? Отсилятся за балтийской волной. Укрепятся. А там из-за моря мировой капитал руку протянет. Ждать нельзя, товарищи,— доверительно сказал Кишкин,— надо сейчас брать контру. Не дать укрепиться. Словом, отряд наш идет на Кронштадт. Есть кто больные?

За все время он ни разу не повысил голоса, ни разу не шевельнулся. И сдержанность его, ровный, негромкий

голос с огромной силой подчеркивали важность события, трагическую напряженность минуты.

Четверо сказались больными. Кишкин отпустил их молча, кивком головы, и они ушли. Никто никогда не попрекал их, но служить в отряде они уже не смогли. Они ушли из отряда, и это всё о них.

Оказалось, что отныне отряд называется отрядом особого назначения 18-й милицейской бригады. Кроме личного оружия, отряду выделили небогатое имущество: походную кухню, лошадь и три станковых пулемета. Командование отрядом принял Миша Крамер. Построились сразу. Обычная недолгая суета, и отряд зашагал по темным петроградским улицам.

На Балтийском вокзале никаких поездов не оказалось. Только на дальних путях светился тусклый фонарь на маленьком маневровом паровозике. Крамер бегал, выяснял у начальства, спорил, ругался, даже хватался за наган, но ничего добиться не смог. Не было поездов, и всё. Может быть, действительно сказалась общая разруха, а может быть, и тут приложила руку контра. Поговорили об этом среди бойцов, но разбираться было некогда.

Как будто не над чем было смеяться, но Крамер стоял перед фронтом посмеиваясь.

— Плохо, товарищи! — сказал Крамер. — Опоздаем, задержимся — нехорошо получится. Кронштадт без нас возьмут. Придется, товарищи, шагать пешком. По холоду быстро дошагаем.

Предложение показалось бесспорно правильным. Действительно, вдруг, пока станут ждать поезда, пока доедут, Кронштадт уже и возьмут. Дурацкая выйдет история.

«По холодку» было довольно мягкое выражение. В марте под Петроградом лютые бывают метели. Шел отряд особого назначения, путаясь ногами в сыпучем снегу, наклонив головы, как бы пробивая стены ветра и снега. Поскрипывали колеса походной кухни, пробивалась сквозь снег тощая лошаденка. Восемнадцать верст считалось до Петергофа, но к этому надо было присчитать темень, пургу и сыпучий снег под ногами, и худые сапоги и обмундирование третьего срока службы, и тонкие желудки бойцов. Сперва говорили, перешучивались, смеялись, потом замолчали. Шагали, шагали, шагали.

Ветер так продувал шинели, что они, казалось, не сохраняли тепло, а леденили тело. Все-таки дошагали к утру в Петергоф.

Крамер побежал по начальству: где разместить людей, чем покормить людей? Рассветало медленно. Пурга продолжала мести. Никак было не найти тех, кто должен разместить, накормить, направить. Наконец выяснилось, что надо идти в Ораниенбаум. Бойцы немного поворчали, но все равно было так плохо, что оставалось только смеяться. Поддразнивали друг друга, смеялись над тем, что холодно, над тем, что устали, над тем, что дорога плоха. Шли, шли, дошли все же до Ораниенбаума. Тут наконец разместили в пустой казарме. Обрадовались, но скоро поняли, что радоваться особенно нечему. Окна в казарме давно уже были выбиты, и снегу в помещении было почти столько же, сколько и на дворе. Кое-как устроились. Во внутреннем помещении, где не было окон, нашли печь, притащили досок, наверно, какой-то забор разобрали, занялся огонек. Все повеселели.

Тянет к огоньку озябшие руки Васильев, и кажется ему — а молодым людям в такие минуты многое кажется, — кажется ему, что он и его товарищи идут на отчаянную борьбу со злобным и сильным врагом, что им, этим отогревающимся у огонька голодным людям, предстоит победить многоглавую гидру, страшную контру, поднимающуюся против его, Васильева, революции.

Он и прав и неправ. Да, и на его плечи ляжет частица подвига, который войдет в историю. Но рядом с его отрядом пойдут по льду Финского залива десятки других отрядов. С северных фортов двинутся короткими перебежками красные курсанты, и, наконец, возглавят наступление триста делегатов Десятого съезда РКП(б); Десятого съезда, который, закончив обсуждать вопрос о замене продразверстки продналогом, о крутом повороте в истории революции, пошлет тех делегатов, которые могут держать винтовку, защищать в отчаянном бою само существование революции.

Много позже узнает об этом Иван, а сейчас он согрелся, он поел и наконец сыт, сами собой закрываются у него глаза. Он устал.

На следующую ночь в четыре часа пошли по льду через залив на Кронштадт. Всем выдали белые халаты,

чтобы не видны были на снегу. Командовал Саблин, офицер царской армии, военный опытный и горячий. Без конца попадались полыньи. Тут, конечно, не весна сказывалась. Мятежники били по льду из орудий. Даже если снаряд не разрывался, все равно образовывалась полынья, и двигаться по льду становилось трудно. Наступавшие шли тремя цепями. Иногда тьму освещали вспышки выстрелов из Кронштадта, разрывы снарядов. Приказано было ползти. Лед был ровный, да и снег к марту слежался, но полыньи попадались всё чаще и чаще. Их надо было обходить, вернее, обползать. Можно было совсем потерять направление и запутаться. Ориентировались на вспышки выстрелов. Ползти предстояло семь верст. Разговаривали полусшепотом. Ползли, ползли, натыкались на полынью, меняли направление; приподняв голову, оглядывались: где Кронштадт. Люди разных отрядов смешались, и невозможно было понять, где кто, где свой отряд, где свой командир.

Впереди ползла первая цепь, за нею ползла вторая. Васильев был в третьей. То есть должен был быть. Где он на самом деле — кто знает. Он полз, полз, полз, теряя направление, ждал вспышки. Опять полз, иногда оставался один, оглядывался: не отбиться бы от своих. Пропадешь тут один на льду. Иногда, наоборот, неожиданно натыкался на кого-то. Тихо переговаривались. Товарищ тоже не знал ничего. Ползли дальше.

Орудия мятежников били теперь не переставая. Всё новые и новые полыньи появлялись на поверхности льда. Не столько от снарядов погибало людей, сколько тонуло в ледяной воде залива. Но и убитых было достаточно. Иногда натыкался Васильев на человека, лежащего на снегу. Радовался: спросит, что, где, может, товарищ знает, а товарищ, оказывается, мертвый. Ползи дальше.

Рядовому бойцу трудно понять ход событий. После уже узнал Васильев, что дрогнула первая цепь. Били кронштадтцы жестоко, дрогнула и вторая, и силою обстоятельств они, третья цепь, подползли первыми. Вот уже и крутые кронштадтские пирсы впереди, и, как ни опасно здесь, все-таки облегчение. Кончились эти проклятые семь верст, полусшепот, снег, полыньи, свист снарядов, треск ломающегося льда, вскрики или приглушенные стоны раненых.

Как уж вышло, неизвестно, но Саблин оказался здесь рядом, пробежал вдоль цепи, пригибаясь к земле и негромко объясняя бойцам задачу. Мятежники били теперь по третьей цепи в упор, били гранатами, пулеметами и прямой наводкой из орудий. Белый снег на льду залива будто светился, и, хотя луны не было, мятежники различали движение фигур на льду, нападающие видели контуры судов и пирсов. Снова пробежал, пригибаясь, Саблин, негромким голосом объяснил задачу, и Васильев понял, что ползти уже нечего, что надо вскакивать и бежать, бежать направо, туда, где у самого пирса вмерзло в лед несколько барж. Пока он соображал, о чем говорит Саблин, убило бойца, ползшего рядом. Васильев вскочил и кинулся к баржам. Ползшие рядом тоже вскочили и побежали туда же. Под защитой барж собралась группа бойцов, сколько — некогда было считать. Большой ли, маленький, но отряд. Саблин был здесь. Теперь они хоть находились под прикрытием. Передохнули минутку. Саблин скомандовал, и они полезли на баржи. Саблин влез первым, крикнул им что-то и побежал по палубам. Они побежали за ним. Вдруг оказалось — не было времени сообразить, как это получилось, — что они уже бегут по улицам Кронштадта. В них стреляли из окон и с крыш. Некоторые бойцы падали, а остальные бежали дальше.

Впереди была каланча, помещение пожарной команды. Мятежники били разрывными пулями, падало много бойцов. У мятежников все точки были пристреляны. Ворвавшись в помещение пожарной команды, бойцы перевели дыхание. Из отряда особого назначения здесь было человек шесть. Осмотрелись и стали сами из укрытия бить по противнику.

Осторожно высунувшись в окно, Васильев увидел улицу. Странно выглядела она. На мостовой валялись трупы, и нельзя было разобрать, где лежит мятежник, где свой, окна были заделаны кирпичом, забиты матрацами, какими-то кусками железа, какими-то частями мебели, и из каждого окна без конца стреляли, где из винтовки, где из пулемета. На крышах, за трубами, прятались стрелки, и с чердаков палили винтовки, и тоже нельзя было разобрать, откуда бьет свой, откуда мятежник. Все ревело и грохотало вокруг, но, несмотря на это, шестеро стоявших у окон сразу услышали, что открылась

дверь в помещении. Они оглянулись, думая, что ворвались мятежники, но это прибежал незнакомый им красный командир. Как он разыскал их, как он узнал, что здесь дерутся свои, выяснять было некогда. Разгоряченный, потный, он прибежал с поручением. Напротив, сказал он, дерется Брянский полк. Мешает им пулемет мятежников. От брянцев никак не достать проклятого пулеметчика. Командир полка просит: мол, снимите, пулеметчика, ребята, а то воевать прямо невозможно. Васильев выглянул в окно и разглядел пулеметчика. Он пропускал сквозь пулемет ленту за лентой, и пулемет непрерывно дрожал, посылая веером пули.

Васильев мало что соображал в эти минуты. Его трясла нервная дрожь от возбуждения, от усталости, может быть и от страха. Он все-таки понял, что требуется сделать. Работа была ему знакомая: бой в квартирах, на лестницах, на чердаках и в подвалах. Он присмотрелся и решил, что лучше всего добираться чердаком.

УЧЕНИЕ ПРИГОДИЛОСЬ

И вот чердак. Пыль. Хлам. Запыленные щербатые дымоходы. Повезло. Чердаки пусты. На этой стороне улицы противник уже снял свои огневые точки. Васильев не запомнил, как перебирался с чердака на чердак. Он был как в лихорадке; казалось, действовал механически, не думая, и все-таки делал то, что следовало. Один чердак, и другой, и третий. Где-то он лез по крыше; кажется, в него стреляли, но он уже добрался до следующего чердака и влез в окно, скрылся из виду, и в него перестали стрелять. Вообще сознание у него было разгоряченное, ненормальное, будто во сне. Но то, что относилось непосредственно к нему, к его участию в бою, он понимал великолепно и действовал безошибочно.

Так же безошибочно он определил, что пробежал достаточное расстояние и что находится приблизительно против пулеметной точки, которую должен снять. Он нашел ход на лестницу. Дверь была открыта настежь. Наверно, здесь раньше стоял пулемет мятежников, и, когда его уносили, дверь не закрыли. Прыгая через несколько ступенек, он сбежал по лестнице и выскочил в подворотню. Осторожно он высунул голову. Пулеметчик лежал к

нему спиной и, прячась за щитком, бил из пулемета по бойцам Брянского полка. Васильев выстрелил. Он, наверно, попал в пулеметчика и легко его ранил. Пулеметчик вскочил и приготовился броситься на Васильева. Расстояние между ними было метров тридцать. Иван, бросившись первым, проскочил их в несколько шагов и с разгона налетел на пулеметчика. Подробностей борьбы Иван потом не мог вспомнить. Борьба была видна и нашим и мятежникам. И мятежники и наши стреляли, наши — стараясь попасть в пулеметчика, мятежники — в Васильева. Пулеметчик упал. Теперь Васильев стоял один, и в него летели пули из окон и с крыш. Дело было сделано, огневая точка снята, надо было спасаться. Он побежал по улице, не раздумывая выбил первое попавшееся окно и перелез через подоконник. Он думал, здесь пусто, но здесь было много народу. Все что-то кричали Васильеву. Иван растерянно оглядывался. Он все еще находился в том состоянии возбуждения, когда человек инстинктивно делает то, что следует, но смысл событий с трудом доходит до его сознания. Он с удивлением заметил, что люди, заполнившие большую комнату, — это женщины, дети и старики. Они требовали, чтобы Иван ушел. Почему? Он не мог ничего понять. Женщины и старики волновались, говорили, перебивая друг друга, и только постепенно смысл их слов дошел до сознания Васильева. Это дом пожарной части. Семьи пожарников укрывались здесь от шедшей в городе войны. Они, разумеется, не могли да и не хотели участвовать в происшедшем сражении. Они были нейтральны. Только нейтральность, казалось им, могла их спасти. Пусть Васильев уходит. Если мятежники узнают, что семьи пожарников прячут советского бойца, они убьют женщин и стариков, неизвестно, что будет с детьми. Пусть он уходит!

Женщины кричали, перебивая друг друга, старики грозили ему кулаками, дети смотрели испуганно, как будто Васильев и был самым страшным злодеем.

— Хорошо, — устало сказал Иван. Не мог же он драться с этими бессильными, испуганными людьми. — Где тут у вас выход?

Во всяком случае, выйти обратно через окно, прямо под пули мятежников, уже его заприметивших, обозленных на него за пулеметчика, он не мог. И снова поднялся

крик, и снова грозили старики кулаками, перебивали друг друга женщины и испуганно смотрели дети. Что такое? Иван не мог ничего понять: он же уходит, чего они еще от него хотят? Он с трудом разобрал, в чем дело. Они хотели, чтобы он обязательно вышел обратно через то же окно, через которое вошел. Пусть мятежники видят, что красный боец не скрывается здесь. Пусть видят, что семьи пожарников не прячут его.

Все, что угодно, было лучше, чем эти женские крики, эти старческие кулаки, эти детские взгляды. Не раздумывая, Иван выскочил обратно в окно. Пули свистели по-прежнему, но стреляли не в него. Мятежники не ждали, что он снова появится. Васильев огляделся. Лежал убитый пулеметчик, возле него стоял пулемет, и рядом лежали приготовленные ленты. Васильев понял, что надо делать. Он снова перебежал через улицу, лег за щитком, развернул пулемет и стал бить по мятежникам. В это время много их выскакивало из окон подвалов и первых этажей, из подъездов и подворотен.

Васильев вставлял ленту за лентой, и очередь за очередью прошивала бегущих.

Последняя лента кончилась. Мятежников на улице не было. Красные бойцы выскакивали из-за укрытия.

Васильев вскочил и побежал искать своих. Какой-то командир бежал ему навстречу.

— Слушай, товарищ,— крикнул он,— тебе как фамилия?

— Васильев,— испуганно ответил Иван.

— Какой части?

— Сводного отряда особого назначения восемнадцатой милицейской бригады. А что такое? Наделал я чего?

— Не знаю,— сказал командир.— Саблин велел спросить.— И убежал.

Побежал дальше и Васильев. Состояние одержимости проходило. Снова он ясно понимал происходящее. Стрельба доносилась издалека. Бой шел на других улицах. На этой улице оставшиеся в живых мятежники выходили из укрытий с поднятыми руками. Теперь Васильев почувствовал, как он устал. Но до отдыха было еще далеко. Расспросив нескольких бойцов, Васильев нашел свой отряд. Он появился как раз вовремя: отряд перемещали на новую позицию.

Бой за Кронштадт шел еще больше суток, и все время Васильева мучила тоска. Видно, что-то он натворил, в чем-то провинился серьезном, иначе зачем Саблину спрашивать его фамилию.

Он перебирал последние сутки, минуту за минутой, и все-таки не мог понять, где, в какую минуту совершил он провинность. Мысль эта не оставляла его и тогда, когда пал мятежный Кронштадт и особый сводный отряд отправился домой. Сутки отсыпались бойцы, но и во сне Иван, кажется, размышлял, в чем же его вина, что он натворил такого.

Неделей позже Васильева вызвал заместитель Кишкина — Крамер.

— Здравствуй, Васильев,— сказал он.

— Здравствуйте, товарищ Крамер.

— Ну, поздравляю тебя. Декретом ВЦИК ты награжден орденом Боевого Красного Знамени. Тебе надлежит явиться в помещение Михайловского театра, и там тебе будет вручен орден.

Васильев растерялся.

— Товарищ Крамер,— сказал он,— не вышло ли ошибки? А то неловко получится.

— Ошибки? — удивился Крамер.— Почему ошибки? Васильев Иван Васильевич? Правильно?

— Это-то правильно,— согласился Иван,— а за что же орден?

— Как — за что? В Кронштадте ты пулемет брал?

— Ну, брал.

— Значит, ты и есть.

Михайловский театр! Легко сказать. Бывал он в Михайловском театре, знает. Оранжевый бархат, золото, красота! Васильев посмотрел на себя и даже застонал. Штаны были потертые, латанные-перелатанные, выцветшие до белизны, да и грязноватые. Обмотки расползались по ниткам. Кончики ниток торчали отовсюду, да и чистотой обмотки тоже не могли похвастаться. Ботинки, конечно, драные, но если их вымыть да намазать жиром, то ничего, дыр видно не будет. Зато гимнастерка решительно не годилась для такого торжественного случая. Она совсем расползлась, и зашивать дыры было бессмысленно — ткань не держала нитку. В общем, в отряд Иван вернулся, как ни странно, в очень плохом настроении.

Мысль о том, как жалко он будет выглядеть среди роскоши бывшего императорского театра, не давала ему покоя.

Товарищам по отряду он прежде всего и сообщил, что вот, мол, не знает, как быть с одеждой, неудобно идти в Михайловский театр. После уже, расспросив Ивана как следует, товарищи поняли, что главное все-таки орден, а одежда — дело второстепенное.

Штаны и обмотки Васильев тщательно выстирал. Они стали как будто приличней, и даже белесый цвет как будто бы отчасти исчез. Ботинки вымыл, смазал жиром, и они выглядели хоть куда. Но сколько он ни мучился с гимнастеркой, гимнастерка лучше не становилась. Пришлось просить новую. Новую не дали, но дали все же другую, не так сильно поношенную. К сожалению, была эта гимнастерка на три номера больше, чем надо. Весь отряд принимал участие в обсуждении проблемы. С помощью английских булавок и других приспособлений довели ее кое-как до приличного вида.

И вот Михайловский театр. Начальник штаба Петроградского военного округа вручает Васильеву орден. Сверкающий золотом, обитый оранжевым бархатом, аплодирует бывший императорский театр, и Иван, взволнованный, пробормотав нечто невнятное, удаляется со сцены...

И снова отряд, учения днем, тревоги по ночам. Впрочем, тревог стало меньше. Постепенно уменьшалось количество банд, да и уверенности прежней у бандитов не стало. Легче стали и учения. Бойцы уже знали, пожалуй, не меньше своих учителей. Следственных дел не было совсем. Васильев стал забывать, что собирался заниматься уголовным розыском. Будущее, думал он, пройдет, наверно, на войнах. Все-таки орден ему дали за боевые заслуги.

На самом деле на войну в следующий раз Васильев попал через много лет. Но очень скоро пришлось ему вернуться на другую войну, которая войной не называется, но ведется всегда, день за днем, ночь за ночью, без передышек, без перемирий, которая началась вместе с историей человечества и кончится только при коммунизме.



Глава третья **ГИРЯ НА РЕМЕШКЕ**

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Партия объявила нэп—новую экономическую политику. Продразверстка была заменена продналогом. Необыкновенно быстро менялся облик Петрограда. Крестьяне повезли в город продукты. Оживились рынки. Откры-

лись кустарные мастерские и маленькие частные лавочки. Видно, доходы у владельцев были немалые, потому что лавочки росли день ото дня, становились магазинами, на улицах появились рекламы, хозяева переманивали покупателей друг у друга. Ожил Невский, появились извозчики и даже лихачи на дутиках. Выходил хозяин на крылечко своего магазина, улыбался солнцу, прохожим, собственным мыслям:

«Тяжелое было время, но, слава богу, пережили. Конечно, еще не так, как при царе, но жить уже можно, а дело поворачивает на лучшее».

Сладостные были мечтания у хозяина, но мечтаниями им и суждено было остаться.

Совсем о другом думала в это время партия, и совсем по-иному предстояло сложиться истории страны.

В марте 1923 года, немного позже тех дней, о которых мы сейчас рассказываем, Владимир Ильич Ленин писал:

«Если мы сохраним за рабочим классом руководство над крестьянством, то мы получим возможность ценой величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной машинной индустрии, для развития электрификации, гидроторфа, для достройки Волховстроя и прочее. В этом и только в этом будет наша надежда. Только тогда мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, а именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну, — на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя и т. д.»

Царская Россия всегда была нищей, отсталой страной, а сейчас, после войны империалистической и войны гражданской, после страшной разрухи, бедна, ох, бедна была Советская Россия!

Государству нужны были деньги, деньги и деньги. Лежали в развалинах заводы и шахты, без угля ржавели пароходы и паровозы, по городам бродили десятки, а может быть, сотни тысяч беспризорных детей. Их надо было накормить, одеть, отучить от бродячей, воровской жиз-

ни. Иначе их приберет к рукам уголовщина, страна населится сотнями тысяч воров и убийц.

Ради того, чтобы спасти замызганных мальчуганов и девчонок, в детстве уже познавших всю грязь, все черные стороны жизни, ради того, чтобы их накормить, одеть, выучить, воспитать, ради этой великой задачи были открыты игорные дома.

Пусть крутится колесо рулетки, пусть владелец частного магазина, рыночный спекулянт, непойманный валютчик проиграют часть своих доходов. Азартные игры— зло, но эти деньги пойдут на спасение детей.

Хоть медленно, но неуклонно страна выходила из разрухи. Медленно, но неуклонно менялась жизнь, противоречивая, не всем и не всегда понятная.

Жизнь бойца боевого летучего отряда Васильева тоже изменилась. Лучше стало питание, и уже не мучило постоянное чувство голода. Прошли времена полусгнивших обмоток и выцветших, протершихся до дыр штанов. Появились справные сапоги, невыгоревшие гимнастерки и галифе синего цвета. Бойцы сводного отряда обрели если не щегольской, то, во всяком случае, бравый вид.

Отбыв смену, Васильев ехал домой по Ириновской ветке. Он снимал теперь угол у знакомых, в доме рядом с полигоном, где когда-то служил. Далеко было, правда, ездить. До Охты трамваем или пешком, оттуда поездом еще час, а то и полтора. Зато угол стоил недорого.

Служба стала теперь легче. Об уличных боях с бандами только вспоминали. Раскрывали преступления работники розыска, а дело бойцов было охранять место преступления от любопытных. В общем, так сказать, караульная служба. Вызывали по тревоге не весь отряд, а несколько человек, много, если отделение. Проводились политзанятия, беседы, лекции. Шла мирная жизнь.

Однажды Васильев кончил дежурство и мог ехать домой отдыхать. Дорога, как мы уже говорили, предстояла долгая. Трамваи ходили тогда редко и плохо. Надо было долго ждать на остановке, потом висеть на подножке, уцепившись за поручни, до самого Ириновского вокзала и потом трястись в неторопливом поезде узкоколейки. Но Васильев к длинной этой дороге привык и не огорчался.

Итак, только собрался Иван идти на трамвайную остановку, как вдруг раздалась команда:

— Первое отделение в ружье!

Хотя Васильева это не касалось, его дежурство кончилось, он все же поинтересовался, что случилось и куда вызывают. Оказалось, что на Охте совершено убийство. Уже выехали на место работники угрозыска, и для охраны посылают отделение бойцов.

— Ребята,— попросил Васильев,— подбросьте до Охты.

Пока старенький грузовичок трясся по выбитым торцам, потом по булыжнику, выяснились подробности: убит, оказывается, вся семья торговца мясом Розенберга. Торговец он был средней руки, но капиталец имел порядочный, торговал мясом и до революции, а когда нэп объявили, снова открыл торговлишку на Охтинском рынке. Будто бы много народа убито. И вещей, наверно, забрали много. У Розенберга и с царских времен кое-что сохранилось, да и теперь успел наторговать.

Уже темнело, когда подъехали к двухэтажному деревянному дому. Найти его было нетрудно — вокруг толпились люди, взволнованные и возбужденные. Одиноким милиционер с трудом охранял квартиру от соседей, рвавшихся посмотреть на все своими глазами; он очень обрадовался бойцам. Командир отделения расставил посты и велел никого не пускать; работники угрозыска обследовали место преступления.

Васильеву, собственно, делать здесь было нечего, до Ириновского вокзала недалеко, он за дежурство устал, и разумней всего ехать отдыхать, но уехать Иван не мог. Он остался в толпе, окружавшей дом.

Охта в то время была очень своеобразным районом, жившим своей обособленной жизнью, не похожей на жизнь Петрограда. Даже внешне Охта резко отличалась от города. Деревянные дома, каменных почти не было, улицы, мощенные булыжником, сквозь который прорастала трава, а кое-где и вовсе не мощенные. Было здесь много маленьких деревянных особнячков, с садами, обнесенными высокими заборами, со свирепыми псами на гремящих цепях, попадались дома побольше, на несколько квартир, но и они были невелики, самые высокие в два этажа, и перед ними тоже были садики. Словом, не район Петрограда, а провинциальный город средней руки где-нибудь в Новгородской или Вологодской губернии.

И все-таки главное отличие от Петрограда заключалось не во внешнем виде домов и улиц. Охта жила замкнутой жизнью, совсем не похожей на жизнь северной столицы. Жители Охты почти все знали друг друга и очень друг другом интересовались. Свадьба, рождение, смерть в любой семье вызывали живейшее любопытство и бесконечные разговоры всего района. Охтинцы не говорили: «Мы петроградские». Охтинцы говорили: «Мы охтинские». Были люди, и немало, которые всю жизнь прожили на Охте, но никогда не видели Невского и даже не интересовались знаменитым своей красотой градом Петра.

Итак, это был замкнутый круг со своим стилем жизни, своим местным патриотизмом, своими взглядами и устоями, равнодушный ко всему, что происходило за пределами Охты. Зато уж все, что случалось на Охте, было подробно известно каждому охтинцу.

Так жила Охта до революции. В те годы, о которых мы рассказываем, революция еще не успела сдвинуть Охту с мертвой точки. Какой-нибудь спор из-за наследства умершей торговки молоком был охтинцам куда интересней, чем, скажем, разгром Колчака или взятие Крыма. Коротко говоря, Охта была районом типичных, можно сказать — классических, мещан.

Розенберга на Охте прекрасно знали. Он прожил здесь долго, кажется даже, всю жизнь. Человек он был солидный, занимался торговлей мясом, делом всем понятным и внушавшим уважение. Жил скромно и нажитое не растрачивал зря, а вкладывал в стоящие вещи: в золото, в бриллианты, в меха. Так как на Охте про каждого знали все, то знали и про Розенберга, что приобрел он несколько манто из котика и каракуля, и не для того, чтобы жена форсила, ей, конечно, и в голову бы не пришло надеть какое-нибудь из этих манто, а для того, чтобы капитал был помещен в ценности, как казалось всем охтинцам, и Розенбергу в том числе, вечные, не зависящие от разных там перемен и революций, которые устраивают люди, конечно же живущие не на Охте. Охтинцы народ солидный и ничего такого себе бы не позволили.

Кое-что про Охту знал Васильев и раньше, кое-что понял из разговоров окружавшей дом толпы. Из разговоров узнал он и обстоятельства дела.

Днем, в то время, когда охтинские домохозяйки непре-

рывно шныряют по улицам, кто в магазин, кто к соседке признать соли, когда на каждом углу непременно стоят группы по три-четыре человека и обсуждают новости, когда, казалось бы, ни один посторонний не может пройти по улице и тем более войти в квартиру, не став предметом внимательнейшего осмотра и подробнейшего обсуждения, словом, в обычный из обычных охтинских дней какой-то человек все же вошел в квартиру и не был никем замечен, убил самого Розенберга, его тещу, жену и троих детей, вынес мантию, котиковые и каракулевые, золото и исчез со всем этим богатством бесследно.

Разговорчивых охтинок удивляло и, можно сказать, возмущало это обстоятельство. Ну, то, что убил старуху и детей, то, что ограбил, тут что ж попишешь — такое их дело, разбойничье, но то, что соседи не видели, как незаметно прошел по улице, да еще и вещи незаметно унес, тут уже было что-то выходящее за рамки их понимания.

События разыгрались часов около трех дня, как раз когда дети приходили из школы. Кто-нибудь из детей стучался, разбойник его впускал и убивал. А потом ждал следующего. Сперва Васильев с интересом слушал, что говорят в толпе, но потом понял, что все существенное он уже знает. Дальше охтинцы понесли такую чушь, что ему и слушать стало противно. Тогда он решил постараться проникнуть в квартиру и разузнать точнее и подробнее, что же случилось на самом деле.

КРОВЬ В МИРНОЙ ЖИЗНИ

Часовой, стоявший у дверей квартиры, молча пропустил Васильева. «С каким-нибудь поручением», — подумал часовой. Работники угрозыска не обратили на Васильева внимания. Они были слишком заняты, и все, что не относилось к обстоятельствам преступления, им было безразлично. Одеты они были в гимнастерки военного образца, без петлиц. Один из них, белобрысый, совсем молоденький, с детским румянцем на щеках, сидел за столом и писал протокол. Самый старший, седой, худощавый, хмуро говорил остальным:

— Никак не справился бы один. Не забывайте: постучать могут каждую минуту, приходится все время

быть настороже, а тут надо шкафы взламывать, да искать ценности, да укладывать вещи. Не понесешь же несколько манто на руке.— Он обратился к художавому, подтянутому человеку, наверно только недавно споровшему командирские петлицы: — Вы проверяли в школе?

— Проверял. Все трое были на уроках.

— И так было ясно, но все же проверить следовало. Значит, вы думаете — гиря? — обратился он к немолодому, лысому, в пенсне без оправы.

— Думаю, гиря,— ответил тот.— Во всяком случае, тупое тяжелое орудие.

Из задней комнаты вышел хмурый, усталый молодой еще человек в гимнастерке, запачканной мелом и пылью.

— Ничего нет, Иван Алексеевич,— сказал он.— То есть, конечно, есть на кухне топор, есть молоток, но все на месте, вряд ли кто их сегодня трогал. Ни весов, ни гирь нет. Эту гирю, очевидно, он принес и унес с собой.

Васильев так внимательно разглядывал следователей, так напряженно следил за их разговором, что, как ни странно, сначала не заметил самого главного и самого страшного в комнате. Теперь он опустил глаза, и у него точно оборвалось сердце. В углу лежал пожилой человек с седеющими волосами ежиком, в шубе черного драпа с котиковым воротником. У него было полное лицо с короткими усами, и на лице сохранилось выражение достоинства, некоторой даже важности. Чувствовалось, что этот человек знает себе цену, привык, что к нему относятся с уважением, и не представляет себе, как можно к нему относиться иначе. В другом углу лежала женщина в платье и платке, накинутом на голову, наверно, вышла к соседке, заговорила, пришла домой и даже сообразить не успела, что происходит. Так, не вскрикнув, и упала. Очень спокойное было у нее лицо. А рядом лицом к стене лежала старуха. Видны были только худенькие старушечьи плечи, как будто просто она умаялась, возясь по хозяйству, и прилегла отдохнуть.

Васильев уже знал, что увидит детей, и все оттягивал этот момент, больно уж было страшно. Он даже знал, где они лежат, приметил, наверно, краем глаза. И все медлил туда посмотреть. И все-таки посмотрел. Их было трое: два мальчика побольше и девочка, совсем маленькая, наверно в этом году в первый класс пошла. У маль-

чиков были одинаковые расстегнутые серые курточки, и у обоих за плечами ранцы. Обыкновенные школьные ранцы из оленьего меха. Теперь таких не делают, их делали до революции. Наверно, отец купил их на толкучке, или случайно продавал кто-нибудь из знакомых.

Васильев сначала не все заметил, только почувствовал, как оборвалось сердце, отвернулся и стал смотреть на следователей. Настолько-то он был уже опытен, чтобы понять: пожилой в штатском ведет следствие, а остальные — эксперты и помощники. Тот, что говорил про гирю, наверно, судебно-медицинский эксперт. Тот, который сидел за столом, писал протокол ученической ручкой, тоненькой, деревянной, и перед ним стояла чернильница-непроливайка был помощник. Такие ручки и такие чернильницы у всех школьников. Кому они принадлежали: девочке или одному из мальчиков?

Следователи сперва не обращали на Васильева внимания, потом кто-то попросил его подержать рулетку — снимали план комнаты, записывали размеры, — потом попросили принести из другой комнаты другую ручку, у этой перо сломалось, и постепенно Васильев стал участником следствия, правда молчаливым, но участником. Он не решался говорить, остальные были опытнее и лучше понимали в раскрытии преступлений. Он помогал, молчал и слушал разговоры.

Картина преступления была ясна. Очевидно, днем, в то время, когда даже самые осторожные люди спокойно открывают постороннему дверь, если этот посторонний объяснит, зачем он пришел, один или двое, скорее всего двое, постучали и объяснили, по какому делу они пришли. Старуха была дома одна, и преступники это, конечно, знали. Откуда? Судя по тому, что хозяйка была без пальто, она, наверно, вышла из дому ненадолго. Эту минуту надо было подстеречь. Значит, за квартирой наблюдали. Почему же здесь, где каждый человек на примете, никто не увидел посторонних? Об этом следовало подумать. Так или иначе, в квартиру вошли. Вероятно, один разговаривал со старухой, а другой сзади нанес ей смертельный удар. Удар должен был быть точным и смертельным, иначе старуха могла поднять крик. Очевидно, преступники знали, что скоро должны вернуться дети из школы. По уверенности их действий чувствовалось, что

они были готовы к приходу детей. Каждый раз, когда раздавался стук, они впускали пришедшего и наносили ему удар, единственный и смертельный. Иначе не объяснишь, почему никто из соседей ничего не слышал. И, конечно, преступники знали, сколько человек в семье. Преступники должны были быть уверены в том, что все убиты, потому что иначе рискованно выносить вещи. А что, если этот оставшийся член семьи подойдет к дому как раз в ту минуту, когда они будут нести узлы?

Откуда они так хорошо всё знали? Почему никто не заметил их ни когда они поджидали ухода хозяйки, ни когда выходили с вещами?

Вечером привезли двоюродного брата Розенберга. С трудом узнали его адрес и разыскали. Долго от него ничего не могли добиться: у него так прыгали губы, что он не мог говорить. Еще бы! И на посторонних картина действовала ошеломляюще, что же говорить о близком родственнике! Его показания мало что прибавили. Все-таки с его помощью более или менее точно установили, что именно было украдено. Кроме котиковых и каракулевых манто, числом шесть штук, он назвал и приблизительно описал несколько драгоценностей. В их числе были кольца, браслеты, ожерелья. Это давало следствию немного. Трудно по описанию узнать браслет или кольцо.

Поздно ночью протокол осмотра был подписан. Квартиру заперли, оставили часового. Васильев пошел на Ириновский вокзал. Поезда уже не ходили, дежурный спал возле тусклого фонарика. Первого поезда надо было ждать два часа. Слишком возбужден был Иван всем увиденным, чтобы ждать. Он зашагал по тропинке, протоптанной рядом с полотном. Снова и снова вспоминал он и ранцы, и рукавички, и перетянутый резинкой букварь. Васильев не раз видел кровь и трупы. Он стрелял, и в него стреляли; он убивал, и его старались убить. Право же, в двадцать один год он далеко не был красной девицей и от вида крови в обморок не падал. И все же сегодня он снова и снова вспоминал ребят, прибежавших из школы, и не мог заставить себя не вспоминать. Он шел быстро и не замечал, как идет. У него колотилось сердце не от ходьбы, а оттого, что все время он видел комнату в деревянном доме на Охте.

Ранним утром добрался он до дома, сразу же лег и долго не мог заснуть.

День за днем все туманнее становилось воспоминание о комнате на Охте. Все-таки при случае он справлялся, нашли убийцу или нет. Нет, убийцу не нашли. Заподозрили двоюродного брата Розенберга, но он был весь этот день на людях. Его многие видели. А больше и заподозрить было некого. Постепенно история забывалась, новые жильцы въехали в опустевшую квартиру, следователи занялись другими делами. Васильев служил, ездил домой отсыпаться и отдыхать и только иногда, проходя по Охте к Ириновскому вокзалу, вспоминал трех детей, лежавших на полу.

РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ

Прошло несколько месяцев, и дело об убийстве семьи Розенберг совсем забылось.

Однажды, сменившись с дежурства, отправился Васильев домой. Было уже темно, когда он сел в вагон Ириновской узкоколейной железнодорожной ветки. Паровозик запыхтел, дернулся раз, другой и наконец потащил коротенький свой состав из небольших вагончиков, тряских, скрипящих, повизгивающих, которым, по чести говоря, давно уже пора бы на слом. В вагоне было почти совсем темно, в маленьком фонарике над входной дверью тускло горела свечка. Народу в вагоне было немного. Только несколько жителей пригорода, работавших в Петрограде, возвращались с работы домой. Некоторые спали, посапывая и бормоча во сне, некоторые разговаривали. Васильев, уставший на дежурстве, подремывал.

— Она хуторянка,— негромко рассказывал невидимый в темноте человек невидимым в темноте слушателям.— Денежки-то у нее, конечно, есть. От ее дома пивной завод недалеко, так она барду покупает. Барду на заводе дешево отдают, все равно девать некуда, а свиньи знаешь как ее жрут. Да у нее еще коров не то пять, не то шесть. Молоко в Петроград возит. А сама баба хозяйственная, копейки зря не истратит. Небось подкопила изрядно. Вот пошла она в хлев корму коровам задать, а у нее гости были в доме, играли в подкидного дурака. Он по гостей не знал, думал, одна. Она и верно все одна да

одна. Гостей не любила старуха, а тут не повезло ему, как раз у ней гости были. Вот пришла старуха в хлев, а он, видно, подстерегал. Прямо в хлев является. Знакомы-то они были. Он к ней несколько дней назад приходил. Она комнату думала сдавать, так он приценялся. Старуха видит — человек знакомый, по делу пришел; ну, то да се, как, мол, вы с комнатой решили, вы уступите, да я прибавлю, может, сойдемся. Словом, говорят между собой, и вдруг он из кармана гирию вынимает на ремешке. Небольшая такая гирия, но если с размаху да по голове, так человек слова не пикнет, раз — и кvas. Но только тут не на такую напал. Старуха боевая, Наполеон, а не старуха. Она как гирию увидела, сразу смекнула, что к чему, хватъ его за руку да как завизжит. Он бы, может, ее и осилил, дом стоит в стороне, никого поблизости нет, но только у нее гости были, этого он не знал. А старуха кричать горазда, голос у нее как у петуха. Гости услышали, повыскакивали, старуха в него, в голубчика, вцепилась, клещами не оторвешь. Ну, тут его схватили да под ручки и препроводили куда следует.

— Может, болтают люди? — спросил невидимый слушатель невидимого рассказчика.

— Какое болтают! Сам видел, как его вели. Приличный такой господин, посмотришь — никогда не подумаешь, что шаромыжник. Видом из себя ну что твой Михаил-архангел.

У Васильева громко стучало сердце. Он даже не сразу отдал себе отчет, что его так взволновало. Только вспомнил комнату в доме на Охте и шестерых, по заключению эксперта, убитых гирей.

Гирия на ремешке!

В сущности, никакое это не доказательство. А вдруг! Не случайный преступник действовал у Розенберга. Больно уж тщательно все было продумано, больно уж чисто сделано. А у профессиональных преступников всегда есть излюбленная манера, излюбленное орудие, свой почерк. Это много раз говорили преподаватели в рабочекрестьянском университете. С другой стороны, гирия на ремешке — орудие нехитрое, каждому может прийти в голову.

Нет, Васильеву показалось совершенной нелепостью ввязываться в эту историю. Скорее всего, окажется он в

дурачком положении. Опытнейшие следователи отступились, а он, извольте видеть, неизвестно из чего создал себе целую теорию. Вздор!

Так он рассуждал про себя и чувствовал, что хотя рассуждения эти и убедительны, но все равно удержаться уже невозможно. Он должен проверить все до конца. Чувство было сильнее рассуждений.

— Слушай, товарищ,—обратился он к рассказчику,—а где это задержали того, что с гирей?

— Да здесь, километра не будет,—охотно отозвался тот.

Полюстровское отделение, соображал Васильев и уже торопливо шел к выходу, и уже открывал вагонную дверь. Поезд, дребезжа и поскрипывая, неторопливо плелся по скрывавшейся в темноте болотистой приленинградской равнине. Васильев спустился по ступенькам, примерился и, отпустив поручень, прыгнул на небыстро бежавшую назад землю. Он пробежал несколько шагов и остановился. Поезд дребезжал уже где-то впереди, покачивался фонарик на последнем вагоне. Иван повернулся и зашагал назад, к городу.

Идти надо было километров шесть. Всю дорогу Васильев себя уговаривал, что, конечно, совпадение случайное, что ведет он себя по меньшей мере глупо, ввязываясь в эту сомнительную историю. Но, уговаривая себя, он все ускорял и ускорял шаги.

Дежурный по отделению долго не мог понять, чего от него хочет взволнованный молодой боец. Васильев предъявил служебное удостоверение, и тот уразумел наконец, что перед ним работник угрозыска, хотя и не большого ранга, всего лишь боец летучего отряда. Отказать бойцу в его просьбе причин, собственно, не было. Дежурному не казался серьезным преступником человек, которого хочет допросить боец из отряда угрозыска.

Убийства не было, покушение, в общем, тоже не установлено, мало ли что почудилось старухе. Словом, он не стал возражать.

— Хочешь поговорить — поговори,—сказал он.—Киврин ему фамилия, Станислав Адамович. С виду человек ничего, приличный, а так — кто его знает. Оружия при нем не было. Может, старуха все и придумала.

- Гиря была при нем? — спросил Васильев.
— Гиря? — удивился дежурный. — Какая гиря?
— Ну, обыкновенная.
— Нет, — сказал дежурный, — никакой гири не было

Васильев совсем расстроился. Все более и более ясно ему становилось, что ввязался он в глупейшую историю и станет теперь посмешищем для всего отряда. Но делать было нечего, он прошел в камеру, где сидел арестованный Киврин.

Арестованный поднялся, когда услышал, что отпирают дверь, и встретил Васильева стоя. Это был немолодой человек с приятным, спокойным лицом, полный, но в меру. Держался он со скромным достоинством. Сразу чувствовалось, что он себе цену знает. Арест его, казалось, совсем не взволновал, или уж очень большая была у него выдержка. «Произошло недоразумение, — говорил весь его вид, — я никого не виню, бывают недоразумения, я с удовольствием сделаю все, чтоб оно разъяснилось. Вот видите, хоть у меня и дела, а я сижу, не спорю, не возмущаюсь. Я ничуть не волнуюсь, все разъяснится».

По тем временам он был одет очень хорошо: костюм из дорогого материала, конечно не купленный готовым, а сшитый у хорошего портного, рубашка тонкая, дорогая. Поздоровавшись с Васильевым, он спокойно вынул из жилетного кармана дорогие золотые часы, щелкнул крышкой, проверил время, не торопясь положил часы обратно. Васильев заметил: руки у него белые, холеные, кожица возле ногтей аккуратно срезана, ногти подстрижены и хорошо вычищены.

Васильев начал задавать ему обычные вопросы. Оказалось, что Станислав Адамович живет не в Петрограде, а на станции Тешимля, Череповецкой губернии, имеет там дом, жену и детей. В Петроград приезжает по своим делам, часто задерживается. Для того чтобы было где ночевать, когда задерживается, хотел снять у старухи комнату. Но старуха какая-то сумасшедшая, придумала целую историю. Сам он из Польши, эвакуировался во время войны, капиталец кой-какой вывез и купил в Тешимле дом. Дела у него всякие: кое-что покупает, кое-что продает. Нынче ведь это можно. Закон уважает, при аресте не сопротивлялся. Хоть старуха и наплела невзвесть что, но он сам понимает — надо проверить.

Отвечал на все вопросы обстоятельно, спокойно и, видимо, не волновался ничуть. Все было убедительно. Васильев сказал, что придется его обыскать. Stanisław Адамович согласился без возражений. Его даже, кажется, забавляло все происходящее. В самом деле интересно. Все слышишь «угрозыск», «угрозыск», а тут наконец посмотришь, как люди работают.

При обыске ничего подозрительного найдено не было, наоборот — все подтверждало слова Киврина. Действительно, жил он на станции Тешимля, действительно имел дом. В кармане лежало у него несколько фишек. Васильев сперва не понял, что это такое. Киврин охотно объяснил, что это фишки для игры в карты. Не для домашней игры, конечно, дома и без них обойдешься, а в клубе без них нельзя. Он, Киврин, любит иногда в свободный вечерок попытать счастья на зеленом поле.

— Где вы играете? — спросил Васильев.

— Во Владимирском клубе, — ответил Киврин. — Это самый солидный клуб. И публика там приличная.

Он подробно и со знанием дела объяснил преимущества Владимирского клуба перед клубом «Трокадеро» и другими. Опять объяснения давались спокойно и убедительно. Все больше и больше убеждался Васильев, что ни в чем Киврин не виноват и старуха наплела небылиц.

Все-таки он решил послушать еще старуху. Дежурный по отделению охотно согласился с утра послать за ней нарочного. Ему это дело поперек горла стало. И преступления никакого нет, никто не убит, ничего не украли, а возись тут с этим чертом. Он даже обрадовался, что отыскался охотник этой ерундой заниматься.

Васильев тут же, в отделении, и поспал, а утром явилась старуха. Она удивительно охотно давала показания. Видно, возможность вволю поговорить представлялась ей не часто. Ей даже опасно было задать вопрос. Спросишь, а после остановить невозможно. Мелет и мелет. Говорила она быстро, как пулемет. Ей, кажется, очень нравилось, что вот она жертва покушения и серьезные люди интересуются ею и спрашивают, слушают и даже записывают. В общем, если отбросить всю ерунду, которую она попутно наговорила, то главное совершенно совпадало с историей, которую Васильев услышал в поезде. Добавляла она второстепенные подробности. Муж был

ломовой извозчик, а теперь она овдовела, живет одна и с делами справляется. И молоко в Петроград возит, и свининкой подторговывает. Свинки у нее жиреют хорошо, барда им очень полезная. А этот злодей убить ее хотел, только не вышло. Да, гирей, это она точно видела. Где гиря, не знает; может, когда шли до отделения, выбросил. Злодей-то хитер. Ведь как подъехал! Комнату будто хочет снять. Вот и тут схитрил. Выбросил, не уследили. Есть ли у нее деньги? Как не быть, есть. Есть и николаевки и керенки, есть и советские. Она наживать умеет, только вот беда: как наживешь какие деньги, так их и отменяют. Царских она нажила, а царские отменили. Керенки нажила, их тоже отменили. Но только она и николаевские и керенки всё бережет. Может, какие опять ходить станут, а у нее приготовлены. Хранит деньги дома, а где, не скажет. Она, конечно, гражданина ни в чем не подозревает, а все же лишним людям знать незачем. Она сама знает, и хорошо.

За час разговора с ней Васильев так устал, что у него даже круги перед глазами пошли. Все-таки он вызвал Киврина на очную ставку со старухой. Увидев своего злодея, старуха совсем разошлась. Минут пять она отводила душу, понося его всяческими словами. Киврин слушал с усталой улыбкой, как будто понимал, что и эту неизбежную неприятность надо перетерпеть. Когда старуха вынуждена была перевести дыхание, Киврин, воспользовавшись этим коротким отдыхом, спокойно сказал ей:

— Побойся бога, матушка, ну на что ты мне нужна? Что я, со свиньями твоими стану возиться, что ли?

В общем, кое-как, с немалым трудом, старуху спровадили. Киврина увели обратно в камеру, и Васильев стал размышлять.

Старуха, конечно, вздорная. Такая чего хочешь придумать может, но почему ей пришла в голову именно гиря? Вряд ли старуха знала, что гири иногда используют преступники. Киврин говорит очень убедительно, ни к чему нельзя подкопаться. Но, с другой стороны, профессор Ворт, знаменитейший криминалист, говорил у них в рабоче-крестьянском университете, что преступник имеет возможность тщательно продумать и подготовить свои ответы и что следовательно надо это всегда учитывать. А вообще ввязался он, Иван, в это дело, кажется, зря.

Тем не менее Васильев прямо из отделения отправился к начальнику уголовного розыска. Тот слушал его очень внимательно и, выслушав, сказал:

— Ну что ж, раз ты такой любопытный, занимайся. Я скажу, чтоб тебя пока в отряде освободили.

Васильев поблагодарил и вышел. Вышел и подумал опять: ну чего он в это дело ввязался! Начальник понятно, что разрешил: дело Розенберга все равно гиблое, им уже и не занимаются, можно считать, что оно закрылось, так что риска для дела нет никакого. Но он-то, он-то чего влез! Теперь и начальство знает, так что когда обнаружится, что ни в чем Киврин не виноват, срам уже будет в масштабе всего уголовного розыска.

Ругал себя Иван, ругал и все равно понимал, что как бы там ни было, а дело он не бросит. Просто не может бросить. Так или иначе, а до истины он докопается.

ПО ДОМАШНЕМУ АДРЕСУ

Васильев перестал спать. По три раза в сутки вызывал он Киврина на допрос. Допрашивал, как полагалось по правилам, как учили его старые, опытные криминалисты в рабоче-крестьянском университете. Киврин смотрел на следователя удивленными, обиженными глазами, беспрекословно на все отвечал, и ни разу даже в самом маленьком противоречии не мог его Васильев уличить.

Киврин в тюрьме немного похудел, белая рубашка загрязнилась, костюм измялся, и все-таки барственность и благолепие не износились и не потускнели. Он поднимал на следователя кроткие глаза, вздыхал — видно, надоело ему без конца повторять одно и то же, — ровным, спокойным голосом давал показания точно такие же, как давал на прошлом допросе или неделю назад. Какая-то была в Киврине елейность, кротчайшее примирение с тем, что вынужден он терпеть от следователя.

Когда Киврина уводили, Васильев, только выругавшись как следует, приходил в себя. Снова и снова он перебирал в памяти все, чему его учили. В аудитории все эти следовательские приемы выглядели очень действенными. Казалось, ни один преступник не устоит перед разработанной до мелочей техникой допроса. Но почему-то все эти тонкие психологические приемы совершенно не

действовали на Киврина. Он был все так же спокоен и благостен. Васильеву казалось, что глаза Станислава Адамовича выражают не только кротость и грусть, но и откровенное сочувствие бедному следователю, который мучит себя понапрасну.

Однажды ночью Васильев неожиданно вызвал Киврина. Он допрашивал его часа два, дал ему подписать протокол, попрощался, и Киврина увели. Васильев рассчитал время, чтоб Киврин успел вернуться в камеру, лечь и заснуть. Через час он вызвал его снова. Киврина снова разбудили, снова ввели в кабинет следователя, и снова начался допрос. По теории, обвиняемый должен был быть деморализован вторичным вызовом. К первому допросу он подготовился, выдержал, не проговорился. Теперь можно отдохнуть, ослабить внутреннее напряжение... и вдруг снова вызов. Нервы обвиняемого должны сдать, он должен запутаться хоть в мелочи, хоть в чем-то проговориться. Так утверждает наука, основанная на опыте тысяч следствий. Но или Киврин был не виноват, или наука Киврина не предусмотрела. Вторично разбуженный, он пришел такой же благостный, кроткий, очень вежливый и так же сожалеюще смотрел на Васильева. Он даже чувствовал себя виноватым, что бедный гражданин следователь имеет от него столько беспокойств. Он как будто извинялся за то, что не может признаться в преступлении, о котором никогда ничего не слышал.

«Я бы рад признаться,— говорили его искренние глаза,— я бы рад наклепать на себя, чтобы вам было легче, но не могу, потому что говорить неправду грешно, а я человек безгрешный и согрешить мне не позволяет совесть».

«Николай-чудотворец чертов! — бормотал про себя Васильев, когда Киврина уводили.— Детей убивать это тебе можно...»

Иван по-прежнему твердо был убежден, что Киврин — убийца. Но так же твердо он знал, что следствие зашло в тупик, что и на тысячном допросе Киврин будет повторять точно до мелочей свои прежние показания.

Однажды Киврин обратился к следователю с просьбой: он, мол, поистрепался, и белье у него уже грязное, а смены нет, так нельзя ли ему написать жене, чтоб прислала смену белья да кое-какие носильные вещи.

— Пока нельзя,— сказал Васильев.— Если хотите, мы напишем официальное письмо, чтобы вам прислали вещи. А может быть, жена и сама к вам придет. Немного позже мы и свидание разрешим. Дайте-ка ваш адрес, я запишу.

Киврин смотрел обычным кротким взглядом, и все же показалось Васильеву, что тень тревоги и сомнения промелькнула в глазах Станислава Адамовича.

Наверно, только показалось. Киврин спокойно продиктовал свой адрес, по-видимому не придавая этому никакого значения.

Васильев продолжал допрос и даже затянул его немножко дольше, чем обычно, хотя именно сегодня ему хотелось освободиться как можно скорей. Пока Киврин в сотый раз подробно рассказывал о том, как он, ничего дурного не думая, зашел в хлев договориться окончательно с хозяйкой о сдаче комнаты, Васильев, заполняя в сотый раз листы протокола, рассуждал про себя.

В самом деле, между убийством Розенбергов и арестом Киврина прошло несколько месяцев. Почти наверняка Розенбергов он отвез домой. Продавать их пока рискованно, а лучшего места, чтобы спрятать, не найдешь. Сразу после ареста надо было ехать туда! Но, может быть, и сейчас не поздно?

Киврина увели. Васильев торопливо сличил адрес, продиктованный Кивриным, с тем, который значился в его документах. Конечно, они совпадали. Даже если Киврин и понимал, что давать правильный адрес опасно, еще опаснее было солгать. Ложь сама по себе была бы уликой.

Через час вестовой привез на машине того самого родственника убитого Розенберга, которого Васильев уже видел когда-то в комнате, где лежали убитые. Розенберг, выслушав Васильева, заволновался, сказал, что он может ошибиться, что он плохо знает вещи своего двоюродного брата, но, если надо, он, конечно, поедет. Еще через час Васильев получил в угрозыске штатский костюм. По сравнению с гимнастеркой, галифе и высокими сапогами он показался ему удивительно неудобным. Костюм в самом деле висел мешком. Васильеву все время хотелось собрать под поясом на спине складками пиджак, как он это делал с гимнастеркой. Но пиджак не собирался, и руки напрасно искали пояс — пояса не было. Наверно, со стороны

было странно смотреть на человека, который все время пытается сделать что-то непонятное с пиджаком и потом, как будто что-то вспомнив, оставляет пиджак в покое. Некуда было девать наган. Португеза казалась Васильеву необходимой принадлежностью мужского туалета, и без нее было удивительно неудобно. Наган с кобурой пришлось сунуть в карман. Пиджак пришлось застегнуть, и то он топорщился. Лучше было бы взять, конечно, какой-нибудь маленький пистолетик, не так было бы заметно, но, кроме нагана, на вещевом складе ничего не нашлось.

Розенберг уехал собираться в дорогу, а Васильев до вечера возился с оформлением ордера на обыск, документов и денег. Встретились они на перроне минут за пять до отхода поезда.

Народу в вагоне было мало. Эпоха мешочников на транспорте кончилась, эпоха командировочных еще не началась. Стоя в тамбуре, можно было наконец спокойно поговорить.

Наум Иосифович Розенберг был человек мечтательный и до удивления невезучий. Его убитый двоюродный брат обладал склонностью к коммерции и несомненными коммерческими талантами. Склонность к коммерции была и у Наума Иосифовича, зато талантов не было никаких. Это был безнадежный неудачник, к тому же прекрасно об этом знающий и, стало быть, начисто лишенный веры в себя. Он сразу же начал рассказывать Васильеву свою жизнь. По-видимому, все его знакомые давно эту жизнь знали в подробностях и отказывались ее выслушивать.

Васильев был гораздо моложе Розенберга. Ему очень хотелось поговорить о плане операции, но он не решался прервать пожилого человека и до глубокой ночи безропотно слушал поток его излияний. Точно он не запомнил печальной повести Наума Иосифовича, но главное понял. Двоюродный брат, тот, которого убили, был «большой коммерсант», «золотая голова». На Охтинском рынке все его очень уважали. Самому же Науму Иосифовичу не везло. Жизнь его была цепью финансовых катастроф и разорений. Он торговал курами, скупал их в деревнях по дешевке и продавал в Петрограде на рынке. Но куры ему попадались на редкость подлые: они или жрали столько, что на прося уходила вся прибыль, или дохли

в таком количестве, что вместо прибыли получались убытки. Тогда он пришел к брату, и брат ему посоветовал торговать носильными вещами. «Вещи ничего не едят и недохнут», — сказал покойный. Мало того, он дал Науму Иосифовичу немного денег, чтобы начать торговлю. Свой основной капитал неудачливый Розенберг до конца исчерпал на дохлых курах.

...Идти ли сразу в дом Киврина, думал Васильев, слушая печальную повесть о том, как Наум Иосифович разорился на торговле носильными вещами, или остановиться на постоялом дворе, оглядеться, разузнать, с кем связана семья Киврина?

— Моль, — кричал Наум Иосифович, — моль съела торговлю. Какие пиджаки, какие пальто английского материала я покупал! Набегаешься за целый день, зато принесешь смокинг или даже фрак. Но должен же человек поспать. Я ложусь спать, а моль не спит. Она все съедает. Утром я иду на рынок, показываю покупателю тройку английского материала, которую купил у виконта, и тройка рассыпается на куски.

— У какого виконта? — удивился Васильев.

— Это есть такой титул за границей, что-то между бароном и князем, — охотно объяснял Розенберг. — Впрочем, может быть, он и не виконт. Похож он был больше на босняка.

Так или иначе, моль разорила Наума Иосифовича. Тогда он пошел к брату, и брат ему посоветовал торговать металлическим ломом и дал немного денег, потому что капитал Наума Иосифовича был съеден молью.

Очевидно, несколько разорений Васильев пропустил. Он все продумывал, как вести себя на станции Тешимля. Когда он в следующий раз прислушался к своему собеседнику, тот разорялся уже на москательном товаре.

Ложась спать, Васильев все-таки успел сказать Розенбергу, что прямо со станции они отправятся к жене Киврина, возьмут в понятия соседей и начнут обыск. Розенберг страшно разволновался.

— Что вы! — сказал он. — Кто же так делает? Мы остановимся на постоялом дворе, все хитренько разузнаем, скажем, что мы приехали по коммерческому делу. У меня есть такая идея, что все нам поверят. Коммерсанты народ живой. Они знают всё. Хозяин постоялого двора

тоже коммерсант. Я ему дам понять, что тут пахнет большими делами, и вы увидите, сколько он нам расскажет. Я вам говорю: у меня есть идея.

Ох, не верил Васильев идеям Розенберга, но обратный поезд был только утром, ночевать надо было все равно, значит, все равно надо было остановиться на постоялом дворе... Иван спорить не стал. Только когда он уже лег, подумал, что странно все-таки люди выбирают профессии. Ясно было, что всю жизнь Розенберг терпел убытки от своих коммерческих предприятий. Только благодаря подачкам двоюродного брата мог он кое-как существовать, вероятно впроголодь. Сколько энергии тратил он на то, чтобы покупать кур, которые дохли, или пиджаки английского материала, которые ела моль. И все-таки ему даже в голову не приходило переменить профессию: стать снабженцем или бухгалтером, получать два раза в месяц жалованье и не бегать выпрашивать у брата помощи для нового разорительного предприятия. Васильев знал: торговцы — это хищники, гоняющиеся за наживой, готовые ради выгоды перегрызть горло. Но разве Наум Иосифович хищник? Тощий, голодный, плохо одетый, с лихорадочным блеском в глазах, это был, конечно, мечтатель. Среда и воспитание научили его только одной мечте — о богатстве. Как оно придет? Вдруг сразу раскупят всех кур, пока они еще не успели подохнуть, или пиджак от виконта будет продан с огромной выгодой. И вот он станет уважаемым человеком, к нему будут приходить советоваться, и, когда он пойдет по улице, отцы скажут маленьким своим сыновьям: «Смотри, мальчик, вот идет Наум Розенберг. Он начал с грошей, а теперь ворочает тысячами. Он честно торговал, и теперь его все уважают».

Розенберг долго и надрывно кашлял. Наверно, у него был туберкулез.

Достаточно было посмотреть на его худощавую фигурку, на его впалую грудь, на его суетливые движения, чтобы сказать уверенно: никогда не будет Наум Розенберг богатым и уважаемым человеком. Так он и будет всю жизнь суетиться, разоряться и опять сколачивать торговлишку и разоряться снова, и отцы не укажут на него своим маленьким сыновьям как на пример благополучия, достигнутого честностью и трудом.

Постоялый двор на станции был один. Туда и направились высокий, худосочный Розенберг и молодой розовощекий Васильев — солдатик в штатском костюме. Розенберг ночью плохо спал — холодно было и кашель замучил. За время бессонницы он продумал предстоящую операцию во всех деталях.

— Я скажу, что мы компаньоны, — объяснял он, пока они шагали со станции к постоялому двору. — Вы сирота, и покойный отец оставил вам капитал. Я дружил с вашим отцом и хочу помочь молодому человеку, поэтому я выделил часть своего капитала и мы открываем в Тешимле дело на паях.

— Какое дело? — в ужасе спросил Васильев. — И почему в Тешимле?

— Тише, мой мальчик, — сказал Розенберг и торжественно улыбнулся. — Мы откроем здесь белошвейную мастерскую. Льняное полотно, мадаполам и батист мы будем привозить из Петрограда. Здесь мы недорого снимем или даже купим дом. Местные девушки будут нам шить комбинации, панталоны и лифчики. Девушки будут получать прилично, а продукцию мы будем продавать в Петрограде. Между прочим, хотя мы в этом и не нуждаемся, но, если хозяин постоялого двора захочет вложить небольшой капитал в выгодное дело, мы согласны взять его в компаньоны. Это мы ему так скажем. Это тонкая хитрость, понимаете?

Васильев пытался возражать, но Розенберг посмотрел на него со снисходительной улыбкой и ничего не ответил, потому что они уже входили в ворота постоялого двора.

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Много лет существовали в России постоялые дворы. Если человек не видел их сам, если он не сидел в общей комнате за самоваром и не пил чай вприкуску из тяжелых фаянсовых чашек, если не ходил перед сном проверить, задан ли корм его лошадям, если не вел неторопливой беседы с людьми, которых увидел сегодня в первый раз и больше уже никогда не увидит, то, уж наверно, читал о постоялых дворах у Чехова или Гоголя, у Достоевского или Толстого. Пусть постоялый двор был неудобен и грязен, он создавался экономическим укладом страны и

удовлетворял жизненные потребности подданных Российской империи. Пожалуй, ни в каком другом месте не сумел бы человек за одну ночь так много узнать о России.

Постоялый двор на станции Тешимля мало чем отличался от тысяч других постоянных дворов, раскинувшихся по безграничной российской земле. Самый двор, двор в буквальном смысле, был обнесен высоким забором и покрыт толстым слоем неопределенной полужидкой массы, состоящей из конского навоза, конской мочи, соломы, сена, деревенской грязи и черт его знает, чего еще.

Унылые крестьянские лошаденки, извечные труженики, главное орудие сельскохозяйственного труда, привязанные к коновязям, лениво подкидывали навешенные на морды холщовые мешки с овсом, прядали ушами, обмахивались хвостом и вообще использовали все скромные возможности недолгого лошадиного отдыха.

В глубине двора стоял двухэтажный бревенчатый дом с маленькими окошечками, с грязным, затоптанным крыльцом. У открытых настежь ворот дремал старик сторож. Он даже не взглянул на странную пару, прошедшую мимо него. Розенберг шел на полшага впереди. Высокий, худощавый, он шагал по навозу и грязи, не глядя себе под ноги. Хитрая улыбка играла на его лице. Всякий, посмотрев на него, сразу бы сказал, что этот, вероятно, чухоточный человек составил какой-то ловкий план и думает сейчас о том, что против его, Розенберга, тонкой хитрости никто, конечно, не устоит. Он даже не считал нужным скрывать свои намерения. Мечтания кружили ему голову. Раз он, Розенберг, решил и продумал, все будет бессильно против него. Он разоблачит убийц брата и отомстит за жизнь несчастных его детей. Шкура медведя была разделена, окорока медведя были зажарены, теперь оставались пустяки — надо было убить медведя.

За Розенбергом по грязной жиже двора шагал Васильев, розовощекий молодой человек, и по той неуверенности, с которой он опускал в грязь свои тупоносые черные ботинки, опытный наблюдатель сразу бы сказал, что военные сапоги ему гораздо привычней.

Все было подозрительно в этой паре — и торжествующая улыбка на губах Розенберга, и слишком уж мешковато сидящий костюм Васильева, и наган, легко угадывающийся в кармане его брюк. Все вызывало естествен-

ные вопросы, и все-таки никто их ни в чем не подозревал и никто ни о чем не спрашивал.

В противоположность хитрому Розенбергу у хозяйки постоянного двора был очень вялый и простодушный вид. Сонными глазами, почти не поднимая век, посмотрела она на новых постояльцев, ровным голосом спросила, надолго ли они, желают ли «особую» комнату, и равнодушно посоветовала взять «особую», потому что там «невпример». Что «невпример», ей было, по-видимому, лень объяснять. Ясно было, что там удобнее, шикарнее, богаче.

— Вы нам самоварчик, самоварчик, хозяйюшка,— сказал Розенберг, и тонкая хитрость светилась в его улыбке.

Теми же полузакрытыми глазами посмотрела хозяйка на молодого парня в грязном переднике, сонно стоявшего, прислонившись к стене, и молодой парень вдруг задвигался с такой энергией, как будто ему в жилы впрыснули живой воды. Взмахнув передником над краем стола и, очевидно, придавая этому ритуальному жесту какое-то практическое значение, он начал метаться, и в результате этих метаний на столе появились блюдечко с мелко наколотым сахаром, чашки с блюдами и тарелка с баранками. Потом он умчался из комнаты и сразу же появился снова, неся на вытянутых руках старый, мятый самовар со следами медалей, выгравированных над краном. Поставив самовар, он метнулся к старенькому буфетику и достал из него чайник. Будто пританцовывая, насыпал из пачки чая заварку, поставил чайник на конфорку, наклонился, сказал «пожалуйста-с» и вдруг переменялся. Снова он стал медлительным, равнодушным, как будто кончилась в его жилах живая вода и стала неторопливо пульсировать вялая, бледная кровь.

— Пожалуйте,— хмуро повторила хозяйка.

— Прошу к столу, хозяйюшка,— с наигранной бодростью сказал Розенберг,— побеседуем. Мы люди коммерческие. Интересуемся делами, думаем вложить капитал в Тешимлю. Будут приезжие, будет и у вас доходец — приедут из Питера чаевники чай пить.

Хозяйка, не взглянув на Розенберга, неторопливо поднялась, проплыла к столу, опустилась на лавку и застыла.

Это была очень крупная женщина, высокого роста, с большими ногами и руками, с крупными чертами лица. Такое тело должно было энергично двигаться, такая жен-

щина должна была распоряжаться, командовать, резко приказывать, и в том, что она такая сонная и вялая, было некоторое противоречие с ее внешностью. Конечно, не рост определяет характер человека, не от размера ног зависит его темперамент. Но все-таки какая-то неправда в поведении хозяйки была. Васильев это чувствовал.

Розенберг увлеченно развивал идею белошвейной мастерской на станции Тешимля. Местные девушки начинали хорошо зарабатывать, батист и мадаполам грузили из Петрограда. Поселок при станции оживал, мужики из окрестных деревень наживались на гужевом транспорте, доставляя панталоны, лифчики и комбинации из мастерской на станцию. Заработанные деньги они тратили на постоялом дворе... Впрочем, нет: постоянный двор закрывался, вместо него горела огнями каменная гостиница... Пока, во всяком случае, ярко горел румянец на щеках Розенберга, лихорадочно блестели его глаза.

«Чахоточный,— решил окончательно Васильев,— и дурак. Эх, не надо было ему верить! Надо было сразу в милицию — и на обыск».

— Может, и вы, хозяйюшка,— говорил Розенберг,— пожелаете сотенку-другую вложить? Что же, мы не возражаем. Не нуждаемся, но и не возражаем. Просторы для дела неограниченны. Петрограду женское белье нужно позарез.

Он замолчал, взял кусочек сахара и, вытянув губы трубочкой, потянул из блюдечка чай.

«Дурак,— еще раз уныло подумал Васильев.— Эх, завалил дело!»

— Это, я понимаю, деловой разговор? — спросила хозяйка, не поднимая век.

— Правильно понимаете,— торжествуя, сказал Розенберг.

— А вы извините, господин хороший,— сказала хозяйка,— зачем вам всю эту роскошь в Тешимле шить? Ну, рабочие руки здесь дешевле, это вы правы, так ведь таких мест по России тысяча, рабочие руки нынче всюду дешевы. Чем же это наш поселок так выделился, что вы на него внимание обратили?

Розенберг молчал. Он, кажется, растерялся. По-видимому, продумывая на жесткой вагонной койке всю операцию, этого простого вопроса он не предусмотрел.

— Сейчас вам отвечу,— сказал он. И начал с шумом тягивать в рот чай.

— Видите ли,— сказал Васильев, пользуясь паузой,— товарищ моего отца...— Он торопливо сочинял историю о содержателе вагона-ресторана, который имел дело с содержателем буфета на станции Тешимля (вывеска этого буфета попалась ему на глаза и запомнилась).

Но Розенберг считал, что дело ведет он.

— Киврин,— закричал он торопливо, перебив Васильева,— Станислав Адамович, вы его знаете?

— Будто слышала,— равнодушно сказала хозяйка, не поднимая век.— Он, кажется, на нашей женат, из Тешимли.

— Правильно,— сказал Розенберг.— Так вот, мы с ним по охтинскому рынку знакомы, и он присоветовал.

— Минуточку,— сказала хозяйка,— простите, господа хорошие, хозяйственные дела.— Она повернулась к полковому, который снова дремал, прислонившись к стене.— Вася,— сказала она,— погляди, не приехали ли Ивановские за деньгами.

Сонная фигура враз скинула сон и страшно оживилась. Вася кинулся к двери и даже подпрыгнул у порога, не по необходимости, а только от одной живости. Энергия его переполняла. Он так быстро выбежал и вбежал обратно, что казалось, будто он вовсе и не выбегал. Появившись снова в дверях, он взмахнул своим грязным фартуком, что было уже совсем не нужно, и сказал: «Ожидают-с». И сразу снова задремал, прислонившись к стене.

— Простите, дорогие гости,— сказала хозяйка каменным голосом, вставая и опустив еще ниже веки, так что глаз ее совсем не стало видно,— угощайтесь. Если что понадобится, Васе прикажите, а я рассчитаю один произведу и вернусь.

Она выплыла в дверь и плавно закрыла ее за собой.

Дело шло к вечеру. На постоялом дворе было пусто. Следует помнить, что водку в то время государство не производило и продажа ее была строго запрещена. Где-то, видно, она все же производилась кустарным образом и продавалась, судя по тому, что сквозь пыльные, плотно закрытые окошки с улицы доносилось нестройное пение, очевидно, вдребезги пьяного хора. Постоялый двор был на виду у начальства, часто, наверно, проверялся, и обыч-

ные посетители постоянного двора, привязав лошадей к коновязям, оставляли их под присмотром старика сторожа, сидевшего у ворот, и уходили гулять в какие-то тайные, не известные милиции места.

Итак, в комнате, или в зале, как она называлась официально, осталось три человека: Розенберг, Васильев и половой Вася. Половой находился опять в стадии спячки. Он дремал, прислонившись к стене, и не обращал на гостей никакого внимания. Он был незаметен, неслышен, и Розенберг, позабыв про него, радостно сказал, когда за хозяйкой закрылась дверь:

— Ну, как вам понравится, ловко я ее...

Васильев резко нажал ему под столом ногу, и Розенберг замолчал на полуслове, так и не поняв, почему ему не дали говорить.

Быстро повернув голову, Васильев посмотрел на Васю. Вася дремал, прислонившись к стене, и поза его выражала полное безразличие ко всему, что делается вокруг. И только в первую секунду, даже в долю секунды, когда Васильев на него взглянул, из-под сонно опущенных век полового взглянули на Ивана внимательные, напряженно внимательные глаза. А может быть, это показалось. Даже наверно показалось, потому что долей секунды позже глаз уже не было видно. Половой крепко спал, прислонившись к стене в неудобной, но, видно, привычной ему позе, в которой проводил он, наверно, большую часть своего рабочего дня.

Розенберг не решался заговорить, но поглядывал обиженно и огорченно.

Может быть, он начал понимать, что Васильев недоволен им, и искал способа объяснить весь глубокий смысл своих поступков. По-видимому, так, потому что вдруг он начал гримасничать и беззвучно шевелить губами, очевидно рассчитывая, что по движению его губ Васильеву все станет понятно. Иван не смотрел на него. Он не сводил глаз со спящего полового. Почудились ему или нет открытые, наблюдающие его глаза? А тот, наверно, чувствовал, что на него смотрят. Он зевнул, всем видом показывая, что хочет спать, что спит, что, может быть, видит сны. Нет, не почудилось. Не спал половой Вася, а притворялся спящим и внимательно следил за гостями. Слишком уж убедительно он зевал, слишком уж убедительно

показывал, что очень хочет спать. Васильев резко поднялся из-за стола.

— Слушай, товарищ,— сказал он.— Слышь-ка, Вася.

Половой проснулся, зевнул, потянулся и посмотрел ничего не понимающим сонным взглядом. Нет, не так он просыпался, когда просыпался на самом деле. В одну долю секунды переходил он из состояния сонного небытия к состоянию энергичной деятельности. Васильев готов был голову дать на отсечение: половой следил за ними. Он прикидывался спящим. Зачем? Может быть, думал он, гости разговаряются и будет что сообщить хозяйке. Не мог же он опасаться, что они украдут сахар или уйдут, не заплатив за самовар. Всего-то они были должны, наверно, копеек пятнадцать.

— Получи-ка с нас, Вася,— сказал Васильев, когда половой окончательно проснулся.

И тут с Васей произошло уже знакомое превращение. Снова его тело стало подвижным, как ртуть. Он поклонился, произвел какое-то почти балетное движение ногами и взмахнул фартуком с некоторым даже изяществом.

— Простите-с,— сказал он,— не имею права-с, у нас в обычае, что деньги получает хозяйка. Да вы не беспокойтесь, они сейчас придут-с, расчет с Иваньковскими недолгий.

Васильев весь кипел от раздражения. Ему было ясно: операция не удалась, его провели. В сущности, у них был один козырь — внезапность. Теперь у них этого козыря нет. Как он ругал себя за то, что сразу не сумел стать руководителем операции! Пусть бы Розенберг рассказывал про то, какдохнут куры и у какого виконта купил он смокинг. Отвечает за дело Васильев, значит, он и обязан продумать все с начала и до конца и, как продумано, так и делать. Конечно, можно сейчас добиться, чтобы половой взял деньги, или оставить маленький чемоданчик Наума Иосифовича. Но ведь уже поздно, наверно поздно! Долго ли перепрятать несколько шуб и ящичек с золотом!

Он подошел к окну. Решать надо было быстро. Во дворе лошади, уныло потряхивая головами, искали последние зерна овса на дне холщовых мешков. У ворот дремал старик сторож. Домов за забором не было видно, только крыши, унылые крыши из потемневшей щепы, продрогшие под морозами, промокшие под дождями крыши

из щепы, такие же точно, как и сто и двести лет назад, теснились друг к другу, не разделенные садами и огородами. А над этими мрачными темными крышами глухого железнодорожного поселка пылал вполне красный, нарядный и мрачный закат.

И издалека доносилось нестройное пение вдребезги пьяного хора.

Васильев подумал, что никак не сочетается с этим поселком благодный и барственный облик Станислава Адамовича. Может быть, он официально и числился местным жителем, все равно не здесь был его мир, не здесь проходила его жизнь. Почему же тогда Киврин не перевез семью в Петроград? Зачем одному человеку нужны две жизни, так не похожие одна на другую?

ОБЫСК

Вероятно, если бы не вернулась хозяйка, Иван устроил бы скандал и добился, чтобы их отпустили. Но скандала не потребовалось. Хозяйка оказалась в воротах — значит, она все-таки уходила со двора, — быстрым, энергичным шагом прошла по грязи и, шагнув через три ступеньки, поднялась на крыльцо. Теперь она двигалась быстро и энергично, именно так, как полагалось двигаться такой мощной, мужеподобной женщине. Она торопилась, была занята своими мыслями и, наверно, не заметила, что Васильев смотрит на нее из окна. У нее было очень деловое выражение лица, нахмуренные брови, крепко сжатые губы. Но дверь она открыла неторопливо и плавно. В комнату она вплыла, полузакрыв веки, так, чтоб не видно было глаз, и, хотя половицы скрипнули и зазвенело плохо замазанное стекло, это было только от веса хозяйки. Шагала она бесшумно, совсем не теми энергичными шагами, которыми шла по двору.

«Предупредила, ведьма! — подумал про себя Васильев. — Ох, неправильно я действовал! Конечно, Киврин взял жену не из бедной семьи. Поселок маленький, богатые люди тут всё одна шайка-лейка».

Он круто повернулся к хозяйке и сказал:

— Получите с нас.

Как ругал он себя за то, что послушался Розенберга, за то, что не заторопился, не начал сразу же действовать,

когда почувствовал, что в этом доме нечисто, что хитрит хозяйка!

Хозяйка, не поднимая век и двигаясь плавно и медленно, проплыла к стойке и стала щелкать на счетах, высчитывая копейки за чай, баранки и сахар.

— Берите вещи,— кинул Иван Розенбергу и, положив на стойку двугривенный, вышел на крыльцо.

— Молодой человек, куда вы? — услышал он за спиной растерянный голос хозяйки.

— Дом присматривать для мастерской! — крикнул Иван, не оборачиваясь, зашагал через навозную жижу, решительно ставя ноги в тупоносых ботинках, не думая о грязи и брызгах.

За ним, тяжело дыша, кашляя и бормоча что-то про себя, торопливо шел, почти бежал долговязый Наум Иосифович. Он все пытался что-то сказать, но то одышка мешала, то кашель. Он спотыкался и поминал черта и все никак не мог связать фразу.

Васильеву это было кстати. Поговорить потом будет время. Сейчас надо все продумать, чтобы опять не надевать глупостей.

«Соучастники? — спрашивал он сам себя.— Вряд ли. Во всяком случае, нет оснований подозревать. Какой человек скажет жене, что он добыл эту шубу, убив трех детей! Да и зачем это говорить? Скупил краденое, в крайнем случае. А скорее, еще проще: купил на толкучке для помещения капитала. Лишнего Киврин никому говорить не будет. Значит, это для них не уголовщина, а спекуляция, торговля. Законнейший способ заработка. Для нас спекуляция — преступление, а для них — почтенное дело».

В воротах Иван на секунду замедлил шаг. «Пожалуй, сторожа можно бы спросить, где милиция,— подумал он.— Старик-то вряд ли замешан.— Но сразу же отмахнулся от этой мысли.— Черт их здесь знает, кто замешан, а кто нет. Спрошу у прохожего, а то запутают, проищу час милицию, а Киврина пока все спрячет да еще и сама уедет к родным погостить».

Он вышел на улицу и остановился. Улица была пуста. Замученный «предложенным темпом», как сказали бы сегодня спортсмены, за Васильевым медленно тащился Розенберг. Он тяжело дышал, кашлял и то чертыхался, то бормотал молитвы. Ивану стало его жалко. Ну в са-

мом деле, чем виноват старик? Он не следовательно, розыску не обучен, простодушен, как пятилетний ребенок, поэтому, наверно, всегда и разоряется. Назовет себя пьяный босяк виконтом, он и рад: у виконта смокинг купил! Розенберг сопел теперь совсем рядом, но к Ивану не обращался: он, видно, чувствовал, что наделал глупостей, а может быть, просто одышка говорить не давала. Наконец на улице показался человек. Он был пьян, в этом сомнения не было. Шапку он, видно, где-то уже потерял, а может быть, пропил, но настроение у него было прекрасное. «Эх!» — сказал он. Это было не обыкновенное «эх» в смысле сожаления, горести, удачи, это было протяжное, немного даже музыкальное «эх», — видно, начало песни или, на худой конец, частушки. Но, протяжно, музыкально произнес свое «эх», мужик останавливался, забыв продолжение, и долго думал. Потом он вспоминал, что дальше, но решал: раз уж так получилось, начать сначала, и снова говорил свое протяжное музыкальное «э-э-эх», и снова забывал, что же дальше. При этом он покачивался, но не сильно. Так, как это прилично человеку в задумчивости.

— Товарищ, где тут отделение милиции? — кинулся к нему Васильев.

Пьяный подумал и сочувственно спросил:

— Убили кого?

— Коза убежала! — крикнул Иван.

— Коза? — удивленно спросил пьяный. — Ах, коза. Коз они ловят... Или нет, коз не ловят.

— Где милиция? — рявкнул Васильев.

— Туда и направо, — сказал пьяный и остолбенел.

Перед ним никого не было. Только что стояли двое, и нет никого. Он огляделся. В конце улицы шагали двое мужчин. Может, те самые, а может, другие. У ворот постоялого двора стояла хозяйка и внимательно смотрела вслед двум неизвестным.

Васильеву повезло. Дежурный по милиции был молодой парень, мечтавший раскрывать таинственные убийства и ловить элегантных преступников во фраках и крахмальных манишках. Он работал в милиции второй год, и пока что ему удалось раскрыть только одно преступление — о краже свиньи у Капитонихи, злущей бабы, спекулянтки и самогонщицы. У него загорелись глаза, когда

он увидел петроградское удостоверение Васильева. Они разгорелись еще больше, когда оказалось, что речь идет об убийстве шести человек. В нарушении устава он оставил вместо себя милиционера и сам отправился с Васильевым на обыск. По дороге Иван ему торопливо рассказывал про хозяйку постоялого двора, которая, наверно, предупредила Киврину.

— Они не родственницы? — спросил Васильев.

— Кто его знает, — ответил дежурный, товарищ Корольков, в просторечии Петя. — Они тут, считай, все родственники. Богатых тут перечесать по пальцам, поселок небольшой, они все породнились. Не по крови, так по деньгам. Классовый интерес их сближает, понимаешь.

Петя Корольков, мечтая о раскрытии жутких убийств и таинственных ограблений, был тем не менее советский милиционер и аккуратнo ходил на политзанятия.

— А у Киврина дом богатый, — продолжал Петя. — Холодкова превосходно живет, Киврина то есть. Говорят, она замуж выходила — родители ее нипочем не хотели отдавать. Отец у нее человек богатейший, мельницу имеет. Что, говорит, за муж Киврин? Из-за границы приехал, война кончится — уедет, ищи-свищи. Но вышло не так. Бывает он, правда, дома мало, все в Петрограде да в Петрограде. По торговой части, видно, пошел. Но уж зато приедет — весь поселок бежит гостинцы смотреть. Детишки хорошо одеты.

— У них дети? — спросил Васильев.

— Трое, — ответил Петя. — Девочка и два мальчика.

— А Киврин давно здесь был?

— Месяц, наверно. Может быть, чуть побольше. Недельки две пожил и опять уехал. Жена себя, между прочим, строго ведет. Она женщина красивая, на нее многие зарились, но она ни-ни. У нас уж на что сплетники, а на ее счет и языки почесать не пришлось.

Очень тоскливо стало Васильеву, когда он услышал, что у Киврина тоже трое детей, столько же, сколько было у Розенбергов, и тоже девочка и два мальчика.

Что же это, думал он, ведь, наверно, разведывал перед тем, как убить, знал, сколько детей. Неужели ж своих не вспомнил?

Он молчал, замолчал и Петя Корольков, и только за их спинами слышалось тяжелое, хриплое дыхание Розен-

берга. Он не решался вмешаться в разговор — чувствовал еще себя виноватым. Трудно, наверно, давалось ему молчание при его общительном характере.

Они свернули в переулок. Грязный, немощеный переулок насчитывал по пять-шесть домов с каждой стороны. Дома все были одноэтажные, деревянные, с тесными дворами. В каждом доме три-четыре оконца смотрели на улицу, и все окна были уже замазаны, и между рамами лежала вата или бумага и стояли стаканчики с солью, чтобы оттягивать сырость. Форточки были такие крошечные, что, наверно, в комнатах духота стояла немыслимая. Прошли один дом, и второй, и третий, а у четвертого Васильев остановился. Этот был выше других и крыт зеленой железной крышей, а не щепой, и в ставнях, наружных ставнях, были вырезаны щегольские сердечки, и скат крыши обрамляла резьба, и наверху торчал железный резной флюгер. Все было крепкое, добротное, солидное, во всем чувствовалось богатство и какая-то кивринская благостность.

Васильев посмотрел на Петю.

— Кивринский,— сказал Корольков, поняв вопрос...

— Гражданку Киврину,— сказал Петя, глядя на пышную, красивую женщину, которая открыла им дверь.

— Я,— сказала женщина, и лицо у нее стало испуганное.

Васильев предъявил ордер на обыск. Киврина заахала и стала многословно ужасаться, за что, почему такой позор, да за что же их на весь поселок срамят, и, показывая, что ничего не боится, сама распахнула в комнату дверь. Комната была большая, и много в ней было всякой красоты — и ковров с интересными вытканными сюжетами, и разных вазочек и подушечек на диванах, и этажерок, не с книгами, конечно, а с украшениями, с цветами, с салфеточками, с безделушками. Над столом висела керосиновая лампа-молния с железным абажуром, и все было чистенькое, прибранное, и хозяйка как будто показывала, что вот, мол, какая у меня выставка, чистота и уют, осматривайте, ищите, ничего незаконного нет.

Васильев медленно осмотрел комнату. Ничего подозрительного не было. Он, впрочем, и не думал, что встретит подозрительное сразу, как войдет в дом. Если и есть что, так люди тоже не дураки — спрячут. Он, собственно,

для порядка обвел комнату глазами, не станут же в этой комнате держать вещи, уличающие хозяина в преступлении. У самой двери в стенку были вбиты большие гвозди, на которых висели хозяйкино пальто и салоп. Гвозди шли двумя рядами, один ряд наверху, там висела одежда взрослых, а второй ряд — гораздо ниже, на аршин от пола, не больше. Там висели на гвоздях три детских пальто, и на полу стояли под ними три пары галош и валеночки — скоро морозы начнутся. А совсем у двери было вбито еще три гвоздя, на которых висели три ранца из оленьей кожи, точно такие же, как те, которые Васильев видел в квартире Розенберга.

«Неужели привез?» — подумал Васильев, но сразу понял, что думает чепуху. Ранцы же остались там, на Охте. Просто новая буржуазия, вероятно, хочет быть такой же, как старая. Наверно, они думают, что дети из приличной семьи должны ходить в школу с оленьими ранцами. Наверно, и эти были куплены в Петрограде на том же Охтинском рынке, или на Мальцевском, или на Сытинском. Что ж, торговля разрешена. Никому не запрещается купить на рынке то, что ему понравилось. Но как же мог Киврин купить эти ранцы, помня, что он убивал таких же детей, как у него, и ранцы у них были из такой же оленьей кожи!

— Дети у вас уже в школу ходят? — спросил Васильев.

— Малы еще. — Киврина улыбнулась доброй материнской улыбкой. — Двое через год пойдут, а девчонка — через два. — Она, когда разговор зашел про детей, стала словоохотлива и улыбчива. — Отец у нас детей очень любит, — сказала она, — всегда им привозит что-нибудь. И вот придумал, ранцы где-то на рынке купил в Петрограде и привез. Ребятам интересно, я им иногда даю поиграть в школу.

Васильев промолчал. Петя стоял сзади и не говорил ни слова, предоставляя работать знаменитому, как ему казалось, петроградскому сыщику. Розенберг отдышался, дышал теперь ровно и мог бы уже, наверно, начать объяснять, что план он придумал правильно и просто обстоятельства сложились нехорошо... Словом, многое, наверно, мог объяснить, но время и место не позволяли.

Начался обыск. Второй раз в жизни обыскивал Ва-

сильев квартиру. Теперь, казалось ему, он уже обыскивает по-настоящему, как зрелый мастер уголовного розыска. Может быть, этому ощущению помогало то, что Петя, в будущем несомненно великий сыщик, с восторгом смотрел на петроградского специалиста и, видно, придавал большое значение даже самому мелкому его указанию. Впрочем, это важно было только сначала. Потом Иван забыл обо всем, кроме одного: здесь должны быть вещи, похищенные убийцей. Их надо найти.

Кроме хозяйки, в доме никого не было. А хозяйка старалась помочь, как будто от всей души. Прошли все вместе в спальню. Там стояли две кровати с горой подушек на каждой. В третьей комнате была детская, потом осмотрели кухню, выстукали каждый кирпич в русской печи. Спустились в подвал. Хозяйка держала лампу. Переворачивали картошку, которой много Киврины запасли, лук, свеклу, капусту. Васильев не спускал глаз с хозяйки. Она держалась спокойно, перестала уже говорить о том, что дом опозорили, и, кажется, искренне хотела показать все, что только в доме есть. Большим кухонным ножом истыкали в подполе стены и пол, так что муравей не смог бы спрятаться. Дом был бревенчатый, прощупали каждое бревно под обоями, обошли и внимательно обыскали свинарник, хлев, в котором стояли две коровы, курятник, где всполошившиеся куры неожиданно вспархивали и летели сдуру прямо в лицо.

Да, дом был богат, были и шубы, и пальто, и костюмы, и женские платья. У хозяйки были золотые вещи, и кольца с бриллиантами, и даже горностаевый палантин, из того самого горностаея, которым подбиваются королевские мантии. Но не было ничего, что принадлежало раньше Розенбергам.

Происходило все так. Сначала все ворошили и осматривали Васильев с Петей, потом они отходили в сторону, а драгоценности и меха внимательно осматривал Наум Иосифович. Он несомненно играл роль эксперта. Знакомую вещь можно сразу узнать. Но Наум Иосифович пристально на нее смотрел, потом закрывал глаза, будто вспоминая другую, похожую, потом смотрел на нее сбоку, прищурясь... Словом, как раньше ему казалось, что он коммерсант, так теперь казалось ему, что он сыщик. Хотя было ясно, что старик играет в игрушки, как малый ребен-

нок, все-таки и Васильев и Петя всячески ему помогали. И когда он вдруг многозначительно говорил: «Пойдемте-ка, я еще раз посмотрю», все возвращались назад и снова осматривали лисий салоп, крытый бархатом, и Розенберг будто сомневался, не этот ли салоп носила его золовка, хотя у Васильева в кармане лежала опись вещей Розенберга, продиктованная Наумом Иосифовичем, и в описи этой не было ни лисы, ни бархата. Было уже половина одиннадцатого, время для маленького поселка позднее, когда Иван спросил Клавдию Андреевну (так, оказывается, звали жену Киврина):

— А где же ваши дети, неужели еще гуляют?

Оказалось, что дети у соседки, которая присматривает за ними, потому что на Клавдии Андреевне много забот: и дом, и коровы, и свиньи, и куры, и на базар надо сходить. Да мало ли что, дел всегда набирается.

— Отчего ж так поздно? — спросил Васильев.

— А я должна за ними зайти, — сказала Клавдия Андреевна.

— Пойдемте, — коротко сказал Иван.

Конечно, не только соседка, а весь поселок уже знал, что у Кивриных идет обыск. Дети были сонные, да и соседка, кажется, клевала носом, хотя и смотрела на Васильева с таким испуганным любопытством, как будто знала, что он приехал специально, чтобы положить конец благополучию кивринской семьи.

Да, дети были совсем сонные, они хныкали и капризничали, и ничего не мог добиться от них Иван, кроме того, что по их виду было ясно: не привыкли они так поздно ложиться спать и никогда еще их так поздно не держали у соседки.

Клавдия Андреевна укладывала детей спать, а Васильев, Наум Иосифович и Петя сидели в соседней комнате.

«Конечно, Киврину предупредили, — думал про себя Иван. — Убил Киврин или не убил, это пока вопрос спорный, но то, что мы ничего не нашли, это ничего не доказывает. То есть только одно доказывает: что мы сглупили. Надо было прямо с вокзала сюда. Ну ничего, Станислав Адамович, сегодня еще не последний день. Сегодня выигрыш ваш, но ведь убили вы, я это знаю. И так или иначе, я это докажу».

В ИГОРНОМ КЛУБЕ

На обратном пути Розенберг все молчал и, стараясь не встречаться взглядом с Иваном, поглядывал на него с виноватым, несчастным видом.

Впрочем, он скоро лег и, покряхтев, поворочавшись, покашляв, заснул наконец, но и во сне стонал и метался. А Васильев не спал почти всю обратную дорогу. Он смотрел в окно, хотя за окном была темень и только иногда проплывали скучные деревянные станции.

Ужас, сколько ошибок он наделал! Во-первых, надо было, конечно, сразу ехать в Тешимлю и прямо с вокзала идти обыскивать Киврину. Поправимо ли это? Да, поправимо. Дом обыскали хорошо, в доме вещей нет. Значит, вещи спрятали у знакомых или родственников. Про убийство Клавдия Андреевна, конечно, не знает. Киврина кулак-баба, но не преступница. Думает, наверно, что муж спекулировал, в крайнем случае — скупал краденое. Наверно, когда он привез вещи, предупредил: не показывай никому и, если что, прячь, а то отберут. Он-то сам, впрочем, вряд ли очень волновался: из дома Розенбергов ушел, вещи унес, свидетелей нет. Кто его найдет? Значит, теперь, после обыска, Клавдия Андреевна, наверно, совсем успокоилась: хорошо, что муж предупредил, — вещи спрятала, обыск сделали, ничего не нашли, если на мужа и были какие-нибудь подозрения, то уж теперь-то они отпали.

Не сегодня, конечно, а через день-другой почти наверно принесут вещи обратно. Ценности большие, и у каких бы верных людей они ни хранились, всё спокойнее, когда вещи дома. Тут вся надежда на Петю. А если все-таки вещей не будет? Снова и снова перебирал Иван все данные. Ох, сомнительное это дело! Ну, а если Киврин вещи не домой отвез? Если они спрятаны в Петрограде или уже проданы?

Человек живет в Петрограде. Должен же он где-то ночевать, где-то обедать, где-то развлекаться, с кем-то встречаться и разговаривать. Ну хорошо, жил, говорит, в меблированных комнатах. Действительно жил. Отчего же не жить, документы в порядке. Уходил на целый день, а часто возвращался под утро. Что же он, чуть ли не сутками ходил по городу? И тут в памяти Васильева всплыли

синие кусочки картона с цифрами. Фишки! Владимирский клуб! Вторая ошибка: как это не проверить в клубе! Ему показалось, что поезд идет необыкновенно медленно. Он вышел в тамбур, постоял на холоде, успокоился. Потом до утра не то бодрствовал, не то спал, все вздрагивал и просыпался. Во сне ему снились игорные столы во Владимирском клубе, и Леня-крупье, загребающий деревянной лопаточкой деньги и пододвигающий их к выигравшему или опускающий в прорезанную в столе щель. «Делайте вашу игру!..» — «Игра сделана, ставок больше нет». Аккуратно зачесанные на пробор волосы, черный костюм, крахмальная манишка, манжеты с фальшивыми бриллиантами. Вся эта роскошь — просто рабочий костюм. На самом деле Леня честный человек, хороший бухгалтер, пошедший работать крупье только потому, что зарплата там лучше, а семья растет. Не напасешься всего.

В Петрограде Иван торопливо простился с Наумом Иосифовичем, поехал в угрозыск, не заезжая домой, и сразу бросился к телефону. Леня спал, но его разбудили, когда Васильев сказал, что звонят из угрозыска. Сегодня в шесть часов Леня садится на свой пост во главе большого зеленого стола. В четыре Леня приехал в тюрьму. Киврин сидел уже у Васильева. Он был, как всегда, спокоен и даже не обратил внимания, когда за его спиной открылась дверь. Иван Васильевич предупредил, чтобы Лению прямо впустили в кабинет.

— Заходите, заходите,— гостеприимно сказал Иван Лене.

Тогда только Киврин обернулся и увидел крупье.

— Вы ведь, кажется, знакомы? — сказал Васильев.

— Не то чтобы знакомы, но виделись,— ответил Леня.

Иван Васильевич вызвал караульных и приказал отвести Киврина в камеру.

— Ну что, узнаешь? — спросил он у Лени, как только они остались одни.

— Знаю, знаю,— сказал Леня,— часто ходит. Игрок умелый, серьезный, крупную игру ведет. Очень азартный.

— Выигрывает, проигрывает? — спросил Васильев.

— Как когда, но только все по-крупному. Уж проигрывает, так, бывало, по тысяче рублей за ночь выложит. Ну, а если везет, то и выигрывает помногу.

— Фамилию знаешь?

— Ну откуда ж, мы фамилий не спрашиваем.

— А в компании бывает? С кем-нибудь вместе приходит?

Леня задумался.

— Нет, в компании не бывает. Это игрок серьезный и барин большой. Ему компания не нужна. Я думал, у него магазин на Невском, не меньше.

— Неужели ни одного знакомого? — допытывался Васильев.

— Ну как же барин без слуги, — засмеялся Леня. — Есть у него один, в холуях ходит. Только человек маленький. Этот денег дает ему на игру. Скуповато, но дает, а тот и сбегает за чем-нибудь, и столик в ресторане займет, если нужно, и разговаривает, как лакей с барином.

— Фамилию тоже не знаешь?

— Фамилию не знаю, а приходи сегодня — покажу. Он теперь каждый день ходит. Играть совсем не играет или разве по мелочи, а стоять за столом стоит или по залам ходит, будто ищет кого-то.

— Барина своего, наверно, ищет, — сказал Васильев. — Жди, часиков в десять приду.

Во Владимирском клубе шла обычная жизнь. В нескольких ресторанных залах гремели оркестры, танцевали чечеточники, пели куплетисты, бесшумно скользили официанты. Счастливики, сорвавшие куш за зеленым столом и успевшие уйти вовремя, до того, как фортуна отвернулась от них, пировали. Деньги были им сегодня нипочем. Им казалось, что завтра они выиграют еще, и послезавтра еще, и так будет всегда. Вокруг них крутились неудачники, которые проигрались или не играли совсем, потому что не на что было играть. Счастливики были щедры. Они командовали: пусть составят столы! Пусть подают все самое лучшее! Пусть все пируют за их счет! Пусть видят, какие они богатые! Неудачники толпились вокруг: может, счастливчик даст рубль и они побегут, поставят на зеленое сукно, и рулетка принесет им тоже богатство и счастье. И счастливчик дрожащими руками совал рубли в протянутые руки, и неудачники мчались в игорный зал, чтобы испытать еще одну неудачу.

В женской уборной была суматоха. В кабинке повесилась древняя старуха, проигравшая все, что у нее было,

и все, что ей удалось занять. Старуху вынули из петли и отправили в морг. Это не привлекло ничего внимания, здесь умели все делать незаметно и тихо, чтобы не беспокоить гостей. Старуха была одинока, все ее родные эмигрировали и нищенствовали в Белграде, в Стамбуле или в Париже. Старуха бедствовала в маленькой каморке, одалживала на еду у немногих знакомых, ела сухой хлеб и торопливо бежала сюда, чтобы поставить рублик на зеленое сукно. Прадед ее был знаменитый генерал и храбро сражался в Отечественную войну. Дед был сенатор, отец — министр, знаменитый своей глупостью. Фамилия вырождалась. Графиня плохо помнила свою юность, романы, замужество, все это как-то стерлось у нее из памяти, но она помнила все свои выигрыши в Баден-Бадене и в Монте-Карло, в тайных игорных притонах Парижа и Петербурга. Завтра ее отвезут на кладбище и закопают где-нибудь в уголке, подальше от любопытных глаз.

К сожалению, зловредный микроб азарта заражает не только человеческое отребье, но проникает иногда и в души честных, талантливых людей. Вот от зеленого стола отошел, проиграв последние деньги, известный петроградский фельетонист. Он писал легкие и веселые фельетоны в стихах. Читатель газеты, раскрывая номер, искал, нет ли его фамилии. Он был очень талантливый человек и мог бы оставить след в истории русской литературы, но предпочитал делать то, что давалось ему легко. Петроградцы любили его фельетоны. Газеты и журналы много платили ему. Кое-что небольшое, то, что удавалось урвать, получала его семья, а остальное он торопливо нес во Владимирский клуб, все надеясь на какое-то дурацкое счастье, на то, что однажды соберет он с зеленого сукна огромную сумму. Счастья этого никогда не будет, а если и будет, окажется, что оно не нужно ему. Если однажды он и выиграет огромную сумму, то на завтра же ее проиграет. Ему предстоит ранняя смерть, он не успеет вырастить дочерей и устроить счастливую старость своей жене. Все, что он написал, забудется на следующий день после его похорон. В глубине души он все это знал и все-таки не мог оторваться. Третьи или четвертые сутки он в клубе? Никак не высчитать. Кажется, третьи. А может быть, и четвертые. Он устал. Он отошел от стола и сел на стул у стены. Он до утра подремлет немного, а потом позвонит

в редакцию, чтобы прислали курьера. Пока курьер будет ехать, он успеет написать фельетон. Он отдаст фельетон курьеру, курьер передаст ему аванс, он подойдет снова к столу и тогда уж обязательно выиграет эту огромную сумму, которая ему так нужна. Впрочем, зачем она ему нужна, он так и не помнит. Он хочет пока поспать.

В ресторане счастливчик уже сидит во главе стола, за которым пьют много его гостей. Кто эти гости, счастливчик не помнит. Да он и не знает их. Впрочем, нет, он их встречает каждый день здесь же, в клубе. Это постоянные посетители, как и он. Где они живут и на что они живут, что они делают и делают ли что-нибудь, он не знает, да, наверно, и никто не знает. Ничего. Сегодня ему так повезло, пусть сегодня они его хвалят, восторгаются им, аплодируют ему, он за это их досыта накормит, напоит дорогими винами и даже от щедрот своих даст по рублику кинуть на зеленый стол.

Внизу, в гардеробе, раздевается компания новичков. Это бухгалтеры, кассиры, разные люди, связанные с деньгами, имеющие доступ к деньгам. Они пришли в первый раз, они рискнут поставить какую-нибудь ерунду, чтоб без труда покрыть из первого жалованья. Они тихо переговариваются между собой, подтягивают галстуки, причесываются перед зеркалом, стараются, чтобы швейцары подумали, будто они старые, опытные игроки. Ох, не подумают этого швейцары! Сколько уж видели швейцары таких! Поставят они пустяковую сумму, проиграют, решат отыграться, еще проиграют, и уж тогда пойдет. Будут они подчищать отчеты, дрожа, ожидать ревизии и, зная, что отчитаться все равно невозможно, приходить сюда снова в надежде на чудовищный, на невероятный выигрыш, который вернет их в круг порядочных людей. Но только к ним счастье не придет. Ни к кому оно не приходит за зеленым столом.

Крутится рулетка, прыгает шарик. На каком номере он остановится? Толпа вокруг стола. Сидят игроки, за ними стоят разные люди, у которых нет денег на игру, но хочется хоть посмотреть, как другим везет, позавидовать чужому счастью, поудивляться, поахать. Тут растратчики и торговцы, воры, убийцы и бывшие аристократы, мужчины и женщины, молодые и старые, болтливые и молчаливые, все толпятся вокруг стола.

— Делайте вашу игру,— ровным тоном говорит крупье.

Игра сделана, ставок больше нет. Крутится колесо, прыгает шарик, длинная деревянная лопаточка забирает деньги у неудачников, пододвигает деньги к счастливым. Толпа вокруг обсуждает, спорит, ужасается.

Идет обыкновенная жизнь во Владимирском клубе.

Васильев замешался в толпу возле стола. Ловко орудует лопаткой крупье, ровным, невыразительным голосом, всячески показывая свое безразличие, сверкая белыми манжетами, черными, расчесанными на пробор волосами, руководит игрой Ленья. Вот он скользнул равнодушным взглядом по Васильеву. Чуть-чуть, на долю секунды, прищурился правый глаз. Значит, заметил. «Игра сделана, ставок больше нет». Крутится колесо рулетки. Вся толпа, вытянув шеи, следит за прыгающим по колесу шариком. Нет человека, у которого бы хватило силы хоть на секунду оторвать от колеса взгляд. И, пользуясь этим, Ленья, прямо посмотрев на Ивана, указывает ему глазами на высокого, немолодого, плохо одетого мужчину. У этого мужчины лицо все в оспинах, крупный мясистый нос, горящие жадностью и азартом глаза. Иван нечаянно толкает его, тот не шевелится. Даже не заметил, наверно.

«Этот?» — спрашивает глазами Васильев.

«Этот»,— подтверждает, чуть-чуть наклонив голову, Ленья.

Проходит еще полчаса, и рябой мужчина делает передышку. Маленькую передышку: только выпьет стакан пива — и обратно к столу. В узком проходе, который ведет к буфету, ему приходится протиснуться между двумя людьми, которые выбрали неудачное место, чтоб поговорить.

— Простите,— хмуро говорит рябой, пытаюсь протиснуться между ними.

И вдруг оба вынимают красные книжечки.

— Пройдемте, гражданин.

Маленькая, почти незаметная сумятица в коридоре. Высокий рябой мужчина спускается по лестнице в гардероб, двое идут с ним рядом, ни на секунду не спуская с него глаз. Наверно, арестовали кого-нибудь, растратчика или грабителя, карманника или убийцу. Никто не обращает на это внимания. Здесь это самое обыкновенное дело.

ДОПРОС

- Фамилия, имя, отчество?
- Яшкин, Алексей Алексеевич.
- Год и место рождения?
- Петербург, тысяча восемьсот восемьдесят первый.

Яшкин Алексей Алексеевич почти сутки в одиночке. Десять раз собирался Васильев вызвать его и все не вызывал. Пусть Яшкин посидит да подумает, почему его взяли, в чем его обвиняют и какие есть против него улики. Только поздно вечером его повели на допрос. Яшкин к этому времени уже «созрел» для допроса. Сначала, после ареста, он решил, что взяли его просто так, для проверки, поскольку он очень часто бывает во Владимирском клубе. Потом понял, что для проверки не стали бы так долго его держать, и подумал, что, наверно, что-нибудь о нем узнали. Может быть, управдом попался, был арестован и сдуру признался в том, что за взятку дал Яшкину комнату. Может быть, стало известно о некоторых его коммерческих операциях, не положенных по закону. Может быть, узнали даже о том, что именно он, Яшкин, продавал на базаре контрабандные чулки и кокаин.

Яшкин был с законом всегда не в ладу. Вся его жизнь состояла из мелких жульничеств, спекуляций, полулегальных или совсем нелегальных дел. Естественно, что он всегда ждал ареста и всегда был готов получить год или два заключения. Это было, конечно, неприятно, но что же делать, так складывалась судьба. Бывало, что Яшкину удавалось неплохо заработать,—это все равно, как если б шарик рулетки принес ему счастье. Но могло быть иначе. Бывает, поставишь все деньги на один номер, а крупные опустит их лопаточкой в щель стола, и ищи-свищи.

Яшкин решил по возможности признаваться. В то время, если подсудимого не присуждали к высшей мере социальной защиты, то есть к расстрелу, больше десяти лет ему уже дать не могли. Это означало, что он просидит два или самое большее три года. А преступления Яшкина на десять лет не тянули. Дадут года три, отсидит год. Яшкина тюрьма не пугала. Кормят там теперь, говорят, неплохо, обращение вежливое. Словом, Яшкин решил, чтобы не затягивать дело, признаваться. Надо только узнать, в чем именно признаваться. Ему, Яшкину, в сущности, все рав-

но. Надо только обязательно признаться именно в том, в чем его обвиняют. А то выяснилось, например, что Яшкин давал управдому взятку, а он признается, что торговал контрабандой. Получится неловко. Все равно, что самому на себя лишнее наговорить.

Итак, план поведения был ясен. Послушает, в чем его обвиняют, поломается самую малость и признается. Расскажет, что происходит из общественных низов, на преступления толкнули страшные условия царского режима, и, может быть, дадут даже условно.

В общем, если бы часовой посмотрел в глазок камеры, он бы увидел очень веселого заключенного. Яшкин ходил из угла в угол, насвистывал разные мотивы, и вообще видно было, что настроен он добродушно и весело. Это бы, конечно, и было так, если бы только не одно обстоятельство. Дело в том, что была одна-единственная история... Впрочем, о ней, конечно, узнать ничего не могли.

Яшкин гнал от себя даже мысль об этой истории. Довольно уж в свое время стоила она ему нервов. В неустроенной, бедной жизни Яшкина, в которой, по совести говоря, что ни день, то обязательно нарушался закон, в общем, все-таки все было скорее веселое, чем мрачное. Кроме только одной страницы... Но ведь ясно, что о ней никак не могли узнать... Знал только Яшкин и еще один человек. Уж тот-то выдать не мог. Во-первых, он сам виноват больше, чем Яшкин, а во-вторых, кремень человек.

И снова Яшкин ходил и насвистывал. Когда принесли обед, трепался, шутил. Странными все-таки были два обстоятельства. Первое: почему его посадили в одиночку? В одиночку сажают важных преступников. А он что такое? Ну дал взятку управдому, ну торговал контрабандой. И второе: почему его держат без допроса целый день?

Темнело. Принесли ужин, под потолком зажглась тусклая лампочка. Все чаще и чаще ужас сжимал сердце Яшкина. Он и богу помолился, хоть никогда в бога не верил, только б не выплыла эта история. Ведь он и не виноват в ней. Тот, другой, все придумал и организовал.

Нет. Яшкин без конца продумывал все обстоятельства и твердо решил, что эта история вскрыться никак не могла. Во-первых, она была давно. Если и были какие следы, так они уже давно потеряны. Вещи не продаются. Лежат

себе тихонько далеко-далеко от Петрограда. Совершенно ясно, что Яшкина взяли за что-то другое. Но только почему так долго не допрашивают? Лег Яшкин, когда полагалось, и сразу заснул. Проснувшись, не мог сначала понять, что случилось: почему-то горел свет, в камере стоял надзиратель. Какой-то страшный сон снился Яшкину, перед тем как его разбудили. Он даже не хотел его вспоминать. По чувству ужаса и тоски, которые остались от этого сна, он догадывался, о чем был сон. Молчаливые конвойные вели его по бесконечным коридорам, и Яшкин шел чуть живой от страха, потому что вопреки всякой логике, вопреки всем его рассуждениям было ясно, что вскрылось именно то дело, о котором он даже наедине с собой боялся вспоминать.

В клубе Яшкин Васильева не видел. Он не отрывал глаз от зеленого сукна, да и Васильев старался особенно на глаза ему не попадаться. Арестовывали Яшкина другие работники угрозыска, поэтому, войдя в кабинет следователя, Яшкин увидал незнакомого совсем молодого человека, и, наверно, если бы мысль об этом «единственном деле» не сверлила ему мозг, он, увидев, что у следователя молоко на губах не обсохло, осмелел бы и немного помучил его, прежде чем признаться в мелких своих грехах.

Волновался перед встречей и Васильев. Можно было по-разному вести допрос. Можно было начать разговор издалека и постепенно навести на Розенбергов, можно было сразу ошарашить резким вопросом. Иван продумывал и тот вариант и другой и решил, что, пока не увидит Яшкина и не поймет, в каком тот состоянии, бессмысленно предпринимать систему допроса.

Итак, Васильев сидел за столом и ждал. Он хорошо представлял себе, что такое Яшкин. Мелкий жулик, пустой, легкомысленный человек. За ним наверняка есть мелкие кражи, какие-нибудь мошенничества, за которые по совокупности может он получить года три. Уголовник он настоящий, и годом-другим тюрьмы его, конечно, не испугаешь. Будет болтать, шутить, а потом признается. Вот если убийство...

Когда Яшкин вошел, Васильев мельком взглянул на него и сразу отвел глаза. Сомнений не было: Яшкин боялся, страшно боялся, чуть не до потери сознания.

— Садитесь.

Яшкин сел. У Ивана было суровое, хмурое лицо. Он чувствовал внутреннее состояние Яшкина и точно знал теперь, как с ним разговаривать.

— Фамилия, имя, отчество, год рождения?..

Васильев положил ручку и долго молча смотрел на Яшкина. Кто его знает, были у него судимости или нет. Архивы уничтожены, восстановить ничего нельзя, но то, что у следователя он не в первый раз, это наверное. То, что арест для него не событие, это видно. Такие жулики на допросах смеются и шутят. А у Яшкина не было даже сил шутить, жалкая, несчастная улыбка была у него на лице. Васильев слова еще не сказал, а Яшкин съезжился под его взглядом. Пытался как будто сказать что-то, наверно пошутить собирался, но только глотнул слюну и вздохнул. Чувствуя, что Яшкин потерял способность сопротивляться, Васильев сказал ему уверенно и твердо:

— Расскажите, гражданин Яшкин, подробно, ничего не упуская, как вы вместе с гражданином Кивриным убили семью Розенбергов.

...Было уже светло, когда Яшкин дрожащей рукой подписал под протоколом свою фамилию. Он не запирался ни в чем. Не следовало ему идти на убийство, неподходящие были у него для убийства нервы.

Да, Васильев ему верил, когда он проклинал Киврина и день и час, когда с Кивриным познакомился. Мелкий жулик, игрок, слабый человек, он переживал в то время трудный период. Правда, самое страшное было позади — гражданская война, военный коммунизм. Тогда он жил совсем плохо, но и к нэпу приспособливался с трудом, потерял связи и не очень понимал новые условия — что можно, чего нельзя. Познакомился он с Кивриным на Охтинском рынке. Киврин недели две к нему присматривался и потом поручил продавать контрабанду: кокаин, дамские чулки, французскую пудру. Он продавал и зарабатывал прилично. Костюмчик справил, во Владимирский клуб зачастил. Игроком он всегда был, еще до революции. Во Владимирском он снова встретил Киврина. Тот крупно играл...

Словом, насколько понял Васильев, волевой, энергичный Киврин совсем подчинил себе легкомысленного, слабохарактерного Яшкина. Деньги на игру Станислав Ада-

мович действительно иногда давал, но не просто, а в долг, и запутал Яшкина в долгах совершенно. Дальше шла длинная история о том, как Киврин познакомился на рынке с Розенбергом, как разузнал, где он живет, какая у него семья. Как постепенно наводил Киврин Яшкина на мысль, что если бы они Розенбергов очистили, так Яшкин и Киврину бы отдал долг, и еще ему бы и на игру осталось. А об убийстве и речи не было. Получалось, по словам Киврина, так, что у Розенберга днем никого дома не бывает. Приходи и бери ценности. Больше месяца они дело готовили. Киврин комнату нашел в соседнем с Розенбергом доме. Чердачное окно в доме, где жил Розенберг, выходило во двор маленького домика, жила там одинокая старушка и очень нуждалась. Дворик выходил уже на другую улицу. Там Киврин и поселился и несколько раз старушку посылал с поручениями, так чтоб ее несколько часов не было, и платил ей за это хорошо. В общем, дело было разработано до малейших подробностей. Одного только Яшкин не знал: что убивать придется.

Дальше будто бы дело закрутилось вокруг манто. Мол, Киврин хочет супруге купить манто, котиковое или каракулевое, и заплатит золотыми десятками. Показал десятки Розенбергу. Денег у Киврина было много, и советских, и царских, и всяких. Ездил Киврин к Розенбергу домой смотреть манто, сказал, что одно возьмет обязательно, но не знает, каракулевое или котиковое. Был у него вечером, видел детей, жену, тещу.

Настал намеченный день. Яшкин думал, что они из пустой квартиры будут вещи брать, и то волновался, а Киврин, железный человек, только посмеивался. Старуху с утра услал Станислав Адамович на станцию Сиверскую письмо отвезти. Туда поезд два с половиной часа идет, так что раньше вечера она не могла вернуться. Заранее привез Киврин к ней пустые чемоданы. Яшкин еще до рассвета залез на чердак к Розенбергам и там сидел ни жив ни мертв. Ребята приходили из школы в три. В два часа Киврин заглянул на чердак и сказал: «Через полчаса ровно спускайся, постучишь четыре раза». Яшкин дождался до половины третьего, спустился, четыре раза постучал, вошел, а там двое убитых, жена и теща, и Киврин стоит улыбается. «Неудачно, говорит, по-

лучилось, дома оказалась старуха, потом жена пришла, пришлось пришить». Теперь Яшкин думает, что у Киврина с самого начала так и было задумано. Он только врал, что пустую квартиру брать будут, а сам шел на убийство. Яшкин растерялся, Киврин стал ему говорить, что теперь, мол, спастись нужно и придется, мол, всех перебить. Яшкин стал было отказываться, а Киврин сказал, что ему все равно погибать, так он и Яшкина пришьет. Ну, а потом...

Яшкина до сих пор трясло, когда он вспоминал об этом: и как они девочку убили, и как мальчиков, и как потом собрали вещи, но ждали Розенберга. Киврин говорил, что, пока его не убьют, выносить вещи опасно: а ну как раз он и придет. Потом Розенберга убили, и они уже сложенные в два мешка вещи быстро понесли на чердак и выбросили в окно к старухе во двор. Потом выглянули на улицу, подождали, пока поблизости никого не будет, прошли до угла. Яшкин торопился, а Киврин ему говорил: «Не торопись, экая ты баба, право! Знал бы, не взял тебя в компаньоны».

Еще Киврин говорил, что они хорошо управились, быстро. И верно, только успели вещи в чемоданы положить, как извозчик приехал, — наверно, тоже кивринский дружок, потому что ничего не спросил, чемоданы вынес, поставил в пролетку и повез их. До угла Невского и Литейного доехали, Киврин и говорит: «Ты, говорит, слезай, я вещи сейчас увезу и спрячу. На тебе сто рублей, ты пока живи, а я вещи продам, тебе еще причитается. Через две недели, двадцатого числа, будь во Владимирском клубе». Яшкин пошел к знакомому, купил самого-ну, выпил, не захмелел, пошел в клуб и свою сотню проиграл. До двадцатого кое-как прокрутился, а двадцатого Киврин пришел в клуб, такой жизнерадостный, веселый. «Ты, говорит, об этом деле забудь, никто, говорит, нас уже не поймает. Денег у меня, говорит, сейчас мало, но понемногу тебе буду давать, а когда вещи продадим, тогда и кутнем как следует, и на жизнь останется»...

Трясущегося, плачущего Яшкина увели. Васильев остался один. Он долго стоял у окна. Он не видел ни решетки в окне, ни улицы за тюремной стеной. Все время были у него в глазах дети и взрослые, которых одинаково неумолимо била гиря по голове, дрожащий, испуганный

Яшкин с большим рябым носом и спокойный, барственный, благостный Киврин.

Долго уже стучали в дверь, когда Васильев наконец услышал и крикнул:

— Войдите!

Принесли телеграмму. Петя, brave милиционер со станции Тешимля, телеграфировал: «Буду утром, встречайте извозчика». Это означало, что кивринские вещи задержаны и что Петя их сам везет в Петроград.

«Ну, Станислав Адамович,— подумал Иван,— будет у вас завтра день, полный неожиданностей».

НЕОЖИДАННЫЙ ХОД

Петя приехал из Тешимли, сияя, как медный грош. Все вышло как по-писаному. Петя считал себя отныне настоящим сыщиком, участвовавшим в раскрытии крупного преступления. Он привез три чемодана с вещами, очевидно, те самые три чемодана, которые Киврин с Яшкиным везли на извозчике. Дело, оказывается, было не простое, но Петя все провел на высшем уровне. Сначала он пустил слух, что Киврин арестован за спекуляцию, дело несерьезное, но все-таки Петроград решил проверить и прислал паренька сделать обыск. Паренек, собственно, еще и в милиции не работает, так, вроде ученика. Послали, чтоб приучался к делу, а то в Петрограде все равно баклуши бьет. Тут Петя вдруг покраснел и испуганно посмотрел на Васильева: не обидел ли он его. Но Иван улыбнулся, и Петя продолжал.

Теперь надо было организовать засаду. Тоже задачка! В Тешимле, если коза отошла от забора, уже разговоров на целый день, а тут спрячь-ка двух человек. Одному не справиться, два нужно самое малое. Словом, они с милиционером целый день ломали голову, но все-таки придумали. Как стемнело, они забрались в сарайчик в доме дежурного по станции. Дежурный на ночь ушел на работу. С ним только мать живет, глухая старуха. Она дверь заперла—и на боковую, а они в сарайчик. И представьте, даже не особенно долго ждать пришлось. В половине первой ночи Клавдия Андреевна открыла дверь, огляделась, видит — на улице ни души, в Тешимле рано ложатся спать, она вышла, дверь притворила и бегом к тетке

своей, та живет от нее через два дома. Тетка, видно, поджидала. Через минуту смотрит Петя — бегут две женщины, несут три чемодана: Клавдия Андреевна—два да тетка — один. Тут они из сарая выскочили, привели женщин в милицию, вещи все описали, акт составили, ну и вот, пожалуйста.

Наум Иосифович сразу же опознал вещи и разволновался страшно. Он, видно, действительно любил семью покойного брата. Он даже заплакал, разбирая пахнущие нафталином манто.

— Человек имеет семью,— горестно причитал он,— детишки такие славные, и тоже трое, так надо идти убивать чужих детей!

Еле-еле его успокоили. Он подписал акт опознания и отправился домой. Петя ушел поспать. Он в поезде глаз не сомкнул: а ну как сопрут чемоданы.

Васильев развесил манто по стенам, открытую шкатулку с драгоценностями поставил на скамейку и вызвал Киврина. Теперь он чувствовал себя совсем иначе признается Киврин или не признается — он все равно уличен.

Киврина три дня не вызывали на допрос. Не мог он не понимать, что за это время собирают какие-то данные. Тоже, наверно, думал и передумывал, как и Яшкин. Но не те у него были нервы и не тот характер. Он вошел, как всегда спокойный, благостный, барственный. Поздоровался и спокойно сел на стул перед столом следователя. Не мог он не видеть развешанные манто и шкатулку с золотыми вещами. Васильев следил за ним очень внимательно, но он не вздрогнул, не покраснел, даже не скосил глаза.

— Ну, гражданин Киврин,— сказал Васильев,— сегодня вам придется признаться.

— В чем? — спросил удивленно Киврин.

— В убийстве семьи Розенбергов. Знакомы вам эти вещи?

— Нет,— сказал Киврин, посмотрев на вещи,— первый раз в жизни вижу.

— Странно. А ваша жена показывает, что все эти вещи вы привезли ей из Петрограда, велели беречь и никому о них не говорить. Вот протокол ее допроса, вот ее подпись.

Киврин взял протокол допроса, внимательно прочел, пожал плечами и сказал:

— Ничего не понимаю.

— Жаль, что не понимаете,— сказал Васильев,— придется понять. Вот двоюродный брат убитого Розенберга опознал эти вещи. Пожалуйста, можете посмотреть протокол опознания.

— Не знаю,— сказал Киврин,— подпись как будто и верно жены, но зачем она на меня валит, понять не могу.

— Хорошо,— сказал Васильев.— А Яшкина вы знаете?

— Яшкина? — Киврин задумался.— Как будто во Владимирском клубе играл иногда такой босяк Яшкин. Кажется, он у меня как-то выпрашивал деньги на ставку, но, может быть, я и путаю. В клубе ведь этой шантрапы полно, с выигрыша обязательно просят. И даешь. Там это принято. Тоже скупей других оказаться не хочется.

Смотрел Васильев на Киврина и думал. Удивительный человек! Убив шестерых, он не чувствует ни угрызений совести, ни просто физического ужаса перед тем, что сделал, и школьные ранцы ему не вспоминаются, такие же точно, как у его детей, ни грязь, ни кровь — ничего. Машинный ум. Рассчитаю так, как мне выгодно, и так сделаю. Что ему сказать? Что чистосердечное признание облегчит участь? Но ведь он понимает, что за такое убийство все равно расстреляют, хоть признавайся, хоть нет. Взывать к его совести? Но если его соучастник и тот удивлялся, как деловито и весело Киврин убивал, так какая же тут может быть совесть? Иван смотрел на Киврина и молчал. Киврин повернул голову, посмотрел на манто, висевшее на стене, и пожал плечами.

Понятия не имею, говорил весь его вид, чего от меня хотят. И в глазах его, когда он смотрел на Васильева, было даже сочувствие к бедному следователю, который старается, трудится, и неизвестно зачем, потому что Киврин ни в чем не виноват и обвинить его все равно ни в чем не удастся.

Раньше это выражение снисходительного сочувствия в глазах Киврина бесило Васильева, но сейчас все было по-другому. Киврин может признаться или не признаваться, суд его все равно осудит.

— Прочтите показания вашего соучастника Яшки-

на,— устало сказал Иван и протянул Киврину протокол допроса Яшкина.

Киврин взял протокол, долго, внимательно его читал, иногда даже шевеля губами, чтобы ничего не пропустить и все понять, прочел, подумал, аккуратно сложил протокол, пожал плечами и сказал:

— Оговор. Я, впрочем, неоднократно еще в клубе замечал в этом Яшкине что-то дьявольское, но не придавал значения. Вы знаете, во Владимирском клубе дьяволов бывает довольно много. Если играешь в рулетку и не перекрестишься, когда ставишь, то обязательно проиграешь. У них есть невидимые руки: они остановят шарик на своем номере, и всё. А если перекрестишься, хоть маленьким крестиком, под пиджаком, то он тянет лапку, чтоб остановить шарик, а бог ему глаза закроет, он и падает не туда, продуется, ставить нечего, вот дьявольские козни и разрушены. Я сейчас вспоминаю, что Яшкин вел себя подозрительно, несколько раз тянул лапку на шарик, но я перекрещусь, и ему не видно. Вот поэтому, наверно, он и решил меня оговорить, придумал каких-то Розенбергов, да их ведь и не было никогда.

Все это было наивно и обречено на успех. Видно было, что в психиатрии Киврин разбирался плохо.

— Эх, Станислав Адамович,— сказал Васильев,— что это вы, право, затеяли канитель! Думаете, врачи поверят, что вы сумасшедший? Бросьте! Не так-то просто их обмануть. Еще если бы вы подчитали чего-нибудь до ареста, ну тогда могли бы надеяться, а в тюрьме и в сумасшедшем доме вам про душевные болезни книг не дадут, и посоветоваться вам не с кем. Сходить с ума не простое дело. Оно образования требует.— Васильев протянул Киврину ручку.— Вы протокол подпишете? Или совсем уж с ума сошли, так что и подписать не можете?

— Я, гражданин следовательно, с ума не сходил,— сказал обиженно Киврин,— и если в протоколе правда написана, то я с удовольствием подпишу.

Он внимательно перечел протокол и, ничего не сказав, подписал.

Когда его вели обратно в камеру, он напевал не то молитву, не то псалом, что-то «божественное», как рассказывали конвойные. В камере он разделся догола, аккуратно сложил костюм и белье, некоторое время танце-

вал совершенно голый, потом опять пел; в общем, вел себя так, как ведут себя сумасшедшие в представлении людей, совершенно не знакомых с психиатрией. Васильеву доложили и о том, как он танцует, и как он поет, и как он разделся. Васильев, по совести говоря, в психиатрии понимал, пожалуй, не больше Киврина, зато Киврина он теперь понимал очень хорошо. Конечно, эксперты разоблачат симуляцию, улики совершенно достаточно и надежды выкрутиться у Киврина нет, но тут все-таки отсрочка, да из сумасшедшего дома и бежать легче, чем из тюрьмы. Холодный, расчетливый ум и железная воля Киврина сопротивлялись до конца и использовали все шансы.

Васильев мог сделать только одно: сократить до минимума время экспертизы, уличить Киврина в симуляции, представить суду убедительные доказательства, что убийца психически нормален.

В ту самую минуту, как Киврин начал молоть чепуху о дьяволах во Владимирском клубе, Ивану пришла в голову мысль, как быстрее разоблачить Киврина. Сразу же, во время допроса, он начал приводить ее в исполнение. В том, что он говорил Киврину о сумасшествии, был расчет. Киврин должен был сам себя уличить, Васильев уже навел его на эту мысль. И, что самое важное, Киврин этого не заметил.

СУД ПРИШЕЛ

Иван ехал вечером домой по Ириновской ветке в маленьком, раздрызганном старом вагончике. Первое дело, самостоятельно проведенное с самого начала, большое уголовное дело, шло к концу. В этом же вагончике железной дороги оно и началось. Так же тускло горела свеча в фонаре, так же разговаривали пригородные жители о маленьких своих новостях: о человеке, зарезавшем свинью или купившем корову. Васильев вспоминал, как он услышал про гирю на ремешке, как соскочил с поезда на ходу и зашагал по пустынной припетроградской равнине, как, волнуясь, объяснялся с дежурным по Полюстровскому отделению милиции. Ведь мог он и не выскочить из вагона, мало ли о чем болтают пассажиры пригородного поезда. Что ж такого, что гиря на ремешке.

Но он все-таки выскочил и пошел вдоль железной дороги пешком. И начала перед ним разворачиваться удивительная кинолента, и начали проходить перед его глазами разные люди: спокойный, расчетливый Киврин, настоящий злодей — умный, лживый, хладнокровный, безжалостный, и Яшкин, мелкий жулик, фигура скорее комическая, слабохарактерный, легкомысленный человек, который так бы и прожил свою бестолковую жизнь, то сидя в тюрьмах, то освобождаясь, попадаясь на мелких жульничествах и спекуляциях, проигрывая в рулетку и вновь добывая немного денег или попадая опять в тюрьму. И никогда в жизни не пришла б ему в голову мысль об убийстве, но не повезло Яшкину: попал он в жесткие, твердые руки Киврина и по слабости характера, по легкомыслию стал преступником, убийцей, подлежащим расстрелу. Страшное и смешное перемешивалось, чередовалось в этой истории, как почти в каждой жизненной настоящей истории. Страшная комната Розенбергов, и рядом — смешная старуха, кормящая свинок бардой с пивного завода, болтливая, глупая стяжательница, Наполеон, а не баба, и неудачливый торговец Наум Иосифович, мечтающий о богатстве и уважении, не понимающий, что прошло время уважаемого богатства, мечтательный рыцарь ушедшего в прошлое мира. Шумные залы Владимирского клуба прошли перед глазами Ивана Васильевича: и лопатка крупье, передвигающая деньги по зеленому сукну, и бесконечный калейдоскоп игроков, выигравших и проигравших, игроков с опасным блеском в глазах, симптомом заразной лихорадки азарта; и глухая станция Тешимля, постоянный двор и его хозяйка, Кабаниха, которая теперь никому не страшна, кроме разве сонного холуя Васи. Да, смешные и страшные люди прошли точно в хороводе. Смешное становилось страшным, и страшное становилось смешным. Страшно и кончится эта история. Встанет публика в зале и в молчании выслушает приговор: «К высшей мере социальной защиты Киврина Станислава Адамовича и Яшкина Алексея Алексеевича». И хоть страшно знать, что эти люди, стоящие перед скамьей подсудимых, будут расстреляны, все будут согласны с приговором. И Васильев с ним согласен. За страшные свои преступления, за холодную свою натуру, за зверства, за кровожадность должен

быть уничтожен Киврин. Киврина не жалко. А Яшкина Васильеву немного жалко — бестолковый, слабохарактерный человек, не злой по натуре, а просто слабый. Но убийство есть убийство и закон есть закон.

А сейчас перед этим страшным концом, чтобы довести до конца свою трудную и справедливую работу, придется сыграть комический эпизод, чтобы суду была ясна до конца картина. Заставить Киврина самого себя разоблачить, выбить у него из-под ног последнюю спасительную доску.

Киврина отправили в психиатрическую больницу. Экспертиза должна установить, действительно он сумасшедший или просто симулянт.

Еще на допросе Васильев внушил Киврину, что есть твердые правила поведения сумасшедших, которых Киврин не знает и не может знать, и поэтому будет разоблачен. Логично предположить, что Киврин попытается узнать, как ведут себя настоящие сумасшедшие, что нужно делать, чтобы экспертная комиссия признала подлинное безумие.

На следующий день Васильев вызвал к себе санитар из больницы для душевнобольных, Быкова. Санитар этот не в первый раз имел дело с уголовным розыском. Он работал в отделении, в котором находились преступники, направленные на экспертизу. Естественно, что следователям важно было знать, как ведут себя подследственные. Быков был санитар старый, опытный, сумасшедших перевидел на своем веку тысячи и, пожалуй, не хуже врача мог отличить симулянта от настоящего безумного. На этот раз Васильев предложил ему не просто наблюдать за Кивриным, а заставить Киврина самого себя выдать, чтобы у экспертов не осталось никаких сомнений. Васильев составил небольшой список поступков, которым Быков должен был научить Киврина.

— Ты сам не навязывайся, — сказал Иван Васильевич, — ты только, как к слову придется, расскажи, что сумасшедшим быть не такое простое дело. Что сходят с ума люди по правилам и если человек правил не знает, то обязательно попадется. Он тебе денег предложит, чтоб ты его научил, а ты откажись, поломайся. Когда он тебе цену до тысячи рублей набьет, тогда согласишься и по этому списку подсажи. И вели, чтоб он точно все исполнял,

ничего не пропуская: если, мол, он пропустит что-нибудь, это уж науку введет в сомнение.

На копии списка Быков расписался, что список получен от следователя для того, чтобы вышеперечисленному научить находящегося на экспертизе Киврина. Через неделю он позвонил и сказал, что список действует.

— Неделю меня уговаривал,— сказал Быков,— за тысячу рублей уломал.

Когда Киврина вызвали на комиссию, список лежал перед врачами. Киврин все исполнял, как хороший актер по пьесе. Он попросил у доктора папиросу и спокойно съел ее, объяснив, что табак очень питателен, потом замыкал и сказал, что он не простая кошка, а кошачий Наполеон,— словом, весь вздор, который придумал для него Васильев, был выполнен в точности. Комиссия признала его нормальным.

Формально следователь не обязан присутствовать на суде, но Васильев не пропустил ни одного судебного заседания. Адвокат у Киврина был старый знаменитый криминалист, и Васильеву было очень важно знать, достаточно ли крепка цепь доказательств, которые он представил суду. Речь адвоката была превосходна, но опровергать доказательства он и не пытался. Он страстно убеждал суд, что Киврин—жертва проклятого царизма и уродливого классового неравенства. И судья и заседатели, бывшие рабочие, сами страдали от классового неравенства и понимали, что нужда и хладнокровное убийство шести человек ничего общего между собой не имеют. Среди свидетелей была и Клавдия Андреевна. Надо сказать, что и она не пыталась защищать Киврина. Она происходила из кулацкой семьи и не считала грехом спекуляцию, но быть женой убийцы не хотела.

Судьи совещались недолго: видимо, споров не возникло. Подсудимых приговорили к расстрелу.

Из суда Васильев поехал в угрозыск. По чести говоря, гордился он этим делом и, встретив в коридоре научного эксперта угрозыска Салькова, не удержался и сказал, что он из суда и что по его делу все доказательства оказались неопровержимыми.

Перед Сальковым приятно было похвастать: это был очень уважаемый в угрозыске человек. Для него криминалистика была любимой наукой. Каждый день до позд-

него вечера сидел он в своей лаборатории, и не одному преступнику стоили жизни его химические анализы и дактилоскопические экспертизы.

— Знаю, знаю,— сказал Сальков,— смотрел ваше дело, неумело проведено.

— Но приговор...— начал было Васильев.

— Что приговор! Повезло вам, вот и все. Надо же отличать удачу от умения. А если бы Киврин спрятал вещи поумней? А если б Яшкин не ходил в клуб или не признался? Ведь отпустили б вы Киврина. Ничего бы не смогли сделать. А извозчик! Об извозчике почему вы не подумали? Много ли извозчиков в Петрограде? Яшкин ведь видел его в лицо. А извозчик участвовал в деле. Что же, у Киврина один Яшкин знакомый? Ведь, наверно, связан он с каким-то притоном, может быть, извозчик был соучастником и по другим делам. Упустили, молодой человек.

Видно, очень уж расстроенное лицо было у Васильева.

— Ну-ну-ну,— сказал, смягчаясь, Сальков,— не огорчайтесь, молодой человек. Вам сколько лет? Двадцать два? В этом возрасте кто не делал ошибок. А сыщик из вас будет. Это вы здорово связали разговор в поезде про гирю с убийством Розенбергов. Так прямо и прыгнули с поезда? Упали?.. Нет? Правильно. Надо было прыгать. В таких случаях терять нельзя ни минуты. Покушение на старуху ведь не доказано. Дежурный утром бы и отпустил Киврина. Все дело закрылось бы. Нет, будет из вас сыщик, если вы только поймете, что розыск — это наука. Вы еще ученик в этой науке, и нос вам задирать рано. А вообще не огорчайтесь: хоть ошибки и были, но дело проведено хорошо.

Сальков ушел. Пошел и Васильев к себе в кабинет. Ходил долго по кабинету и думал: конечно, не доследовал дело. Киврин сам ему в руки попался, а что Яшкина разыскал, так это ж ребенок сообразил бы.

Ругал, ругал себя Иван и все-таки знал, что ни за что и никогда не бросит свою трудную, свою замечательную профессию.



Глава четвертая **ОГРАБЛЕНИЕ КОЖСИНДИКАТА**

СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

Если в деле Киврина Васильеву помогло умение сопоставить, казалось бы, далеко отстоящие друг от друга факты, умение найти недостающие доказательства, то в деле об ограблении Кожсиндиката от молодого следова-

теля потребовались главным образом решительность и оперативность.

Большая Морская улица в Ленинграде, соединяющая Исаакиевскую площадь с Невским проспектом, была до революции улицей богатых домов, щеголевато обставленных контор. В 20-х годах она вновь обрела свой нарядный вид. Почти во всех домах были большие зеркальные окна. Дома стояли выкрашенные в темные цвета, тихие, солидные и молчаливые. При этой несколько торжественной тишине Большая Морская — центральная улица. Были на ней магазины, ходили по ней люди и ездили извозчики.

Недалеко от Невского в первом этаже красивого богатого дома помещалось в начале 20-х годов правление Кожевенного синдиката. Через окна прохожие видели склоненных над столами служащих, дубовые барьеры и комнату с прорубленным в стене окошечком, над которым висела небольшая стеклянная вывеска: «Касса». В этой кассе царил почтенный человек, с седой, аккуратной подстриженной бородой, медлительный и торжественный главный кассир Уваров. Он был точно финансовый бог. Он двигался медленно и говорил мало. Был при нем младший кассир Павлов. Этот выдавал деньги, получал расписки и вообще ведал земными делами, а Уваров хранил ключи от сейфов и решал важные, крупные, принципиальные вопросы.

В то время учреждения не сдавали ежедневно деньги в банк. Кожсиндикат был очень богатым учреждением, и в огромных его сейфах всегда хранились большие суммы. По ночам перед окнами ходил вооруженный сторож. Ну, а днем, конечно, никакой специальной охраны не было. И в самом Кожсиндикате работало без малого сорок человек сотрудников, да и на оживленной улице всегда было много народу. Днем Кожсиндикат ограбить было невозможно.

И все-таки ограбили его во второй половине дня.

Однажды три извозчика одновременно подъехали к Кожсиндикату. Семь седоков сошли с пролеток, кучера остались сидеть на козлах. Неожиданно под самыми окнами Кожсиндиката взорвалась граната, брошенная одним из тех, кто только что спокойно сошел с пролетки. Большие зеркальные окна со звоном вылетели. Прохожие

разбежались в разные стороны. Семеро вбежали в контору. У каждого были наганы в обеих руках. Поднялась пальба. Маленький худощавый человек вскочил на стол и приказал всем ложиться на пол. Он стрелял в потолок. Стреляли и шестеро остальных. Взрыв и пальба среди белого дня в центре Петрограда так ошеломили сотрудников, что все сорок человек беспрекословно легли. Маленький худощавый стрелял, ругался и скрипел зубами. То, что он скрипел зубами, запомнили все. Двое быстро отобрали у Уварова ключи от сейфов. Они дважды выпалили из нагана под самым ухом главного кассира, и с главного кассира слетело все его величие. Он не только беспрекословно отдал ключи, но и объяснил дрожащими губами, какой ключ от какого сейфа. Старика нельзя было особенно винить, тут и похрабрее человек испугался бы. Маленький худощавый стоял на столе, палил время от времени не целясь, и каждому из лежащих на полу сотрудников казалось, что именно эта пуля обязательно попадет прямо в него.

Двое быстро открыли сейфы и, достав мешки, стали выгребать целые кучи червонцев. На три мешка хватило богатств Кожсиндиката. Двое выбежали с мешками на улицу и сели в пролетки, за ними выскочили четверо. Последним выбежал маленький худощавый, тот, который так страшно скрипел зубами. Сотрудники, немного придя в себя, стали было приподниматься, но снова грохнул взрыв. Это взорвалась на улице под окнами вторая граната. Снова разбежались прохожие, а извозчики уже доехали до угла Гороховой и разъехались в разные стороны. Пока опомнились сотрудники Кожсиндиката, пока прибежал милиционер с угла Невского, пока стали разбираться, что, собственно, произошло, извозчиков уже и след простыл.

Здание Главного штаба, где помещался угрозыск, находилось очень близко от Большой Морской, и Васильев примчался почти сразу после того, как исчезли извозчики. Он застал насмерть перепуганных сотрудников, главного кассира, у которого еще тряслись руки и прыгали губы. Как часто бывает в таких случаях, паника была настолько велика, что все по-разному рассказывали о грабеже. Одни говорили, что грабителей было семь, другие насчитали пятнадцать. Может быть, со страху у них двоилось

в глазах. Даже насчет масти лошадей были большие разногласия. Видели и гнедую, и черную, и серую в яблоках, и белую. Невозможно было понять, как это три лошади могут быть четырех мастей.

Долго допрашивал Васильев сотрудников Кожсиндиката и просто замучился, стараясь добиться от них точных ответов.

— Сколько было людей?

— Человек десять.

— А может быть, пятнадцать?

— Может быть, и пятнадцать.

— А может быть, пять?

— Точно не скажу, но, может быть, и пять.

Ну что тут будешь делать! Ясно, что перепугались все прямо до смерти и от страха потеряли способность наблюдать и соображать. Единственно, на чем все сошлись твердо,— это на том, что маленький худощавый человек, стоявший на столе, ужасно скрипел зубами.

Васильев дал всем сотрудникам свой телефон, чтобы сразу звонили, если встретят кого-нибудь из участников ограбления. Впрочем, надежд на это особых не было. По-видимому, все так перепугались, что вряд ли точно запомнили наружность грабителей. Только один человек сохранил хладнокровие. Это был младший кассир Павлов. Он утверждал, что грабителей было семеро.

— А может быть, восемь? — спрашивал Васильев.

— Нет,— твердо говорил Павлов,— я считал, семеро.

Он довольно точно описывал наружность и одежду каждого. Сбить его было невозможно. Он, видно, единственный, кто не растерялся в момент ограбления. Спротивляться он не мог, его сразу бы пристрелили, но, по крайней мере, спокойно запомнил все подробности.

«Если кто и сможет опознать при встрече,— подумал Васильев,— так разве только Павлов. Мало, конечно, надежды на встречу, но чем черт не шутит».

И ВСЕ-ТАКИ ВСТРЕТИЛИСЬ

В сущности говоря, данные для начала розыска были очень смутные. Васильев решил проверить всех извозчиков. Результат этой проверки был сомнителен: извозчик

уезжает рано утром, а приезжает поздно вечером. Где он ездил, кого он возил, как докажешь? Все-таки это был единственный путь, суливший хоть какую-нибудь надежду.

То есть, конечно, могла быть случайность. Мог, например, кто-нибудь из грабителей начать крупно играть в каком-нибудь из игорных клубов, начать кутить и швырять деньгами. За клубами и ресторанами установили усиленное наблюдение. Было задержано несколько растратчиков, бестолково швырявших деньгами, но совершенно очевидно, что никто из них к ограблению Кожсиндиката отношения не имел. По вечерам и даже по ночам ездил Васильев по извозничьим биржам, утром невыспавшийся приходил на работу и целые дни снова и снова сличал показания, которые знал уже почти наизусть. Снова и снова без всякой надежды листал протоколы допросов, все думал, может, что-нибудь пропустил, может быть, в непроглядной тьме сверкнет хоть какое-нибудь светлое пятнышко.

Почти каждый день вызывали Васильева к начальству. Почти каждый день должен был он разводить руками и пожимать плечами, объясняя, что новостей нет никаких. Прошел месяц, прошел второй, почти все извозчики Петрограда были опрошены, и ни один не вызывал подозрений. Надежда найти преступников становилась все менее вероятной. Начальство сначала просто спрашивало, потом стало сердиться, требовало большей энергии, большей оперативности, и Васильев соглашался, что энергии нужно больше. Он не знал только одного: к чему ее приложить, эту энергию.

Обычно около часа дня у него в кабинете раздавался телефонный звонок, и начальник угрозыска сухо и коротко говорил: «Зайдите ко мне».

Ничего не поделаешь, надо идти и снова слушать упрёки, на которые нечего отвечать, снова стоять перед столом начальника с виноватым видом, хоть ты и знаешь, что не виноват ни в чем и делаешь все возможное. Все-таки факт остается фактом. Среди белого дня в центре большого города Петрограда, в большом учреждении, находящемся на людной улице, ограблена касса, унесено три мешка, без малого сто тысяч рублей, прошло уже два месяца, а грабители не найдены и деньги не возвращены.

Однажды, на третий месяц после ограбления, без десяти минут час зазвенел телефонный звонок. Догадываясь, что это опять вызывают к начальнику, Васильев вздохнул и с неохотой взял телефонную трубку. Нет, звонило не начальство. Васильев сначала вообще не понял, кто звонит. Очень тихий, взволнованный голос пробормотал что-то.

— Не слышу вас,— сказал Васильев.

На другом конце провода что-то шептали так тихо, что ни слова нельзя было разобрать. Видно, человек боялся, что его подслушают. Все-таки Иван разобрал свою фамилию.

— Васильев говорит,— сказал он негромко, но очень отчетливо.

И снова в трубке зашептал взволнованный голос.

— Тот, который скрипел зубами,— расслышал наконец Васильев.

Столько раз за последние месяцы Васильев вспоминал все подробности ограбления, что сразу же понял: это предводитель банды, ограбившей Кожсиндиката, который стоял на столе, стрелял и скрипел зубами. Неужели наконец-то проглядывает свет в этом запутанном деле? У Васильева заколотилось сердце, но он взял себя в руки.

— Кто говорит? — негромко спросил он.

— Павлов,— зашептали в трубке,— кассир, то есть младший кассир.

Этого можно было не объяснять — Васильев помнил наизусть все фамилии работников Кожсиндиката.

— Вы встретили грабителя? — спросил он. — Где?

— Вошел в ресторан «Квисисана», — зашептали в трубке. — Я звоню из парикмахерской.

— Он один? — спросил Васильев.

— Вдвоем с женщиной.

— Товарищ Павлов,— отчетливо проговорил Васильев,— стойте у входа в ресторан, мы будем через несколько минут. Если он выйдет, идите за ним.

— Хорошо,— прошептали в трубке.

Но Васильев уже не слушал. Наконец настало время действовать. Как он ждал этой минуты последние два месяца!

Когда Васильев выходил из кабинета, снова зазвонил телефон, на этот раз он был уверен — звонит начальство.

Он не стал задерживаться. Во-первых, надо было очень спешить — теперь каждая минута была дорога, — а во-вторых, он был уверен, через несколько часов ему будет что доложить начальнику.

В машину сели троим. Все трое были в штатском. Машина промчалась по Дворцовой площади, по Миллионной, по Марсову полю и выехала на Садовую. Этот путь был длиннее прямого, но зато машина могла подъехать прямо к дверям «Квисисаны», помещавшейся на Невском, в двух шагах от Садовой. Как только свернули на Невский, Васильев увидел стоящего на краю тротуара Павлова. Он ждал их с другой стороны и увидел только тогда, когда машина остановилась. Он радостно заулыбался. Обрадовался, увидев его, и Васильев. Значит, скрипящий зубами еще в ресторане. Три оперативника угрозыска вышли из машины, как будто бы даже не торопясь. Незачем было создавать на улице ощущение каких-то чрезвычайных событий. Просто подъехали в машине три человека к ресторану, зайдут, пообедают, может быть, выпьют бутылку вина. Поздоровались с Павловым, пошутили — просто встретили, мол, приятеля, пошли в ресторан. В гардеробе не торопясь разделись, получили номерки, постояли перед зеркалом, причесались. В зале ресторана было почти пусто, только за одним столом сидела компания из трех молодых людей и за другим столом сидели мужчина и молодая, очень красивая женщина. Не требовалось даже кивка Павлова в их сторону, чтобы понять безошибочно: это и есть скрипевший зубами. Васильев с товарищами занял третий стол. Васильев сел лицом к грабителю и внимательно на него посмотрел. В этом не было ничего подозрительного. Посетители ресторана часто осматривают тех, кто пришел раньше. Откинувшись на спинку стула, Васильев тихо сказал одному из сотрудников:

— Мужчину берем мы с тобой.

Вид у него был при этом спокойный и благодушный; пришел человек в ресторан, предвкушает вкусный обед и говорит товарищам: «Что-то я сегодня проголодался!» — или какую-нибудь другую безобидную фразу.

Потом уже довольно громко Васильев добавил:

— Сядем к окну, товарищи, на прохожих посмотрим.

Все четверо встали и не торопясь пошли к большому,

выходящему на Невский окну, перед которым стоял столик. Скрипящий зубами даже не посмотрел на них: мало ли, люди хотят выбрать столик поудобней. Он в это время рассказывал своей красивой спутнице что-то, наверно, очень смешное: она весело смеялась; откинув голову.

Васильев с одним из оперативников обошли скрипящего зубами с двух сторон. Второй оперативник шел немного сзади. Васильев посмотрел на своего товарища и чуть заметно кивнул ему головой. В одну секунду обе руки скрипящего зубами были схвачены и завернуты за спину. Третий оперативник в это же время взял за руки женщину.

— Тихо,— сказал Васильев.

И хотя он сказал это еле слышно, в голосе его была такая решительность, что скрипящий зубами не шевельнулся. Он только оглядывал бешеными глазами эту безобидную компанию, которая так внезапно захватила его. Он был маленький, сухопарый человек с нервным, некрасивым лицом.

Женщина была совершенно растеряна. Она смотрела на этих штатских мужчин, по-видимому трезвых, и не могла понять, что тут: попытка ограбления, какое-то неожиданное хулиганство?

— Оружие,— шепотом сказал Васильев.

Он провел рукой по карманам задержанного. В каждом кармане было по револьверу. Васильев переложил их к себе.

— Пойдете тихо? — спросил Васильев.

Арестованный кивнул головой.

Две компании—шесть человек, видно случайно встретившиеся здесь знакомые,—спокойно прошли через пустой зал ресторана. Трое мужчин шли, взявшись под руки, четвертый мужчина вел под руку даму, пятый шел немного позади. Трое молодых людей, оставшиеся единственными посетителями, проводили глазами красивую женщину, подняли рюмки и чокнулись, очевидно желая дать ей понять, что пьют за ее здоровье. Дама им не улыбнулась, но молодые люди торжественно выпили свои рюмки. Гардеробщик подал даме очень дорогое котиковое манто. Он был опытный гардеробщик, понимал толк в мехах и думал, что эта компания даст ему хорошо на

чай. Но почему-то получилось не так. Мужчины оделись быстро и ушли, даже не посмотрев на гардеробщика и швейцара, хотя гардеробщик усиленно им кланялся, а швейцар, рассчитывая тоже получить какую-нибудь мелочь, широко распахнул перед ними дверь.

МАТЬ И ДОЧЬ

Теперь нельзя было терять ни минуты. Как только сели в машину, Васильев спросил:

— Фамилия?

— Сизов.

— Имя?

— Михаил.

— Где живете?

Сизов промолчал, очевидно раздумывая, стоит ли называть адрес. И тут вдруг заговорила женщина:

— Петроградская сторона, Широкая улица. Это мой муж. Он живет у меня.

Поехали на Широкую. Вошли в большую четырехкомнатную квартиру, обставленную не просто богато, а как-то вызывающе, кричаще богато. Открыла дверь немолодая полная женщина необычайно величественного вида, которая, любезно улыбаясь, пропустила всех в переднюю. Она решила, по-видимому, что хозяйка с мужем привели к себе гостей. У нее сделалось растерянное лицо, когда Васильев показал ей служебное удостоверение. Тут же начался допрос. Оказалось, что молодую жену Сизова зовут Серафима, что величественная женщина ее мать, а отцом ее был петербургский купец Попов, который после революции бежал за границу, взяв с собою все ценности, кроме жены и дочери, которых он то ли запытал, то ли просто решил, что без них ему будет за границей удобней.

— Вы понимаете,— объясняла величественная дама,— мы с Серафимой остались совсем без средств, а я не привыкла нуждаться. И я и Серафима, мы выросли в богатстве. Мой батюшка был человек с состоянием, муж был очень богат, я никогда не думала, что он оставит нас с Симой без всяких средств. Представьте себе, он сказал, что едет всего на неделю в Псков по торговым делам, а потом вдруг письмо из Парижа. Он пишет, что уже не

вернется. Я побежала к его друзьям, а он, оказывается, все продал, накупил на черной бирже валюты и всю, совершенно всю, увез с собой. Я была просто в отчаянии. Пришлось продать обстановку. Было немного золотишка, тоже пришлось спустить. А Сима подрастает, барышне нужно хорошо одеться. Как нам ни трудно было, а на это я денег никогда не жалела. Я всегда говорила Симе: «Помни, Симочка, что твоя красота единственное наше достояние. Пожалуйста, чтобы никаких романов со студентами и вообще со всякой шушерой. Твой муж должен быть человеком состоятельным, мы с тобой не можем жить в бедности». Но в Советской России нет солидных состояний. Эти купчики — нэпманы, как теперь говорят, — все это ненадежно. Сегодня у него магазин, а завтра его описали. А дочь у меня одна. Я не могу рисковать. И вот наконец попался Михаил Антонович, человек солидный, с образованием. Правда, он старше Симы, но я Симе говорю: «Что же делать, если твой папа от нас убежал. Ведь должен же кто-то нас содержать. Не можешь же ты с твоей красотой идти в советское учреждение работать какой-нибудь пишбарышней».

Васильев допрашивал мать Серафимы в большой столовой, обставленной красным деревом. Был тут и буфет, украшенный бронзой, тесно заставленный хрусталем, фарфором и серебром. Были колонны красного дерева, на которых стояли большие вазы, и не надо было быть антикваром, чтобы понять, какие это все дорогие вещи. Богатство здесь бросалось в глаза, горделивое, заносчивое богатство.

— Скажите, — спросил Васильев, — вы утверждаете, что вам пришлось все продать. Но ведь одна эта столовая, наверно, дорого стоит?

— Ах, боже мой, — всплеснула руками пожилая дама, — должна же я была иметь какие-нибудь гарантии, что у Михаила Антоновича действительно солидное состояние. В прежние времена можно было навести справки, а нынче все так таинственно. Все скрывают свои капиталы. До правды и не доищешься. Разумеется, Михаил Антонович обставил Симе квартиру, купил два манто, несколько *bisu*, ну и обновил гардероб, а то у нас была совершенно пустая квартира, и Симочке прямо нечего было надеть. Не знаю, что бы мы делали, если б Михаил Анто-

нович не подвернулся. Он человек щедрый и Симочку любит, так что мы теперь ни в чем не знаем отказа.

— А давно он женат на вашей дочери? — спросил Васильев.

— Шесть недель будет в воскресенье. Симочка с ним познакомилась совсем недавно, двух месяцев еще нет.

— И за это время он вам купил все это?

— Я вам уже говорила, он человек с размахом. Я так радовалась, что хорошо пристроила дочь. Скажите, пожалуйста, у него что-нибудь серьезное?

— Это вы узнаете своевременно, — сказал Васильев, — а сейчас пройдите, пожалуйста, в ту комнату.

Он закрыл за пожилой дамой дверь и вызвал Симочку.

Симочка Попова, красивая молодая женщина, вошла в столовую с испуганным и растерянным видом. Васильев пригласил ее сесть и помолчал, внимательно глядя на подследственную.

«Знала она об ограблении или не знала? — думал Иван. — Если она соучастница, значит, и ее мать и она опытные преступницы. Конечно, в ограблении участия они не принимали, женщины там, по словам свидетелей, не было, но, может быть, участвовали косвенно — добывали сведения через каких-нибудь знакомых служащих в Кожсиндикате, узнавали, например, когда в кассе будет много денег. Может быть, прятали награбленное. Тогда обе тертые калачи. Тогда, значит, мать нарочно, чтобы отвести от себя и дочери подозрение, придумала, что Сизов и женился на Симочке и познакомился с ней уже после ограбления».

Симочка очень волновалась. Она то краснела, то бледнела, то отводила глаза от Васильева, то испуганно на него взглядывала. Волнение ни о чем не говорило. Даже ни в чем не повинная молодая женщина, наверно, испугалась бы, если б ее арестовали в ресторане и привезли домой; словом, если б она, ничего не зная, вдруг оказалась замешанной в каком-то преступлении, по всему видно серьезном. Васильев посмотрел на нее еще раз. Не хотелось ему верить в то, что эта только начавшая жить женщина может быть уже преступницей, заранее предусмотревшей ложь, которую она будет говорить следователю.

— Вы давно знаете Сизова? — спросил Васильев.

— Месяца два, — пролепетала Симочка.

— А замужем давно?

— Скоро шесть недель будет.

Или она действительно ни в чем не виновата, или они с матерью заранее условились. Конечно, молода, но мать, видно, такая пройдоха, что могла с малых лет человека испортить. Но опять не захотелось Васильеву верить, что такая молоденькая женщина может быть связана с бандитами.

— Где работает ваш муж? — спросил он у Симочки.

— Он на крупной работе. Он уполномоченный ЦК партии.

— Какой, какой уполномоченный? — заинтересовался Васильев.

— Вы разве не знаете? — удивилась Сима. — Ну, есть вот губком и секретарь губкома, а кроме того, из Москвы ЦК посылает особенного уполномоченного. Он ходит по городу, смотрит, нет ли где несправедливостей, и чуть что — прямо пишет в ЦК.

— Так, — сказал Васильев. — Интересная должность. И много он получает?

— Да, очень много. Видите, какую он нам обстановку купил, и два дорогих манта, и мне бриллианты очень дорогие. И он велел мне и мамаше тратить сколько нужно. Прямо положил деньги в ящик письменного стола и только велел сказать, когда будут кончаться, чтобы еще принести.

«Интересно, — подумал Васильев, — хорошенькую зарплату получает член партии».

— Вы, наверно, вместе с мужем выбирали всю эту обстановку, и манта, и драгоценности?

— Да, — сказала Симочка, — мы с ним целую неделю с утра до вечера бегали по магазинам. Мамаша хотела, чтобы все было привезено и расставлено, и только потом мы пошли в загс.

— Ну, сколько, например, вот эта столовая стоит?

— Четыре тысячи, — сказала Симочка, — без посуды, конечно, и без ваз. Вазы очень дорогие, они китайские, древние. И за один браслет Миша четыреста рублей заплатил.

— Тысяч двадцать истратили? — спросил Васильев.

— Больше,— сказала Симочка.— Я не считала, но, наверно, около тридцати. У нас спальня карельской березы, и у Миши кожаный кабинет, а в мамашиней комнате гарнитур «птичий глаз». У нас ведь ничего не было, мы всё только продавали, с тех пор как папаша уехал. Я хотела идти служить, у нас из гимназии многие барышни прямо на службу пошли, но мамаша меня не пустила. Она говорила, что надо выйти замуж за обеспеченного человека. А когда Миша нам все это купил, она очень радовалась, она говорит, что в советское время трудно найти такого широкого человека.

Странная смесь абсолютной наивности с какой-то испорченностью была в Серафиме Поповой. Видно было, что мать старалась вырастить себе достойную преемницу, что мать изолировала девушку от людей, чтоб Серафима не увлеклась «невыгодным» человеком, чтоб думала только ее мыслями, преследовала только те цели, которые мать ей подскажет. В пьесе Островского могла быть такая купеческая дочка, выращенная за семью замками в затхлом воздухе купеческого дома, но в 1923 году, на шестом году революции, в Петрограде она казалась представителем вымершей породы, странным, уродливым созданием, которое даже не понимает своего удивительного, чудовищного уродства.

— Вы любите вашего мужа? — спросил Васильев.

— Я не знаю,— сказала Серафима, покраснев.— Мамаша говорит, что он хороший человек.

«Вряд ли все-таки соучастница,— думал Васильев.— Соучастница, наверно, старалась бы объяснить, что все это куплено дешево и по случаю, а эта как будто радуется тому, как дорого за все плачено».

— Знаете что, гражданка Попова, вам Сизов все о себе наврал. Никакой он не уполномоченный и не ответственный работник, и никакой зарплаты ни от кого он не получает.

— А что же он, купец? — удивленно спросила Серафима.— Зачем же он скрывал? Что же тут плохого? Мы сами ведь из купцов.

— Никакой он не купец,— хмуро сказал Васильев.— Просто самый обыкновенный бандит.

— Как — бандит? — Серафима растерянно смотрела на Васильева.

— Ну, обыкновенный грабитель. Ворвался с наганом в учреждение, ограбил кассу. Уголовный розыск его два месяца ищет. И все, что он вам накупил,— все это на награбленные деньги.

Глаза у Серафимы стали круглыми от ужаса.

— А мамаша говорила...— пролепетала она.

— Меньше б вы слушали вашу мамашу,— резко сказал Васильев,— да думали бы своей головой, лучше было бы.

Он сам не знал, на кого он злится. Или эта девчонка удивительная актриса и все знала раньше, или она действительно ни при чем. Ну уж мать — та все равно гадина. Надо же вырастить так дочку! Но все это выяснится потом. Сейчас допросить Сизова.

СКРИПЕВШИЙ ЗУБАМИ

Михаил Сизов, рождения 1885 года, был маленький, худощавый человек, с глазками-щелками, сутулый, с тонкими, немного брезгливыми губами. Первое впечатление было такое, что он обладает каким-то физическим пороком. Сначала казалось, что он горбат, но, приглядевшись, вы видели, что это просто сутулость. Потом вы решали, что он рябой и что лицо у него покрыто оспинами, но и этого не было на самом деле. Просто кожа на его лице была какая-то неровная, нездоровая. И все-таки, хотя, кажется, в этом человеке все было в норме, вы не могли отделаться от ощущения, что какая-то ненормальность, что-то нездоровое, уродливое в нем есть. Может быть, это зависело от его манеры себя держать. Сутулость связана в нашем представлении если не с приниженностью человека, то, во всяком случае, с его скромностью. А Сизов сутулился и в то же время откидывал голову назад. И не просто откидывал, а со значением: я, мол, человек особенный и отношения к себе требую не простого. Может быть, то, что он выпячивал грудь, откидывал назад голову и на лице выражал особенную значительность и самоуважение, в сочетании с сутулой спиной, маленькими глазками, тонкими губами, лысоватой головой и производило странное, ненормальное впечатление.

Когда он сел за стол напротив Васильева, то вид у него был такой, будто не его сейчас будут допрашивать,

а он решил допросить следователя с пристрастием и нагнать на него страха божьего.

— Вы признаетесь в том, что участвовали в ограблении Кожсиндиката? — спросил Васильев, после того как записал имя, отчество и фамилию, год и место рождения, словом, те обязательные данные, с которых начинается каждый допрос.

— Я не признаюсь, а признаю,— выпячивая грудь и закинув голову, сказал Сизов.

— Не понимаю, какая разница,— растерянно спросил Васильев.

— Признаться можно в преступлении,— отчеканил маленький человечек, отчетливо произнося каждую букву.

— А грабеж разве не преступление? — Васильев все никак не мог понять, куда клонит этот заносчивый пыжик.

— Это было не преступление, а экспроприация. «Экс», как называется это сокращенно. «Экс» означает принудительное изъятие средств в целях материальной поддержки партии, борющейся за революцию.

У Васильева в те годы с иностранными словами были нелады, но тут разъяснение было достаточно точным. И все-таки он буквально обалдел.

— Вы что, член партии? — спросил он.

— Я член Цека партии,— запрокинув голову, сказал Сизов.

У Васильева началось головокружение. Он окончательно перестал что-либо понимать. Может быть, действительно этот маленький пыжик приехал из Москвы с особенными поручениями из ЦК? Но не могли же ему поручить ограбить Кожсиндикат!

— Партийный билет у вас при себе? — спросил Иван.

Тонкие губы Сизова чуть-чуть улыбнулись. Очень горделива была эта улыбка. Горделива и исполнена презрения к собеседнику. Он, Сизов, крупный политический деятель, улыбнулся наивности этого обыкновенного человека, рядового следователя.

— С тех пор,— сказал он,— как вы заставили нашу партию уйти в подполье, мы не носим при себе партийных билетов.

Головокружение у Васильева увеличилось.

— О чем вы говорите? — сказал он. — Я что-то вас не совсем понимаю.

— Я член Цека партии левых эсеров, — сказал маленький человек, выпячивая грудь и высоко поднимая голову.

Васильев перевел дыхание. Наконец-то кое-что начало проясняться.

— Да, ваша партия запрещена... — сказал Васильев, напряженно вспоминая те немногие сведения по истории революции, которые он слышал на лекциях и занятиях. К сожалению, редко ему удавалось вырвать свободный вечерок, чтоб послушать знающего человека и хоть немного повысить свой политический уровень.

— Наша партия в подполье, — перебил его Сизов. — Для того чтобы достать деньги на партийные нужды, мы произвели этот экс. Мы экспроприировали часть средств у большевиков, для того чтобы успешно бороться с большевиками. Если это преступление, то преступление политическое. Следствие по нему должно вести ГПУ, а не угрозыск. Поэтому я заявляю протест и предупреждаю, что на вопросы уголовного розыска отвечать не буду.

Опять это было сказано напыщенно и горделиво. Маленький человек рисовался. Получалось как-то слишком величественно, чтобы внушать уважение. Как в наружности Сизова, так и в его интонациях была неестественность. Если он даже играл, то переигрывал.

Васильев молчал, напряженно думая. Левые эсеры. Взрыв в Леонтьевском переулке. Процесс левых эсеров. Наконец, Кронштадтский мятеж, один из главарей мятежа левый эсер Петриченко. Пусть все это преступления, но преступления политические. Может быть, действительно дело следует передать ГПУ? С другой стороны, для следователя угрозыска все было ясно: организованный налет, ограбление кассы. Допустим, «экс». Но почему же через неделю после знакомства с хорошенькой девушкой Сизов, наврав про себя черт те что, сделавшись женихом, бегаёт с невестой по комиссионным магазинам и не жалея швыряет деньги? В Кожсиндикате взято было чуть меньше ста тысяч рублей. Попова говорит, что уже куплено тысяч на тридцать всякого барахла. При чем тут политика?

— Я вас попрошу, гражданин Сизов, — сказал Ва-

сильев,— ответить мне только на один вопрос.— Сизов вскинул голову, собираясь, наверно, заявить протест, но Васильев продолжал, не обратив внимания на этот горделивый и несколько вызывающий жест: — Вы эту столовую тоже приобрели для борьбы с большевиками? А каракулевое и котиковое манти вы тоже подарили невесте в политических целях? А на браслет с бриллиантами, который вы подарили невесте, вы четыреста рублей взяли из партийной кассы?

Сизов выпятил грудь и презрительно улыбнулся. Может быть, он собирался сказать, что все эти покупки он делал из соображений политических, которые он не может объяснять члену враждебной партии, но Васильев не дал ему говорить. Он резко стукнул ладонью по столу:

— Я следователь уголовного розыска,— сказал он,— я вижу, что вы совершили ограбление государственного учреждения. Я вижу, что награбленные деньги вы тратите на покупку дорогих вещей для своего личного пользования. И я не вижу тут никакой политики. Это обыкновенный бандитизм. Если вы не желаете отвечать на вопросы, прекратим разговоры и приступим к обыску.

Уже были приглашены в квартиру понятые: дворник и управдом. Начался обыск. Занесли в протокол и спальню карельской березы, и спальню «птичий глаз», и столовую красного дерева, и кожаный кабинет. Со слов Серафимы указали суммы, уплаченные за обстановку, и за манти, и за вечерние платья, и за шкатулку, полную драгоценностей. Все это заняло немного времени, и не это больше всего интересовало Васильева. В ящиках письменного стола нашлись восемь тысяч рублей новенькими червонцами, два нагана и пятьдесят патронов. Нашли маленький портфель, запертый на ключ, который с презрительным и брезгливым лицом отдал Сизов. Портфель открыли и там нашли еще сорок пять тысяч. Все это было очень хорошо, большую часть награбленного, очевидно, можно будет вернуть Кожсиндикату. Васильева сейчас больше всего интересовало не это: семь человек грабили да три извозчика — десять участвовали в ограблении. Отбросим Сизова — девять. Кто они? С Сизовым промучаешься на допросах месяц, и неизвестно еще, узнаешь ли. Может быть, есть какие-нибудь записи, фамилии, адреса? Васильев перебирал каждую бумажку, каждый

листик блокнота. Не было ни адресов, ни фамилий, ни цифр. Тогда Васильев вышел опять в столовую и вызвал Серафиму Попову. Ох, как она изменилась за эти несколько часов! Она плакала почти все время, у нее покраснели глаза и нос и побелели губы — смазалась губная помада. Трудно было поверить, что несчастное, заплаканное существо это и есть веселая красавица из «Квисисаны».

— Вы теперь знаете, гражданка Попова, — сказал Васильев, — что ваш муж самый обыкновенный бандит и что все, что он вам дарил, будет конфисковано, чтобы покрыть то, что ваш муж наградил. Вы знаете, что он вас обманывал все время и что ни слова правды нет в том, что он вам о себе говорил. У него должны быть записи с фамилиями и адресами его сообщников. Их нет в квартире и нет в карманах. Значит, они у вас. Дайте их мне. Перед Сизовым у вас обязательств нет никаких, он обманывал вас сознательно, понимая, что сделает вас несчастной. Если вы не отдадите сами, придется вызвать жёну дворника, чтобы она обыскала вас.

Серафима всхлипнула, вытерла платочком глаза и сказала:

— Гражданин следовательно, я ничего не хочу от вас скрывать. Никаких списков он мне не передавал и ничего не просил спрятать. Он мне, правда, подарил записную книжку с золотым карандашиком и сказал, чтобы я ее берегла, потому что эта книжка — залог нашей любви. — Симочка всхлипнула и еще раз вытерла глаза. — Я не хочу никаких залогов любви от бандита! — сказала она вдруг совсем детским, раздраженным, капризным голосом.

Она вынула из сумочки, сплетенной из серебряных колечек, маленькую записную книжечку в бархатном переплете, с золотым карандашиком и золотыми трубочками, в которые карандашик вставлялся.

— Только тут ничего не написано, я смотрела, — добавила, будто извиняясь, Симочка.

Васильев быстро перелистал записную книжку, листок за листком. В ней действительно не было ничего написано. Но Васильев и раньше предвидел это. Вынув перочинный нож из кармана, он аккуратно вспорол края бархата, в который книжка была переплетена. Он сразу по-

нял, что догадка его была правильна. Между синим бархатом и твердой картонной обложкой лежал маленький кусочек белой бумаги. Осторожно, боясь повредить, Васильев вытащил листочек в клетку, исписанный с обеих сторон чернилами мелким, бисерным почерком. На листке было девять фамилий и рядом с каждой фамилией адрес. После каждого адреса было написано «2 т».

«Значит, каждому он дал по две тысячи,— подумал Васильев.— Интересно, почему последний в списке, Тихомиров, получил не 2 т., а только 1 т.? Ну, это выяснится потом. Важно то, что есть и фамилии и даже адреса».

СОУЧАСТНИКИ

Квартиру опечатали. Серафиму с матерью и протестующего Сизова увезли в тюрьму. Серафиму с матерью, может быть, можно было бы и не арестовывать, но, во-первых, всё купленное Сизовым на деньги Кожсиндиката бесспорно подлежало конфискации, а во-вторых, кто его знает, в конце концов, может быть, не так они невинны. Могут они и предупредить соучастников Сизова.

Девять человек, чьи адреса были в списке, были арестованы этим же вечером. Трое оказались иногородними. Один жил в Детском Селе, один — в Гатчине, один — в Петергофе. Это были известные местной милиции забулдыги, связанные с уголовным миром, не брезговавшие ничем, чтобы достать денег на бутылку самогона и вообще как-нибудь прокрутиться в жизни, не обременяя себя работой. Их привезли на следующий день. Все трое действительно за последние два месяца, к общему удивлению, разбогатели. Каждый из них приобрел на неизвестно откуда взятые деньги пролетку и лошадь и стал извозничать. Впрочем, извозчиками они оказались плохими, больше пьянствовали, чем возили ездоков. Про левых эсеров они ничего не слыхали. Просто к каждому из них пришел Сизов, которого они раньше в глаза не видели, и предложил, что купит им лошадь и пролетку, а они ему помогут совершить одно дельце. Когда дельце будет закончено, каждый получит по две тысячи в зубы и пускай что хочет, то и делает. Они понимали, что дело уголовное, но жить им не на что, пить не на что, и они надеялись, что все обойдется. В назначенный день приехали в

Петроград. Сизов дал им фальшивые жестянки с номерами, ну, а потом они подъехали к Кожсиндикату.

Когда дельце было закончено, они съехались у Сенной площади, Сизов отсчитал каждому по две тысячи, они тут же, на базаре, купили самогону, выпили и поехали каждый в свой город. Больше они ничего не знают и Сизова больше ни разу не видели.

Денег они за эти два месяца истратили много, видно выпивали здорово, но все-таки у каждого оказалось больше полутора тысяч рублей.

Это была обыкновенная шпана, люди, которых на преступление подбить нетрудно. Если случай подвернется, они будут на все согласны, а если не будет случая, то как-нибудь проживут, валяясь по канавам, выпрашивая с утра у прохожих на опохмелку, прирабатывая мелочишку на вокзале подноской вещей, протягивая дрожащей рукой эту мелочишку шинкарке, чтоб налила стаканчик.

С ними было все ясно, и Васильев отправил их в общую камеру, уверенный, что их рассказ соответствует действительности.

Оставались шестеро «членов боевой группы», как их торжественно называл Сизов. Шестеро эти были странные люди. Васильев никак не мог понять, что их, собственно, связывало. Двое были кулацкие сыновья с Псковщины. У отцов хозяйства были большие, но Советская власть не давала развернуться. Были неприятности из-за того, что батраков нанимали, — этого власть не одобряет; пытались землю арендовать — тоже донес какой-то недоброжелатель, получилось нехорошо. Особенно жаловаться не приходится, но развернуться нельзя. Предсельсовета, правда, мужик неплохой. Отцы на него самогона много истратили, но сыновья получили справки, что они из бедняцких семей.

По этим справкам поступили в Петрограде на рабфак. Отцы подсылали денежек, но маловато. Деревенщина! Городской жизни понять не могут.

С Сизовым встретились на Петроградской в трактире Чванова. Разговорились. Сизов человек ученый и тоже считал, что крестьянству хода не дают и добра от этого не будет. На крестьянских плечах вся Россия держится. Он их уговщал, хотя сам не пил почти ничего.

Несколько раз встречались, наконец он им предложил вступить в партию левых эсеров. Они сперва и не поняли, что за партия такая. Но он объяснил, что партия эта за крестьян. Земли и скота держи сколько хочешь. Они согласились. Потом он сказал им, что имеет поручение от партии произвести налет, чтобы пополнить партийную кассу. Они испугались. Погулять они любят, но чтоб налет делать, этого еще не бывало. Но он объявил, что это не просто налет, а ради партийных целей, и, кроме того, каждый из них получит по две тысячи рублей.

Две тысячи — шутка ли! У Чванова за десять рублей гуляй целый вечер, а за полтинник тебе половой в пояс кланяется. Ну, они согласились. После налета Сизов расшелся с ними без обмана, они пожаловаться не могут. Ну, они с таких денег два месяца из трактира не выходили. В общем, их из рабфака выгнали за непосещение и пьянство.

Думали они домой ехать, но Сизов не велит, говорит, скоро еще будут дела и они большие деньги получат. Сняли частную квартиру, живут пока. Винцо попивают. Дома у Сизова не были. Встречаются с ним в сквере у Александринского театра. Он им открыточки присылает, подписывается «Маруся». Это, говорит, в целях консп... в целях конспи... словом, как-то это там называется.

Третий из сизовских соратников был немолодой человек, к удивлению Васильева оказавшийся студентом. Он, впрочем, был студентом до революции восемь лет да после революции пять, шестой. Увидев изумленный взгляд Васильева, он снисходительно объяснил, что это бывало часто и что в интеллигентных кругах такие, как он, назывались «вечные студенты». Их очень всегда уважали, потому что они хранили студенческие традиции, лучше всех пели студенческие песни и знали, как по правилам организовать студенческую пирушку.

Отец его землемер и всегда с уважением говорил о левых эсерах, и хотя сам в партию не вступал, но переписывался с кем-то из членов партии. Сизов разыскал его в университете с полгода назад и сослался на того человека, с которым отец переписывался. Человек этот будто бы сейчас за границей и написал Сизову письмо, где советовал навестить сына своего друга. Вот Сизов и предложил ему вступить в партию.

Он согласился, почему же не согласиться. Студенты всегда участвовали в политических волнениях. Он не хуже других. Потом был намечен «экс». Что это такое, он знает. Читал, слава богу, мемуары. Дома у Сизова он не бывал. Две тысячи получил. Добавить ничего не имеет.

Следующий по порядку оказался франтоватым молодым человеком, сыном банковского чиновника. Отец его и сейчас занимал крупный пост в банке и зарабатывал много. А из сына вышел оболтус, ресторанный завсегдатай, бездельник и выпивоха. Чем он занимается, понять было невозможно. По-видимому, отец, пользуясь своими деловыми связями, все время устраивал его на службу, а дирекция, присмотревшись к новому служащему, спешно его выгоняла. Сын этим совсем не огорчался, а отец огорчался очень. «Папахен, знаете ли, обломок разбитого вдребезги»,— объяснял оболтус.

В необычайно слабом его мозгу отец оказывался, видимо, представителем старых понятий, неспособным понять все новое, а себя самого он неясным образом связывал с современностью, с новыми веяниями, словом, с послереволюционной омолодившейся Россией.

Получалось почему-то так, что отец, большой знаток банковского дела, честно работающий в советское время и получающий благодарности,— это некий «остаток» императорского Петербурга, а он, тратящий отцовские деньги молодой кутилой,—представитель новой России. Как это получалось, понять было невозможно.

Васильев заинтересованно спросил, в чем он видит свою, так сказать, прогрессивную сущность.

— Ну, знаете,— сказал оболтус,— я, например, уже три раза женат. Потом, вообще всем интересуюсь. Бываю в оперетте, там сейчас, знаете, новая каскадная. Прелестная женщина.

В оперетте оболтус и познакомился с Сизовым. Они вместе курили во время антракта и разговорились. Потом Сизов пригласил его в ресторан, отлично накормил и напоил и отвез домой на лихаче.

— Я было полез в карман за деньгами,— сказал оболтус,— но он отказался и заплатил сам. И знаете, это было очень хорошо с его стороны, потому что у меня не было ни копейки.— Он фыркнул, закрыв рот ладонью, и от смеха у него даже слезы выступили на глазах.— Я полез

в карман и думаю: «А ну как он захочет взять? Придется сказать, что забыл дома бумажник».

После этого оболтус долго и весело смеялся.

— Ну, а ограбление Кожсиндиката? — спросил Васильев, не оценивший юмора подследственного.

— Это тоже он предложил, — радостно сказал оболтус. — Он сказал, что это всегда принято у революционеров и что в наше время, для современной молодежи, это... словом, очень хорошо. А мое дело — только палить из двух револьверов и молчать, то есть не рассказывать никому, и что я получу за это две тысячи. А мне две тысячи, знаете, просто ужасно нужны. Дома у Сизова не бывал. Добавить ничего не имею.

Пятый член боевой группы был человек лет сорока пяти, с военной выправкой, с резко выступающими скулами и глубоко посаженными глазами. Он носил фамилию, когда-то известную в русской истории. Среди его предков были и жестокие крепостники, были и полководцы, оставившие по себе добрую память, были и образованнейшие люди, удивлявшие Европу своей эрудицией. Были и бестолковые кутилы, швырявшие тысячи женщинам сомнительного поведения. Так или иначе, в середине прошлого века его семья разорилась дочиста и впала в полную неизвестность. Отец его служил в Новгороде и жил в маленьком деревянном домике на окраине. Умер отец, впрочем, рано, еще до мировой войны. Мать сумела, напомнив кое-кому о прошлых заслугах рода, всунуть сына в кадетский корпус на казенный кошт. Она умерла, когда он еще был кадетом. Потом, став офицером, он продал домик в Новгороде, чего хватило только на то, чтобы неделю поддерживать в полку репутацию рода. Потом война, на которой он как будто ни в чем не провинился, но и не отличился особенно. Потом революция. В белой армии не был.

— Почему? — спросил Васильев. Ему казалось, что этот угрюмый и злой человек как раз в белой армии и мог бы проявить себя.

— Мер-р-завцы все, — ответил бывший офицер каким-то равнодушным спокойным тоном. — Что ж я, не знаю их? Все мер-р-завцы.

Не пошел и в Красную Армию, служил где-то на гражданской службе в каком-то «бюро учета». Потом уволили по сокращению штатов. Потом служил, очень

недолго, у какого-то нэпмана, торговавшего коноплей. С нэпманом поспорил, даже подрался, и ушел.

— Мер-р-завец,— сказал бывший офицер.

Сизов разыскал его, когда офицер окончательно приуныл. Сизову о нем сообщил из-за границы какой-то товарищ офицера по полку. Предложил ему Сизов вступить в «боевую группу».

— Вы что же, левый эсер? — спросил Васильев.

— Мер-р-завцы они,— сказал офицер.— И белогвардейцы мер-р-завцы, и они мер-р-завцы, и вы мер-р-завцы. Все мер-р-завцы.

— Зачем же вы пошли? — спросил Васильев.

— А две тысячи? — удивился офицер.— Я уж стреляться думал, а на две тысячи можно еще полгода пожить, хоть кругом все и мер-р-завцы, но мне пожить хочется, потому что и я мер-р-завец.

Итак, оставался последний из шестерых — Тихомиров, получивший почему-то от Сизова не «2 т.», а только «1 т.».

ШЕСТОЙ

Последний «член боевой группы» был рабочий пороховых заводов Борис Тихомиров, молодой парень двадцати трех лет, полгода назад женившийся на молодой работнице из соседнего цеха. Васильев поехал сам его арестовывать. Машины не было, и на Пороховые (так назывался весь район вокруг пороховых заводов) Васильев отправился на трамвае. Это был район одноэтажных или двухэтажных домов, большею частью деревянных; в сущности говоря, большой рабочий поселок под Петроградом, соединившийся с городом, когда Петроград разросся. Тихомировы жили во втором этаже небольшого деревянного дома. Открыл дверь сам Тихомиров. Это был невысокий, худощавый человек с прямыми светлыми, зачесанными назад волосами. Он, вероятно, сразу понял, кто такой Васильев и зачем он пришел, хотя и сам Васильев и оперативник, которого он взял с собой, были в штатском. Молча провел он их в свою комнату. Комната была маленькая, обставленная бедно, но чистота и аккуратность сразу бросались в глаза. Хотя было уже без четверти одиннадцать, хозяева еще не ложились.

Маленькая, худенькая молодая женщина, сидевшая на стуле рядом с простым канцелярским столом, аккуратно застланным газетами, удивленно подняла на вошедших спокойные глаза. На столе стояла электрическая лампочка, освещающая раскрытую книгу, лежавшую рядом. Видимо, когда раздался стук в дверь, Тихомиров читал жене вслух, а жена слушала и шила. Теперь она отложила шитье. Наверно, она тоже догадывалась, кто эти незнакомые люди; во всяком случае, удивление на ее лице медленно сменялось испугом.

Васильев предъявил ордер на арест. Тихомирова побледнела, но осталась спокойна.

— Обыскивать будете? — спросил Тихомиров.

— Придется, — хмуро ответил Васильев.

Уже самая атмосфера комнаты располагала к хозяевам. Васильеву понравилась и маленькая этажерка с книгами, и аккуратно застланная кровать, и развешанные на гвоздях, но тщательно закрытые от пыли простынями носильные вещи.

Приступили к обыску. Долго обыскивать не пришлось. Вещей было мало, и все они были на виду. В ящике канцелярского стола лежало несколько тетрадок. Это были обыкновенные школьные тетради, в которых Тихомиров решал задачки по арифметике, выписывал правила правописания и хронологические даты по истории. Учебники, потрепанные школьные учебники, лежали в ящике тут же, рядом.

— Учитесь где-нибудь? — спросил Васильев.

— Нет, сам занимаюсь, — ответил Тихомиров.

В ящике же лежали деньги: семнадцать рублей семьдесят три копейки. Дно ящика было застлано газетой, но Васильев увидел, что в самой глубине газета топорщится. Он ее отогнул. Под газетой лежала аккуратно завернутая в белую бумагу довольно толстая пачка денег. Это были червонцы, очевидно взятые в Кожсиндикате.

— Что же вы, — спросил Васильев, — в доме всего-навсего семнадцать рублей, а тысячу не тронули?

— Не мои деньги, — коротко сказал Тихомиров.

Перелистали книжки, стоявшие на этажерке. Все это были левоэсеровские брошюры, в большом числе вышедшие в начале революции, сочинения Кропоткина и одна книжка Савинкова. Переплеты были обернуты в бу-

магу, в каждой книге была закладка, и все книги были, очевидно, внимательно прочитаны. На многих страницах были подчеркнуты отдельные фразы и целые абзацы.

Через час обыск был закончен, и комнату запечатали. Вчетвером — двое Тихомировых, Васильев и оперативник — долго брели по мокрому снегу до трамвая. Тихомиров вел жену под руку, а снег был глубокий, и она в худеньких своих туфельках все проваливалась, но шла не жалуясь, опираясь на руку мужа. Васильев проклинал себя, что не добился машины. Хоть он и не сомневался ничуть, что Тихомиров грабитель, а жена если и не соучастница, то уж знала-то о грабеже наверно, все-таки очень ему было их жалко обоих. Нравились они ему, и ничего он не мог с этим поделать.

К счастью, захватили последний трамвай. Доехали до тюрьмы.

На следующий день Васильев последним вызвал на допрос Тихомирова. До этого он допросил и двух сыновей кулаков из Пскова, и оболтуса, завербованного в оперетте, и вечного студента, и офицера, говорившего с раскатом, что все мер-р-завцы и сам он тоже мер-р-завец.

«Какая же тут политика? — рассуждал про себя Васильев. — Обыкновенная уголовщина; получили по две тысячи за участие в налете, а Сизов отхватил львиную долю и катался как сыр в масле».

Все это верно. И все-таки Васильев сомневался. Он потому и оставил напоследок допрос Сизова и допрос Тихомирова, что понимал: если в этом деле и есть хоть какой-нибудь элемент политики, то только эти два человека могут его представлять. Внутренне он был уверен, что даже если Сизов действительно член мифического Цека мифической партии, все равно он на самом деле обыкновенный бандит. Он помнил и спальню карельской березы, и столовую красного дерева, и кожаный кабинет. Но если бы ему сказали, что Тихомиров согласился принять участие в ограблении просто ради того, чтобы получить тысячу рублей, Васильев бы все равно в это не поверил. Всем существом своим он был убежден, что с Тихомировым дело сложнее.

И вот сидит перед ним молодой, двадцатитрехлетний петроградский рабочий с некрасивым, но умным и добрым лицом и отвечает на вопросы. Сын рабочего. Родил-

ся на Пороховых. Образование низшее. Партийная принадлежность?

— Член партии левых эсеров.

— Такой партии нет,— говорит Васильев,— она запрещена.

— Она запрещена,— говорит Тихомиров,— но она есть.

— Где вы познакомились с Сизовым?

Оказывается, Сизов часто ходил обедать в рабочую столовую возле завода. Там обедали и Тихомировы. Сидя за одним столом, разговорились. Сизов дал Тихомирову почитать книжку. Условился, что сам за ней зайдет, взял адрес. Стал заходить, носил книжки, много говорил про политику. Объяснил Тихомирову, что в газетах пишут неправду и что историю большевики рассказывают неверно. Объяснил, что левые эсеры—борцы за народное дело и за это их преследует власть. Словом, у Тихомирова «открылись глаза». Он понял, что правда—у партии левых эсеров, что большевики захватили власть незаконно и что левые эсеры действительно стоят за трудовой народ, за крестьянство и за рабочий класс. Вообще он, Тихомиров, «очень вырос» после знакомства с Сизовым. Сизов ему посоветовал прочесть такие книжки, о которых прежде Тихомиров и не слышал, посоветовал ему, какие учебники взять, чтобы заняться самообразованием. Все это в рассказе Тихомирова выглядит, можно сказать, трогательно: опытный политический деятель, член Цека, борец за народное дело, не жалеет времени и сил на то, чтобы один обыкновенный петроградский рабочий прозрел политически и вырос культурно, стал бы изучать грамматику и арифметику.

Тихомиров рассказывает все это внешне спокойно, но внутренне он взволнован. Он понимает, что за грабеж Кожсиндиката по головке не погладят, что придется пострадать, а может быть, и отдать жизнь. Но он знает, «где правда», знал, на что идет, когда вступил в партию. И теперь будет стоек до конца.

Смотрит на него Васильев и думает: «Вести с этим славным и честным парнем политический спор? Да его ведь не переспоришь! И что за спор на допросе! Тихомиров загипнотизирован, он уверовал в Сизова, как верили когда-то в бога. Эх, пропесочить бы парторганизацию на

Пороховых! Проглядели такого парня!.. Ну, это все потом. Что делать с Тихомировым, с теперешним, с таким вот, какой он есть, твердо знающим, что все, что от Сизова,— добро, а все, что против Сизова,— зло?»

— Ну, а как же с Кожсиндикатом? — спрашивает Васильев увлекшегося и разговорившегося Тихомирова.

— Да, мы ограбили Кожсиндикат, — отвечает Тихомиров, — чтобы обеспечить средствами нашу партию и ее руководство, ее Центральный комитет. Чтобы помочь ему, дать ему средства на пропаганду, на издание подпольной литературы, чтобы наши товарищи, которые в условиях подполья ведут свою героическую работу, имели возможность заплатить за ночлег, поесть хоть раз в день и отдать все силы политической борьбе. ,

— Хорошо, гражданин Тихомиров. А из кого состоит Цека вашей партии, вы мне, конечно, не скажете?

Тихомиров смотрит Васильеву прямо в глаза.

— Если бы даже я знал, я не сказал бы, — говорит Тихомиров, — но я не знаю. Партия наша в подполье, и естественно, что такой рядовой член партии, как я, не может и не должен знать руководителей. Всегда может оказаться среди членов партии какой-нибудь нестойкий, слабый человек, и не может судьба нашей борьбы зависеть от его слабости. Если бы я не знал, что Сизов арестован и, значит, вы о нем уже знаете, я бы и о нем вам не сказал ни слова. Даже под пытками, даже на кресте!

— Ну, до креста дело у нас, пожалуй, и не дойдет, — говорит Васильев, — а вот про Сизова... Вы у него дома бывали?

— Был два раза, — говорит Тихомиров.

— На Широкой улице? — спрашивает Васильев.

— Да, на Широкой, — кивает Тихомиров.

— И с женой его, Серафимой Ивановной, знакомы?

— Знаком, — говорит Тихомиров, — она заходила в кабинет, когда я у него сидел.

— Вы не знаете, — спрашивает Васильев, — давно они женаты?

— Года два, кажется, — говорит Тихомиров.

— Хорошая у Сизова квартира, — говорит Васильев.

— Да, — соглашается Тихомиров. — Это квартира родителей его жены. Ему, конечно, не нужна вся эта роскошь. Если б его воля, он бы все это продал и деньги

внес в партийную кассу. Но, во-первых, это принадлежит не ему, а во-вторых, вся эта купеческая роскошь помогает партии, потому что в такой богатой, солидной квартире никто не будет искать скрывающегося от преследований подпольщика.

— Да, конечно,— равнодушно соглашается Васильев.— А скажите, пожалуйста, гражданин Тихомиров, вы ведь тоже получили из награбленных денег тысячу рублей. На что они вам даны?

— Неужели вы думаете,— Тихомиров вспыхивает и выпрямляется,— что я бы позволил себе взять хоть один рубль из партийных денег на свои личные нужды? Я отказывался, не хотел их брать. Но Михаил Антонович мне объяснил, что это мне необходимо на всякий случай, если придется скрываться или нужно будет помочь кому-нибудь из товарищей. Мы ни копейки из них не истратили, вы же видели.

— Видел,— соглашается Васильев.— Всего было взято девяносто шесть тысяч?

— Я не считал,— говорит Тихомиров,— Михаил Антонович говорил, что взяли немногим меньше ста.

— И, значит, за вычетом расходов,— говорит Васильев,— остальное пойдет в партийную кассу?

— Да,— твердо говорит Тихомиров,— конечно же, в партийную кассу. Неужели вы думаете, что Михаил Антонович согласился бы взять себе оттуда хоть рубль?

— Нет, я этого не думаю,— спокойно говорит Васильев.— Ну, на сегодня кончим.

И, нажав кнопку звонка, он вызывает конвойных, чтобы они отвели Тихомирова обратно в тюремную камеру.

СЕРАФИМА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

На следующий день с утра Васильев снова вызвал Тихомирова. Начал он опять с разговора о деньгах.

— Значит, давайте, гражданин Тихомиров, посчитаем,— сказал Васильев.— Всего было взято в Кожсиндикате девяносто шесть тысяч рублей с лишним. Трем извозчикам было куплено по пролетке и по лошади, и за три лошади и три пролетки было уплачено двести восемьдесят рублей. Каждому из извозчиков было за участие и молчание уплачено по две тысячи рублей. Сбрасываем

шесть тысяч двести восемьдесят, остается девяносто тысяч без малого. Кроме вас и Сизова, участвовало пять человек. Вы знаете остальных?

— Я их видел один раз в жизни,— сказал Тихомиров,— и, конечно, не знаю их фамилий.

— Верю,— согласился Васильев.— Во всяком случае, если захотите, можете познакомиться с их показаниями. Они получили по две тысячи каждый. Если не поверите протоколам, скажите, я представлю вам возможность с ними поговорить, и они подтвердят вам это. Ну, значит, пять по два — десять тысяч, да одна вам — одиннадцать, остается, насколько я понимаю, семьдесят девять тысяч. Это та сумма, которую оставил себе Сизов на трамвай и папиросы.

— Да,— согласился Тихомиров,— для передачи в партийную кассу.

— Правильно,— согласился опять Васильев,— для передачи в партийную кассу. Как вы думаете, за два месяца он успел уже передать в партийную кассу эти деньги?

— Конечно, успел,— сказал Тихомиров.— Он очень торопился с «эксом» и говорил, что партии срочно нужны деньги.

— Хорошо,— сказал Васильев.— Вы говорили, что вы с его женой знакомы?

Тихомиров кивнул головой.

— Могу вам сказать,— продолжал Васильев,— после «экса», как вы называете этот грабеж, Сизов и не подумал никуда передать семьдесят девять тысяч. Приблизительно через две недели после «экса» он познакомился с молоденькой девушкой, дочерью бежавшего за границу московского купца Попова — Серафимой. Через некоторое время он сделал ей предложение. У Серафимы очень расчетливая мать, собиравшаяся дочку выдать замуж за богатого человека. К этому времени Поповы продали все, что им оставил бежавший за границу глава семьи, и единственное, что у них оставалось,— это красота дочери. Мать потребовала доказательств того, что брак дочери действительно выгодный брак. Поэтому Сизов из этих, как вы их называете, «партийных» денег купил ту дорогую обстановку, которую вы и видели в квартире, купил невесте два манто: котиковое и каракулевое, вся-

кую другую одежду, золотые и бриллиантовые украшения на сумму около тридцати тысяч рублей. Остальные деньги спустя два с лишним месяца после «экса» были найдены у него в письменном столе.

Васильев, усмехаясь, посмотрел на Тихомирова. Тихомиров тоже еле заметно улыбнулся и сказал:

— Сизов предупреждал меня, что в случае ареста следователь будет пытаться всех нас поссорить. Вы на меня не обижайтесь, но я вам не верю.

— Я так и думал,— согласился Васильев, нажал кнопку и сказал вошедшему конвойному: — Введите гражданку Попову.

Вошла Симочка. Двух суток еще не прошло с момента ее ареста, а изменилась она так, что ее трудно было узнать. Изменило ее не то, что с ее лица исчезла косметика, и не то, что самый арест ее испугал, изменило ее то, что, наверно, впервые за свою жизнь пришлось ей посидеть и подумать без нашептываний матери и тех людей, с которыми мать позволяла ей встречаться и разговаривать. Впервые пришлось ей понять, что советы ее советчиков привели ее в самом начале жизни к тупику, к катастрофе. И стала ей неожиданно ясной вся бесцельная глупость ее прошлой жизни. Посмотрев на себя со стороны, увидела она себя глупой девчонкой, продавшей свою молодость грабителю за фальшивые деньги. Может быть, эти двое суток были только началом ее размышлений, но все-таки о многом она уже успела подумать, и ко многим горьким выводам она уже успела прийти. Совсем другое было у нее лицо. Хоть и без пудры и без краски, оно было сейчас умнее, значительнее и чем-то красивее, чем двое суток назад.

Васильев пригласил ее сесть и, указав на Тихомирова, сказал:

— Вы, кажется, немного знакомы?

Тихомиров смотрел на Симочку сначала равнодушно и даже немного насмешливо. Он не узнал ее, уж очень она изменилась. Но постепенно в глазах его появилась растерянность. Он начал понимать, что его не обманывают, что перед ним действительно жена обожаемого им, боготворимого им человека.

Симочка смотрела на Тихомирова, припоминая. Когда-то давно, так ей казалось, в рухнувшем в бездну

прежнем мире, она его будто бы видела. Наконец она кивнула головой и сказала:

— Вы, кажется, бывали у нас иногда.

— Гражданка Попова,— сказал Васильев,— когда вы познакомились с вашим мужем, Михаилом Антоновичем Сизовым?

— Месяца два назад.

— А точнее не помните?

— Числа не помню,— сказала Симочка, нахмутив лоб,— но это было дня через два или три после Нового года. Мы были с мамашей в Михайловском на «Желтой кофте», Миша сидел рядом с мамашей, и они разговаривали. В антракте он угощал нас чаем с пирожными, и мамаша пригласила его к нам заходить.

— Как вы помните, Кожсиндикат был ограблен двадцать четвертого декабря,— бросил Васильев Тихомирову.

Тихомиров даже не кивнул головой, он отлично помнил, какого числа был совершен знаменитый «экс».

— Когда он сделал вам предложение?

— Двенадцатого января,— сказала Симочка.— Он сначала переговорил с мамашей, а мамаша — со мной. Я сказала, что очень быстро все это, а мамаша сказала, что теперь не такое время, чтобы разбираться, что попался солидный человек, и слава богу.

Симочка повторяла материнские слова, как будто сама заново в них вслушиваясь и заново их осмысливая. Даже слово «мамаша» она сказала совсем не так, как говорила два дня назад, а как будто заковычивая, как будто немного насмешливо цитируя себя, прежнюю Симочку.

— Какое было поставлено Сизову условие? — спросил Васильев.

— Обставить квартиру... одеть меня... купить мне драгоценности.

— Сколько стоил столовый гарнитур? — спросил без всякого выражения Васильев.

Так же без всякого выражения он спрашивал Симочку и о стоимости кабинета, и о стоимости каждого манто, и о стоимости золотого браслета, и Симочка, тоже как будто без выражения, называла цифры, иногда напрягалась, вспоминая, и морщила лоб, иногда поправляла себя

сама, называла более точную цифру, иногда пожимала плечами и говорила:

— Не помню сейчас.

Это только казалось, что она говорит без всякого выражения. Если внимательно вслушаться, можно было понять, что она сама как будто бы с удивлением вспоминает, как захватывали когда-то ее эти сотни и тысячи рублей, какой восторг вызывала в ней громоздкая роскошь ее квартиры и как всего только два дня назад ясно видела она будущую свою жизнь — с театральными ложами и лихачами, с рестораном после театра, со сном допоздна в огромной кровати-раковине карельской березы.

Тихомиров молчал все время. Он сидел не шевелясь, смотрел прямо в лицо Серафиме, и Васильев понимал, что он верил каждому ее слову, потому что ей и нельзя было не верить. Никакая притворщица не сумела бы так достоверно притворяться. Васильев и сам поверил ей сегодня наконец окончательно. Не цифрам, которые она называла, — они и раньше не вызывали сомнений, да их можно было всегда и проверить, — нет, он поверил в ее настоящую искренность, в то, что она действительно не знала, кто такой Сизов, и мысли о грабежах, об обмане ей даже не приходили в голову.

И наконец Васильев задал ей еще вопрос.

— Скажите, Попова, — сказал он, — во время обыска при вас был отперт портфель, лежавший в ящике письменного стола вашего мужа. При вас были пересчитаны находившиеся в портфеле деньги. Сколько там оказалось денег?

— Сорок пять тысяч, — сказала равнодушно Симочка.

Ее воображение уже не поражало величие сумм. От гипноза богатства, от веры в непоколебимость и главную важность материального изобилия она избавилась, наверно, сразу и на всю жизнь.

— Какого числа был у вас обыск? — спросил Васильев, уже нажимая кнопку, чтобы вызвать конвойного, и закрывая папку с делом.

— Позавчера, — сказала Симочка, — я не помню, какое сегодня число.

Вошел конвойный, Симочка, поклонившись Тихомирову и Васильеву, вышла, и дверь за нею закрылась.

Васильев и Тихомиров долго молчали, потом Васильев встал и раздраженно сказал:

— Лучше б вы, Тихомиров, на эту тысячу рублей хоть покутили! Сизов ведь и так вас обманул, другим-то он за участие в грабеже дал по две тысячи, а вам вторую тысячу и дать пожалел, красивых слов вам наговорил за это. Видите теперь, что за партийная касса?

Вошел конвойный. Тихомиров встал и пошел к выходу. Казалось, ничего не изменилось ни в выражении его лица, ни в его походке, и все-таки Васильев чувствовал, ощущал, был уверен: перед ним человек ошеломленный, растерянный, даже раздавленный.

ВСТРЕЧА В ВАГОНЕ

В сущности говоря, все было ясно. Ограбление кассы Кожсиндиката было произведено в самых обыкновенных шкурных целях. При чем тут политика? Ни на какие политические цели деньги и не предназначались. Деньги пошли на громоздкую мебель, платья и безделушки глупой девчонке. Разница с обыкновенными шайками была только в том, что хотя атаман всегда получает немного большую долю, но все-таки не в таком же соотношении: семьдесят тысяч и две тысячи. Ну что ж, и это объясняется просто. В этом случае атаман оказался хитрее, а остальные члены шайки глупей, чем обыкновенно. На счет того, что Сизов член Цека партии, левых эсеров: во-первых, такой партии нет и такого Цека нет. А во-вторых, если бы даже и был такой Цека, не мог же он поручить Сизову ограбить Кожсиндикат для того, чтобы оставить квартиру и закупить барахла Серафиме Поповой. Единственный, кто верил сказкам, которые рассказывал Сизов о себе и своих высоких политических целях, был Тихомиров. Тихомирова Васильеву было жалко. Конечно, бандиты всегда обманывают друг друга, но тут уж больно груб был обман и больно наивны обманутые. Помочь Тихомирову нельзя было ничем. Грабеж есть грабеж, и, как бы ты его ни объяснял, отвечать за грабеж придется.

Впрочем, Васильев счел себя обязанным доложить начальству о претензиях Сизова на то, что он не уголовник, а политический борец, и начальство сообщило об

этом в Москву в ГПУ. Васильев был уверен: нет оснований предполагать, чтобы дело было отнято от угрозыска. Следствие шло к концу, никаких неясных моментов не оставалось. Вероятно, через несколько дней можно будет уже дело закончить и передать в суд. Но все повернулось не так.

Однажды Васильева вызвал к себе начальник угрозыска.

— Что-то ты, Васильев, с этим Сизовым недооценил, — сказал начальник угрозыска хмуро. — Дело требует ГПУ. И не Петроград, а Москва. Поедешь сам. Повезешь всю свою банду. Женщин возить не стоит. Повезешь только тех, кто участвовал в ограблении. Какой-то этот твой Сизов деятель. Говорят, при царизме в ссылке был. В общем, готовься. Сегодня и отправишься.

«Черт его знает! — думал Васильев, идя от начальника. — Что же это такое? При царизме был человек в ссылке. Значит, какие-то идеи у него были. А теперь никак его от уголовника не отличить».

Вечером семь участников ограбления Кожсиндиката были доставлены на вокзал к специальному вагону, в котором они отправлялись в Москву. Доставили их в нескольких машинах, под очень строгой охраной. В течение всего следствия Васильев ни разу не сводил на одном допросе Сизова и Тихомирова. Васильев чувствовал, что Тихомиров человек больших страстей и большой искренней веры. У таких, как он, людей страшным бывает разочарование. Раз поверив во что-нибудь, такой человек держится своей веры до конца, но уж если он увидел, что веровал в пустышку, что его обманули...

Словом, Васильев не хотел драматических сцен на допросах и чувствовал: после того как Тихомиров узнал, что такое Сизов, встреча этих людей так просто не обойдется. Поэтому и на вокзал их доставили в разных машинах. Только в вагоне они увиделись.

Сизов был все-таки странный человек. Очевидно, жадность к деньгам, к богатой жизни удивительным образом сочеталась в нем с каким-то хоть и мелким, но честолобием.

Именем несуществующей партии награбить сто тысяч и потратить их на мебель, манто и браслеты — это он считал совершенно естественным. Но ему казалось очень

обидным, если его не признают политическим борцом, идущим на опасный грабеж ради «великого дела». Концы у него не сходились с концами.

Когда ему сообщили, что дело будет рассматриваться как политическое, он воспрянул духом и стал смотреть на Васильева даже несколько свысока.

В сущности говоря, перемена инстанции ничего хорошего ему не сулила. Ограбление есть ограбление, и, пожалуй, его политические претензии могли быть только отягчающим обстоятельством. Но такой уж был удивительный у него характер, что при известии, что дело затребовало ГПУ, голова его еще больше откинулась назад, сутулость еще больше стала походить на горб, а лицо приняло необыкновенно важное и заносчивое выражение. Он снисходительно посматривал на конвойных, и весь вид его выражал примерно следующее: «Ну, мол, удалось вам некоторое время покомандовать мной, но теперь это кончилось, и скоро вы узнаете, какой я большой человек». Васильев смотрел на него и удивлялся странному сочетанию жестокости и легкомыслия в этом важном маленьком человечке.

И так был силен гипноз этой комической важности, что даже здесь, в вагоне, завербованные им в свою шайку люди безмолвно признавали его своим начальником. Ведь, кажется, все уже кончено, они пойманы, уличены и признались и ничего, кроме зла, не принесли им этот человек, совративший их на тяжелое преступление, и все-таки, когда он вошел в вагон, все подтянулись, как подтягиваются солдаты, когда входит в казарму строгий и требовательный командир. Он окинул их орлиным взглядом, как бы проверяя состояние своих войск. Так, вероятно, Наполеон проходил перед строем гренадер, читая в их глазах преданность и восхищение.

Все уже сидели на жестких полках тюремного вагона, когда вошел Сизов. И он прошел вдоль полок и поздоровался с каждым за руку. И только Тихомиров не протянул ему руки. Сизов сделал вид, что не заметил этого. А может быть, он так был преисполнен сознания своей значительности, что не мог допустить даже мысли, что Тихомиров зол на него. Так или иначе, он, наклонившись к Тихомирову, прошептал ему несколько слов. Васильев не слышал их. Наверно, слова, которые может шепнуть

руководитель подпольной организации рядовому функционеру. Какой-нибудь совет, как себя держать на процессе, в чем признаваться и что отрицать. Вероятно, что-нибудь в этом роде. Тихомиров ответил ему отчетливо и громко:

— А почему, собственно, вы мне даете указания, гражданин Сизов? Вы кто мне такой? Атаман?

Сизов еще больше выпятил грудь, еще дальше откинул голову и сказал:

— Мы с вами члены одной партии.

— Какой партии? — спросил Тихомиров. — Партии грабителей? Так это, кажется, называется не партия, а шайка или банда. Я, по крайней мере, знаю, что я бандит, и не скрываю этого. И как бандит понесу справедливое наказание. А вы не только бандит. Вы еще и жулик.

Все остальные участники ограбления отвели глаза и сделали вид, что не слышат. Сизов, ничего не ответив и не теряя своего горделивого вида, топорщась и пыжась, кажется, еще больше, чем раньше, отошел и сел на свое место.

В Москве Иван передал своих подследственных сотрудникам ГПУ. Ему сказали, что он должен зайти на Лубянку. Его будут ждать в бюро пропусков.

Действительно, его ждали. Молодой сотрудник повел его по длинным коридорам, и Васильеву неудобно было спросить, к кому, собственно, его ведут. Его ввели в приемную. Другой сотрудник, сидевший за письменным столом, встал и открыл перед ним большую тяжелую дверь.

Высокий, очень худой человек вышел из-за стола и пошел навстречу Васильеву. У него была острая, клинышком, бородка и очень усталые глаза. Васильев почувствовал себя неудобно. Он знал этого человека, лицо его было ему удивительно знакомо, и все-таки, только пожав сухощавую энергичную руку, он понял наконец, что перед ним Феликс Дзержинский. Дзержинский пригласил его сесть и сел сам.

— Ну, расскажите, товарищ Васильев... — сказал он. — Нет, прежде всего спасибо вам за это дело. Это интересное дело. Ну, а теперь рассказывайте.

Васильев вкратце рассказал все, о чем мы сейчас, через много лет, рассказали читателю. Дзержинский слушал очень внимательно, не отрывая от Ивана глаз.

Закончил Васильев тем, что по всем обстоятельствам дела он не видел никаких оснований считать ограбление Кожсиндиката политическим актом. Деньги были растрачены не на политические цели, а на покупку личных вещей, на подарки женщине. Поэтому он и не придавал значения требованиям Сизова квалифицировать его как политического преступника.

Дзержинский слушал его очень внимательно, все время глядя ему прямо в глаза, иногда чуть заметно кивая головой.

Когда Васильев кончил, Дзержинский еще минуту помолчал и потом заговорил медленно, будто раздумывая.

— Вы, конечно, правы,— сказал он,— но дело в том, что Сизов был действительно левым эсером и даже довольно видным. До революции он играл некоторую роль в своей партии. И действительно был в ссылке по политическому делу. Встречался там с хорошими людьми, считался революционером. Поэтому мы и сочли нужным согласиться на его просьбу. Что ж, квалифицируем это дело как политическое. Сизову от этого лучше не будет.— Минуту помолчав, Дзержинский спросил:— Дело Серафимы Поповой осталось у вас? Как вы его думаете квалифицировать?

Васильев пожал плечами:

— Не тяжелую какую-нибудь статью. С каким-нибудь легким, может быть условным, наказанием. Не стоит ломать ей жизнь. Но нужно, чтобы она запомнила историю с Сизовым навсегда. Такие уроки бывают полезны.

Дзержинский встал и, прощаясь, протянул Васильеву руку:

— Еще раз спасибо, товарищ Васильев.



Глава пятая

«БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК»

ОБИЖЕН СУДЬБОЮ

В наше время уже не встречаются романтические разбойники вроде, скажем, Антона Кречета или других героев дореволюционных бульварных романов, в которых разбойник противопоставлял себя обществу, грабил бо-

гаты, одаривал бедных, — словом, всячески старался исправить несправедливость, царящую в мире.

Пожалуй, за всю многолетнюю практику Васильева только один раз встретился ему человек, который хоть немного старался походить на этого разбойника, борца за правду. Это был знаменитый Ленька Пантелеев, герой блатного фольклора, гроза и ужас богатых людей, бог всех уголовников меньшего масштаба.

Когда он погиб, уголовники даже сложили песню, которая кончалась словами:

Убит Ленька Пантелеев,
За него отомстят.

После его гибели долго еще богатые люди беспрекословно отдавали бандиту ценности, если бандит называл себя Ленькой Пантелеевым. Ходили слухи, что погиб вовсе не Ленька, а кто-то другой, а что Ленька, обманув ГПУ и уголовный розыск, гуляет себе по Петрограду, грабит богатых, одаривает бедных... Словом, жив Ленька Пантелеев, не мог он погибнуть.

Конечно, легенда эта обязана была своим зарождением не столько качествам и достоинствам самого Леньки, сколько желанию бандитов доказать хотя бы самим себе, что в профессии их нет ничего позорного, что какие-то не зависящие от них причины заставили их стать на скользкий путь, отделили их от других людей.

Надо сказать, что в подавляющем большинстве случаев никто, кроме самого преступника, не виноват в том, что он стал красть, грабить и убивать. Почти каждый преступник считает, что виновны в его судьбе обстоятельства. На самом деле почти всегда это не так. В конце концов, у каждого в жизни бывали трудные обстоятельства, перед каждым вставали проблемы, казавшиеся неразрешимыми, и все-таки только небольшой процент людей вступил на путь уголовщины. Обстоятельства обстоятельствами, но одного они толкают на преступление, а другого заставляют собраться с силами, напрячь ум, волю и победить их. В большинстве случаев уголовники — люди прежде всего слабовольные. Конечно, не так уж трудно остановить в темном переулке прохожего в хорошей шубе и отнять у него золотые часы и деньги на общую сумму, скажем, в пятьсот рублей. Конечно, гораздо

труднее работать день за днем, волноваться, спорить с начальством, отстаивать свою точку зрения и получать два раза в месяц по несколько десятков рублей.

Можно говорить о моральной неустойчивости, о том, что родители, семья, коллектив не сумели воспитать в человеке непреодолимое отвращение к тому, чтобы взять чужое, не говоря уж об убийстве другого человека. Но в числе рассказов этой книги будет рассказ о сыне старого грабителя, с детства воспитанного так, что он родился уголовником и должен быть уголовником, о человеке, который нашел в себе силы преодолеть чудовищное влияние преступника отца, влияние товарищей, которых ему подобрал отец, и вырваться из уголовного мира.

Третья причина, которую приводят уголовники в свое оправдание,— это то, что их обидело общество. Во-первых, общество не обижает, обижает реальный человек: глупый бюрократ, зарвавшийся чиновник, тупой и злобный начальник. Конечно, легче всего, обидевшись на тупого чиновника, ограбить заработанные честным трудом деньги у хорошего человека. Конечно, гораздо труднее в упорной борьбе победить этого чиновника и обнажить перед всеми бюрократическое и черствое его существо. Почти все выбирают этот последний путь, и только некоторые опускаются на дно и жалуются всю жизнь, что обстоятельства их толкнули на преступление.

Нет, только сочетание обстоятельств со слабостью, аморальностью и, в сущности говоря, трусостью делают из человека бандита. Разумеется, надо бороться с обстоятельствами, которые мешают жить, но не надо оправдывать бандита, убившего ни в чем не повинного человека и оставившего целую семью без кормильца, тем, что он когда-то встретился с равнодушным чиновником.

Ленька Пантелеев действительно очень отличался от обычного бандита. Он не пил, по крайней мере вначале, не жил той грязной, недостойной жизнью, которою обычно живут преступники. Он любил одну женщину и был ей всегда верен. Слухи о нем ходили самые романтические. Говорили, что Ленька благороден, что он борется за народ, против богатых нэпманов, которые сосут народную кровь, что он защищает бедных от богатых,— словом, что это рыцарь без страха и упрека, благородный разбойник, защитник бедных, борец за справедливость.

К сожалению, во всех этих слухах не было почти ни слова правды. Неправдой было и то, что Леня стал уголовником потому, что он обиделся на действительность. В те годы эта легенда казалась убедительной. Сейчас мы объясним почему. Октябрьская революция прошла под лозунгами, которые увлекли, можно сказать, весь народ. Наконец-то на земле должна была воцариться высшая справедливость. Все должны будут работать: кто не работает, тот не ест.

В стране был голод. Гражданская война и разруха привели страну на грань катастрофы. Люди голодали, мерзли в нетопленных домах, но лозунги революции были живы и владели сердцами по-прежнему. И вот был объявлен нэп. Была разрешена частная торговля, крестьянин оставлял себе хлеб и зависел от результатов своих трудов. На полях заколосилась пшеница, магазины наполнились товарами, угроза голода отошла от страны. Но досталось это не дешево. В деревне появились кулаки, бедняк залез в долги, в городе появился класс богатых людей. Началась безработица. На биржах труда толпились тысячи безработных, ждавших своей очереди. Текли дни, недели, месяцы, а очередь не приходила. Шел такой безработный, возвращаясь с биржи труда, и видел, как выходит из магазина его владелец, прекрасно одетый, с барственным видом садится в собственный выезд и едет, покачиваясь на рессорах, вдоль по Невскому.

«За что боролись? — спрашивал себя безработный. — Четыре года героической войны от Петрограда до Владивостока! Сколько пролилось крови! За что? Чтобы эта свинья гнала по Невскому рысаков?»

Сейчас, когда мы смотрим на прошлые годы из исторического далёка, мы понимаем, что этим гениальным по смелости и решительности шагом была спасена от гибели революция, была спасена от гибели страна. Но что мог думать рядовой человек того времени? Рядовой человек, не понимавший государственного смысла нэпа и видевший только одно: как и прежде, царствует богатый и бедствует бедный. Если человеку не везло, если у него не было работы, если он стоял у витрины, заваленной колбасами и балыками, сырами и сладостями, и у него не было в кармане даже двугривенного, чтобы купить себе дешевой колбасы, что он думал тогда?

Если это был человек умный и верный идеям революции, он понимал, что надо перетерпеть. Он понимал, что ценою временного богатства нэпманов и кулаков страна накапливает силы, чтобы идти дальше, к социализму. Если это был человек недалекий, не привыкший думать в государственном масштабе и представлять себе государственные цели, он считал, что революция погибла и что даром было пролито море народной крови. И даже если боролся за революцию не он, а его брат, или отец, или просто знакомый, он повторял ставшую характерной для той эпохи фразу: «За что боролись?»

Так вот, началось все с того, что был в Петроградском ГПУ сотрудник Леонид Пантелеев.

ГПУ — Государственное политическое управление — боролось с контрреволюцией, вредительством, спекуляцией, саботажем, со всеми видами сопротивления Советской власти. Леонид Пантелеев был сотрудник рядовой, не хуже и не лучше других.

Сейчас уже невозможно выяснить эту историю в подробностях. Как-то получилось так, что Пантелеев оказался в каком-то частном притоне, в то время как в этот притон пришла с облавой опергруппа ГПУ. Ходили слухи, что Пантелеев туда попал случайно, что будто бы его туда затащил какой-то его знакомый и он даже не понимал, куда, собственно, он идет. Возможно, что это было и так. Пантелеев, повторяем, не был ни пьяницей, ни азартным игроком и преданно любил до самой смерти только одну женщину.

Так или иначе, но на его начальство случай этот произвел очень скверное впечатление. Сотрудник ГПУ должен иметь чистые руки. То, что простительно другому, нельзя простить сотруднику ГПУ. Все это бесспорно. Возможно, если действительно Пантелеев в притоне оказался случайно, следовало в данном случае ограничиться более мягким наказанием. Сейчас слишком мало известно об этом эпизоде, чтобы можно было объективно оценить правильность решения пантелеевского начальства. Так или иначе, Пантелеева уволили из органов ГПУ. Можно, с другой стороны, но будущему Пантелеева, которое теперь нам известно довольно подробно, предположить, что случай с притоном был только каплей, переполнившей чашу, что и раньше начальство замечало за

Пантелеевым некоторые качества, недопустимые для чекиста.

И вот в один прекрасный день Леня был уволен, вышел на Гороховую улицу, где тогда помещалось ГПУ, посмотрел вокруг и увидел, что мир плох.

В кармане у него лежала последняя получка, на которую, даже если очень экономить, можно было прожить месяц, в крайнем случае полтора. Может быть, его опыт работы в ГПУ пригодился бы в милиции, но он понимал, что в милицию его, сейчас по крайней мере, не примут. Изгнание из ГПУ, конечно, его компрометировало. Военнизированная охрана тоже была для него закрыта. Оставалось идти на биржу труда. Туда он и направился.

У биржи бушевала толпа безработных. Трудно даже было пробиться к окошечку, где регистрировались люди, ищущие работы. Регистраторшей была намазанная, вертлявая девчонка, презиравшая безработных, наглая и грубая. Мы и сейчас еще встречаем грубых и наглых людей там, где требуются чуткость и внимание, что же говорить о том времени, когда не только не успели воспитать аппарат, но даже не успели подыскать подходящих людей. Девчонка разговаривала отвратительно грубо, и Пантелеев отнес ее тон тоже к числу обид, нанесенных ему Советской властью.

День за днем ходил он на эту биржу, просидел штаны на ее скамейках, истер подметки, толкаясь в очередях. День за днем выслушивал он грубые отказы наглой девчонки и день за днем копил в себе раздражение.

Следует учесть, что квалификации, которая могла бы понадобиться, скажем, на обыкновенном заводе, у Пантелеева, в сущности говоря, не было. Он не был ни слесарем, ни токарем, и на любом заводе для него годилась только одна должность — грузчика или разнорабочего. А кандидатов на эти должности было очень много. Приезжали из деревень бедняки. Приезжали из провинции рабочие, не нашедшие работы в родном городе, и все это были люди без ремесла, люди, ничего не умеющие, годные только на работы, не требовавшие квалификации.

Если бы Пантелеев мог правильно оценить всю происшедшую с ним историю, он бы, наверно, рассудил, что винить ему некого, кроме как самого себя. Может быть, и строго поступило с ним начальство, но ведь все-таки

оказался же он в притоне. Он попался потому, что в притон случайно пришли с облавой. Ему не повезло. Но ведь можно же было предположить, что он бывает и в других притонах и просто раньше ни разу не попадался. А если его пошлют с облавой, а там у него друзья-приятели? Тоже ведь неизвестно, как он поступит. Нет, все-таки то, что для работы в ГПУ нужны абсолютно чистые руки, было, конечно, правильно. К сожалению, большинству людей их вина всегда кажется пустяковой, а наказание — непомерно жестоким. Наконец, если бы Пантелеев был человек сильной воли, он бы нашел выход. Продав выходной костюм, он мог бы поехать на заготовку леса. Там всегда нужны были рабочие руки. Он мог бы поехать на север. На севере всегда не хватало людей. Словом, ему, одинокому, здоровому мужчине, смерть от голода не угрожала. Но он продолжал обижаться на судьбу, на ГПУ, на Советскую власть и все равно продал выходной костюм, но деньги истратил на то, чтобы как-нибудь прокормиться, пока не подойдет его очередь. Очередь была бесконечно велика. Несколько тысяч человек зарегистрировались раньше, чем он, а брали в день на работу двух-трех, самое большое четырех человек.

Когда закрывалась биржа, Пантелеев шел домой, проходил мимо сверкающих витрин магазинов, смотрел на одетых во все заграничное нэпманов, на женщин в дорогих шубах и скрежетал зубами. И повторял про себя ту же фразу, которую повторяли многие другие люди, не нашедшие себе места в условиях нэпа и не имевшие достаточной выдержки и ума, чтобы спокойно оценить и понять причины этого. «За что боролись?» — повторял Пантелеев, хотя сам он был человеком молодым и, насколько известно, никогда за революцию не боролся.

Там, на бирже труда, Пантелеев и познакомился с такими же безработными, такими же обиженными на судьбу и на Советскую власть людьми, которые и вошли первыми в будущую его шайку.

НАХОДИТСЯ ЛЕГКИЙ ВЫХОД

На бирже труда Пантелеев часто сидел с другим безработным, Гавриковым. Гавриков тоже не имел специальности и пытался найти место чернорабочего. Впрочем,

однажды он решил обмануть судьбу и сунулся в другое окошечко, где регистрировали счетных работников. Ничего, конечно, из этого не получилось. У Гаврикова потребовали документы об образовании или, по крайней мере, справку с прежнего места работы.

По-прежнему сидели рядышком на скамейке двое безработных, и им казалось, что мир вокруг них чудовищно несправедлив. В мире существуют вкусная еда, красивая одежда, веселые развлечения. Но ими пользуются торговцы и спекулянты, а они, честные, хорошие люди, всего этого лишены.

Впрочем, Пантелеев иногда высказывал и другую точку зрения. Он говорил, что богатые справедливо богаты и что они с Гавриковым справедливо бедны. «Если человек богат,— говорил он,— значит, сумел разбогатеть, а мы, Митя, с тобой дураки. Мы, Митя, не можем добыть себе деньги, значит, и не заслуживаем». Митя спорил, говорил, что это не по их вине, а от плохого устройства мира. Но какой бы точки зрения ни держаться, одно было бесспорно: оба они были безнадежно бедны.

Однажды Гавриков сказал:

— Знаешь что, Леня, есть у меня двое знакомых — Раев и Осипов. Раев мне даже родственник. Люди они богатые — может, посоветуют нам чего. Давай сходим.

Раев и Осипов были действительно богатые люди. Это чувствовалось и по одежде, и по уверенному их поведению, да и по осиповской квартире, в которой была назначена встреча. Пантелеева, человека наблюдательного, неприятно поразило, что они все время переглядывались, как будто взглядами обсуждали друг с другом, что ответить на заданный им вопрос. Они как будто не слышали рассуждений Гаврикова о безысходной нищете, в которой они с Пантелеевым завязли, о том, что им нужен совет умного человека, намеков его на то, что, мол, у таких людей, как Осипов и Раев, есть, наверно, связи, что, может, они бы посоветовали какому-нибудь своему приятелю, владельцу магазина или фабрики, принять их, Гаврикова и Пантелеева, на работу. А они бы уж, Гавриков и Пантелеев, отблагодарили за это. И верною службой отблагодарили бы, и если надо, то с полочки презентовали бы чего-нибудь.

Раев и Осипов как будто не слышали всех этих жалоб

и просьб и все время рассказывали о каком-то своем хорошем знакомом, крупном профессоре, у которого огромный частный прием, а в свое время была даже собственная лечебница. Гавриков снова начал жаловаться, а Осипов снова его перебивал и начинал рассказывать, какая у профессора богатая квартира и сколько у профессора бриллиантов и золота, не говоря уж о шубах и костюмах. Потом Осипов увел Гаврикова в другую комнату и долго с ним о чем-то шептался, а потом Пантелеев, решивший, что толку от этого визита не будет, что никто их на работу не порекомендует, рассердился, встал и затопил Гаврикова.

Когда они вышли на улицу, был уже вечер. Они шли по темному переулку. Пантелеев негодовал против наглых богачей, которые заставили их зря просидеть вечер и даже чаю не предложили, а Гавриков молчал и, только когда они вышли на мост, совершенно пустой в этот вечерний час, остановил Пантелеева и сказал шепотом:

— Они предлагают профессора этого ограбить. Человек он богатейший, а они все нам расскажут: и где у него ценности, и как войти в квартиру. Мы им за это одну пятую отдадим, но они клянутся, что богатства там большие.

— Подумаю,— коротко сказал Пантелеев.— Значит, завтра на бирже.

Он быстро простился и зашагал по улице, невысокий, худощавый, в кожаной куртке, оставшейся у него еще со времени службы в органах.

На следующий день Пантелеев сказал, что он согласен, и вечером они сидели на квартире у Осипова и обсуждали план ограбления.

Дело оказалось действительно не трудное. Профессор жил вдвоем со старушкой домработницей. Больше в квартире не было никого. В медицинском институте они посмотрели расписание и в тот час, когда профессор читал лекцию, принесли аккуратно завернутый большой пакет, который никак не мог пройти в щель, если не снять дверной цепочки. Старушка ее и сняла. Они старушку без труда связали и засунули ей в рот заранее приготовленный небольшой аккуратный кляп из чистых, специально выстиранных тряпок. Старушка лежала, не брыкаясь и не пытаясь освободиться. Гавриков даже поду-

мал, не задохнулась ли она, но успокоился, увидев, что глаза у нее бегают.

Раев и Осипов проинструктировали их прекрасно. Они легко вскрыли именно тот шкаф, в котором лежали драгоценности, и именно тот ящик письменного стола, в котором лежали деньги. Вся процедура заняла меньше получаса. Деньги были рассованы по карманам, драгоценности уложены в маленький актерский чемоданчик, они вежливо простились со старушкой, которая только сверкнула им вслед глазами, аккуратно закрыли дверь, вышли на улицу, не торопясь дошли до трамвайной остановки, проехали несколько остановок в трамвае и отправились к Осипову делить добычу. Так Ленька Пантелеев начал свой уголовный путь.

В то время это был молодой человек с не очень красивым, но довольно приятным лицом, с великолепными нервами, не изменявшими ему ни при каких обстоятельствах. Повторяем, он не пил, не курил, всю жизнь был верен своей любимой женщине — бухгалтерше, с которой познакомился, еще работая в ГПУ.

Он часто бывал у нее. Она знала, что он стал бандитом, и горько оплакивала его печальную судьбу. Он с нею был нежен и ничего от нее не скрывал. Он никогда не вменявал ее в свои преступления и даже ни разу не дал ей на хранение свою добычу. Впоследствии ее даже не привлекли к ответственности, и она продолжала вести скромную, трудовую жизнь, которая больше ни разу нигде не скрестилась с уголовным миром.

Обычно бандиты стараются всячески скрыть свое имя, рассчитывая, что если даже они и попадутся на одном каком-нибудь преступлении, то будут отрицать все остальные. Леня Пантелеев был в этом оригинален. Правда, мысль всюду рекламировать свое имя пришла ему, очевидно, не сразу, поэтому при ограблении профессорской квартиры он не назвал себя старухе и не оставил записки. Но следующее его дело уже обратило на себя внимание тем, что связанной домработнице он несколько раз повторил, что квартиру грабит он, Леня Пантелеев, и чтобы она ни в коем случае не забыла это передать хозяевам.

Хозяином второй квартиры был очень известный в то время в Петрограде артист Михаил Антонович Ростов-

цев. Он был великолепным комиком, играл и в драме и в оперетте, снимался в кино, и люди старшего поколения до сих пор благодарно улыбаются, вспоминая, сколько он им доставил минут искреннего веселья. Человек он был и в жизни веселый, добродушный, гостеприимный. Зарабатывал он очень много, и его любили не только зрители, но, что бывает гораздо реже, и товарищи по работе, зарабатывавшие много меньше.

На этот раз Пантелеев купил большую корзину цветов, позвонил по телефону к Ростовцеву на квартиру и сказал домработнице, чтобы она никуда не уходила, потому что через полчаса принесут цветы. Домработница, увидев цветы, сняла дверную цепочку. Пантелеев и Гавриков внесли корзину, поставили ее на стол, а потом домработницу связали и заткнули ей рот. То, что хозяев нет дома, они прекрасно знали: у Михаила Антоновича была премьера в театре, а на первые спектакли жена его обязательно ходила вместе с ним.

Здесь пришлось повозиться, чтобы найти ценности, но, впрочем, нашлись они легко. Ростовцев не считал нужным особенно их прятать.

На случай, если домработница забудет его имя, Леня оставил записку: «Уважаемый Михаил Антонович, вынужден был позаимствовать у Вас. Не сердитесь. Искренний поклонник Вашего таланта Леня Пантелеев».

Вот из этой записки Иван Васильевич впервые узнал имя противника, с которым предстояла ему долгая и упорная борьба, впервые узнал имя появившейся на уголовном небосклоне новой яркой звезды.

Очень скоро ему пришлось услышать о Пантелееве еще раз. Ограбили молодую хорошенькую актрису. Ей позвонили в дверь, когда она была одна дома. Леня сказал, что он из ГПУ, и показал какую-то карточку, которую она, конечно, не разглядела. Он был в кожаной тужурке и в кожаной фуражке — так в то время часто одевались сотрудники ГПУ. Она удивилась, какие могут быть у ГПУ дела к ней, но дверь беспрекословно открыла. Вошли двое. Дверь аккуратно закрыли и заперли. Потом Пантелеев очень вежливо поклонился и сказал:

— Позвольте представиться, Леня Пантелеев.

Тут уже актриса поняла, что впустила бандитов. Актёры — народ общительный. Ростовцев раз двести расска-

зывать своим коллегам о том, как его ограбили, и показывал записку, оставленную грабителями. Слух о Пантелееве шел уже по Ленинграду.

У актрисы хватило выдержки гостеприимно сказать:

— Заходите, Леня. Что-то вы зачастили к актерам. Любите театр?

— Люблю,— сказал Пантелеев,— но актеров навещаю только по необходимости. Я надеюсь, вы не будете поднимать шум, тогда мы вас и связывать не станем.

— Не буду,— сказала актриса.

После этого они дружной компанией пошли по квартире. Актриса была небогата, и ценностей у нее было не много. Все, что было, поместилось в карманах. Чемодан, который принес Гавриков, оказался пустым.

— Мало зарабатываете,— сказал укоризненно Пантелеев.— При вашем таланте можно было бы и побольше приобрести, а так, знаете, неудобно: выходит, вроде мы с Митей себе в убыток работаем. Ну, правда, шуба у вас хорошая.

Пантелеев подошел к шкафу и открыл его. Действительно, шуба висела здесь. Это была хорошая котиковая шуба, на которую актриса долго копила деньги, разъезжая по концертам и во многом себе отказывая.

Сохраняя по-прежнему шуточный тон, актриса сказала:

— Ленечка, неужели вы у меня заберете шубу? Сейчас зима, а у меня и театр и концерты. Потом, честно вам скажу, это единственная дорогая вещь, которая у меня есть.

Пантелеев улыбнулся. Ему нравились выдержка и хладнокровие актрисы.

— Ну как, Митя? — спросил он.— Действительно неплохо обижать женщину.

— Что ж,— сказал Гавриков,— я не возражаю.

— Купите у нас свою шубу. Цена — два поцелуя. Один ему, другой мне.

Актриса, смеясь, поцеловала обоих в лоб, и они ушли, оставив ей шубу.

Снова Пантелеев!

«Чем черт не шутит,— думал Васильев.— А вдруг у него не случайно кожаная тужурка?» Он позвонил в ГПУ.

— Есть у вас среди сотрудников Пантелеев? — спросил он.

Оказалось, что есть несколько Пантелеевых. Васильев расспросил о них. Все это были люди серьезные, проверенные, да и по описанию они не подходили.

— Это не то, — сказал Иван Васильевич.

— Был еще один, — сказали ему, — но того мы с полгода назад уволили.

— Сколько ему лет?

— Двадцать три.

— Фотография у вас есть?

Через час фотография лежала на столе у Васильева. Еще через час две домработницы и актриса были в угрозыске. Каждой было предъявлено десять фотографий, каждая уверенно выбрала фотографию Пантелеева.

Сомнений не было: выгнанный из ГПУ сотрудник стал бандитом. Узнали адрес. Поехали к Пантелееву. Дома оказались только Лёнина мать и сестра. Они сказали, что уже несколько месяцев Леня не приходит домой. Почему не заявляли? Потому, что он им прислал письмо, предупредил, чтобы они не волновались. Письмо сохранилось? Да, конечно. Сличили почерк письма и почерк записки, оставленной Ростовцеву. Рука была несомненно одна.

— А что делал Пантелеев после увольнения из ГПУ?

— Ходил на биржу труда. Целые дни там просиживал.

Поехали на биржу труда. Да, Леонид Пантелеев был зарегистрирован. Квалификации не имеет. Очередь до сих пор не дошла.

Вечером Васильев долго сидел у себя в кабинете и смотрел на фотографию. Ничего зверского не было у Пантелеева в лице. Как и почему этот человек стал на путь, который неизбежно приведет его к гибели? Известно о нем очень мало. То, что он оказался в притоне, в сущности, ни о чем не говорило. Может быть, действительно он попал туда случайно и ему просто не повезло. Что же известно точно? Что он работал в ГПУ, что его выгнали, что он долго околачивался на бирже труда и что он ограбил три квартиры.

Васильев долго смотрел на фотографию, тщательно запоминал лицо. Известно очень немного, но все-таки кое-что известно. Так или иначе, поединок может начаться.

ПАНТЕЛЕЕВ ПОЯМАН

Слухи, пожалуй, не менее быстрое средство информации, чем, скажем, газеты и радио. Слухи распространяются быстро и никогда не забываются. В газете и в радиопередаче всегда одному интересен один материал, а другой скучен, другому интересен именно второй, а скучен первый. Слух интересен всем. Неинтересный слух умирает сразу же, при первой или второй передаче. Зато интересный облетает город молниеносно. Через два-три месяца после того, как Пантелеев согласился на предложение Раева и Осипова, о нем говорил уже весь Петроград. В чем был секрет его популярности? Ведь, в сущности, Пантелеев был такой же грабитель, как и многие другие, которые жили и умерли в неизвестности. То, что он не убивал, не пытал, вообще не зверствовал, само по себе не могло сделать его популярным. Дело, кажется нам, было именно в тех характерных для эпохи конфликтах и настроениях, о которых мы уже говорили. Снова торжествовало богатство, как оно торжествовало прежде. Но прежде за ним стояла тысячелетняя традиция, и многие по привычке, по некультурности, по отсутствию умения самостоятельно мыслить действительно верили, что помещик имеет право на землю, которой он владеет, а фабрикант — на принадлежащую ему фабрику. Эту веру начисто сняла революция. И вдруг появились снова хоть небольшие, но все-таки частные фабрики, магазины, мастерские, появились самоуверенные, убежденные в законности своего богатства богачи. Все было объяснено народу. Но одно дело — понять объяснение, совсем другое дело — стать хозяином своих чувств. Как все быстро разбогатевшие люди, нэпманы не верили в прочность своего богатства и пытались выжать из мастерской или магазина все, что можно, и как можно скорее. Они раздражали своей самоуверенностью, своей некультурностью и хамством. Даже те люди, которые понимали всю государственную мудрость нэпа, не испытывали к нэпманам никакой симпатии. Словом, была создана почва для легенды о благородном разбойнике, который грабит самоуверенных, наглых нэпманов и отдает несправедно нажитые ими деньги нуждающимся. От Пантелеева требовалось очень немногое: только не зверствовать, не убивать,

может быть, раз-другой шутило и вежливо поговорить с тем, кого он грабит. Слухи раздували каждый случай сграбления, добавляли к нему тысячи подробностей, наделали Пантелеева и рыцарской вежливостью, и юмором, и благородством, которые на самом деле были ему совсем не свойственны.

Впрочем, в начале своей уголовной карьеры Пантелеев был действительно не жесток. Кроме того, он был очень уверен в себе и спокоен. Это позволяло ему и пошутить во время грабежа, и вежливо раскланяться с хозяевами, покидая ограбленную квартиру. Но все это было только первые несколько месяцев. Дальше вступал в действие железный закон моральной деградации преступника. Если преступник шел на преступление просто ради того, чтобы хорошо пожить и разбогатеть, то он мог быть добрым или злым, вежливым или грубым, но в конце концов неизбежно брали верх худшие его человеческие качества.

Итак, при каждом грабеже Ленька Пантелеев называл себя. Слухи о нем шли по Петрограду. Первыми, кто подхватывал и без конца обсуждал эти слухи, были уголовники. Какие бы плохие люди ни были воры, грабители, убийцы, все равно в глубине души их непременно мучат презрение и ненависть, которыми они окружены со стороны нормальных людей. Уголовники первыми подхватывали и распространяли легенды о благородном грабителе Пантелееве. Хваля его, они хвалили себя. Значит, не все преступники заслуживают осуждения. Значит, может быть, и я не такой уж плохой человек. Может быть, и обо мне скажут доброе слово.

А сам Пантелеев чувствовал себя плохо. Конечно, его популярность давала ему некоторые преимущества. Достаточно ему было себя назвать, чтобы хозяева переставали сопротивляться и чуть ли не на блюдечке подносили ему ключи от шкафа и ящиков. Но больше, пожалуй, популярность приносила ему вреда. Конечно, в ГПУ и угрозыске знали его фамилию, наверное раздобыли его фотографию. Конечно, все его бывшие товарищи по работе и просто знакомые знали, что он стал бандитом. Когда бы он ни шел по улице, каждую секунду он мог встретиться с человеком, знающим его. Опасность шла за ним по пятам. Он не мог зайти к матери, потому что за ней, ко-

нечно, следят. К счастью, никому никогда, в том числе и матери, он не говорил о своей любимой женщине. Иногда он решался навестить ее, и то понимая, что может поставить ее под удар. Кто-кто, а он-то уж знал хорошо, что слухи о верном товариществе преступников выдуманы авторами плохих уголовных романов. На самом деле преступники — люди морально опустившиеся, и дружба их жива, пока не грозит опасность и нечего делить. А ему нужны были и места, где он мог ночевать, и помощники в ограблении, и скупщики краденого, и наводчики. И каждый из этих многих людей, с которыми он вынужден был общаться, конечно, выдал бы его, чтобы самому избежать опасности. Жил Ленька в притонах. Он появлялся всегда неожиданно и уходил через два-три дня. Среди тех, кто был ему необходим, раньше или позже должен был оказаться предатель. Он перестал верить людям, он стал подозрителен.

Должно быть у человека место, где он может чувствовать себя спокойно. У Пантелеева такого места не было. В любом притоне любой мог пойти и сказать ближайшему милиционеру: вот адрес, где сейчас Пантелеев. Опасность окружала со всех сторон. Опасность не давала ни секунды отдыха. Он спал вполглаза, каждую секунду готовый схватиться за револьвер. Его окружали не воображаемые опасности, а опасности настоящие. Его действительно мог погубить в любую минуту случай или предательство. Казалось, поэтому он должен быть всегда настороже, всегда готов к сопротивлению или бегству. Но именно в это время он начал пить. У него не выдерживали нервы, он должен был хоть на несколько часов отвлечься от этого страшного чувства непрестанно подстерегающей опасности. Во сне ему виделась кошка, которая глядит белыми сверкающими глазами и готовится на него прыгнуть. Это была необыкновенная кошка. Удивительная ярость была у нее в глазах и удивительная сила угадывалась в теле, приготовившемся к прыжку. Он просыпался и хватался за револьвер. Кругом было тихо и спокойно. Можно было еще поспать, но заснуть он не мог. Он ворочался, прислушивался. Дом был полон подозрительных шорохов. Казалось, кто-то шепчется под дверью. Он засыпал, когда начинало светать.

Все пока складывалось необыкновенно благополучно.

Грабежи проходили легко и спокойно. Его имя само предупреждало сопротивление. Он не встречал никого из людей, которые знали его в лицо. Уголовники не продавали его. Они были суеверны и верили в необыкновенную его удачливость. Кроме того, за все услуги, которые ему оказывали, он платил очень щедро. Предавать его было пока невыгодно. Он знал, что, когда это станет выгодным, его предадут сразу же.

Он только делал вид, что сам верит в свою счастливую звезду. На самом деле он знал, что если пока обстоятельства складываются для него счастливо, то это просто случай и непременно после стольких удач будет хоть одна, хоть маленькая, но неудача. И действительно, неудача пришла.

Втроем они «брали» квартиру на Мойке. Все было как обычно. Наводчица сообщила план квартиры, сказала, где лежат ценности, сказала, когда хозяев не будет дома, и подсказала предлог, с которым прийти, чтобы домработница открыла дверь. Как обычно, домработницу связали, заткнули рот, быстро сложили ценности в чемоданчик и вышли. Квартира была на четвертом этаже, и вот, пока они быстро спускались по лестнице, домработница каким-то образом развязалась. То ли она сумела перетереть веревку, то ли, может быть, они небрежно завязали узлы, так или иначе, но, когда они вышли на набережную Мойки, а в это время в расположенном неподалеку бывшем дворце Юсупова кончился какой-то вечер и на набережной было много народа, из окна четвертого этажа вылетело стекло, и в оконную раму высунулась домработница, которая громко кричала: «Держите, грабители, Пантелеев!» Тут нужна была выдержка, надо было начать тоже кричать «держите» или спрашивать у прохожих: «Где, где они?», но Гавриков не выдержал и бросился бежать. Тогда побежали и остальные двое. Среди людей, вышедших из юсуповского дворца, было несколько командиров. Они начали стрелять вслед бегущим. Пантелеев передал чемоданчик с драгоценностями Гаврикову, вынул два нагана и стал отстреливаться. Несколько командиров, не испугавшись, побежали за бандитами. Толпа рассеялась по подворотням, чтобы укрыться от пуль. Бандиты, пригибаясь, перебежали через мост. Кругом раздавались свистки. Очевидно, отовсюду

ду спешили милиционеры, вызывая подмогу. Бандиты свернули в темный переулочек. Пантелеев уже знал, что он ранен, но считал, что сейчас говорить об этом бессмысленно. Рана была, наверно, не опасная, но кровь шла сильно. Пуля пробила мякоть левой руки. Гавриков знал в переулке проходной двор, которым можно было прямо пройти на Исаакиевскую площадь. Они нырнули в подворотню. Погоня пробежала мимо. Бандиты тихо прошли проходным двором, задержались немного у подворотни и огляделись. Площадь была пуста. Погоня или вернулась обратно — обыскивать подворотни и дворы, или ушла дальше. Пантелеев, высунув голову, долго оглядывался вокруг. Было пусто и тихо. Даже милиционера, который обычно стоял на углу, не было. Он, наверно, присоединился к погоне. Трое осторожно вышли на площадь. Они не знали, что несчастная случайность, которой все время ждал Пантелеев, уже произошла.

В то время, когда бандиты не торопясь шли проходным двором, на площади сидел на скамейке молодой сотрудник угрозыска, только недавно принятый на работу и пока еще ничем себя не зарекомендовавший. Фамилия его была Строев, и работа в угрозыске не была для него главным в жизни делом. Он поступил туда, просто чтобы где-нибудь работать, пока его не возьмут на работу в цирк. Он мечтал стать акробатом. Он и стал им вскоре и о своей розыскной работе вспоминает только как о коротеньком переходе от безработицы к любимому цирковому искусству. Но человек он был добросовестный и азартный. Мимо него пробежала погоня, спросила его, не видел ли он Пантелеева и еще двух человек. Он их не видел. Погоня побежала дальше. Все стихло. Строев сидел в сквере на скамеечке и курил папиросу. Вдруг он заметил, что из подворотни, тщательно оглядевшись, вышли три человека и пошли по улице Гоголя к Невскому.

«Они!» — сразу решил Строев. Что ему делать? Площадь пуста. Даже милиционер ушел с поста, чтобы участвовать в преследовании. Конечно, рассуждал Строев, они все вооружены. Стрельба была ого-го какая! Народ они отчаянный, что он с ними один сделает? Спокойненько все это рассудив, Строев пошел следом за бандитами.

Вероятно, у Пантелеева хватило бы выдержки дойти, несмотря на раненую руку, до ближайшего притона, где

его бы укрыли и перевязали, но кровь текла сильно, и он боялся, что прохожие обратят на него внимание. «Главное — сохранить хладнокровие, — думал он, слабея от потери крови. — Сейчас может выручить только неожиданный ход». Они вышли на Невский. Как он ни зажимал свою рану, кровь начала просачиваться сквозь пальцы и падать на выбитые конскими копытами торцы. Бандиты перешли Невский наискось. На углу Конюшенной была аптека. Туда они и вошли.

Строев вошел в аптеку вслед за ними. Он купил пачку пирамидона и за это время заметил, что они попросили у продавщицы йод, бинты и вату. Гавриков, пока продавщица все это доставала, рассказал ей о том, как им не повезло. Собирались, представляете, завтра ехать на охоту в Тихвинский уезд, решили сегодня попробовать двустволку, которую совсем недавно купили, и черт его знает, как получилось, вдруг прострелили товарищу руку. Продавщица посоветовала пойти к врачу, но они сказали, что не стоит. Перевяжут руку, и все в порядке. Она им дала йод и бинты. Кожаную куртку Пантелеев снял, а рукав рубашки ему разрезал Гавриков, попросив ножницы у продавщицы. Тогда Строев понял, что минут двадцать они в аптеке провозятся наверняка. Он вышел из аптеки и бегом побежал на Конюшенную площадь, в ближайшее отделение милиции.

Он только крикнул, ворвавшись в отделение: «Ленька Пантелеев в аптеке», — как через минуту шесть человек торопливо сели в машину. Вел отряд начальник отделения Борзой. На машине путь до аптеки занял буквально полторы минуты. Времени переодеться у работников милиции не было. Ленька Пантелеев мог уйти. Они все так и вошли в аптеку в милицмейской форме. Ленька сидел на скамейке, лицом к входной двери. Гавриков перевязывал ему руку. Ему входная дверь была не видна. Третий бандит ушел. Ленька послал его в притон, предупредить, что скоро придет.

Все шесть милицмейских работников вытащили револьверы. Они знали, что с Пантелеевым справиться будет, наверно, нелегко. Но еще раньше их Пантелеев, резко оттолкнув Гаврикова, вытащил из кармана брюк два нагана и первым же выстрелом насмерть застрелил Борзого. У него в обоих наганах всего и была одна пуля,

остальные он израсходовал во время погони. Гавриков так и не успел вытащить оружие. Его и Пантелеева схватили под руки. Четыре человека вывели их из аптеки и посадили в машину. Пятый остался с Борзым, чтобы организовать помощь. Вызвали врача, но начальник отделения был уже мертв.

Так закончился первый этап походов Ленки Пантелеева. Он начал его хладнокровным, веселым человеком и грабил с юмором, не позволяя себе ни убийств, ни издевательств над теми, кого грабил. Прошло всего восемь месяцев с начала его преступной карьеры. Тогда это был грабитель-спортсмен, уверенный в себе, с великолепными нервами, без озлобления на весь мир, которое присуще всем бандитам. Теперь это был издерганный неврастеник, озлобленный на всех, не доверяющий никому. Прошли времена, когда Пантелеев за компанию выпивал самое большее рюмочку вина. Теперь он пил, как пьют все бандиты, — с истерикой, с надрывом.

Закончился первый этап первым его убийством. Дальнейший его путь был устлан трупами.

ПАНТЕЛЕЕВ БЕЖИТ

В угрозыске Пантелееву перевязали рану. Опасности не было никакой. Рана даже не мешала ему спокойно двигать рукой. Васильеву сообщили о том, что Пантелеев задержан, сразу же. Первый допрос назначили на утро. Допрашивать должны были двое, Васильев и Сергей Иванович Кондратьев, опытный и умелый оперативник. Васильев был совершенно уверен, что допрос будет очень трудный. Конечно, Пантелеев будет лгать, изворачиваться, придется вызывать свидетелей, устраивать очные ставки, уличать в каждой мелочи. Надо было хорошо подготовиться к допросу. Весь вечер Васильев просидел, листая и запоминая дело Пантелеева. Да, такое дело уже было, и папка получилась довольно толстая. Редко удается до ареста преступника завести на него такое большое дело. Преступник темнит, скрывает свое имя, неизвестно, в каком преступлении он участвовал, а в каком нет. Но Пантелеев всегда сам себя называл, так что можно было сразу сгруппировать совершенные им ограбления. Ва-

сильев и так помнил их все наперечет, но все-таки хотел освежить в памяти.

И вот ввели Пантелеева. Внешне он был совершенно спокоен. Так же были внешне спокойны Васильев и Кондратьев. Васильев предложил Пантелееву папироску, дал прикурить, и они сделали по несколько затяжек, прежде чем Иван Васильевич заговорил. Он заметил за это время, что Пантелеев курит так, как обычно курят люди, не привыкшие курить. Он не затягивался. Он выпускал дым, просто подержав его во рту. Значит, волнуется, подумал Васильев, иначе зачем некурящий взял бы папиросу.

— Фамилия? — спросил он.

— Пантелеев.

— Имя, отчество?

— Леонид Федорович.

— Возраст?

— Двадцать четыре года.

Пантелеев отвечал спокойно, не думая, и, если бы не то, что он часто подносил ко рту папиросу, никак нельзя было бы предположить, что он волнуется.

Он протянул руку и стряхнул пепел в пепельницу, стоявшую на столе. Рука не дрожала.

И вот Пантелеев начал рассказывать. Он рассказал о том, что работал в ГПУ, спокойно рассказал, как он попал в облаву в притоне и как его за это выгнали из ГПУ, назвал адрес притона, хотя это не имело значения, потому что притон был уже раскрыт и Васильев сам прекрасно знал его бывший адрес. Рассказал про свои мытарства на бирже труда, про свою дружбу с Гавриковым. Это тоже не имело значения, потому что Гавриков был задержан вместе с ним.

Потом рассказал об ограблении профессора.

— Кто вас навел? — спросил Васильев.

— На бирже какие-то люди разговаривали о том, что профессор богато живет.

— Что же, вы и адрес спросили?

— Фамилию они называли, имя, отчество, а адрес я потом в телефонной книжке нашел.

— Но ведь вам надо было узнать, когда он дома, кто остается в квартире, когда его нет.

— А мы с Гавриковым два дня последили. Дело нехитрое.

И Кондратьев и Васильев понимали, что Пантелеев врет. Были наверняка наводчики. Как важно узнать, кто они! Но опровергнуть Пантелеева невозможно. Все убедительно в его показаниях.

Пантелеев подробно, спокойно и с юмором рассказал, как он грабил профессора и как он грабил Ростовцева, которого знал, потому что видел несколько раз в театре и сообразил, что такой хороший артист зарабатывает, наверно, много.

— Адрес узнали по телефонной книжке? — с издевкой в голосе спросил Васильев.

— А где же еще? Конечно, по телефонной книжке.

Подтекст этого короткого обмена репликами был гораздо большим, чем высказано было словами. Васильев, в сущности, спросил: значит, так и будете морочить мне голову, что не было у вас никаких соучастников? Пантелеев, в сущности, ответил: так и буду. Про себя все расскажу, а других не назову никого.

Это был только первый допрос. За ним должно было последовать еще много других. Не было смысла с самого начала настаивать и раздражать Пантелеева. Надо было пока хотя бы получить его признание о грабежах, совершенных им. Поэтому Васильев кивнул головой, как бы примиряясь с этой позицией Пантелеева, как бы соглашаясь не настаивать, чтобы он говорил то, о чем говорить не хочет.

Про себя Пантелеев не скрывал ничего. Он спокойно рассказывал, кого ограбил и что взял и сколько это приблизительно стоит. Большинство грабежей они совершили вдвоем с Гавриковым, и про Гаврикова Пантелеев говорил спокойно, по-видимому ничего не стараясь скрыть.

— А где вы жили все это время? — спросил Васильев небрежно, как будто это был совсем неважный вопрос. Он спросил, хотя понимал отлично, что орешек попался ему не простой и, конечно, Пантелеева он врасплох не поймает.

— Днем по городу ходили, — отвечал Пантелеев, широко улыбаясь, — а ночью в скверах спали или на Острова уедем, там где-нибудь прикроемся.

— И холодно не было? — спросил Васильев.

— Нет, — по-прежнему с улыбкой ответил Пантелеев. — Пальто накроемся, друг к другу прижмемся и спим.

— Ну, а куда же вы прятали награбленное?

— Прокучивали. Награбим и прокутим.

— Где же вы кутили?

— В разных местах. Я и не помню где.

— Водку пьете?

— Пью понемногу.

— Как же понемногу? Тут получается, что по государственным ценам вы цистерны две выпили за восемь месяцев.

Васильев и раньше понимал, что на первом допросе добиться ничего не удастся. Он только не ожидал встретить у Пантелеева такую спокойную уверенность. «На что он рассчитывает? — мучительно думал Васильев. — На побег? Из тюрьмы убежать невозможно, и он это, конечно, понимает. Что он будет оправдан? Для осуждения достаточно того, что он показывает. Ладно, посмотрим пока Гаврикова».

Гавриков показывал точно то, что показал уже Пантелеев. Опять откровенный рассказ о преступлениях их двоих и ни одной фамилии, ни одного адреса, как будто никто им не помогал, никто их не укрывал. Если у Пантелеева было еще какое-то обаяние, какой-то юмор, какая-то веселая наглость, то Гавриков оказался мрачным и неприятным человеком с бегающими глазами. Он хмуро, как заученный урок, повторял то, что говорил Пантелеев. Конечно, свести этих людей мог только случай. Интересно другое: когда они успели условиться о показаниях? Сидели они в разных камерах. Может быть, еще до ареста, на всякий случай, они обо всем договорились? Может быть, конечно, хотя обычно бандиты не любят думать об аресте. Обычно они, чтобы не терять уверенности, уговаривают себя, что задержаны никогда не будут.

Васильев отпустил Гаврикова и долго думал, на что они оба рассчитывают. Ничто ему не приходило в голову.

Допрос шел за допросом. Все упиралось в стену. Улыбался Пантелеев, мрачно бубнил Гавриков, и оба твердо стояли на своем: ночевали на улице или в садах, все награбленное прокутили. Они даже не старались, чтобы Васильев им поверил. Они просто мололи ерунду, один улыбаясь, другой мрачно. И все время мучила Васильева мысль: на что они рассчитывают? Благородство?

Нежелание выдать? Ой, не верил в это Васильев. Не бывает бандит благородным. Может быть, раньше это и бывало, а теперь не бывает. Уж Васильев-то знал, как члены одной и той же шайки, которые до ареста были друзьями, прямо не разлей вода, после ареста валили все друг на друга, стараясь снять с себя хотя бы частицу вины.

И все-таки не приходило в голову Васильеву, что Пантелеев и Гавриков рассчитывают на побег. Не приходило в голову потому, что он твердо знал: из тюрьмы убежать невозможно.

Из тюрьмы действительно убежать было невозможно, если только не выпустит из тюрьмы начальство.

Сразу после ареста Пантелеева начали его друзья хлопотать о подкупе.

Да, друзья у Пантелеева были. Притонодержатели и уголовники. Друзья, пока еще преданные. Преданные потому, что Пантелеев сумел им внушить веру в необычайную свою удачливость. Преданные до тех пор, пока они в эту удачливость верили. До тех пор, пока знали, что при Ленькиной щедрости каждая их услуга будет хорошо оплачена. Ну, а пока еще они в это верили.

Сразу же после задержания Пантелеева начали думать его друзья о том, кого можно подкупить. Начальник тюрьмы был человек со многими недостатками. Он любил выпить, и ему всегда не хватало зарплаты. И все-таки подкупить его было нельзя. При всех своих недостатках он был человек честный. Он бы немедленно задержал каждого, кто начал бы с ним говорить о взятке. Заместитель начальника тоже любил выпить. Узнали, что ходит он выпивать в далекий от центра маленький, затерявшийся в переулках Васильевского острова ресторан. Там никто, как ему казалось, его не знал, оттуда почти наверняка не мог пойти слух о том, что он много пьет. Вот там-то и познакомился он за столиком с двумя товарищами Пантелеева, вот там-то и начал с ними встречаться, там-то и стал с ними выпивать. Товарищи эти были хорошо одеты и рассказали, что приехали они в Петроград в длительную командировку по вопросам снабжения, а сами, мол, работают далеко на севере и зарабатывают очень хорошо.

Если бы заместитель начальника тюрьмы был умен,

он сразу понял бы, что эти новые его знакомые с какой-то тайной целью почувствовали вдруг такой прилив дружбы к нему, ничем не интересному человеку. Что, наверно, не зря поят они его на свой счет и каждый раз, расставаясь, уговариваются о следующей встрече. Но заместитель начальника тюрьмы был глуп, и никакие подозрения ему не приходили в голову. Если бы он был честен, то сразу бы задержал своих новых знакомых, когда они начали ему говорить, что, чем киснуть на зарплате, мог бы он, при его должности, заработать большие деньги или получить много драгоценностей, а получив, переправился бы за границу, чтобы стать там рантье или открыть лавочку, а по вечерам спокойно попивать джин или виски, которых в России и не достанешь. Но заместитель начальника тюрьмы был нечестен, да и, кроме того, были у него грешки, которые рано или поздно, боялся он, вскроются, и тогда ему несдобровать.

А как перебраться за границу? Оказывается, новые знакомые могут ему это устроить. Это совсем не трудно. Контрабандисты каждый день ходят туда и обратно, а драгоценностей дали бы они столько, что ему вполне бы хватило на то, чтобы, продав их, открыть лавочку или положить деньги в банк и жить на проценты.

Так или иначе, но недели через две после знакомства с этими интересными командировочными, у которых столько драгоценностей и такие тесные связи с контрабандистами, заместитель начальника тюрьмы согласился выпустить двух заключенных, если ему заплатят золотом и бриллиантами и переведут через границу.

В свое дежурство он заполнил на бланке приказ об освобождении Пантелеева и Гаврикова. Оба были предупреждены и совсем не удивились, когда за ними пришли и сказали, что их освобождают. Тюремные надзиратели провели их по тюремному коридору, и у Пантелеева еще хватило нахальства крикнуть одному заключенному, на которого он был за что-то сердит: «Ты, дурак, сиди, а нас выпускают». Их провели к заместителю начальника тюрьмы. Они расписались везде, где полагалось расписываться, и вышли из тюремных ворот. Через полчаса заместитель начальника тюрьмы взял свой туго набитый портфель и тоже не торопясь вышел. В портфеле лежали полученные им золотые кольца и браслеты с бриллианта-

ми, изумрудами и сапфирами. Насчет оплаты новые его знакомые не подвели. Драгоценности были настоящие. У Пантелеева было их много, часть можно было и отдать. То, что все эти драгоценности принадлежали другим людям, это, в конце концов, никого не касалось.

Подвели новые знакомые в другом. Они должны были встретить заместителя начальника тюрьмы в условленном месте и познакомить его с людьми, которые переведут его через эстонскую границу. Но на условленном месте никого не было, и заместитель начальника тюрьмы напрасно топтался там больше часа. Кому он теперь был нужен? Зачем было теперь с ним возиться? Через час он понял, что его обманули. Продавать драгоценности в Петрограде опасно. Денег у него немного. В отчаянии, понимая, что преступление, совершенное им, заслуживает расстрела, он доехал до города Острова, пешком пытался пробраться через границу, был задержан пограничниками, опознан, привезен в Петроград, судим и через месяц расстрелян.

Ленька Пантелеев снова гулял на свободе. Популярность его после этого дерзкого побега во много раз увеличилась. Казалось теперь, что для него нет ничего невозможного.

УДАРНАЯ ГРУППА ИДЕТ ПО СЛЕДУ

Количество Пантелеевых множилось. То и дело звонили, что на такой-то улице такую-то квартиру ограбил Ленька Пантелеев. Сразу мчался Васильев на машине, и часто удавалось ему задержать грабителей. Это оказывался то старый уголовник, знакомый Васильеву по прежним делам, то молодой франтик, которому не хватало денег на рестораны и он решил воспользоваться именем знаменитого бандита. Продолжал грабежи и сам Пантелеев. Он нашел теперь новый способ. Неожиданно два человека выскакивали на мостовую, останавливали лихача на дутиках и, пригрозив револьверами, снимали драгоценности и шубы с ездовых. Однажды ехал очень талантливый, хорошо известный петроградцам артист Г. На нем была шуба с дорогим бобровым воротником. Лихача остановили, Г. заставили сойти и снять шубу. Г. был безоружен, но неизвестно почему сунул руку в карман.

Наверно, просто хотел вынуть платок или папиросы, но Леньке показалось, что он полез за револьвером, и Ленька застрелил его на месте.

Да, Пантелеев нервничал, и для этого были у него основания. Угрозыск и ГПУ совместно создали ударную группу по борьбе с бандитизмом. Васильев теперь без конца организовывал засады, проверял их, не спал ночами, все время поджидая вызова на место нового преступления. Должна была появиться хоть какая-нибудь ниточка. Она и появилась.

Дело в том, что всех, кого ограбил Пантелеев, Васильев просил в свободное время смотреть на витрины ювелирных магазинов и даже заходить в магазины, как будто собираясь купить драгоценность. Может быть, случайно попадется им собственная их вещь. И вот однажды позвонил один из ограбленных и сказал, что в витрине ювелирного магазина на Невском выставлено кольцо, которое принадлежит ему. Васильев поехал в магазин. Колье действительно было очень дорогое, с крупными камнями. Васильев сразу подумал, что вряд ли владелец магазина знал о происхождении кольца. Знал бы — не выставил его на витрину для всеобщего обозрения. Владелец магазина очень испугался, когда Васильев объяснил ему, в чем дело, и сказал, что кольцо он купил у женщины, которая была бедно одета. В то время это было не удивительно. Многие бывшие аристократки жили бедно, опустились и только в крайнем случае понемногу продавали припрятанные драгоценности. Женщину эту владелец магазина видел не в первый раз. Когда он идет из дома в магазин, он проходит мимо черной биржи у ресторана «Бристоль». Там, в толпе жуликов и спекулянтов, он часто замечал и ее.

Теперь каждый день за ювелиром шел человек в штатском. Уже на третий день ювелир условленным знаком показал ему на эту женщину. Она была только маленьким колесиком в большой машине, работавшей на Пантелеева. Но она все-таки смогла назвать скупщика краденого, который дал ей для продажи кольцо. Потянулась цепочка. Очень скоро стали известны адреса нескольких притонов, в которых бывал Пантелеев. Во всех этих притонах были устроены засады. Стали известны еще два скупщика, которым Пантелеев давал для продажи на-

грабленное. Засады были устроены и у них. По вечерам или ночью Васильев объезжал все эти засады. Надо было забрать задержанных, привезти продукты да, наконец, просто узнать, не попался ли Пантелеев. Пантелеева не было, но всякой мелкой сошки набиралось порядочно. Все это был народ трусливый, и всё, что каждый из них знал, он охотно рассказывал, надеясь на смягчение участи. Росло количество известных адресов. Росло количество засад. Сеть, которую раскидывала ударная группа ГПУ, охватывала все больше домов, кварталов и улиц. Сотрудницу угрозыска, женщину решительную и смелую, одели в дорогую шубу, дали ей муфту, в которой она держала два револьвера, на козлы экипажа посадили вооруженного сотрудника и пустили разъезжать по вечерам по пустынным улицам. Пантелеев часто теперь нападал на лихачей и вполне мог, конечно, напасть и на этого лихача. Только вместо безоружных и беззащитных людей он встретил бы двух решительных, хорошо вооруженных противников. Васильев не сам обряжал кучера и пассажирку. Слишком он занят был в это время. Вероятно, упущена была какая-то существенная подробность. Пантелеев угадал в мчащемся лихаче с хорошо одетой дамой в экипаже удочку, на которую хотели его поймать. Прячась в подворотне, он застрелил и кучера и пассажирку.

Пантелеев нервничал все больше и больше. Он не знал, конечно, что именно известно ударной группе. Не знал точно и того, где уже закинута сеть, а где пока еще путь свободен. Но, может быть, это его больше всего и нервировало. То, что сеть раскидывается все шире и шире и захватывает все больше нужных Пантелееву мест,— это он знал прекрасно. Все меньше оставалось домов, где он хоть сутки, хоть двое мог провести спокойно. Все чаще приходилось ему менять места. Он потому и стал нападать на лихачей, что боялся грабить квартиры. Может быть, наводчик, который навел его на квартиру, который вчера дал ему адрес и сказал, где лежат ценности, в котором часу дома будет одна домработница, может быть, этот наводчик вечером был уже задержан и признался. Может быть, придя в эту квартиру, вместо беззащитной домработницы Пантелеев встретит трех или четырех хорошо вооруженных и решительных оперативников. Он

все больше и больше пил. Он понимал, что расплата приближается и что никакими силами, никакой хитростью, никакой изобретательностью ему не удастся ее избежать.

Исчез человек, который снабжал его оружием и патронами. Просто не пришел на свидание, и всё. Может быть, он испугался, понимая, что судьба Пантелеева близится к концу, а может быть, он уже сидит на допросах и следовательно заполняет с его слов протокол, записывает адреса, которые Пантелеев сейчас еще считает безопасными, но в которых уже располагается засада. В тех немногих притонах, которые еще не были раскрыты, в которых еще не сидели засады, Пантелеев теперь гулял так же бестолково и буйно, как гуляет самый обыкновенный бандит. А ведь еще недавно Пантелеев презирал этих кровожадных бандитов, профессиональных убийц. Пантелееву казалось тогда, что он, знаменитый Ленька, ничего общего с этим зверьем не имеет. Он, знаменитый Ленька, который, улыбаясь, берет лишнее у богачей, который не пьет и еще никогда никого не убил,— он благородный разбойник, всегда спокойный, улыбающийся, вежливый, никогда не пьющий ничего, кроме рюмки вина. Разве же можно ставить его на одну доску с этими полулюдьми-полужверьями! Ох, теперь было совсем не то. Теперь Ленька пил и напивался до потери сознания, и шумел, и отплясывал какие-то нелепые танцы, и пел бандитские песни, иногда циничные и развеселые, а чаще с надрывом и со слезой, потому что нет на земле бандита, который не знал бы совершенно точно, какой конец его ожидает, который бы все время не думал о том, что, может быть, конец этот уже совсем близок.

Далеко ушли времена, когда Пантелеев гордился тем, что он только грабит, но не убивает. Уже был похоронен с траурной музыкой и венками первая его жертва, Борзой. Уже в газетах напечатан был некролог известного артиста, которого публика на каждом спектакле встречала аплодисментами. Уже появилась и первая убитая женщина. Ленька был теперь так насторожен, что стрелял не думая, как только человек казался ему почему-либо подозрительным. Есть неумолимая логика в жизни каждого преступника. С роковой неизбежностью человек, совершивший одно преступление, совершает и

следующее, и еще много других. Какими бы красивыми мыслями и словами он ни оправдывал свои первые преступления, неумолимая логика событий ведет его к полной моральной опустошенности, к пьянству, к убийствам, одно страшнее другого.

Пока все-таки бесспорно Пантелееву удивительно везло. Может быть, тут играло роль то, что он был всегда насторожен да, может быть, и знал по прежней своей работе в ГПУ технику засад и преследований. Был случай, когда он вошел в притон, в котором была засада. Уже один из работников угрозыска стал в дверях, чтобы отрезать ему путь к отступлению. Ленька сразу поднял стрельбу, убил хозяйку притона, убил оперативника, стоявшего в дверях, тяжело ранил второго оперативника и ушел, отстреливаясь, пристрелив во дворе еще дворника, который просто случайно в это время подметал двор. Был еще случай, когда узнал его на улице работник угрозыска, видевший его фотографию. Он решил, что сумеет и один задержать Пантелеева. Подошел к нему сзади и схватил его за руки. Но Пантелеев вывернулся, отскочил к стене и поднял пальбу на всю улицу. Оперативник был ранен в живот и через два дня умер в больнице. Женщина, шедшая с соломенной кошелкой с базара, была убита наповал. Пантелеев вскочил в стоявшую рядом машину и, угрожая шоферу наганом, заставил его отъехать за несколько кварталов в пустынный, глухой переулок. Здесь он пристрелил шофера и скрылся.

Каждый раз после перестрелки, после очередного убийства Пантелеев напивался в одном из немногих нераскрытых притонов, плакал пьяными слезами или, наоборот, бахвалился и кричал, что он всем им покажет, что они еще, мол, узнают, что такое Пантелеев, и что всех, кто его предаст, он, мол, перестреляет, а тех, кто ему останется верен, тех он обогатит и вообще осчастливит.

Смотрели ему в глаза мелкие притонодержатели, уголовники шакальской породы, которых всегда много крутится вокруг крупных бандитов и которые подбирают остатки, бегают за водкой, выпрашивают по десяточке, но даже и эта мелюзга, даже они не верили, даже они понимали, что почти ничего уже не осталось от прежнего уверенного в себе, спокойного Пантелеева. Лицо его, те-

перь опухшее от пьянства, часто кривилось от ярости или от страха, кто его разберет, руки дрожали. Быстро съела уголовная жизнь Пантелеева. Он и сам это понимал. Иногда посреди бессмысленной своей похвальбы вдруг он замолкал и, поигрывая скулами, оглядывал молча слушающую его мелкоту.

— Не верите, мерзавцы? — говорил он сиплым от ярости голосом.

И все кивали головами. Верим, мол, верим! Что, ты, Леня, как же не верить! Мы же знаем, какой ты человек.

Говорили так потому, что боялись Пантелеева. Мало ему было теперь нужно, чтобы выхватить наган, открыть стрельбу в друзей, во врагов, все равно, в кого попадет. А на самом деле не верили. Видели, что только жижа осталась от знаменитого Пантелеева.

Вера в свою силу и удачливость, которую когда-то сумел внушить Пантелеев своим помощникам, кончилась. Это чувствовал и Васильев. Когда-то, если он задерживал человека, связанного с Пантелеевым, тот упирался, изворачивался на допросах, старался соврать, навести на ложный след. Это было потому, что даже здесь, в кабинете угрозыска, под надежной охраной вооруженных часовых, за толстыми стенами здания бывшего Главного штаба, даже здесь мелкий уголовник боялся Пантелеева. Даже здесь, казалось ему, может настичь его рука знаменитого Лени, для которого все возможно. А теперь, если попадался какой-нибудь скупщик краденого, или содержатель притона, или наводчик, словом, кто-нибудь из тех людей, которые Пантелееву помогали, то, попавшись, он на первом же допросе обстоятельно рассказывал, где Пантелеев ночует, и где он бывает, и когда его лучше всего можно поймать. Все, даже самые мелкие, помощники Пантелеева знали точно: Пантелеев обречен, Пантелеев доживает последние дни.

Сенная площадь с ее многолюдным, шумным базаром и окружающие переулки, застроенные старыми, облупленными, заклопленными домами, населенные спекулянтами и ворами, — вот было единственное место, где еще мог прятаться Пантелеев. Теперь только за деньги, только потому, что он хорошо платил, принимали его в притонах, предупреждали, что такой-то притон подозрителен, что в такой-то лучше не стоит ходить — может быть,

там засада. Но Пантелеев думал, и думал правильно, что если завтра не окажется у него денег, то каждый из этих людей побежит к милиционеру или позвонит в угрозыск, чтобы его предать.

В воровских песнях поется о законах дружбы, которые свято соблюдаются уголовниками, о верных товарищах, которые стоят друг за друга горой. Но Пантелеев знал, что это всего только песни, что это всего только попытка морально павших людей доказать, что и у них существуют романтические чувства, доказать, что в их мире, лишенном этики, хоть своя, хоть особенная, но этика есть. Знал Пантелеев, что все эти верные товарищи побегут доносить друг на друга, если это покажется выгодным. Будут валить свою вину на ближайшего друга, если это окажется возможным. И пел уголовные песни Пантелеев только для того, чтобы хоть на секунду забыть об этом, поверить, что все эти люди, без которых он не может ни грабить, ни скрываться, что все эти люди преданы ему до конца и ни за что, ни при каких обстоятельствах его не выдадут.

А в угрозыск поступали всё новые и новые сведения, всё новые и новые люди называли адреса, места, где Ленька скрывается, время, когда он там бывает. Все шире раскидывалась сеть, все меньше оставалось мест, которые были еще неизвестны.

Каждый вечер, одевшись в штатский костюм, с новым, недавно полученным немецким маузером в кармане объезжал Васильев засады. Каждую ночь в закрытых машинах вывозили из квартир людей, напоровшихся на засаду и задержанных. Каждую ночь шли допросы. Ударная группа шла по следам Леньки. Уже было известно, где он ночевал вчера, когда он ушел, где он, вероятно, будет завтра. Но ни разу еще не было дано точного показания, куда он сегодня придет ночевать. Ленька теперь никогда не предупреждал, где он будет завтра, сегодня вечером, через час. Он приходил неожиданно, осторожно, ожидая засады. Он уже никому не верил. Он надеялся только на свой револьвер.

А ударная группа упорно шла по его следам.

КОНЕЦ ПАНТЕЛЕЕВА

Все чаще, приходя на встречу с нужным человеком или на ночлег, Пантелеев натывался на поджидавшую его засаду. Но так как он был очень осторожен, замечал мельчайшие приметы опасности, так как он, ни секунды ни думая, палил из двух револьверов, потому что убить человека для него теперь ничего не стоило, ему удавалось уходить.

Один раз довелось с ним встретиться и Ивану Васильевичу. Вечером поехал он объезжать засады. Оставил машину за несколько домов и пошел пешком к нужному дому. Засада была там устроена только накануне, и Пантелеев о ней еще ничего не знал. Но все-таки, когда подошел, что-то показалось ему подозрительным. Может быть, владельцы квартиры должны были подать ему какой-нибудь знак о том, что, мол, все благополучно, например вывесить платок в форточке или лампу поставить каким-нибудь особенным образом. Такие штуки практиковались. Может быть, они скрыли это от угрозыска, а когда Пантелеев вошел во двор, то увидел, что знака нет. Так или иначе, вошел он во двор с двумя товарищами, с Гавриковым и еще с одним, и насторожился. Пошептались они и повернули обратно. Как раз перед подворотней на улице горел фонарь. Идет Иван Васильевич и видит, что из подворотни выходят трое. И показалось ему, что это Пантелеев и Гавриков. Он их много допрашивал и хорошо запомнил. Фонарь светил тускло, и уверенности у Васильева не было. Может быть, они, а может быть, не они. Лучше бы, конечно, сразу начать стрелять. А вдруг не они и пострадают невинные люди? Васильев крикнул: «Стой!», а трое бросились бежать. Теперь-то уже было ясно, что это они. С чего бы бежать невинному человеку? Васильев выхватил маузер и стал стрелять, стараясь попасть в ноги. Трое прижались к стене дома и стали из трех наганов палить в Васильева. Иван Васильевич тоже прижался к стене. Ему были видны их фигуры, и он не сомневался, что хоть не во всех, но в одного или двух попадет обязательно. Стрелял Васильев хорошо, и ему было все равно, стрелять правой или левой рукой. К этому трудно привыкнуть, но он себя приучил. Быть хладнокровным в перестрелке он тоже уже привык. Бывало ведь

всякое. Как говорится, не в первый раз. Станным ему показалось, что ни одного раза он не попал. К сожалению, был у него только один револьвер, но фигуры преступников, прижавшиеся к стене, были ему видны. С одного выстрела можно случайно не попасть, но уж расстрелять все заряды и чтобы ни одного попадания, этого с Васильевым еще не случалось. Те, очевидно, поняли, что он перезаряжает маузер, и побежали по улице. Васильев побежал было за ними, но они открыли такую пальбу, что пришлось ему снова прижаться к стене. Перезарядил он маузер и снова начал стрелять. Теперь уже бандиты прижались к стене. Им было легче: один перезаряжает, двое стреляют. Фонарь был далеко, и свет сюда не доходил. В темноте трудно было разобрать: не то водосточная труба, не то человек к стене прижимается. А тут переулочек. Маленький, два дома всего. Они побежали по переулку. Васильев высунулся из-за угла, но они снова прижали его к стене. Ему пришлось опять перезаряжать маузер. Словом, они в темноте ушли. Район был пустынный, вечером совсем замирал. Когда, услышав стрельбу, прибежал ближайший милиционер, они уже скрылись. Тут и проходные дворы, и разные закоулки, и темень кругом. Прибежал и шофер Васильева. Шоферы угрозыска были всегда вооружены. Втроем-то они, уж конечно, задержали бы бандитов, но где их теперь искать?

Долго еще объезжал Васильев засады и все думал, почему же ни разу он не попал. Никогда этого с ним не бывало. И револьвер новенький, заграничный. Только что из Германии. Утром встал пораньше, поехал на стрельбище. Проверил револьвер, и в самом деле: не пристрелян. Пуля идет правее, и сильно: на дистанции в пятьдесят метров уходит метра на полтора вправо.

По правилу, получив новый револьвер, надо прежде всего поехать на стрельбище и пристрелять его, чтобы уж потом можно было на него надеяться. Но Васильев был так занят охотой на Пантелеева, что на стрельбище не поехал. Надеялся, что раз револьвер импортный, можно на него рассчитывать. Пришлось всю эту историю доложить начальнику угрозыска. И начальник угрозыска вдобавок ко всем огорчениям еще вкатил Васильеву выговор.

Счастье и несчастье идут по земле, взявшись за руки. Удачи и неудачи чередуются в человеческой жизни. Сколько уж ходило среди уголовников слухов о необыкновенной удачливости Пантелеева, а настигла и его неудача.

Пока ему удавалось уходить от преследования и это казалось удачливостью, но, если бы человек, знавший его полтора года назад, посмотрел на него теперь, он бы только махнул рукой, подумав об этой «удачливости».

Шла по следам Пантелеева ударная группа, все шире и шире расставляла сети, так что некуда уже было идти Лене, и шла по следам Пантелеева неудача. Неизбежная, закономерная неудача, которая могла прийти завтра или через неделю, но прийти должна была обязательно.

Однажды мелкий какой-то вор сказал, между прочим, что другой вор, напившись, хвастался, будто бы гулял с самим Пантелеевым в квартире, принадлежавшей скупщице краденого, и будто бы в этой квартире Пантелеев гуляет часто, а иногда и ночует. Квартиры этой не было в списке тех, в которых уже сидели, поджидая Ленку, засады. Через час по новому адресу отправилась оперативная группа. В это время так много людей было занято преследованием Пантелеева, что работников не хватало. Решили, что в засаду достаточно отправить трех рядовых бойцов. Они уже бывали в засадах и раньше, правда всегда под начальством оперативника, но все-таки технику дела знали достаточно хорошо, да их еще тщательно проинструктировали.

Переодевшись в штатское, засунув в карманы каждый по два нагана, заняли они квартиру. Хозяйка понимала, что дни Пантелеева сочтены и выгод от него она, наверно, не получит, а неприятности от угрозыска может иметь очень большие. Поэтому она охотно поклялась, что будет угрозыску всячески помогать и никого не предупредит о том, что у нее в квартире засада. Рассказала она и о том, как у нее условлено с обычными ее посетителями: если в квартире все в порядке, она ставит на окно во втором этаже горшок с цветами, хорошо видный со двора.

Могло быть, конечно, что это хитрость. Могло быть, конечно, что горшок с цветами должен был предупред-

ждать об опасности. Но оперативник, который привел бойцов, решил ей на этот раз поверить. Он превосходно знал характер мелюзги, которая окружает бандитов. Он знал из многих допросов, что легенда об удивительном пантелеевском счастье давно уже перестала жить, что почти все уже тяготеет к Пантелееву, его неукротимым характером, его холодным бешенством, что все уже в глубине души хотят, чтобы кончилась пантелеевская эпопея, и, во всяком случае, не будут ради него рисковать своим благополучием.

Итак, ей поверили. Решено было, что двери на условный звонок будет открывать она сама, чтобы не возбудить никаких подозрений, а бойцы, переодетые в штатское, будут прятаться по сторонам двери. Наладив все, оперативник ушел, и бойцы остались одни. Сколько ни расспрашивали хозяйку, должен к ней прийти Пантелеев или нет, она клялась, что не знает. Ей поверили, потому что многие показания сходились на том, что Пантелеев теперь никого не предупреждает, когда и куда он придет.

Через час после ухода оперативника раздался звонок. Вошли два жулика, два мелких шакала, питающихся падалью, оставшейся от хищника. Они очень испугались, поняв, что попали в засаду. Беспрекословно позволили себя обыскать. Кроме кастетов, оружия у них не было. Их заперли в темную кладовую, без окон, откуда они не могли подать никакого сигнала, и велели сидеть тихо. Еще через час снова раздался условный звонок. Бойцы, держа наганы в руках, притаились по сторонам двери. Хозяйка открыла дверь и очень спокойным голосом, нельзя отрицать, что выдержка у этой женщины была, сказала:

— Проходите, пожалуйста.

Вошли два человека. Один из них нес гитару с красным бантом на грифе и кошелку, в которой лежала, наверно, закуска. Впрочем, и несколько бутылочных горлышек высывалось из этой кошелки. Второй, в кожаной куртке, не нес в руках ничего. Только карманы у него были, видно, очень набиты. Наверно, и там были спрятаны бутылки, которые не поместились в кошелке. Трудно было сказать, выпили они или нет, но, во всяком случае, были они веселые, возбужденные, и ясно было, что собирались пить, гулять и петь песни.

Тамбур немного выдавался внутрь квартиры, и поэтому человеку, проходившему в дверь, не были видны бойцы с наганами, спрятавшиеся по сторонам двери, за выступом тамбура. Двое веселых гуляк прошли, ничего не заметив подозрительного. Как только они прошли, за ними захлопнулась дверь. Они обернулись. Два бойца направляли на них наганы. Первый из гуляк, в кожаной куртке с набитыми карманами, молниеносно сунул руку в карман. Бойцам было разрешено стрелять только в крайнем случае. Поэтому, может быть, человек в кожаной куртке и успел бы вытащить наган из кармана, пока бойцы секунду раздумывали, настал ли уже этот крайний случай или нет. Тогда пошла бы перестрелка, и бог его знает, кто бы еще победил. Но быстро сунутая в карман рука задержалась. В кармане, кроме нагана, была еще бутылка водки. Она и задержала руку человека в кожаной куртке. Наган за бутылку зацепился. Рукоятка уже была видна, но никак нельзя было весь наган вытащить. В это время второй, бросив гитару, выхватил наган из кошелки. Но тут бойцы уже окончательно поняли, что крайний случай настал. Выскочил еще и третий боец, прятавшийся в соседней комнате. Три обоймы были расстреляны в двух людей, и оба они упали мертвые.

Бойцы очень испугались. Это не шутка — убить двоих. Может быть, эти люди и не заслуживают смертной казни. Может быть, они могли бы дать ценные показания. Один из бойцов побежал в ближайшую аптеку, чтобы позвонить оттуда по телефону в угрозыск.

Васильев стремительно сбежал по лестнице, сел в машину и назвал адрес. Через десять минут он входил в квартиру. Убитые лежали, как упали. Бойцы хотели, чтобы было видно, что руки обоих сжимают рукоятки наганов и что, стало быть, бойцы не виноваты, они вынуждены были стрелять.

Васильев посмотрел в лица убитых. Один из них, в кожаной куртке, был Ленька Пантелеев, второй, с гитарой и с кошелкой, Митя Гавриков. Как они оба изменились с тех пор, как Васильев видел их на допросах! Мрачное, злобное лицо было у Пантелеева. Видно, и в последнюю минуту своей жизни он мечтал об одном: в кого-нибудь еще выстрелить, кого-нибудь еще убить.

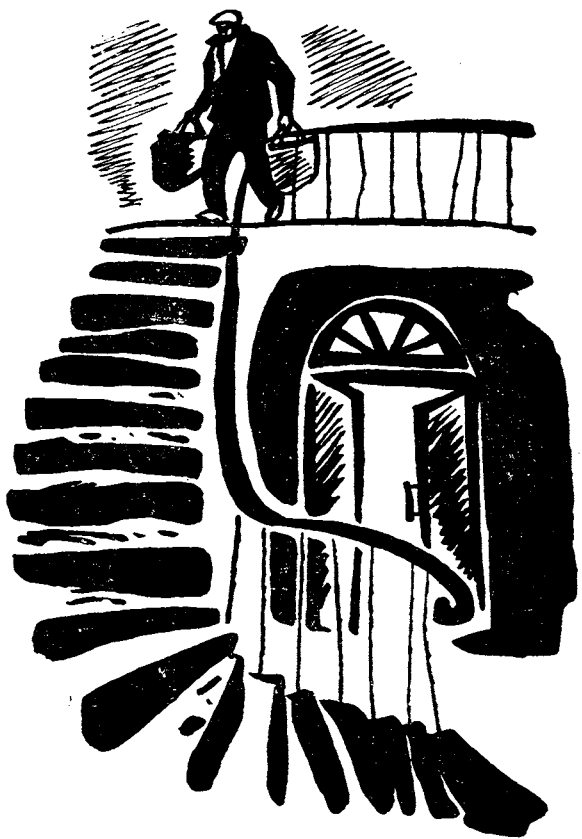
А за что? Кто, кроме него самого, был виноват в его

судьбе? Многие в те годы толпились на бирже труда, нервно подсчитывая оставшиеся рубли. Постепенно людям давали работу, а скоро совсем изменились времена и работы стало сколько угодно.

Нет, некого было винить Леньке Пантелееву, кроме самого себя.

Слух о гибели Пантелеева моментально разнесся по Петрограду. Много было об этом разговоров и на заводах, и в учреждениях, и среди уголовников.

Какие-то незадачливые бандиты пытались еще называться его именем, но все знали, что он убит, и не боялись этих бандитов и быстро их задерживали. Много было поймано разной мелюзги, которая крутилась вокруг знаменитого Пантелеева, и в тюремных вагонах, по дорогам в исправительные колонии, сложили они в бессильной злобе песню, в которой пелось, что за Леньку Пантелеева отомстят. Но это была только бессильная угроза. Никто за него мстить не мог и не собирался. Да и имя его скоро было забыто не только честными людьми, но и людьми похожей на него судьбы, бывшими его товарищами — уголовниками.



Г л а в а ш е с т а я
ОБРЫВОК ГАЗЕТЫ

ПЛЕМЯ ЧИКОВЫХ

В камере хранения Московского вокзала было обнаружено, что в одной из корзин, сданных на хранение, находится труп. На вокзал выехало трое: судебно-медицинский эксперт, Васильев и прокурор. Эксперт установил,

что человек убит ударом тупого орудия по голове. Труп был мужчины лет сорока, может быть тридцати пяти. Он был обложен со всех сторон толстыми пачками разорванных газет. Одет он был в парусиновую толстовку, бумажные брюки и матерчатые туфли. Так одевалась в те годы половина Петрограда. В карманах не было ничего. Прокурор решил, что надо ждать известий о каком-нибудь пропавшем человеке и тогда выяснить, с кем он был знаком и с кем встречался в тот день, когда корзина была сдана на хранение. Васильев вынул лупу и начал тщательнейшим образом осматривать клочки газет, которыми был обложен труп. Прокурор сердился, что Васильев задерживает его, и немного раздраженно подшучивал, что это только Шерлок Холмс прежде всего вынимал лупу и начинал все осматривать, что нужно и что не нужно. Васильев на шуточки не обращал внимания и внимательно разглядывал каждый клочок с обеих сторон. Через полтора часа, время, за которое прокурор успел и поиздеваться над Васильевым, и пошипеть на него, и, наконец окончательно разъярившись, угрюмо замолчал, Васильев увидел на одном клочке сделанную карандашом и уже полустершуюся надпись: «Чиков». Несмотря на находку, он продолжал осмотр до тех пор, пока тщательнейшим образом не осмотрел все до одного клочки газеты. Действительно, еще на одном клочке была надпись, собственно не надпись, а только три буквы, остальное было оторвано. Три буквы эти были «Дми». Можно было предположить, что на самом деле это было начало фамилии Дмитриев. Можно было также предположить, что обе фамилии были написаны почтальонами, для того чтобы знать, в чей почтовый ящик опустить или кому передать газеты.

Труп увезли в морг. Судебно-медицинский эксперт и прокурор, сухо простившись с Васильевым — они были злы на него за то, что он их так задержал, — уехали каждый к себе на работу. Васильев поехал в адресный стол. Результаты справки в адресном столе были ужасны. Оказалось, что Дмитриевых в Петрограде больше трех тысяч. Даже Чиковых, а Васильеву казалось, что это фамилия довольно редкая, оказалось двести восемнадцать. Следует иметь в виду, что в то время, а это был 1923 год, сотрудников в угрозыске было мало. Васильеву приходи-

лось и сидеть самому в засаде, и самому следить за подозреваемым, то есть делать работу, которую мог бы сделать гораздо менее квалифицированный работник. Васильев понимал, что никто за него не обойдет этих двести восемнадцать Чиковых, чтобы определить, кто именно из них, или их родственников, или соседей мог совершить убийство. Но Васильев был человек упорный и решил, что ничего страшного, он и сам обойдет эти двести восемнадцать адресов. Машин в угрозыске было тоже мало, и они нужны были для оперативных целей: выехать по срочному вызову на место преступления, или на облаву, или на задержание преступника, который сидит сейчас у своих знакомых, но может каждую минуту уйти. Васильев с трудом убедил начальство разрешить ему несколько дней не являться на работу и стал обходить записанные им адреса.

Среди Чиковых были самые разные люди. Был слесарь Чиков, был профессор Чиков, был директор треста Чиков, был студент Чиков. Словом, почти все социальные категории, почти все профессии и почти все возрасты имели своих представителей в многочисленном племени Чиковых. Васильев про себя удивлялся, что в городе так много людей с этой фамилией, которая раньше ему, например, никогда не встречалась, но продолжал ездить.

Нелегкое это было дело. Прийти прямо к какому-нибудь Чикову и спросить его, не убил ли он недавно человека, конечно, нельзя. Нет никаких оснований и допрашивать каждого Чикова о том, как он проводит время и, в частности, как он провел тот день, когда, согласно копии квитанции, корзина была сдана на хранение. Надо каждый раз, заново придумывая причины, выведывать у соседей, что за человек Чиков, который живет рядом с ними, как он живет, с кем дружит и не замечали ли за ним чего-нибудь подозрительного. Выведывать это надо так, чтобы собеседник ни в коем случае ни заподозрил, что с ним говорит сотрудник уголовного розыска. Люди болтливы, и, узнав, что угрозыск интересуется соседом, почти каждый начал бы подозревать в соседе убийцу, а может быть, просто предупредил бы его, что, мол, держись, брат, сыщики напали на след. Если этот Чиков был честный человек, то зачем же осложнять ему жизнь подозрениями? Если же именно этот Чиков и был убийцей, то,

предупрежденный о том, что угрозыск напал на след, он может уничтожить какие-нибудь улики, а может просто взять и уехать из Петрограда неизвестно куда.

Словом, с соблюдением всех предосторожностей каждый визит занимал два, а иногда и три часа.

Васильев очень торопился. Начальство уже ворчал, что он занимается безнадежным делом и забросил работу. Было ясно, что недалек тот день, когда ему просто прикажут прекратить бестолковое хождение, и приказу придется подчиниться.

Он выезжал в половине шестого или в шесть утра. В эти ранние часы попадались ему возле домов только дворники. Но дворники народ разговорчивый и обычно хорошо знают своих жильцов. Позже вставали соседи, и удавалось поболтать с ними. Васильев придумал несколько историй, чтобы оправдать свои расспросы. Будто бы он служил когда-то в армии с Павлом Петровичем Чиковым, а этот хоть Петр Павлович, но Васильев думал, что, может быть, адресный стол перепутал. Ах, нет, не перепутал? Но он, собственно, не твердо уверен, может быть его товарища тоже звали не Павлом Петровичем, а Петром Павловичем. Ах, этому Чикову семьдесят пять лет? Нет, его товарищ был моложе. Он был по специальности токарь. Пьяница был жуткий, но человек хороший. Ах, этот Чиков профессор, филолог, и никогда в жизни не пил? Тогда это, наверно, не тот. Ну, извините, что побеспокоил.

Иногда Чиков оказывался однофамильцем его дяди, иногда даже его братом от другого отца, и братская любовь заставляла Васильева подробнейшим образом узнавать все об этом Чикове, чтобы убедиться, что этот Чиков действительно не его брат.

Надо сказать, что вся эта масса Чиковых состояла, по-видимому, из исключительно порядочных людей. Никто из них не пил, никто не имел никаких связей с уголовным миром. Словом, создавалось впечатление, что Чиковы просто ангелы, а не люди.

Из-за Чиковых у Васильева даже не было времени пообедать. Он покупал и на ходу съедал два-три пирожка и заканчивал свое путешествие в десять вечера — позже было неудобно беспокоить людей. Васильев выматывался за день до того, что еле доходил до дому. Проклятые Чи-

ковы расселились в самых разных концах города, многие жили на пятых и даже на шестых этажах. Были Чиковы, проживавшие в отдельных квартирах, и долго приходилось искать людей, которые хоть что-нибудь знали об этом Чикове-Робинзоне. И все-таки каждый вечер, вернувшись домой, Васильев вычеркивал из своего списка иногда шесть, иногда семь, а иногда даже восемь Чиковых. Он мечтал о том дне, когда одолеет наконец половину адресов. Он решил, что устроит себе праздник в этот торжественный день: пойдет пообедать в настоящую столовую и съест настоящий суп.

Между тем план розыска, который предложил прокурор, осуществлялся тоже. Поступило заявление об исчезновении мужа от Козловой, младшей бухгалтерши одного из петроградских трестов. Ее отвезли в морг, и оказалось, что убитый действительно был ее муж. 18 июня, в день, когда корзина была сдана в камеру хранения, Козлов уехал с утра в учреждение. Он один раз ездил уже на три года по договору на север, теперь годик отдохнул и решил снова поехать. Так вот, в учреждении он должен был договориться об этом. А почему она так поздно заявила? А потому, что муж часто пропадал. Он у нее слабохарактерный, любит выпить. Но в этот день она ему деньги дала, чтобы он купил себе бутылочку к обеду. Когда он не пришел, решила, что наверно, встретил кого-нибудь и загулял.

Поехали в учреждение, в котором должен был быть Козлов. Он, оказывается, был, и не только был — завербовался на три года на север и договор подписал и получил подъемные. Большую сумму. На севере ставки очень высокие, и аванс давали большой. А то трудно люди на север едут. Условия там тяжелые. С фотографией Козлова прошли по всему пути, от учреждения, где был убитый, до его дома. Заходили во все чайные, во все пивные. Показывали фотографию, но буфетчики и официанты уверяли в один голос, что такой человек не заходил. По словам жены, врагов у ее мужа не было, друзей тоже не было. На севере были друзья, а здесь нет. Что же, он год всего в Петрограде и пожил. Запросили тот северный город, где жил убитый. Оказалось, что все друзья Козлова продолжают там работать и никто из них в июне в отпуск не ездил.

Итак, следствие зашло, как говорится, в тупик, и только один Васильев упрямо продолжал свое бесконечное путешествие по Чиковым. Он обошел уже семьдесят семь человек с этой фамилией. И все это были люди, не вызывавшие никаких подозрений. Все это был трудовой народ, и обо всех даже соседи отзывались хорошо. Вечером, обследовав семьдесят седьмого Чикова, Васильев, еле волоча ноги, пришел домой и лег спать. Впервые у него мелькнула мысль: может быть, бросить эту чиковщину? Но он был человек упрямый и решил, что раз он уже обошел семьдесят семь Чиковых, то обойдет и всех двести восемнадцать.

Утром он проснулся в пять утра, быстро выпил стакан чаю, побрился и отправился в поход. Семьдесят восьмой Чиков жил на Сытной улице. В большом каменном доме нумерация квартир была перепутана, и где находится нужная квартира, понять было невозможно. Васильев решил зайти в домоуправление, потому что хотя было самое время дворнику убирать двор, но дворника нигде не было видно.

По совести говоря, застать в такую рань кого-нибудь в домоуправлении Васильев тоже не надеялся. В седьмом часу до начала рабочего дня еще далеко. Но Васильеву повезло. В маленьком полуподвальном помещении за столом, над которым висела торжественная надпись «Управдом», сидел молодой, здоровый человек в рубашке с расстегнутым воротом и просматривал какие-то бумаги. Очевидно, он пришел поработать пораньше, когда никто не мешает.

— Где восемнадцатая квартира? — спросил Васильев.

— А кто вам нужен в восемнадцатой квартире? — ответил вопросом управдом.

— Чиков.

— Я и есть Чиков.

Васильев растерялся. Вся его конспирация рушилась. Уже нельзя было, придумав какую-нибудь историю, расспросить дворника или соседей. Хотя это было против всяких правил ведения следствия, Васильев решил, раз уж он так налетел, действовать в открытую. Он вынул и показал свое служебное удостоверение.

По-видимому, оно Чикова ничуть не испугало.

— Слушаю вас, — спокойно сказал он.

— Скажите, пожалуйста, какие вы выписываете газеты?

— Как вам сказать,—улыбнулся управдом,—мы, собственно говоря, вдвоем с моим заместителем выписываем две газеты. Я «Петроградскую правду», а он «Красную газету». Это формально. А фактически мы выписали обе газеты на контору и каждую читаем оба. Зарплата, знаете, невелика, приходится экономить.

Очень приятное было лицо у управдома. Открытое, веселое. Неужели он мог убить человека, спрятать в корзину труп? Не верилось Васильеву.

— Вот видите, только что принесли. Одна мне, вот и написано Чикову, а другая Дмитриеву. Это мой заместитель.

Васильев даже вздрогнул, так это было неожиданно. Сочетание двух фамилий — Чикова и Дмитриева. Надо же, чтобы так повезло! Он помолчал, потому что думал, что если сейчас заговорит, то голос его выдаст волнение.

— А за двенадцатое июня газета у вас сохранилась? — спросил наконец он.

— А я за двенадцатое июня ее не видел, я четырнадцатого вернулся из отпуска. Жил у родных в деревне Псковской губернии.

— Значит, за двенадцатое газеты получил Дмитриев?

— Да, когда один в отпуску, другой получает обе газеты.

— Понятно,—сказал Васильев.

Он видел, что Чикова удивляют его вопросы. Почему угрозыску нужно знать, какие он выписывает газеты и где газета за двенадцатое июня? Но Чиков был человек дисциплинированный и отвечал точно. Вряд ли он врал насчет отпуска — это ведь проверить легче легкого. Если даже предположить, что Чиков был очень хитрый преступник, тем более он не стал бы врать. Ложь сама по себе усилила бы подозрение.

— А ваш заместитель скоро, наверное, придет?

— Нет, не придет. Он теперь в отпуску. Вот мне и приходится за двоих отдуваться.

— И давно он в отпуску?

— Я приехал четырнадцатого, он не то пятнадцатого, не то шестнадцатого ушел. У него родные в деревне Зату-

ление, это от Токсова двенадцать километров. Вот он к ним и поехал рыбу удить.

Снова все рушилось. Убийство было совершено семнадцатого или восемнадцатого. Восемнадцатого в камеру хранения была сдана корзина. Если Дмитриев уехал шестнадцатого... Хотя в отпуск он мог уйти шестнадцатого и на день-два задержаться в городе.

Васильев взял адрес Дмитриева и отправился по этому адресу.

В домоуправлении подтвердили, что Дмитриев уехал в отпуск. Жил он в отдельной квартире, и никаких соседей у него не было.

Васильев уже собирался уходить, когда управдом вдруг окликнул его и сказал:

— Живет тут, впрочем, у него какой-то родственник, но не прописан, мы уж решили ему внушение сделать. Непорядок.

ГОРБАЧЕВ ХОДИТ ПО ЧАЙНЫМ

Васильев поднялся по лестнице шестиэтажного дома. Квартира Дмитриева была на четвертом этаже. Васильев остановился на пятом и стал ждать. Выходили люди из квартир пятого этажа, смотрели подозрительно. Васильев делал вид, будто он ждет кого-то, кто живет на шестом. Для жильцов шестого этажа, Васильев, видимо, поджидал задержавшегося спутника из квартиры пятого этажа.

Только часа через полтора стукнула дверь квартиры Дмитриева. Васильев наклонился над перилами. Вышел немолодой человек с двумя кошелками, тщательно закрытыми сверху газетами. Иван Васильевич выждал, пока он спустился, и отправился за ним.

Васильев уже выяснил у дворника, что фамилия таинственного дмитриевского жильца Горбачев, что он брат жены Дмитриева, считается жителем Луги, но торчит все время в Петрограде. Шел Горбачев не торопясь. Кошелки, видимо, были тяжелые, Горбачев нес их с трудом. Васильев обогнал его и обернулся. Горбачеву было, по видимому, под сорок. Может быть, и меньше. Его, вероятно, старили мешки под глазами, нездоровая пухлость лица, словом очевидные признаки неумеренного пьянства.

Васильев перешел на другую сторону улицы и про-

должал следить. Горбачев остановился у чайной и, открыв дверь ногой — обе руки у него были заняты, — вошел внутрь.

Вошел в чайную и Васильев. Он остановился у вывешенного на стене меню и стал, казалось, внимательно читать перечень нехитрых яств, предлагаемых посетителю хозяином чайной. М. М. Крутиков с почтением извещал, что в чайном его заведении можно получить, кроме чаю, ситный и колбасу, баранки и сыр производства сырного завода Федюхина. Нехитрый был набор, и стоило все недорого, но чайная, по-видимому, процветала. Бойкие молодцы в передниках, наверное ярославские, потому что испокон веку в петербургских трактирах и чайных служили половыми ярославские мужики, разносили на расписных подносах фаянсовые чайники парами — один поменьше, для заварки, другой побольше, для кипятка, — получали медные копейки и долго кланялись и благодарили. Почти ни на одном столе не увидел Васильев ни чайной колбасы, ни федюхинского сыра, ни даже баранок. К чаю посетители брали полфунта ситничка и бесplatно солили его или мазали горчицей.

Горбачев прямо прошел к буфетной стойке, за которой стоял, очевидно, сам Крутиков, полный высокий человек с толстыми выпяченными губами. Крутиков чуть заметно кивнул, а Горбачев вынул из кошелки что-то завернутое в газету, так что почти и не угадывалась форма бутылки.

Потом Горбачев наклонился над стойкой, и Крутиков отсчитал ему деньги. Сколько, Васильев не видел.

Горбачев вышел из чайной, пройдя мимо Васильева, все еще изучавшего украшенное виньетками меню, и не обратил на него внимания. Следом за ним вышел из чайной и Васильев. Еще через два квартала помещалась чайная Ива́на Дубинина. И туда вошел Горбачев, и там пошептался с хозяином, и там оставил за стойкой нечто завернутое в газету, и там получил деньги.

Дальше следить уже не имело смысла. Все было и так ясно. В то время государство не выпускало водку. Водка была запрещена к продаже. Самогоноварение наказывалось строго, и все-таки самогон гнали и в деревнях и в городах, продавали на рынках из-под полы и в чайных, наливая его в чайники. Итак, зять Дмитриева Горбачев, живя в отдельной квартире, гнал самогон и снабжал

им чайные. Не на чайной колбасе и федюхинском сыре наживались владельцы чайных, а на самом обыкновенном, строго запрещенном к производству и продаже самогоне.

Решив, что никаких оснований тревожиться Горбачеву он не дал, стало быть тот никуда не убежит, поехал Васильев в угрозыск. Начальник недоверчиво выслушал его рассказ.

— Ну что ж, Ваня, — сказал он, — ты, конечно, проделал большую работу. Надо же — семьдесят восемь человек обойти! Но, по совести говоря, не вижу я, чтобы виновность Горбачева была доказана. Может быть, ему этот самогон привезли из деревни, он его и распродал. Придешь с обыском, а у него ничего нет. Покуда, по-моему, рано предпринимать решительные шаги.

Выслушав начальника, Васильев загрустил и пошел в столовую. Впервые за много дней он съел нормальный горячий обед, состоявший из супа, битков с макаронами и компота. Супа он съел даже две порции. По супу он больше всего соскучился. Хлебал он ложкой не слишком густой суп и размышлял.

Значит, начальник считает, что данных недостаточно не только для ареста, но даже для обыска. Что ж, придется еще последить, и, если окажется, что Горбачев продает самогон каждый день, ордер на обыск, наверно, дадут. Не могли же ему, в самом деле, привезти из деревни бочку самогона. Во время обыска, наверно, отыщутся улики насчет убийства. А если даже и не отыщутся... можно будет подумать и загнать в угол на допросе... Словом, будет уже легче. Года три он за самогон получит, а за это время улики удастся найти.

Все это отлично, продолжал размышлять Васильев, но текущие дела запущены. А послать некого. Все заняты. Если сам не последишь — уйдет Горбачев из-под рук. Вернутся Дмитриевы из отпуска, он и уедет к себе. И ищи-свищи.

В это время к столу Васильева подсели три человека, о которых надо сказать особо.

Это были три друга, три рабочих парня с завода имени Карла Маркса, что на Выборгской стороне. Все трое выросли в Нейшлотском переулке, гоняли мячи в одних и тех же дворах, кончили одну и ту же школу первой ступе-

ни, что по нашим сегодняшним меркам равняется примерно четырем-пяти первым классам. Все трое пошли на один и тот же завод и, проработав несколько лет, загорелись благородной мечтой стать раскрывателями тайн и победителями преступников.

Ветер удачи пригнал их на недавно открывшиеся юридические курсы.

Государству по-прежнему не хватало своих, советских следователей и прокуроров. Теперь тоже их приходилось готовить ускоренным образом, правда уже не за полгода, как когда-то обучали Васильева, но за год, что тоже, конечно, было очень мало.

В годовую программу входило три месяца практики в угрозыске. Три практиканта появились в бригаде Васильева месяц назад. Обучать их у работников бригады времени не было. Их просто загрузили поручениями, посылали на оперативные задания, словом использовали всюду, где не хватало людей. В конечном счете это был, вероятно, хотя и суровый, но наилучший способ обучения. Все трое стали потом умелыми, серьезными работниками.

В то время, о котором мы говорим, все трое — фамилии их были Семкин, Петушков и Калиберда — отличались храбростью, не всегда благоразумной, восторгом, с которым они брались выполнять каждое поручение, ошибками, совершенными от горячности и азарта. Опытные работники, а Васильев, несмотря на молодость, уже к таковым причислялся, ругали их, грозились отчислить, редко и сдержанно похваливали, а в общем, относились к ним хорошо. Больно уж эти ребята были увлечены работой.

Увлечены-то они были увлечены, но вместе с тем и разочарованы. Все они читали и Шерлока Холмса, и Ната Пинкертона, и им казалось, что у этих придуманных сыщиков работа была гораздо интереснее и опаснее.

Практикантам почему-то попадались дела все обыкновенные, не требовавшие, как им казалось, ни особенного умения, ни особенной храбрости. Шерлок Холмс, например, сражался с профессором Мориерти. Вот был достойный противник! Сколько тут нужно было изобретательности и выдумки, сколько ума и смелости! А у нас что? Ну, какой-нибудь Ванька Чугун. Мясник и мясник.

Они почему-то считали, что все их засады и облавы,

перестрелки с бандитами, отслеживание грабителей и убийц гораздо менее романтичны и красивы, требуют гораздо меньше выдумки, решительности и физической храбрости, чем эффектные выдуманные дела Холмса и Пинкертон. Каждый из них бывал в таких переделках, встречался один на один с такими отчаянными преступниками, что неизвестно, сумел бы Шерлок Холмс сохранить свою знаменитую английскую выдержку и хладнокровие. Но им все казалось, что то, что делают они,— это прозаично и скучно, а вот если бы им Морьерти, тогда бы они показали.

Васильев изложил им подробно все обстоятельства дела. По совести говоря, улик, конечно, было мало. Задержать Горбачева как самогонщика они могли. Но вдруг действительно окажется, что просто привезли ему друзья из деревни несколько бутылок, он их распродал и самогон уже выпит, так что ничего не докажешь? Главное, однако, было в другом. Васильев был уверен, что Горбачев убийца, и было бы глупо и несправедливо, если бы, ответив за мелкое преступление, продажу самогона, он избежал наказания за убийство.

С другой стороны, конечно, фамилии «Чиков» и «Дмитриев» на клочках газеты, в которые был завернут труп, наводят на подозрения. Но что, если, например, Дмитриев, который получал эти газеты, прочтя, просто выбрасывал их в мусорный ящик и оттуда их и взял никому неведомый убийца. Во всяком случае, сами по себе эти две надписи на газетах вряд ли убедили бы суд, что Горбачев убийца. Ордер на обыск сейчас получить не удастся. Васильев упрям, но начальник, пожалуй, еще упрямее. И вот Иван Васильевич предложил трем друзьям последить несколько дней за Горбачевым. Все им объяснив, дав адрес и описав Горбачева, условившись, что каждый день практиканты будут ему докладывать о результатах слежки, Васильев ушел.

Практиканты остались одни. Им подали битки, но не о битках они думали.

— А что, если... — сказал Калиберда и замолчал.

— Что ты хотел сказать? — подчеркнуто равнодушно спросил Семкин.

— Ребята,— сказал Петушков,— это же против всех законов и правил. С нас же голову снимут.

Мысли у них шли настолько одинаково, что они без слов понимали друг друга. К сожалению, мысли эти были, можно сказать, еретические, крамольные мысли. А что, если, думали все трое, пока Горбачев ходит по чайным и продает самогон, вскрыть отмычками его квартиру и обыскать? Конечно, это незаконно, но ведь они практиканты. Опыта у них нет, что с них возьмешь. Отругают, и всё. Зато Васильев настаит на обыске, наверняка зная, что он найдет в этой подозрительной квартире достаточно оснований для ареста Горбачева.

Все было, кажется, ясно, но все-таки практиканты сомневались. А вдруг ничего подозрительного у Горбачева они не обнаружат, да еще Горбачев застанет их у себя в квартире? Ведь это какой скандал! Какой повод для жалобы! Конечно, преступление их не так уж велико и под суд их, наверно, не отдадут, но выгнать из угрозыска выгонят. А эти молодые люди свое дело любили, и потерять навсегда возможность им заниматься... Брр! Об этом они даже и думать не хотели.

— Между прочим,— задумчиво сказал Калиберда,— помнится мне, что Шерлок Холмс тоже незаконно проникал в частные квартиры. Какая-то была у него история с шантажистом. Им с Ватсоном даже пришлось удирать во все лопатки. А ведь не испугались.

Эта идея воспламенила всех троих. Наконец-то в их жизни должно было произойти нечто в духе лучших традиций детективных рассказов. Они увлеклись и начали обсуждать план операции. Впрочем, скоро Петушкову пришла в голову расколаживающая мысль.

— Знаете, ребята,— сказал он,— мы тут одного не учли. Шерлок Холмс был частный сыщик, он сам за себя и отвечал, а мы представляем государство. В случае чего позор не на нас. Позор на угрозыск.

Это соображение подействовало на всех. У всех потух блеск в глазах, все заколебались.

— С другой стороны,— протянул Семкин,— чутье у сыщика...

Мысль, которую он хотел высказать, показалась ему самому неубедительной, и он замолчал, не договорив. Молчали все трое. Долгую паузу решительно прервал Калиберда.

— Знаете что, ребята?—сказал он.—Вы зря паникуе-

те. Сделаем так. Обыскивать буду я. Я войду в квартиру. Один из вас будет сторожить у ворот. Если увидит, что Горбачев идет, предупредит меня. Второй будет следить за ним. Может быть, попытается его задержать. Разговорится, может быть предложит даже выпить. Словом, незаконно действую только я. Значит, если дело не удастся, я один и отвечаю. Меня из угрозыска и выгонят.

У будущих соучастников прояснились лица. Впрочем, товарищи они были хорошие и забеспокоились: как же так — Калиберда рискует, ведь это не шутка.

— Ребята,— сказал умоляюще Калиберда,— честное слово, мы идем на благородное дело. Мы разоблачим убийцу. А если даже убил не он и мы в этом убедимся, разве не важно очистить невинного от подозрения? Если версия Васильева не подтвердится, он будет разрабатывать другую, вместо того чтобы следить за невинным Горбачевым. В конце концов, кто-то должен был брать от Дмитриева газеты. Раз Васильев будет уверен, что убивал не Горбачев, он быстрее разыщет настоящего убийцу.

Товарищи тяжело вздохнули, но согласились, что помочь Васильеву, даже против его воли, необходимо.

Вечером Калиберда попросил у знакомого оперативника комплект отмычек, сказав, что хочет усвоить технику дела. Вернуть отмычки он не успел, а вечером, придя домой, обнаружил, что замок на входной двери собственной его квартиры открывается плохо, и целый вечер возился с замком. Замок не стал работать лучше, зато Калиберда научился обращаться с отмычками, как квалифицированный грабитель.

На следующее утро все трое стояли на тротуаре, напротив подворотни дома, где жил Горбачев, и оживленно болтали. Каждому прохожему было ясно, что встретились на улице три старых товарища, давно не виделись, у каждого полно новостей, стоят и болтают. Судьба любит шутить шутки. Вчера Горбачев вышел из дому в девять часов утра. Сегодня было уже половина одиннадцатого, а он все не появлялся. Сколько же можно стоять на улице без всякого дела! Черт его знает, может быть, поняв, что на его след напали, он уже едет в поезде куда-нибудь, скажем в Сибирь, и потом ищи его по всему Советскому Союзу. Окна его квартиры выходили, как вчера рассчитал Васильев, во двор, значит, сейчас он не мог видеть ожив-

ленно разговаривающих друзей. Но, может быть, управдом ему намекнул, что вы, мол, остерегайтесь, за вами, мол, присматривают. А может быть, испугавшись, что кто-то расспрашивает про непрописанного жильца, сказал ему, чтобы он выметался, если не хочет иметь неприятности. Тот и насторожился.

— Если до одиннадцати не выйдет,— сказал Петушков, улыбаясь, чтобы прохожие думали, что три товарища ведут веселый разговор,— то кто-нибудь из нас постучит к нему и спросит Дмитриева. Он ведь один в квартире. Открыть может только он.

Все трое посмотрели на часы. У всех трех часы показывали без пяти одиннадцать. Вот уже без трех. Уже без двух. Уже без одной. Ровно одиннадцать. Ровно в одиннадцать из подворотни вышел Горбачев, неся в руках две, видно, тяжелые кошельки.

ТАЙНЫЙ ОБЫСК

Практиканты узнали его сразу. Больно характерный был у него вид. Семкин, один из трех весело болтавших друзей, пожал руки двум остальным и пошел по другой стороне улицы, незаметно поглядывая на Горбачева. Двое остальных перешли улицу и тоже простились. Петушков остался стоять на тротуаре, поглядывая на часы, как будто ждал человека на заранее условленное свидание, Калиберда вошел в дом и поднялся на четвертый этаж.

Калиберда очень волновался. Он привык бороться с нарушителями закона, а тут вдруг приходилось самому нарушать закон. Черт его знает, а вдруг он не только следов убийства, но даже самогона не найдет! А Горбачев застанет его в квартире. Ох, и попадет же ему от начальства!

Дойдя до двери дмитриевской квартиры, Калиберда наклонился к замочной скважине и втянул носом воздух. Как будто тянуло закваской, но черт его знает, может быть, он сам себя убедил, вот и чудится.

Сверху слышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. Калиберда выпрямился и стоял с таким видом, будто только что поступал и ждет, пока ему откроют. Спускался пожилой человек. Он внимательно оглядел Калиберду, но, не увидев ничего подозрительного, спокойно

пошел дальше. Калиберда вынул из кармана отмычки и, уверенно действуя ими, быстро открыл дверь. Он вошел в квартиру. Здесь запах закваски был очень силен. Сомнений не было: самогон гнали здесь же, в квартире. Калиберда заложил ручку двери стоявшей в углу палкой, чтобы дверь не открылась, и осторожно, стараясь ничего не коснуться и ничего не сдвинуть с места, вошел из передней в комнату. Здесь было жарко и душно. Окна были закрыты наглухо. Никелированная кровать была застлана газетами, чтобы не пылилась. На туалетном столике стояло зеркало и какие-то флакончики и коробочки с дешевой парфюмерией. Все это было покрыто пылью. Очевидно, это была спальня супругов Дмитриевых, пустовавшая со дня их отъезда. Во второй комнате стоял обеденный стол, над которым свешивался оранжевый абажур юбкой. Рядом — диван с высокой спинкой, на спинке — полочки, на полочках — семь слонов. Здесь тоже все было покрыто пылью. Из-за плотно закрытых окон было жарко и душно, и в духоте жужжала какая-то неудачница муха, все не находившая выхода из этой тюремной камеры. И в жужжании ее слышалось негодование, вызванное, вероятно, тем, что вот уже две недели здесь никто не обедает и мухе совершенно нечего есть.

Калиберда внимательно посмотрел на пол. Ему вдруг пришло в голову, что он может на пыли оставить следы. Но слой пыли был недостаточно густ, следов не было видно. Аккуратно закрыв дверь, Калиберда перешел в третью комнату. Здесь уже запах закваски прямо ударял в нос. Конечно, здесь и жил Горбачев. У стены стояли две большие дубовые бочки с закваской. Сомневаться не приходилось. Запах прямо заполнял комнаты. Все-таки Калиберда сунул палец в бочку и облизал его. Закваска была хорошая. Видно, Горбачев гнал не из какой-нибудь дряни, а из самого чистого сахара.

Из мебели в комнате была только узкая железная кровать, покрытая солдатским одеялом, и деревянная табуретка. Окна и здесь были тоже закрыты, для того, наверно, чтобы запах не выходил наружу. Мух здесь было много, и жужжали они весело и торжествующе. Напились, видно, закваски и веселились теперь пьяные. Калиберда прошел на кухню. Здесь стоял дощатый стол и еще две дубовые бочки, тоже с закваской. А на плите,

ничем не прикрытый, высился сверкающий медью змеевик. Калиберде довелось уже несколько раз накрывать с поличным самогонщиков, и технику производства он знал хорошо. Он отметил про себя, что дело у Горбачева поставлено солидно, такой змеевик не дешево стоит сделать. Видно, Горбачев был совершенно уверен в своей безопасности, иначе он хоть прикрыл бы чем-нибудь свой аппарат.

С самогоном все было ясно. Но не для этого же забирался тайком Калиберда в чужую квартиру. В углу были сложены дрова, а рядом лежала куча бумаги. Здесь были и целые газеты, и клочки газет. Калиберда наклонился. Да, на многих газетах и на клочках можно было разобрать надписи «Чиков» и «Дмитриев». Подозрение Васильева бесспорно подтверждается, и все-таки это еще не доказательство. Ведь мог же тем не менее Горбачев все начисто отрицать. Ну, самогон гнал, тут уж не отопрешься, а в убийстве не виноват. Может, случайно в домоуправлении кто-нибудь взял газету; может быть, и нарочно подsunул обрывки с фамилиями, чтобы навести подозрение на невинного.

Вот если бы удалось найти обрывок, который точно бы подходил к обрывку, найденному в корзине. Ведь был же обрывок, на котором было только три буквы «Дми». Вот бы ему попался обрывок, на котором было бы написано «триев»! Стоит ли ворошить эти газеты? Вдруг да Горбачев заметит, что тут кто-то возился. Потом, если даже Калиберда найдет обрывок, на котором написано «триев», какая же это улика, если обыск без протокола, без понятых! И все-таки очень хотелось порыться в этой куче. Калиберда раздумывал, когда в дверь отчетливо постучали четыре раза. Калиберда вздрогнул. Это был условный стук. Его предупреждали, что Горбачев возвращается. Быстро на цыпочках он выбежал в переднюю, оставив дверь в кухню полузакрытой, точно так, как она была. Эти подробности он тщательно запомнил. Вынув из ручки двери палку, он поставил ее на место, в угол, так, как она стояла. Товарищ встретил его на лестничной площадке.

— Скорее! — прошептал он.

Калиберда вынул отмычки из кармана и быстро запер дверь. Внизу на лестнице уже слышались шаги Гор-

бачева. Он поднимался, к счастью, медленно. На площадке третьего этажа ему встретились два молодых человека. Они оживленно разговаривали о рыбной ловле. Горбачев пропустил их мимо себя, и никаких подозрений они у него не вызвали.

И вот три товарища, три соучастника по незаконному обыску, сидят в кабинете Васильева и докладывают: Горбачев опять носил продавать самогон, на обратном пути остановился у пивного ларька выпить пива, потом вернулся домой и больше из дома не выходил.

— Ребята,— говорит Васильев,— последите еще и завтра. Все-таки могли ему привезти два-три бидона, он их и продает. Войдем в квартиру, а там все чистенько и никаких аппаратов. Нам ошибаться нельзя. Представьте себе: сделаем обыск и ничего не найдем. Он поймет, что его подозревают, и удерет, да так, что его и не сыщешь.

— Делайте обыск,— говорит Калиберда, глядя в сторону.— Не ошибетесь. Насчет убийства я, правду говоря, не знаю, а самогон гонят. И аппарат есть, и в бочках полным-полно.

Васильев обвел глазами трех практикантов, сидевших с нейтральными, ничего не выражающими лицами, и все понял. У него в глазах потемнело.

— В квартиру проникли? — спросил он тихим от ярости голосом.

Практиканты молчали.

Дальше было все, что обычно бывает в таких случаях. Васильев кричал на трех практикантов, стучал кулаками, грозил, что сейчас же доложит начальству и преступников выгонят из угрозыска, практиканты каялись, просили простить и не сообщать начальству. Потом Васильев остыл, и стало ему их жалко. Он понимал, что злого умысла у них не было, что заставило их пойти на этот безобразный поступок усердие в неудачном сочетании с юношеским легкомыслием.

В сущности, самовольство молодых сыщиков принесло скорей вред, чем пользу. Что они узнали? Что Горбачев гонит самогон? Васильев был уверен в этом и раньше. Понаблюдав за Горбачевым несколько дней, можно было это бесспорно установить, взять законно ордер на обыск, арестовать Горбачева за самогонование и спокойно вести следствие дальше.

Теперь положение изменилось. Совершенно неизвестно, какие следы оставил Калиберда в квартире. Горбачев насторожен. Достаточно мелочи, чтобы он скрылся. Значит, обыск надо делать немедленно. Даст ли начальник ордер? Можно, конечно, сослаться на данные Калиберды, но начальник строг. Выгонит мальчишек да еще письмо на курсы напишет. А мальчишек жалко. Лица у них бледные, растерянные и глаза умоляющие, хоть они и ни о чем не просят.

Васильев махнул рукой, буркнул «подождите» и пошел к начальнику. Нет, он, конечно, ему ничего не солгал. Просто немного приукрасил факты, сказал, что Горбачев заметно нервничает и может скрыться, так что лучше с обыском прийти сегодня же.

— А основание какое? — спросил начальник.

— Из замочной скважины закваской несет.

Начальник работал в угрозыске не первый день, понимал, что, кроме запаха, еще есть какие-то основания, но не стал углубляться в это.

— Ладно, — сказал он, — оформляйте ордер. Я подпишу. И возьмите с собой сотрудника от Салькова. Пусть ученый человек хорошенько осмотрит.

На обыск поехали Васильев, эксперт от Салькова, Калиберда и фотограф. Подъехав к дому, пригласили трех понятых вместо двух полагающихся: управдома, дворника и человека из квартиры на пятом этаже, того самого, который спускался по лестнице, когда Калиберда собирался вскрывать квартиру. Человек этот оказался архитектором, очень именитым и уважаемым. Он все время всматривался в лицо Калиберды. Никак не мог вспомнить, откуда это лицо ему знакомо.

Тихо поднялись на площадку четвертого этажа. Постучали негромко, так, как может стучать почтальон или случайный посетитель. Молча ждали. Горбачев за это время, видно, успел изрядно попробовать собственную продукцию.

— Кто там? — спросил он сердито и невнятно, прежде чем отпереть.

— Телеграмма, — сказал Васильев.

— Какая, к черту, телеграмма! — недовольно пробурчал Горбачев, но дверь все-таки отпер.

Вошли, предъявили ордер.

Увидев милицейскую форму, Горбачев очень испугался. Он заморгал глазами, и у него задрожали руки и губы. Мог он бояться и того, что раскроется убийство, но мог испугаться просто потому, что самогонование уж безусловно откроется.

Плита топилась вовсю. Васильев открыл дверцу и заглянул в топку. Вероятно, печку растапливали газетами, но теперь они уже сгорели. Трещали дрова, бурлила закваска, пар шел по змеевику.

Сразу же занесли в протокол четыре бочки и змеевик и то, что в момент обыска Горбачев как раз гнал самогон. Змеевик на плите и бочки сфотографировали. Теперь начиналось самое трудное. Пожилой эксперт привез с собой три альбома, в которых на листках картона были наклеены аккуратно разглаженные обрывки газет, найденные в корзине. Так же аккуратно разгладили один за другим все обрывки газет, сваленные в углу. Поворачивали и так и этак, прикладывали друг к другу. Обрывки друг к другу не подходили.

Горбачев держал себя странно. Сначала он очень разволновался, как мы уже говорили, потом, когда прошли по квартире, увидели бочки с закваской и самогонный аппарат на плите, он ахал и всплескивал руками, как будто сам их впервые видел и даже не подозревал, что они у него есть. Когда потом занялись хлопотным и неясным для понятых делом — разбирали обрывки газет и пытались их сложить, — он как будто потерял всякий интерес к обыску. Сидел на табуретке, прислонившись спиной к стене, тупо смотрел на происходящее и только иногда вздыхал и говорил совершенно не к месту: «О господи, чудны дела твои!»

Архитектор не понимал, почему угрозыск так интересуется этими обрывками старых газет. Вообще он был очень заинтересован, с любопытством рассмотрел аппарат, покачал головой и похвалил конструкцию, внимательно следил, как складывают газетные обрывки, наконец не удержался, спросил:

— А это для чего?

— А это для того, — сказал Васильев громко, так, чтобы Горбачев слышал, — чтобы найти газету, обрывок которой был в корзине с трупом некоего Козлова.

Говоря, он внимательно смотрел на Горбачева. Тот не

обратил на эти слова никакого внимания, даже, кажется, не расслышал. Странно было, конечно, что человек не расслышал того, что его обвиняют в убийстве, но, с другой стороны, можно было это объяснить и тем, что он пьян, и тем, что уж он ошарашен такой неожиданной катастрофой со своим очень выгодным производством.

Архитектор, услышав слова Васильева, даже охнул, так ему стало интересно. Он тоже начал перебирать клочки и складывать их, словно решал трудную головоломку. И, как ни странно, именно ему повезло. Именно он, сложив два клочка, вдруг закричал от волнения.

Все повернулись к нему. Он не мог даже говорить, а только пальцем показывал. Васильев наклонился. Было совершенно отчетливо видно, что обрывки точно подходят друг к другу. Мало того: на том, который был вклеен в альбом, было написано ДМИ, а на том, который лежал на кухне, было написано ТРИЕВ.

СЛЕДСТВИЕ ЗАХОДИТ В ТУПИК

К тому времени, когда Васильев вызвал Горбачева на допрос, Горбачев успел протрезветь, собраться с духом и внимательно продумать свои показания. Отрицать самогонварение было совершенно бессмысленно. В этом он признался не споря, но когда зашла речь об убийстве, то он долго не мог понять, в чем дело, потом заинтересовался, кто такой Козлов, и сказал, что в первый раз слышит о нем и ни к какому убийству никакого отношения не имеет.

Чаще всего первый допрос — это только взаимное прощупывание следователя и подследственного. Васильев смотрел на Горбачева, задавал случайные вопросы, имевшие часто только косвенное отношение к делу, и думал.

Кое-какие козыри у него, у Васильева, есть. Во-первых, газеты. Улика сильная, но все-таки косвенная. Ведь мог же Горбачев оторвать часть газет, на которых были фамилии «Чиков» и начало фамилии «Дмитриев», для того, например, чтобы завернуть бутылки с самогоном, когда он их нес на продажу. Могли, стало быть, эти газеты вместе с самогоном попасть к какому-нибудь другому пьянице, собутельнику Козлова, который, узнав, что у Козлова есть деньги, убил его и запаковал в корзину.

Был у Васильева и еще один козырь, о котором Горбачев, как Васильев думал, не догадывался. Дело в том, что сотрудник научно-технического отдела во время обыска соскреб ножичком грязь между досками пола на кухне. Лабораторный анализ точно установил, что в грязи этой есть следы крови. В наше время анализ установил бы и то, кровь это человека или животного и даже совпадает ли она по группе с кровью Козлова. Но в те годы такого точного анализа делать еще не умели. Ясно, что кровь, но может быть курицы или поросенка. Грязь из щели эксперт брал на глазах у Горбачева, но Васильев не знал, обратил ли Горбачев на это внимание и понял ли, для чего это делают. Пока Васильев молчал об этом. Это могло пригодиться позже.

Горбачев сидел на допросах спокойно, подобострастно наклонялся, как будто старался лучше расслышать и понять, о чем его спрашивает Васильев, и отвечал тихим голосом, глядя на следователя заискивающими, кроткими глазами. Тюремное заключение пошло Горбачеву на пользу. Лицо, прежде опухшее от постоянного пьянства, пришло в нормальное состояние, и выглядел теперь Горбачев даже вполне благообразно. У Горбачева был один козырь, который Васильеву было трудно опровергнуть. Не было действительно никаких данных, где и когда могли познакомиться Горбачев и Козлов. Козлов петроградец, проработавший три года на севере. Горбачев житель Луги. В Петроград наезжал случайно и редко, а живет здесь, у Дмитриева, всего только полтора месяца. Привез с собой змеевик, бочки купил на базаре, якобы чтобы солить капусту и огурцы. Приехал со специальной целью гнать самогон, продавать и собрать денег на корову. Лужская милиция действительно сообщала, что хотя Горбачев и пьяница, но в преступлениях замешан не был, что коровы у него действительно нет и что старуха мать его говорила, что сын, мол, поехал зарабатывать на корову в Петроград.

Могло быть, конечно, знакомство случайное. Оба любили выпить, встретились где-нибудь в чайной, распили бутылочку и подружились. Но дело в том, что жена Козлова говорила, что муж в последние месяцы поддался наконец ее уговорам. Что пить он не бросил, потому что считал, что пить ему для здоровья полезно, но месяца три

назад дал ей слово пить только дома, при ней, и этого слова ни разу не нарушил.

Получалась какая-то ерунда. С одной стороны, слишком многое говорило против Горбачева. С другой стороны, слишком мало было улик, чтобы передавать дело в суд. Кто-то, а люди, работающие по борьбе с уголовной преступностью, знают хорошо, как часто случайно совпадают косвенные улики и как долго приходится разбираться в этих поразительных совпадениях, чтобы не осудить совершенно невинного человека.

Васильев как-то организовал якобы случайную встречу вдовы Козлова с Горбачевым. Когда Горбачева вели с допроса, Васильев, перед тем как отпустить его, незаметно нажал звонок, и вдова Козлова прошла по коридору, лицом к лицу встретившись с Горбачевым. Нет, Горбачева она не знала. И фамилии такой никогда не слышала, и лицо было ей совершенно незнакомое. Проверил Васильев время. Деньги Козлов получил в начале четвертого. Это подтверждал и кассир, и главный бухгалтер, который подписывал кассовый ордер. Корзина была сдана в камеру хранения в этот же день в половине седьмого вечера. Правда, возвращаясь из учреждения домой, Козлов должен был проехать на трамвае или на извозчике или пройти пешком неподалеку от дома, где жил Горбачев. Неподалеку, но все-таки не мимо дома. Квартала за два от дома Горбачева проходила большая улица, по которой шли трамваи и по которой пролегал самый короткий путь Козлова к дому. Васильев с часами в руке проехал на трамвае от учреждения, где Козлов получал деньги, до места, ближайшего к дому Горбачева. Получилось двадцать пять минут. На извозчике вышло тридцать минут. Пешком он прошагал всю эту дорогу за сорок две минуты. Значит, в четыре, в начале пятого Козлов мог оказаться поблизости от дома Горбачева. Представить себе, что в это время, когда кончается рабочий день в учреждениях и на предприятиях, когда петроградские улицы полны народом, Горбачев напал на проходящего мимо незнакомоего человека, убил его, притащил труп к себе в квартиру, уложил в корзину, нашел ломового извозчика, а для этого нужно дойти до ближайшего рынка, потому что ломовики обычно стоят возле рынков, было просто невозможно. Да еще нужно привести извозчика к

себе, вдвоем с ним снести вниз корзину, погрузить на дроги, отвезти на вокзал и сдать на хранение. Васильев попробовал все это проделать. На улице, проходившей неподалеку от дома Горбачева, он именно в эти часы постоял несколько минут и понял, что, конечно, на глазах у толпы, при ярком дневном свете никакое убийство немыслимо. Да и, кроме того, как это днем пронести труп по шумной улице, по лестнице, по которой в это время идут возвращающиеся с работы жильцы! Чепуха! Опросили жильцов, и, конечно, никто из них ничего подозрительного не заметил. Васильев пошел к ближайшему рынку, нанял ломового извозчика, проехал до дома Горбачева, заставил его простоять пятнадцать минут (примерно столько нужно было времени, чтобы Горбачеву вдвоем с извозчиком подняться на четвертый этаж, отпереть квартиру, взять тяжелую корзину, снести ее вниз и погрузить на дроги) и потом проехал на ломовике до вокзала. Получилось полтора часа. Значит, всего полчаса было у Горбачева, чтобы встретить незнакомого человека, убить его, уложить в корзину и хоть немного убрать квартиру. Все-таки извозчик должен же был в квартиру войти. Опять тупик. Оставалась только одна возможность: за полчаса познакомиться с совершенно незнакомым, трезвым человеком, трезвым хотя бы потому, что у Козлова просто не было времени выпить. Если бы он хоть немного задержался, у Горбачева времени совсем не осталось бы. Значит, познакомиться с незнакомым трезвым человеком, позвать его в гости и убить. Да за эти же полчаса еще надо было выяснить, что у этого незнакомца есть столько денег, что из-за них стоит рисковать.

Получалась совершенная ерунда. Казалось, все было хорошо. И клочки газеты сошлись, и человек оказался способным на всяческие преступления, но Васильев отчетливо представлял себе, как адвокат в судебном заседании с вежливой улыбкой рассчитает по минутам время и как он, Васильев, будет краснеть, а публика будет смеяться.

Снова и снова ходил Васильев по улице, где в квартире Дмитриевых непрописанным проживал Горбачев. Он снова прошел от ближайшей чайной до дома Горбачева. Можно было допустить, что Козлов зашел в чайную вопреки обещанию, данному жене. Решил все-таки выпить.

Самогон продается, конечно, из-под полы. Значит, нужно какое-то время на то, чтобы поговорить с половым, внушить ему доверие, убедить подать в фаянсовом чайнике самогон вместо кипятка. Нужно какое-то время, чтобы познакомиться с другим выпивающим, чтобы оба они начали доверять друг другу и признались, что пьют вместо позволенного чая строго запрещенный самогон. Нужно, чтобы Козлов признался, что у него с собой большие деньги, и чтобы Горбачев уговорил Козлова пойти к нему домой. Нет, опять получалась ерунда. Час, не меньше, нужен был на это, считая, что пятнадцать минут занимала только дорога от чайной до дома. Снова ходил Васильев по улицам. Все он надеялся, что какой-нибудь случай, неожиданный разговор, какая-нибудь мелочь, которой он не замечал прежде, откроет ему наконец этот неприятный расчет времени. Представим себе, рассуждал он, что Горбачев взял частную машину. Опять ерунда. На частной машине не увезешь такую огромную корзину, да и, кроме того, стоянки частных машин — в определенных местах, в центре, возле гостиниц и ресторанов. Пока дойдешь до стоянки, получится то же самое время.

Что же находится поблизости от горбачевского дома? Три магазина. Государственный магазин продовольственных товаров, с винным отделом, в котором продается виноградное вино. Во-первых, заходя в этот магазин, Васильев не замечал, чтобы посетители пили вино прямо здесь, в магазине. Это было, кстати, строго запрещено, а народу обычно было здесь много и вряд ли стали бы продавцы рисковать увольнением. Да и потом, чтобы напиться сухим вином или даже портвейном такого пьяницу, как Козлов, тоже нужно было, наверно, немало времени и сил.

Маленькая частная колбасная. Это вообще не место, где заводятся случайные знакомства. Тут народу немного, и вежливые продавцы любезно дают попробовать разные сорта колбас и аккуратно взвешивают покупку на весах. Кроме того, здесь бывали люди денежные. Считалось, что здесь колбаса хотя и дороже, чем в государственном, зато и лучше. Может быть, она и действительно была лучше, государственная пищевая промышленность находилась еще в младенческой стадии развития, но уж дороже она была безусловно. И Васильев подумал, что люди типа

Горбачева и Козлова вряд ли будут тратить лишние деньги на деликатесы. Не на деликатесах они выросли, и не к деликатесам они привыкли.

Третий магазин был булочная. Там покупатели вообще не задерживались и завести знакомство было почти невозможно.

Тогда Васильев взялся за ломовых извозчиков. В то время это был единственный вид грузового транспорта, и ломовиков, как их тогда называли, в Петрограде было несколько сот. Васильев прошел по всем так называемым извозничьим дворам. Извозничий двор обыкновенно принадлежал частнику. Там были конюшни, извозчикам отпускались овес и сено, а во дворах стояли телеги. Часто извозчики здесь же и ночевали. У хозяина можно было получить кипяток и выпить чаю. По вечерам — ломовые извозчики кончают работать рано, потому что вечером редко перевозят тяжелые вещи, — ходил Васильев по извозничьим дворам и опрашивал ломовиков одного за другим, не перевозил ли тот тяжелую корзину такого-то числа на Московский вокзал. Ломовики были народ грубый, много пьющий и любящий поиздеваться над посторонним. Чтобы прекратить неуместные шутки, Васильеву почти каждый раз приходилось показывать удостоверение.

К удостоверению ломовики относились серьезно и как будто старались припомнить, везли ли они такую корзину или не везли. Подумав положенное количество минут, порасспросив, какая была корзина, да откуда везли, да какого числа, каждый говорил, что с ним такого случая не было.

Может быть, это и было правдой. Но, с другой стороны, каждый ломовик понимал, что если он окажется ввязанным в уголовную историю, то потянут его на допрос и он полдня потеряет. Потом на очную ставку, глядишь — и еще полдня прошло, а там, не дай бог, и в суд позовут свидетелем. Жди в свидетельской комнате, пока тебя вызовут. Тут уж половиной дня не отделаешься. Тут целый день придется потратить.

В общем, опрос ломовиков кончился, так сказать, вничью. Он не дал той решающей улики, того решающего свидетеля, на которого рассчитывал Васильев, но он и не убедил его в невиновности Горбачева.

И снова начался допрос:

— Но чем же вы все-таки объясняете, что обрывок газеты, найденный в корзине с трупом, совершенно сходится с обрывком газеты, который найден у вас на кухне?

Горбачев посмотрел подобострастными, ищущими глазами.

— Так ведь знаете, гражданин следовательно,— сказал он,— я ведь вам уже говорил. В кошелку наставишь бутылочки с самогоном и бутылочки завернешь. А между бутылочками нарвешь кусков газеты, сомнешь да и засушишь. Это ведь и для того, чтобы бутылки друг о друга не стукались, нужно, и для того, чтобы когда в кошелке одна или две бутылки останутся, чтобы они, знаете ли, не ложились, а то самогончик может пролиться. А самогончик, знаете, обходится дорого, его зря проливать жалко. Ну, а там в какой-нибудь чайной газетки и оставишь. На обратном пути я частенько в магазин заходил купить чего поесть, сосисочек или яиц, так мне кошелка нужна была пустая. А куда дальше газеты эти девались, это я, уж извините, не знаю.

Васильев отпускал его, выжидал время, чтобы тот лег спать, и вызывал снова, на ночной допрос, и снова они без конца бились, и снова смотрел Горбачев искательными глазами и говорил про газетку и самогончик, про сосисочки и яйца.

Еще одно обстоятельство говорило в пользу Горбачева. Деньги, пятьсот рублей, которые Козлов получил новыми червонцами, так показал кассир, найдены не были. В квартире у Горбачева оказалось всего восемнадцать рублей семьдесят копеек рублями и грешками.

Короче говоря, следствие окончательно зашло в тупик.

ПОИСКИ В ЛУГЕ

Хорошо еще, что Горбачев попался на варке самогона, а то бы пришлось либо передавать дело в суд с очень шаткими доказательствами убийства, либо вообще Горбачева выпустить. Начальство торопило Васильева. Уже второй месяц сидел Горбачев в тюрьме, а дело об убийстве вперед не двигалось.

Еще раз проехал Васильев от учреждения, где Козлов получил деньги, до дома, где он жил. Оказалось, что как

раз возле продовольственного магазина, неподалеку от дома Горбачева, надо было пересаживаться с трамвая на трамвай. Значит, вполне вероятно, что Козлов, получив деньги, зашел в магазин. Возле его дома больших магазинов не было. И, конечно, было ему удобнее всего зайти в магазин именно здесь, на пересадке. Но как же все-таки он потом оказался у Горбачева? Может быть, подошел Горбачев к незнакомому человеку и предложил ему продать самогона, а Козлов соблазнился и пошел? Маловероятно. Во-первых, Горбачев знал, что продажа самогона строго карается. Во-вторых, у него налажены связи с хозяевами чайных, и, значит, сбывать свою продукцию было ему нетрудно. Какого же черта будет он открываться первому встречному? Наконец, третье: одет был Козлов бедно, и предположить, что у него при себе большие деньги, было никак невозможно. Не будет же он, в самом деле, объяснять каждому, что вот, мол, получил подъемные, так что пожалуйста, грабьте. Да, наконец, если все-таки завязалось знакомство на почве самогона, так отчего же убитый был совершенно трезв? Судебно-медицинский эксперт, производивший вскрытие, утверждал это уверенно.

Где-то в этом деле был какой-то крючок, какая-то подробность, о которой Васильев не подумал. Что-то самое главное прошло мимо него. Что же это могло быть?

Васильев съездил в Лугу, обыскал дом Горбачева. Никаких прямых улик того, что Горбачев варил самогон и в Луге, не оказалось. И все-таки Васильев был уверен, что именно самогон был всегда основным источником дохода Горбачева. Во-первых, хозяйство оказалось запущенным до последней степени. Урожай на земле вырастал бедный, видно было, что по-настоящему никто к земле рук не приложил. Если землю пахали и засевали, то для того только, чтобы можно было сказать: живем, мол, на трудовые доходы.

Ни лошади, ни коровы не было. Единственный поросенок был такой тощий, такой голодный, что, очевидно, даже покормить его толком у хозяина не было ни времени, ни охоты.

Хозяйка, мать Горбачева, была старушка ядовитая, с хитрыми маленькими глазками. Судя по тому, как спокойно встретила она Васильева, чувствовалось, что обыск ее ничуть не удивил. Она, конечно же, знала, чем зани-

мается сын, и понимала, что в его деле, хотя и выгодном, отдельные неудачи неизбежны. Еще одно было странно в доме Горбачева. Очень уж много было бочек. Васильев насчитал шесть совершенно целых да еще две худые лежали в сарае. В одной из целых бочек солились огурцы, в другой — капуста, а четыре были пустые. Васильеву показалось, что он почувствовал сохранившийся еще в них легкий запах закваски. Видно, и здесь производство было поставлено в широких размерах. Впрочем, доказывать, что Горбачев и в Луге гнал самогон, не имело особого смысла. Как раз с самогоном и в Петрограде все было в порядке.

В сущности все упиралось в два вопроса. Первое — были ли Горбачев и Козлов знакомы раньше. Второе — где деньги, взятые у Козлова.

Дмитриевы к этому времени уже вернулись из отпуска и жили в своей квартире. Васильев допрашивал их два раза. Оба так ахали и ужасались, делали такие испуганные глаза, когда им рассказывали о том, что Горбачев в их квартире гнал самогон, что у Васильева осталось твердое убеждение: они прекрасно об этом знали и раньше и даже, наверно, были, как говорится, участниками в деле, то есть получали какую-то часть дохода.

Вероятно, думал Иван Васильевич, придется потом их привлечь за соучастие, но все это потом. Главное сейчас — доказать убийство.

Васильев зашел на лужскую почту. Ему пришла в голову нелепая мысль. Может быть, Горбачев был так неосторожен, что взял да и перевел матери по почте козловские пятьсот рублей. Тогда легко проверить по книге переводов. Он тщательно просмотрел эту книгу, хотя заведующая почтой сразу сказала ему, что такого перевода не было. Шутка ли — пятьсот рублей! В Лугу такой перевод приходит раз в три года.

Все-таки книга была просмотрена, и перевода не оказалось. Хотя Васильев был и раньше в этом почти уверен, он все-таки испытывал разочарование. Как это ни странно, но самые хитрые преступления раскрываются иногда из-за поразительной небрежности преступника. К сожалению, Горбачев, если все-таки он преступник, был очень осторожен.

До обратного поезда в Петроград оставалось еще два

часа. Васильев зашел к начальнику милиции, поговорил с ним, попросил приглядывать за старухой Горбачевой, и начальник милиции пошел проводить Васильева на вокзал. В буфете выпили они по кружке пива и сели поговорить. Начальник милиции сокрушался, что просмотрели они самогонщика, и хотя у них были сигналы, но как-то руки не дошли. Все казалось, оснований мало для обыска. А Горбачев сам человек темный. Это здесь все знают. И семья темная. Когда Горбачев в армии был, мама его такую спекуляцию развела, что ужас! Если бы тогда законы были против спекуляции, так ей бы несдобровать. Ее счастье, что было царское время.

— Он в империалистическую воевал? — спросил Васильев.

— «Воевал!» — усмехнулся начальник милиции. — Тоже мне вояка. Сидел где-то писарем в ста километрах от ближайшей пушки. А после революции вернулся. Видно, там, на военной службе, нагребастал порядочно. Приехал с деньгами, корову они купили, порося завели, но семья такая, что им ничто впрок не идет. Как пошло пьянство, так и поросенка, не откормив, продали, а потом и корову. Тут он раскаялся и решил, что, видно, чем ему за самогон деньги платить, пусть ему лучше платят. Ну, какие там у него доходы, этого я не знаю, но пьет он по-прежнему. На троицу приезжал — по всем канавам валялся. Из одной вылезет, через полчаса в другую упадет.

— На троицу? — спросил Васильев. — А в этом году когда троица была?

— Восемнадцатого троица, девятнадцатого духов день.

— Постой, постой! — Васильев весь даже напрягся. — Слушай, давай я до вечера где-нибудь отсижусь в уголке незаметно, а вечером пойдем второй обыск сделаем у Горбачева. Почти наверно у нее деньги. Кстати, если она раньше и ждала обыска — дочка-то ей, наверно, написала, что сын арестован, — если и запрятала деньги так, что их не найти, то уж сегодня она обыска, наверно, не ждет.

Начальник милиции был человек толковый и все сразу сообразил. Васильев был в штатском, до вечера отсиделся в милиции, а вечером они начали второй обыск. На этот раз они перерыли все. Простукали стены, внимательно осмотрели сарай, в хлеву обследовали каждый

метр. Согнали кур с насестов, обыскали весь курятник и нашли свежезасыпанную яму в земле. Принесли лопаты. Стали копать. Выкопали яму больше метра глубиной. Пошла уже жесткая, слежавшаяся земля. Ясно было, что ее давно не рыли. Тут у Васильева мелькнула мысль. Закопала старушка деньги в землю, потому что ждала обыска, а когда обыск кончился, выкопала и отнесла в дом. В земле деньги и погнить могут и отсыреть.

Снова пошли в дом. Прощупали все матрацы, все подушки. Полезли на чердак. Здесь все покрывала ровная серая пыль. И только на крышке старого, окованного железом сундука пыли не было. Открыли сундук. Перебрали тщательно, осматривая каждую вещь, целую кучу барахла. Пыль клубами носилась в воздухе. Все непрерывно чихали. Старушка почти не скрывала ненависти к чертовым милиционерам, которые за день устраивают второй обыск. Докопались до дна сундука. На самом дне была маленькая шкатулочка, резная, с замочком, запертая и без ключа.

— Где ключ? — строго спросил Васильев у старухи.

— А кто его знает, давно потерялся.

— Неси топор, — сказал Васильев одному из милиционеров. — Будем ломать шкатулку.

— Зачем вещь ломать, — сказала старушка, — на тебе ключ, если ты такой дотошный.

Васильев всунул крошечный ключ в скважину. Ключ легко повернулся. Очевидно, замок смазывали. Дрожащими руками Васильев открыл шкатулку. Сверху лежала газета. Васильев даже на секунду помедлил вынуть ее. Он понимал, что это тяжелое, изматывающее следствие сейчас кончится бесспорной уликой. Вот он поднимет эту газету, и под ней окажется пятьдесят белых бумажек достоинством в десять рублей каждая, с изображением на каждой сеятеля, бросающего в землю зерно из лукошка.

Все оказалось так и не так. Действительно, в шкатулке были деньги. И даже не пятьсот, а почти шестьсот рублей. Но только были они в самых разных купюрах, достоинством пять рублей, три рубля и рубль. Одна только потрепанная десяточка оказалась на самом дне, одна, поистершаяся от тысяч рук, через которые прошла. А кассир говорил Васильеву, что он выдал Козлову подъемные новенькими червонцами.

Денег были — улики не было.

Может быть, деньги эти были нажиты на самогоне. А может быть и так, что Горбачев оказался хитрее, чем можно было думать. Походил по магазинам, по чайным, потолкался по базару и по одной десятичке, покупая какую-нибудь ерунду, разменял все червонцы на купюры помельче, которых уже никто не опознает и которые никакой уликой служить не могут. Так или иначе, один след оборвался. Оставался, правда, второй.

Всю дорогу до Петрограда думал Васильев и раздумывал. И жена Козлова и его знакомые — а Васильев опросил многих из них — говорили в один голос, что никогда от Козлова фамилии Горбачев не слышали. Припоминая всех опрошенных знакомых Козлова, Васильев подумал, что все это знакомые недавние. Жена его была моложе его и, значит, тоже замужем была не очень давно. Но ведь могло же быть, что Козлов и Горбачев приятельствовали когда-то и где-то еще до того, как появились у Козлова его нынешние знакомые и нынешняя жена. На север Козлов ездил тоже без жены. Может быть, встречались они на севере. Может быть, еще раньше когда-нибудь. Вероятно, это была не близкая дружба, а просто приятельские отношения. Представим себе, рассуждал Васильев, что вдруг, зайдя в магазин купить чего-нибудь, видит Козлов своего старого приятеля, с которым встречались они на севере. Такие встречи многократно умножают старую дружбу. Может быть, на севере они были даже и мало знакомы, но тут вдруг такая встреча.

«Горбачев! — говорит Козлов. — Ты как здесь?»

«Козлов! Вот не ждал! Жив еще?»

«А я, знаешь, опять на север еду, — говорит Козлов. — Сейчас подъемные получил — пятьсот рублей. Ну, по такому случаю надо нам с тобой отметить встречу. — И потом шепотом: — Ты не знаешь, где тут достать бутылочку? Я бы заплатил».

Горбачев сразу соображает: во-первых, пятьсот рублей — сумма немалая; во-вторых, наверняка никто не знает, что Козлов зашел именно в этот магазин, в-третьих, никто не может знать, что в этот же магазин зашел Горбачев. Да, наконец, никто даже не знает, что они когда-то были знакомы. Дело как будто верное и безопасное.

«Знаешь что, — говорит он, — я тут недалеко живу.

В квартире я один, и выпить у меня найдется. Давай возьмем селедочки, колбаски и пойдем».

Тогда сразу перестраивается весь расчет времени. Десяти минут достаточно, чтобы встретиться, поговорить, купить закуску и отправиться к Горбачеву. Козлов оказался трезвым. Заключение эксперта не допускает сомнения. Ну что ж, тут противоречия нет. Может быть, Горбачев не считал нужным тратить на Козлова самогон. Попросил, скажем, приятеля селедку почистить, подошел сзади и ударил топором по голове. Был в квартире Горбачева топор или не было? Ну, это потом. Прежде всего надо проследить прошлое обоих. Где-то, когда-то должны они были быть знакомы.

Прямо с вокзала поехал Васильев в учреждение, которое отправляло Козлова на север. Перелистали все архивы, просмотрели все списки. Тщательно проверили все фотографии. Нет, от этого учреждения Горбачев никогда на север не ездил. Это не подтверждало версию Васильева, но и не опровергало ее. Горбачев мог быть на севере случайно или был он завербован какой-нибудь другой организацией. Да, наконец, мог поехать по каким-нибудь своим спекулятивным делам. Мог Козлов у него просто покупать самогон. Самогон на севере дорог. Так или иначе, Васильеву было ясно теперь, что делать. Надо проследить жизненный путь обоих, и Козлова и Горбачева, от самого детства. Где-то, когда-то их жизненные пути уже скрещивались. Если точно узнать, где и когда, если предъявить Горбачеву доказательство, что он был раньше знаком с Козловым, то, вероятно, он сам признается. А не признается, так то, что он всегда говорил, что о Козлове слышит первый раз, будет само по себе уликой. Да и встреча старых знакомых снимает весь расчет времени, который раньше делал Васильев. Пожалуй, адвокату на суде не придется особенно улыбаться.

НАХОДКИ В ПСКОВЕ

Васильев сидит над личным делом Козлова. В общем, ничем не замечательная судьба. Отец фельдшер. Родился и детство прожил в Калуге. Окончил городское училище. Работал в конторе кондитерской фабрики «Эйнем». Подождите, при чем тут Калуга? Ага, «Эйнем» — это в

Петербурге. Понятно. От военной службы был освобожден по состоянию здоровья. Ну, какое там здоровье! Наверно, просто сунул кому следует. Так. В 1914 году призван в армию. Ну конечно, началась война, и тут взятки требовались покрупнее. Денег, наверно, не хватило. Так. 1914—1917-й — служба в армии. Интендантское управление — Псков. В интендантство тоже, наверно, попал за взятку. А может быть, сумел угодить начальству. В гражданской войне не участвовал. С 1918 года живет в Петрограде. Потом три года север. В 1922 году женится. Черт, не за что зацепиться! А у Горбачева, наверно, вообще личного дела нет. Этот ведь нигде не работал.

Снова три часа трясется Васильев в поезде. Снова едет в Лугу. Совет с начальником милиции. Сверстники Горбачева хорошо его помнят. К счастью, среди сверстников есть один милиционер, который даже учился с Горбачевым в церковноприходском училище.

— Родился Горбачев примерно в восемьдесят пятом — шестом году. Окончил церковноприходское. Отец у него сильно пил, а мать торговала на базаре птицей. Он ей помогал. Потом в трактир поступил. Был тут трактир Бузукова. К посетителям его не выпускали, а так, знаете, на побегушках. Побежит с поручением. Все надеялся в половые выбиться. В армию его не взяли. То ли доктору сунули, то ли и верно у него с легкими не в порядке. И в половые хозяин не допускал. Жуликоват был до невозможности. Палец ему в рот не клади. В двенадцатом году папаша его напился пьяный, свалился где-то в снег, его не заметили, он и замерз. Ну, дом от этого убытка не потерял. Папаша ничего в дом, все из дома. Пил под конец жутко. Доходы все были от мамы. Она у него была деловая. Днем на базаре птицей торгует, а вечером все какие-то дела делает. То бежит куда-то, то к ней какие-то люди приходят. Жадность у нее была большая к наживе. За какие-то штуки Горбачева выгнали из трактира. Стал он дома околачиваться. Днем мамаше на базаре поможет, вечером с поручениями бегают. И представьте себе, между прочим, не пил. Ну так, может быть, на пасху рюмочку выпьет, а больше ни-ни. Потом война началась. Тут уж то ли взятка нужна была большая, а денег не было, то ли на здоровье стали смотреть снисходительно, но только его все-таки взяли...

Почти в каждом следствии бывают периоды застоя. Фактов мало, они противоречат друг другу, версии противоречивы, и каждую версию одна часть фактов поддерживает, зато другая часть опровергает. Следствие — это долгий и трудный процесс. И все-таки в этом долгом процессе наступает момент, когда вдруг сквозь десятки противоречивых вариантов проглядывает истина. Иногда основанием к этому неожиданному проблеску истины оказывается мелочь, третьестепенный факт, малозначительное наблюдение. Еще эта истина не подтверждена подробным анализом фактов, еще, в сущности, трудно объяснить, что же такого нового произошло, что вдруг прояснило картину, но следовательно, если у него есть опыт, уже чувствует радость открытия и уверенность в том, что теперь правда будет обнаружена. Хотя, в сущности, еще ничего не было ясно, Васильев почувствовал, что проступает в темноте то звено, которого ему не хватало.

— Значит, пошел Горбачев на фронт? — спросил он.

— Что вы! — сказал милиционер, рассказывавший о Горбачеве. — Разве такой попадет на фронт? Откупились, наверно. А вернее, я так думаю, еще прежде устроились. После начала войны объявили ведь сухой закон. Кто побогаче, те одеколонны стали распивать, но разве же хватит одеколону! Ну, понятно, очень выросло самогонное дело. Тогда с этим было просто. В полицию дашь десятку, и гони себе. Точно, конечно, я не скажу, но слух такой шел, что горбачевская мамаша сильно этим делом увлекалась. Я думаю, кому следует дали по ведру самогона, вот и назначение. И начальство довольно. Шутка ли иметь при себе такого человека! Ему только мигнешь, а он тебе сразу бутылочку. Это же не служба, а радость.

Васильев был совершенно точно уверен в том, что он сейчас услышит. Он понимал: звено найдено, звено у него в руках. Надо было все-таки продолжать спрашивать. Как бы он ни был уверен, он должен был это услышать.

— Что же, он здесь, в Луге, что ли, служил? — спросил он спокойно, точно зная ответ.

— Нет, не в Луге, — сказал милиционер, — но тут недалеко, километров сто тридцать. В Пскове.

— И где же именно в Пскове? — еще более равнодушно спросил Васильев.

И опять услышал именно то, чего ждал.

— В интендантском управлении каком-то,— сказал милиционер.— Я точно не знаю. Я у него не бывал, а мамаша его каждую неделю туда ездила. И все с узлами. Идет на станцию, сгибается, а вернется к вечерку, так легко идет. Мамаша у него очень хитрая. Да и он хитрый. И я знаете что скажу, пьяницы обычно народ не жадный, а он смолodu не пил ничего, зато жадина был. А в войну, знаете, все вокруг самогона, ну, он и спился. А жадность при нем осталась. У них и гости никогда не бывают — на угощение денег жалко.

На следующее утро Васильев вызвал Горбачева на допрос. Этот допрос, как хорошо понимал Васильев, должен был стать решающим. Горбачев пришел, как всегда спокойный, как будто примирившийся даже с несчастной своей судьбой, смотрящий на следователя кроткими, терпеливыми глазами. Васильев тоже держал себя спокойно и обыкновенно. Горбачев не должен был предвидеть, что сегодняшний допрос чем-нибудь отличается от предыдущего. Горбачев за это время, видимо, успокоился. То есть то, что придется отсидеть за самогон, это он понимал, но с этим уже примирился. Много за самогон не дадут. Что же касается убийства, то, видимо, Горбачев твердо решил: либо следствие вообще замнет это дело, либо если даже и передаст в суд, так суд оправдает его за недоказанностью.

У Васильева был вид усталый. Он и в самом деле устал. Поезд из Луги пришел в первом часу ночи, в шесть утра он был уже на работе, все продумывал предстоящий допрос. Горбачев очень хотел, чтобы дело об убийстве окончательно наконец от него отпало. Сидеть в исправительно-трудовой колонии гораздо лучше, чем в доме предварительного заключения. Там и свободнее, и есть возможность сократить срок, да и вообще там возникают разные надежды.

Допрос Васильев начал так, как мог бы начать разговор со случайно встретившимся знакомым. Он спросил Горбачева, носят ли ему передачи. С кем Горбачев сидит в камере. Не позволяет ли себе начальство нарушения прав заключенного.

Горбачев сказал, что нет, спасибо, все, мол, хорошо, всем, мол, доволен. Васильев ему обещал, что теперь сидеть недолго придется, скоро, наверно, суд.

Горбачев отметил эти слова, он понял их так, что следователь от обвинения в убийстве отказывается, а самогон все равно признан, так что тянуть следствие нечего. Васильев перевел разговор на семью Горбачева, сказал, что, может быть, придется Дмитриевых привлечь за соучастие, но они получают немного, совсем ерунду, а может быть, даже и условно. Поинтересовался, где Дмитриев познакомился с горбачевской сестрой. Оказалось, что Дмитриев был на курсах в Луге, там они и познакомились. Потом Васильев сказал:

— Ну, давайте все-таки еще раз повторим все факты. Значит, вы Козлова никогда не знали и даже не слыхали о нем?

— Нет,— сказал Горбачев.— Был у нас в Луге один Козлов, продавцом в кооперативе работал, но тот пожилой человек. А такого, как вы описываете, Козлова я не знал.

Дальше пошел разговор о прошлом Горбачева. Васильев вел себя так, как будто впервые слышит, что Горбачев кончил церковноприходское училище, что работал потом в трактире мальчиком на побегушках, что хозяин его в половые не допускал. Получалось по его рассказам так, что вроде он, Горбачев, принадлежал к угнетенному пролетариату, а хозяин трактира — к эксплуататорам, представителям акул капитала, и если он пошел на то, чтобы гнать самогон, так потому только, что несознате-лен, образование имеет небольшое, политическим развитием не занимался, а если бы он, мол, позанимался, скажем, в кружке и понял бы про политику, то, конечно, ни о каком самогоне и речи бы не было.

Спросил Васильев, где теперь хозяин трактира. Оказалось, что он теперь содержит в Луге чайную, но Горбачев с ним не видится, потому что понял, как тот его эксплуатировал. Так постепенно, благодушно болтая, подошли они ко времени империалистической войны.

— Вы ведь говорили, кажется, что в Пскове служили? — спросил Васильев между прочим.

— В Пскове,— согласился Горбачев, забыв, что об этом и разговору-то раньше не было.

— В интендантском управлении?

— Да, в интендантском управлении.

— Конвойные части? — спросил Васильев.

— Совершенно точно,— сказал Горбачев.

— И много вас было,— спросил Васильев,— конвойных?

— Да нет,— сказал Горбачев,— чего там охранять. Интенданты ведь больше пили. Денег у них было полно. Они прямо, не стеснясь, взятки брали. А нас и было там рядовых восемь человек. Так полагалось по порядку. Ну, и мы им нужны были, знаете, чтобы услужить, если придется, с поручением сбегать. Знаете ли, разложение офицерства в царской армии было ужасное.

— Да,— горестно покачал головой Васильев.— Офицерство ужасно разлагалось.

И вдруг произошла крутая перемена. Только что перед Горбачевым был безразличный собеседник, который, для того чтобы провести полагающийся последний допрос, вел неторопливую беседу о далеком прошлом, давно прожитом и давно забытом. Даже и сидел Васильев как-то неофициально, не то чтобы развалясь, но облокотившись на спинку с видом самым, так сказать, приватным. И вдруг в какую-то долю секунды он выпрямился, напрягся, и лицо его резко изменилось.

— Зачем же вы лжете,— резко сказал он,— что никогда не знали Козлова? Всю войну прослужили вместе, всего было вас восемь человек, а познакомиться времени не нашлось?

Горбачев вздрогнул и инстинктивно тоже выпрямился.

— Как это — познакомиться? — спросил он.

— Да очень просто, в этом же интендантском управлении таким же, как и вы, конвойным был и убитый вами Козлов. Вот в его личном деле об этом подробно рассказывается.

— Не понимаю,— сказал Горбачев.

Он как-то сразу осел; он понял: ему только казалось, что дело кончено, что идет уже последний допрос. Он понял, что разговор только начинается. И действительно, разговор только начинался.

— Я вам расскажу,— сказал Васильев,— как происходило убийство. Ошибки могут быть в мелочах, и все-таки вы поправляйте, если заметите неточность.

— Хорошо,— сказал Горбачев, и даже это единственное слово звучало уже как признание.

— Семнадцатого июня,— сказал Васильев,— вы ут-

ром, как обычно, пошли разнести по чайным самогон и на обратном пути решили зайти в продовольственный магазин номер тридцать семь, чтобы купить себе чего-нибудь поесть. Было это около половины четвертого. Я говорю «около» — минут на пятнадцать в ту или другую сторону может быть ошибка. В магазине вы встретили бывшего своего сослуживца Козлова, с которым служили вместе в Пскове, в интендантском управлении, в конвойных войсках. Вы с ним не видели друг друга много лет. Встреча была радостная. Радовался главным образом он, потому что только что подписал договор на работу на севере и получил пятьсот рублей подъемных. Об этом он сразу вам рассказал и предложил, так как деньги у него есть, пойти куда-нибудь выпить. Вы вспомнили, что живете сейчас один в квартире, что у вас дома сколько угодно самогону и что пятьсот рублей никогда не бывают лишними. Вы пригласили его к себе. Купив закуску, вы вошли в квартиру, он сел на кухне за стол, и вы попросили его почистить селедку.

— Нарезать колбасу, — сказал Горбачев.

— Хорошо, нарезать колбасу, а сами сказали, что нальете самогон. Самогону у вас не было, вы весь продали до встречи с Козловым, или, может быть, вам просто хотелось скорее покончить с этим делом. Он наклонился над столом, а вы взяли топор и ударили его топором по темени. Вы убили его с одного удара?

— С одного, — сказал Горбачев.

— Топор вы бросили вечером в реку или в канал.

— В Фонтанку, — сказал Горбачев.

— Потом, чтобы не вызывать подозрения, уложили труп в корзину, в которой доставляли бочки.

— Доставлял, — сказал Горбачев.

— Вы тщательно убрали и вымыли кухню, пошли на рынок, сговорились с ломовиком, вынесли с ним вместе корзину и отвезли на Московский вокзал. Есть какие-нибудь неточности?

Все пришлось заносить в протокол, заполнять страницу за страницей, дать прочесть Горбачеву. Словом, дела было еще много. Но Горбачев уже не сопротивлялся, ни о чем не спорил и молча все подписал. Это был уже совершенно раздавленный человек.



Глава седьмая

«ЧЕРНЫЕ ВОРОНЫ»

ЖИЗНЬ КРАСИВАЯ И НЕКРАСИВАЯ

В 1923 году в Петрограде, так же как в дореволюционные времена, цокали по торцам копыта лошадок и лихачи на дутиках стремительно проносились по солнечному Невскому. До утра гремели оркестры в ресторанах

с иностранными и экзотическими названиями. Снова торжествовало богатство. Новые торговцы и фабриканты только посмеивались, вспоминая патетические лозунги семнадцатого года. Как от бога было устроено, к тому и пришли. Сколько уж было этих попыток переустроить мир, а все приходили к прежнему. Конечно, сейчас большие заводы еще в руках государства, но и это со временем образуется. Собравшись по вечерам в дорогом ресторане или в хорошо обставленной спокойной квартире, богатые люди фантазировали об акционерных обществах, о горячих битвах на бирже, об игре на повышение и на понижение, об альянсе с иностранным капиталом.

Да, богатство торжествовало. Однако оно не властвовало. Можно было нажиться на торговле или открыть небольшую фабричку, но мечтания об акционерных обществах, больших заводах и биржевой игре оставались одними мечтаниями. Только поверхностному наблюдателю казалось, что страна вернулась к тому же положению, которое было до революции. На окраинах Петрограда, за Нарвской и Выборгской заставами, на Васильевском острове, на Петроградской стороне возводились огромные здания дворцов культуры, и приезжающие на гастроли всемирно известные московские театры считали честью играть спектакли на их современных сценах. Улица за улицей сносились убогие домики петербургских окраин, и строились для рабочих современные дома, по тем временам казавшиеся великолепными. Такие же, как прежде, были аудитории университета, такой же, как прежде, был знаменитый университетский коридор, но совсем иначе выглядела толпа студентов, каждое утро заполнявшая университет. Осенью собирались приемные комиссии. Председательствовал обычно немногословный большевик в классической кожаной куртке и потертой кепке блином. На заседаниях обсуждались биографии и происхождение каждого абитуриента. Кто его родители? Не дворяне ли? Не буржуи ли? Не кулаки ли? Не состояли ли в буржуазных партиях? Кто он сам? Маменькин сынок, проживший беспечальное детство на отцовские деньги, или человек из трудовой семьи, воспитанный в пролетарском духе, сам смолоду потрудившийся на заводе? И если он рабочий или сын рабочего, зажигайте зе-

ленные огни, поднимайте семафоры — все льготы ему, широкая дорога ему к образованию, к науке.

Издержки были, и большие издержки. Не всегда пролетарское происхождение могло заменить хорошую подготовку. И все-таки именно в эти годы учились те люди, которые позже открыли тайны атома и тайны недр земли, построили гиганты-заводы и создали космические корабли.

Великолепно выглядел владелец магазина, одетый во все заграничное, гладко выбритый и пахнувший духами, едущий по Невскому на стремительном лихаче, и все-таки все это великолепие на поверку оказывалось одной только видимостью. Этого властного человека не только бы не пустили на заседание организации, имеющей власть и решающей государственные вопросы, он не имел права даже подать голос на выборах, сказать речь за или против какого-нибудь кандидата. Государство решало важные вопросы, строило гигантские планы, намечало неслыханные работы, а эппманам временно предоставлялась возможность наживать деньги, ужинать в ресторанах, кататься на лихачах.

Настоящее богатство может существовать только тогда, когда в его руках власть. Тысячи лет утверждали владельцы имений или заводов, что все это принадлежит им по самому законному из законов. Но кто бы поверил им, если бы в их руках не были школы и институты, законы и судьи, ружья и пушки, если бы в их руках не была власть. Разве, не имея власти, смог бы убедить торговца рабочего в том, что, ловко перепродав в течение получаса партию дешево купленного товара, законно заработал столько, сколько зарабатывает рабочий за год тяжелого труда? Нет, не может существовать богатство без власти. А власть у богатых была отнята твердо и навсегда.

Это понимали умные люди, привыкшие размышлять и анализировать факты. А человек не очень умный завидовал заграничному костюму, подобострастной улыбке официанта, пушистым коврам в квартире, всем этим причающим проявлениям значительности и влияния.

Именно в это время стал очень распространен термин «красивая жизнь». Одеться во все заграничное, небрежно поздороваться с метрдотелем, сесть на пододвинутый

официантом стул, выпить шампанского, съесть суфле «Аляска» — это была красивая жизнь. Была жизнь другая, казалось бы, некрасивая, бедная. Нахлобучив кепки, пёрли в институты заводские и крестьянские пареньки, срочно, за три года, обученные на рабфаках основам наук. По вечерам они пили пустой чай в общежитиях и спорили о сроках мировой революции и зловещих интригах акул капитала. Они бушевали на комсомольских собраниях, за отсутствием денег на трамвай проходили десятки километров пешком, донашивали отцовские брюки и от всей души, искренне и глубоко, презирали богатство. Кое-как, с грехом пополам переползали они с курса на курс, несмотря на свое упорство и удивительное трудолюбие. Им все давалось очень трудно. Они поздно научились читать, выросли в бедных рабочих квартирах, и привычку к занятиям, к чтению, к математическим формулам или к филологии им приходилось приобретать на ходу. Это было веселое, шумливое, ироническое, голодное племя. Для них слова «красивая жизнь» звучали иронически. Богатые люди, в свою очередь, глубоко презирали их. Презирали за неинтеллигентность, за грубый язык, за плохо сданные экзамены, за протертые штаны. Трудно было представить себе, что именно этим оборванным, неинтеллигентным, малограмотным людям предстоит красивая жизнь в самом высоком и подлинном смысле слова. Кто бы поверил тогда, что именно им, мальчишкам в потертых штанах, предстоит читать доклады на мировых конгрессах, ошеломлять открытиями всемирно известных ученых, бывать на дипломатических приемах, строить удивительные заводы, создавать удивительные машины, вникать в тончайшие оттенки поэтических стилей, выпускать серьезнейшие труды по сравнительному языкознанию. Нет, только мечтатели могли это предвидеть, мечтатели и люди, сразу и до конца поверившие мечтателям. А люди недалекие рассуждали просто: во, красиво живут (это о посетителях ресторанов и о владельцах хорошо обставленных квартир). Люди недалекие твердо были уверены: умный человек должен стремиться красиво пожить.

Вот именно с этих совершенно, казалось ему, бесспорных мыслей и начал Климов, рабочий литографии в пригороде под Петроградом, свой удивительный путь.

УЧЕНИК ИЗВЕСТНОГО ЛИТОГРАФА

Была в небольшом поселке километрах в тридцати от Петрограда маленькая литография. Существовала она давно, и, хотя работало в ней всего только человек пятьдесят, литография была издавна известна и в Петербурге, и в других городах страны. Так уже сложилось, что работали в этой литографии в течение многих лет замечательные литографы, которых высоко ценили художники, зная, что ни одна линия рисунка не будет изуродована и омертвлена руками этих подлинных мастеров своего дела. Литографирование — это ремесло, которому можно выучить каждого, но есть степень умения, достигнув которой литограф становится художником, а работа его — искусством.

В 20-х годах в литографии оставался только один знаменитый мастер — Федор Сергеевич Тихонов. К нему наезжали художники из Петрограда и из Москвы и только ему доверяли перенести на литографский камень свои рисунки. Подолгу сживали они в маленьком его домике, пили чашку за чашкой чай и разговаривали о секретах рисунка, о неповторимых приемах графики и о литографии, которая и ремесло и искусство.

Знаменитый этот литограф был человек невысокого роста, худенький и незаметный, носил он много лет один и тот же потертый пиджак с аккуратно залатанными локтями. Только глаза у него были необыкновенные, светлые, ясные и восторженные. Он всегда был готов каждого, кто захочет, обучить своему мастерству. И все же искал он не случайного любознательного паренька, который с интересом выслушает его, а потом забудет все сказанное. Искал он того единственного ученика, который станет его наследником, который отдаст жизнь любимому делу своего учителя, преумножит и разовьет его удивительное умение. Литограф был уже стар и боялся не смерти, а того, что вместе с ним умрет его мастерство, будут потеряны найденные им тонкие и неповторимые приемы.

И вот присмотрел он молодого рабочего Володю Климова, парня лет девятнадцати или двадцати, умного и веселого. Стал поручать ему все более сложные работы и сдержанно иногда похвалял паренька, а сам удивлял-

ся и радовался, видя, какие быстрые успехи делает Володя, какими точными становятся у него глаз и рука.

Был Климов сиротой, и стал старик приглашать Володю к себе домой и за чашкою чая рассказывал о стиле разных художников, о том, как по характеру линии знающий человек, не поглядев на подпись, назовет автора, о том, как литограф обязан сберечь и передать манеру создателя рисунка. Володя слушал, схватывал очень быстро и скоро уже высказывал мысли, которые позволяли старику надеяться, что наконец он нашел себе настоящего ученика. Стали Володю ценить в литографии, стал он зарабатывать лучше, чем раньше, стал одеваться наряднее и с каждой получки покупал себе то узенькие короткие брюки, то ботинки с узкими носками, то нарядные гетры, такие же точно, как те, которые носил приезжавший из Петрограда инженер. И, глядя на единственный костюм старого литографа, на вытертые до блеска лацканы его пиджака и аккуратно залатанные локти, думал Володя о том, что если и стоит чему-нибудь учиться у старика, то только умению работать, потому что хорошему мастеру и платят хорошо. А уж умению жить пусть старик у него, у Володи, поучится. Ведь подумать только: старик зарабатывает так, что мог бы десять костюмов сшить, а деньги тратит на редкие литографии, которые выискивает у букинистов и коллекционеров!

Этими мыслями Володя со своим учителем не делился, и старик продолжал думать, что нашел наконец паренька, преданного искусству.

Очень скоро Володя Климов был одет с ног до головы по тогдашней моде и все реже и реже стал посещать по вечерам старика, потому что увлекся танцами. И казалось ему, когда он танцевал где-нибудь в рабочем клубе, одетый во все новенькое и модное, что девушки смотрят на него с восхищением, а парни завидуют и, может быть, даже думают, что каким-то чудом к ним в рабочий клуб занесло какого-то шикарного иностранца.

Потанцевать было где. Рабочие клубы заняли роскошные особняки бежавших за границу капиталистов. Если не было танцев в пригороде, где жил Климов, всегда можно было поехать в Петроград. Не в одном клубе, так в другом танцевали каждый вечер. Можно было упрекнуть рабочего паренька в излишнем увлечении танцами,

но мало ли чем люди в молодости увлекаются. Проходит время, человек становится серьезней, начинает заниматься делом, и часто из него получается очень серьезный работник. Так что в этом ничего плохого не было.

Часто Климов ездил на Выборгскую сторону, в Дом культуры, помещавшийся в особняке когда-то знаменитого бакинского нефтяника Нобеля.

В рабочих клубах нэпманы и их дети не бывали. На танцы они ездили в дорогие рестораны или в игорные клубы. Рабочий клуб заполняли люди бедные: рабочие, служащие, студенты. Они очень хотели выглядеть совершенно так же, как те, настоящие богачи, которые, в свою очередь, хотели выглядеть так же, как богачи заграничные.

В клубы приходили молодые люди, одетые почти так, как дети владельца магазина на Невском или дети владельца концессионной фабрики. Почти, но все-таки не совсем так. Материал костюмов был подешевле и мялся, вместо духов девушки душились дешевым одеколоном и пудрились дешевой пудрой. Молодые люди были совсем похожи на богатых молодых людей, а все-таки чем-то неуловимым были и не похожи. Опытный глаз сразу мог определить, действительно ли это веселящаяся богатая золотая молодежь или эти юноши только хотят на нее походить.

Впрочем, пока сравнивать было не с кем. Климову казалось, что его не отличить от настоящего богача и даже, чем черт не шутит, от какого-нибудь молодого Рокфеллера или Моргана.

Вот в клубе на Выборгской стороне Климов и познакомился со студентом Медицинского института Ладыгой и его приятельницами, тоже студентками-медичками Михайловой и Мещаниновой.

Девушки курили, что было очень элегантно, сильно красились, что тоже очень нравилось Климову, и танцевали с ничего не выражающими, брезгливо-равнодушными лицами. И это тоже, конечно, было очень шикарно и напоминало заграницу.

Климову нравилось, что новые его знакомые — студенты, и он думал, что если уж они ходят сюда танцевать, то, наверно, здесь на самом деле место очень шикарное.

Так он думал до тех пор, пока однажды, когда девушки пошли в туалет напудриться и намазать губы, у него не произошел разговор с Ладыгой, очень Климова огорчивший.

НАЧИНАЕТСЯ С МЕХОВЫХ ШУБ

— Шикарное здесь все-таки место,— сказал Климов.

— Здесь? — спросил Ладыга и пожал плечами, давая понять, что разные могут быть точки зрения на вещи, но у него, у Ладыги, точка зрения твердо установившаяся.— Когда денег нет, можно и сюда сходить.

Климов понял, что он свалил дурака. Это, конечно, для него, бедного рабочего загородной литографии, шик, а настоящие люди ходят сюда только в периоды временного безденежья.

В это время вернулись припудренные, заново намазанные девушки.

— Володя говорит, что здесь шикарное место,— сказал Ладыга.

— Здесь? — удивленно спросила Мещанинова.

И Климов покраснел, поняв, что сказал ужасную глупость.

— Сколько надо нам четверым, чтоб повеселиться в настоящем месте? — спросил он.

— На вечер рублей тридцать хватит,— сказала Мещанинова.

— Завтра поедem. У меня получка.

На следующий день они вчетвером сидели за столиком в ресторане «Квисисана». Вот уж где был действительно шик! Такого Климов даже представить себе не мог. На каждом столике стояла лампа с абажуром, крахмальные скатерти, крахмальные салфетки пирамидками, и на них можно было даже разобрать царскую монограмму. Недавно была распродажа бельевых Зимнего дворца, и многие рестораны обновили свои запасы. А какая посуда, какой хрусталь!

В ресторане было полутемно. На маленькой эстраде расположился настоящий джаз, как где-нибудь в Америке или в Париже. Ударник тихо отбивал на немых инструментах неслыханные ритмы. В ресторане горели только настольные лампы, отдельная лампа на каждом столике, а во время танца по стенам и потолку бега-

ли лучики, быстрые тонкие лучики, создававшие настроение, как объяснила Мещанинова.

А какая публика здесь была! Это тебе не жалкие девчонки и паренки из рабочего клуба. За столами сидели настоящие богатые люди. Метрдотель, почтительно кланяясь, встречал их и провожал к столикам. Они равнодушно оглядывались вокруг, видно, все здесь было для них обычно и неинтересно. Танцевали они как-то небрежно, и в этом была особенная красота. Вообще Климову стало ясно, что удивляться и восторгаться нельзя. Для настоящего человека все это привычно. И если ему, Климову, не повезло — он родился в рабочей семье и сам стал рабочим, — это надо скрывать и делать вид, что вся эта роскошь для него дело привычное и даже чуть надоевшее.

Несложное это искусство Климов освоил быстро. Он взял от Мещаниновой равнодушное выражение лица, от Ладыги — манеру морщить нос, от Михайловой — манеру щурить глаза и, в общем, к концу вечера ничем не отличался от своих спутников.

На следующий день поехали в «Трокадеро», еще через день — в «Ша Нуар». Истратили зарплату Климова, стипендию Ладыги, деньги, которые Мещанинова выпросила у отца. Климову казалось, что только теперь наконец он вошел в круг настоящих людей, баловней судьбы, для которых богатство и роскошь естественны и привычны. Когда наконец все деньги были истрачены и больше взять было негде, поехали опять в рабочий клуб на Выборгскую сторону. Каким же вульгарным и дешевым показался он Климову! Он покраснел, вспомнив, что только неделю назад ему казалось, что здесь «шикарно».

Нельзя было даже подумать о том, чтобы всю остальную жизнь ходить только в эти простецкие клубы, толкаться среди этих людишек, которые, наверно, никогда в жизни и не были в приличном ресторане. Танца три танцевали, а потом и танцевать стало скучно.

— Нет, здесь невозможно! — сказала Мещанинова, равнодушно оглядывая танцующих.

— По одежке протягиваем ножки, — процедил Ладыга.

— Конечно, — пожала плечами Мещанинова, — мир делится на богатых и бедных. Богат тот, кто может при-

думать, как разбогатеть. А беден тот, у кого куриные мозги.

Постояли. Помолчали. Решили уходить.

Молча шагали по проспекту Карла Маркса. Идти предстояло долго. Шел снег, идти было холодно и противно.

— Сколько стоит котиковое манто? — спросила вдруг Мещанинова.

— Тысячи полторы, — ответил Ладыга. — Собираешься купить?

— Нет, продать, — холодно сказала Мещанинова. — Вы его добудете, а я продам. У папы есть знакомый скорняк. Не за полторы тысячи, так за тысячу двести. Хоть будет на что сходить поужинать.

В следующее воскресенье Ладыга и Климов прогуливались по Невскому проспекту. Денек был морозный, солнечный, и по проспекту толпами валили гуляющие. Ладыга и Климов шли порознь, не обращая друг на друга никакого внимания. Каждый из них искал в толпе одинокую и дорогую шубу. К сожалению, хорошие меха обычно гуляли не одни. Котики, каракули, шиншиллы шли окруженные нарядными кавалерами и были совершенно недоступны для знакомства. Все-таки на углу Садовой Климов заметил выходящий из парикмахерской ТЭЖЭ одинокий каракуль. Климов посмотрел на Ладыгу. Ладыга, делая вид, что даже не видит Климова, наклонил голову. Это означало, каракуль приличный, действуй. Через десять минут Климов уже болтал с владелицей каракуля. Одет Климов был хорошо и впечатление производил солидное, развязности у него для знакомства хватало. Да и владелица каракуля была, видно, не прочь познакомиться с хорошо одетым молодым человеком. Климов рассказал, что он кончает Политехнический институт и будет, наверно, работать на Путиловском заводе. Он мог рассказывать про себя все, что угодно. Встречаться в будущем с владелицей каракуля — ее, как оказалось, звали Ирина — он не собирался.

Ирина рассказала, что она учится в Институте истории искусств и что ее отец — известный в Петербурге до революции адвокат. Может быть, она тоже врала, но уж каракуль-то был настоящий. Ладыга в этом кое-что понимал.

Климов повел себя как серьезный кавалер. Он ее пригласил не в ресторан, не на танцульку, а в Мариинский театр на оперу Шрекера «Дальний звон».

В назначенное время Климов подждал Ирину у театра. Они разделись в гардеробе, и Климов еще успел угостить свою даму в буфете пирожным и лимонадом. Первый антракт они проболтали очень весело. Несколько анекдотов из жизни артистов, которые рассказал Климов, создали у Ирины представление, что и сам он не чужд искусству.

Во втором антракте Климов извинился перед Ириной и пошел в курительную, попросив ее посидеть на месте, чтобы они не потеряли друг друга.

В это время Ладыга стоял внизу, в гардеробе. Он понял, что начался антракт, по шарканью ног, которое доносилось из фойе. Тогда он не торопясь вышел на улицу. У выхода стояла Мещанинова в своей потертой беличьей шубе. Народу вокруг почти не было. Люди, хотевшие продать или купить билет, уже разошлись, потому что спектакль давно начался. Извозчики еще не съехались к подъезду, потому что до конца спектакля было далеко. Мещанинова скинула шубу на руки Ладыги и проскользнула внутрь театра. Климов уже спускался в гардероб. Вдвоем они подошли к гардеробщику. Климов небрежно отдал номерок и двадцать копеек чаевых. Гардеробщик любезно подал Мещаниновой каракулеву шубу, а Климову — его модное пальто, напоминающее по форме этрусскую вазу. Дальше все было совсем просто. Они вышли, сели вместе с Ладыгой на извозчика, доехали до Невского, извозчика отпустили и дошли пешком до дома Мещаниновой.

Скорняк, знакомый ее отца, дал за пальто хоть не тысячу двести, но тысячу сто. Это все равно было неплохо...

Ирина сначала не волновалась, когда ее спутник не пришел, потом стала беспокоиться. Ничего не видя, смотрела весь третий акт и, ничего не слыша, слушала его, потом прошла в администрацию, потом вместе с администратором постояла у выхода, пока вся публика не разошлась, потом ей дали салоп из костюмерной, и они с администратором отправились в уголовный розыск, потом Васильев выслушал прерываемый всхлипываниями

рассказ маникюрши из парикмахерской ТЭЖЭ о том, как она три года копила деньги на каракулевый сак, а когда наконец купила его за полторы тысячи рублей, пальто украд какой-то молодой человек, с которым она сегодня только познакомилась, студент Политехнического института, вероятно не чуждый искусству, потому что рассказал ей много интересных случаев из жизни знаменитых артистов.

Иван Васильевич вынужден был объяснить Ирине, что шансы вернуть каракулевый сак невелики.

— Сами виноваты,— сказал он.— Как же так — в первый раз в жизни видите человека и отдаете ему номерок! Мы, конечно, объявим по комиссионным и проследим, но вы особенно не надейтесь. Наверно, шубу продадут скорняку, а скорняк так переделает, что и не узнаешь. Когда гуляете по Невскому, посматривайте по сторонам,— может, встретите своего кавалера.

— Такой интеллигентный! — воскликнула еще раз Ирина и, оставив свой адрес, ушла.

Конечно, никто в комиссионный украденный сак не принес.

Недели через три в Александринском театре украли котиковое манто у молодой девушки. Она накануне познакомилась на Невском с молодым человеком с усиками, совершенно не похожим на того вора, которого описала Ирина. Он тоже был хорошо одет и показался девушке тоже очень интеллигентным. Он повел ее к «Де Гурме», и они выпили кофе с пирожным. Девушка была единственной дочерью владельца парфюмерного магазина. Такой некрасивой дочерью, что, несмотря на богатство отца, за ней мало кто ухаживал. Поэтому она оказалась не очень строгой к интеллигентному молодому человеку, который так мило болтал с ней в кафе. Он предложил ей пойти на следующий день в Александринку посмотреть пьесу Луначарского «Яд». Она с удовольствием согласилась. Об этой пьесе много говорили. Все хвалили Вольф-Израэль, игравшую разложившуюся дочку наркома.

На следующий день Ладыга зашел за ней домой, произвел прекрасное впечатление на родителей и украд пальто, не дожидаясь второго антракта, сразу же после первого акта, так что дочка владельца парфюмерного

магазина не успела даже насладиться его обществом. На этот раз в гардеробе очень далеко от того места, где до первого антракта висело роскошное котиковое манто, оказалось не востребованным дешевое, сильно поношенное пальтишко, которое на толкучке можно было купить рублей за десять—пятнадцать.

Может быть, это были не связанные друг с другом случаи. И внешность у кавалеров разная, и способ немного другой. На этот раз, очевидно, соучастница купила билет в театр, пришла, чин чином сдала гардеробщику старенькое свое пальто, а ушла, закутавшись в котик. Впрочем, еще через неделю в Михайловском театре таким же способом украли каракулевый сак.

Теперь уже петроградская милиция была поставлена на ноги. Наряды у театров были усилены, гардеробщики предупреждены, велено было до конца спектакля не выдавать никому пальто, не проверив, что за люди и почему они уходят раньше времени. При следующей попытке преступники обязательно были бы задержаны. Васильев каждый вечер ждал их к себе. Но преступников не приводили. Прошел месяц, другой, девушки в превосходных, очень дорогих шубах легкомысленно знакомились с нарядно одетыми молодыми людьми и благополучно сохраняли свои бесценные меха. Стаял снег, наступила весна, меховые шубы были пересыпаны нафталином и запрятаны в надежные места, девушки начали носить драповые пальто, потом летние, потом стали ходить в одних платьях, а в городе не совершалось ни одного преступления, которое хоть чем-нибудь напоминало бы случаи, происшедшие в лучших театрах города.

Дня через три после похищения шубы в Михайловском театре на одной из глухих улиц Новой Деревни был обнаружен труп с пулевой раной в затылке. По документам установили, что убитый работал слесарем на заводе, а по вечерам прирабатывал, водя частную прокатную машину. Это был молодой, веселый, жизнерадостный человек. Он влюбился в хорошую девушку, работницу того же завода, где работал сам, и над их романом дружески подшучивал весь цех. Больно уж они любили друг друга. Прямо вспыхивали от радости, когда встречались. И приходили на работу вместе и вместе уходили. Он и к частнику пошел, чтобы подзаработать. Все-таки семейная

жизнь! Мебель надо купить, в отпуск решили ехать вместе. Словом, деньги очень были нужны.

Частных машин тогда было много, и все заграничные. В России на московском заводе АМО только налаживали выпуск первых полуторатонных грузовичков. По улицам Петрограда ездили и «форды», и «рэнно», и «фиаты», и какие-то помеси, собранные из разных машин. Чтобы создать такое чудовище, происходящее от пяти-шести автомобильных фирм, нужна была частная инициатива. Только частник будет лазить по свалкам и толкаться по рынкам, находя и покупая по дешевке выброшенные, никуда не годные части. Только частник будет подбирать эти отбросы, подгонять их друг к другу, скоблить, подпиливать, чистить наждаком, штопать сиденье и обивку и добиваться, чтобы машина наконец тронулась с места. Руководящие работники государственного аппарата ездили в то время на лошадке, впряженной в качающуюся на рессорах пролетку, или, это уж самое большое начальство, на импортных машинах. Зато разгульные молодые люди считали высшим шиком усадить своих дам в невесторучляды, и повезти их кататься по городу, заплатив пятерку за час катания. Клиенты попадались и днем и ночью, и хозяин за адские труды, которые он вложил в машину, хотел получить как можно больше денег. Поэтому днем он водил машину сам, а на ночь нанимал шофера. Ночью бывали выгодные клиенты. И вот молодой слесарь, человек хороший, трудолюбивый, решил наняться к такому «капиталисту», чтоб подработать, купить мебель и повезти молодую жену на юг, посмотреть, что за штуки такие магнолия и олеандр.

Теперь он лежал в морге с пулевой раной в затылке, а невеста, не успевшая стать его женой, плакала так горько и безнадежно, что жалко было на нее смотреть.

Машина исчезла. Очевидно, из-за машины и убили шофера, потому что в кармане у него лежало пятнадцать рублей, деньги по тем временам немалые, которыми убийцы даже не поинтересовались.

Со слов владельца машины составили подробное ее описание. Но чему оно могло помочь? Ясно было одно: что это было невероятное собрание самых разных частей, совершенно не подходящих друг к другу. Сообщили

постовым милиционерам номер. Но и на это было мало надежды. Если преступники не полные идиоты, конечно, номер они сразу же заменили.

Думал Васильев, думал, и ни разу ему не пришло в голову связать эту историю с женскими шубами. Ничего общего не было между этими преступлениями. Трудно было представить себе, что совершены такие разные преступления одними и теми же людьми.

РАЗГОВОР В РЕСТОРАНЕ

Третья украденная шуба еще не была оплакана ее бывшей законной владелицей, когда четверо молодых людей пришли вечером поужинать в недавно открытый ресторан «Ша Нуар». Времени со дня начала совместных операций прошло немного, а молодые люди заметно изменились. Три с половиной тысячи, «заработанные на шубах», как говорил Ладыга, были в то время большой суммой. Теперь Климов окончательно перестал походить на рабочего. Костюм у него был сшит из дорогого материала, купленного в магазине «Штандарт». У Ладыги вспушились усики, платья девушек были сшиты очень дорогой портнихой, и опытные глаза посетителей ресторана заметили это сразу. Столик они заказали по телефону. Метрдотель, поклонившись, сразу повел их через зал и дамам сам отодвинул стулья. Да, это была уже настоящая красивая жизнь. Это уже не рабочий паренек пытался быть похожим на сына нэпмана. Теперь это был богатый человек, тот самый, для которого играл оркестр и бесшумно двигались пожилые официанты.

На вновь пришедших оглядывались. Это была солидная компания. За последнее время их видели в ресторанах часто, и никому, конечно, не приходило в голову, что трое из них просто студенты Медицинского института, а четвертый — рабочий маленькой литографии. Климов за несколько последних недель изменил не только одежду. Он стал уверенным и спокойным, в нем появились барственность и небрежная величавость, которая, по мнению плохих писателей прошлого века, была бесспорным доказательством аристократического происхождения. Он обогнал своих учителей — Ладыгу и Мещанинову. Право, никто, глядя на него, не сказал бы, что совсем недавно

рабочий клуб казался ему шикарным местом. Внешний вид был очень важен для той жизни, которую он сам для себя выбрал, но это было не все и не самое главное. Теперь оказалось, что из всех четверых он больше всех годится в руководители. У него были дальновидность, предусмотрительность и фантазия. Эти качества нужны в любой профессии. Они нужны ученому и рабочему, инженеру и хозяйственнику. Но во всех профессиях они нужны в обязательном сочетании с трудолюбием. Только для преступников они годятся и без любви к труду.

Разлили вино. Подняли бокалы.

— За трех дур,— провозгласил тост Климов.

Четверо, чуть улыбнувшись, чокнулись и выпили.

— За будущих дур,— сказала Мещанинова.

Климов, не отхлебнув, поставил бокал на скатерть.

— А зачем они?

— Мне нравятся тысячи,— сказала Мещанинова.

— А тюрьма тебе нравится? — спросил Климов.

Все четверо были уже на «ты», и разговор велся за- просто, без церемоний.

— Шуб больше не будет,— сказал Климов.— Третья шуба тоже была, в сущности, лишней, хотя мысль сама по себе была хорошая. Простая и легкая в исполнении. Но она годится только на два раза. В первый раз думают, что это случай, после второго настораживаются и принимают меры. Предвидя, что в антракте исчезнет из гардероба шуба, очень легко ее спасти. Достаточно поставить несколько переодетых агентов в гардеробе и проверять всех, кто уходит раньше конца спектакля. Твоя мысль, Верочка, гениальна, но она уже исчерпала себя.— Климов поднял бокал и чокнулся с Верой.— Твоя мысль помогла нам завести оборотный капитал. Сколько у нас в запасе?

— Тысяча двести,— сказал Ладыга.

— Для начала достаточно, но вообще сумма ерундовая. Месяц поужинать — и мы без денег. Значит, надо работать дальше.

Помолчав, чтобы подчеркнуть важность того, что он будет говорить, Климов продолжал.

— Сейчас,— сказал он,— в вестибюлях театров полно сыщиков. Вероятно, за наши грехи поймают нескольких карманников, но отпустят за отсутствием улик. Угро-

зык считает, что у каждого преступника свой почерк. И если человек украл три шубы, так он всю жизнь только и будет делать, что красть шубы по театрам. Для глупых преступников это железный закон. Я думаю, что если все время придумывать новое, все время менять систему, то можно прожить долгую и красивую жизнь.

Заиграл оркестр. Климов пригласил Мещанинову, Ладыга — Михайлову. Они танцевали молча, с равнодушными лицами. Когда оркестр кончил, поаплодировали музыкантам и сели за стол.

— Итак,— сказал Климов,— продолжаем военный совет. Когда удобнее всего грабить? Конечно, вечером: темно и народу меньше. Где больше всего денег по вечерам? В магазинах. В ресторанах. Когда магазин закрывается, эти деньги артельщики уносят в банк. Еще много денег в дни получек на предприятиях. Но они и охраняются лучше, и зарплату выдают днем. Мы и к этому придем, но не с этого надо начинать. Значит, пока наша цель — касса магазина или, может быть, ресторана. Но ресторан закрывается под утро, когда люди уже идут на работу. Лучше начинать с магазина. Цель ясна. Теперь средства. Прежде всего нужно, конечно, оружие. Точнее говоря, нужны револьверы. Я думаю, что, наверно, из-под полы они продаются. Как, господа?

— Говорят, на Александровском рынке,— сказал Ладыга.

Прошло то время, когда студент Ладыга чувствовал себя высшим существом по сравнению с простым рабочим Климовым. Как-то незаметно для себя Ладыга стал ощущать, что именно Климов законами судьбы предназначен быть атаманом. Климов не подчеркивал своего первого места. Оно определилось само и не нуждалось в постоянном утверждении. Теперь Ладыга и Михайлова всегда ждали, что скажет Климов, и слушались его беспрекословно. Даже упрямая, своевольная Мещанинова не спорила с Климовым и только все чаще смотрела на него неподвижным, затуманенным взглядом.

— Значит,— продолжал Климов так спокойно и весело, что тем, кто смотрел на него со стороны, казалось — он рассказывает интересную и веселую историю,— завтра мы отправляемся на Александровский рынок за покупками. Пока нам достаточно двух револьверов и штук по

пятьдесят патронов. Следующий шаг будет приобретение машины. Предприятие должно расти. Машина понадобится на одно дело. Одно, но крупное. Потом мы ее бросим. После того как дело сделано, машина не полезна, а вредна. Она становится уликой. Ну, об этом будет еще время поговорить. Ближайшие задачи ясны. Да, еще одно: как будет называться наша организация?

— «Черные вороны», — сказала Мещанинова, ни секунды не медля.

— Возражения есть? — спросил Климов. — Принимается. Итак, за новую фирму.

Подали горячее. «Черные вороны» ели, пили вино, танцевали, курили и не говорили о деле. Рядовая в те годы компания молодых людей, уверенных в себе, богатых, хорошо одетых, уже привыкших к красивой жизни.

Кроме Гостиного двора, в Петрограде есть торговые каменные ряды и попроще. Гостиный двор в то время представлял собой средоточие частных складов и магазинов. Здесь торговали серьезные купцы, дорожающие именем фирмы и если и нарушающие закон, то осторожно, солидно, ради крупных выгод. Всякая шушера, мелкие спекулянты, готовые за копейку продать родного брата, а то и просто жулики, которые подсовывали покупателю вместо нового костюма старую рванину, вместо лакированных сапог бутафорию на картонной подошве, вместо бриллиантов отшлифованные стекляшки и вместо золотых десятков царского времени вырезанные из свинца ничего не стоящие кружки, торговали, жульничали, кричали и ссорились на Александровском или Никольском рынках. Рынки эти, расположенные вдоль той же Садовой улицы, на которую выходила боковая линия Гостиного двора, были подальше от центра, в местах невидных, и богатые покупатели туда не ходили. Туда шли бедняки, обуреваемые фантастической надеждой купить необыкновенно дешево очень дорогую вещь. Им всучивали лежалый товар или просто обманывали. Жулики с ангельски честными глазами кружились вокруг них, как комары, жужжали, божились, помогали друг другу и отбирали тем или иным способом последние деньги у бедного человека. Здесь товары были разложены прямо на земле, здесь торговали книгами и костюмами, сапогами дореволюционного времени и штанами, сшитыми по по-

следней моде. Здесь продавались тульские и бельгийские охотничьи ружья, патроны, медвежьи пули «жаканы», дробь и порох. Здесь продавались и непозволенные товары: наркотики, самогон, контрабандная косметика, краденые чулки и поддельные редкости. Здесь кричали, звали, тайно играли в азартные игры, словом, здесь кипели, бурлили, разорялись и богатели снова люди мелкие, ерундовые, не привыкшие к труду и любящие наживу.

Торговец охотничьим оружием считался среди этого отребья почтенным коммерсантом. У него был настоящий порох и настоящие пули, а иногда даже действительно хорошие охотничьи ружья, привезенные когда-то из Бельгии, где, как известно, делают лучшие охотничьи ружья в мире. Он не лебезил перед покупателями и не всучивал за бельгийское ружье старую поломанную тулку. Покупатели к нему подходили не часто, и он спокойно, не суетясь, показывал им ружья, объяснял их достоинства и не скрывал их недостатков. Недалеко от его лотка целые дни терся какой-то оборванец, который как будто ничего не продавал да, кажется, ничем и не занимался. Изредка к продавцу охотничьего ружья подходил покупатель и, делая вид, что осматривает ружье, негромко шептал несколько невнятных слов. Тогда продавец окликал загадочного оборванца и кивал головой на покупателя. Покупатель и оборванец уходили в дальний конец рынка, забирались в угол, куда никто не заходил и где можно было поговорить спокойно. Там они торговались, осматривали тайный товар, покупатель отсчитывал деньги и получал купленное. И снова стоял оборванец, глядя равнодушными глазами на кипучую жизнь рынка. И казалось, что он стоит просто так, от нечего делать. Просто любит, как торгуют другие.

Пошептавшись с торговцем охотничьим оружием, Климов и Ладыга были переправлены им к этому удивительному оборванцу, удалились с ним в невидимый угол, опять пошептавшись, дали ему деньги и унесли два нагана с пятьюдесятью патронами каждый. В общем шуме и гвалте среди тысяч крупных и мелких торговых сделок эта совершенно незаконная сделка не привлекла ничьего внимания. Двое модно одетых молодых людей вышли из рынка, пешком прошли по Садовой и Невскому до конди-

терской «Де Гурме» и, подсев к столику, за которым их ждали Михайлова и Мещанинова, заказали себе по чашке какао и по пирожному со взбитыми сливками.

— Все в порядке? — спросила Мещанинова.

— От капитала осталась половина, — ответил Климов, — зато можно приступать к приобретению автомобиля. Надо только найти шофера без предрассудков. У меня есть один на примете. Правда, пьяница и бездельник, но если его держать в руках, то пригодится.

Шофер Пермяков работал когда-то в той же литографии, из которой только недавно уволился Климов. Так как Пермяков был каждый день пьян, а через день очень пьян, и так как после целого ряда мелких аварий он наконец ухитрился разбить вдребезги единственный принадлежавший литографии автомобиль, его не только уволили, это бы еще полбеды, но и передали в прокуратуру дело о привлечении его к уголовной ответственности. Пермяков понял, что теперь самое время менять местожительство, и, отказавшись от тихих радостей жизни в пригороде, переехал в Петроград. Здесь он встретил на Невском Климова. Климов дал ему в долг пятнадцать рублей и помог найти в деревянном доме на Выборгской стороне, в Нейшлотском переулке, недорогую комнату у старухи, которая тоже очень много пила и поэтому не замечала, что ее жилец сам ходит целый день под парами.

Когда «Черные вороны» приобрели оружие и могли приступить к дальнейшим операциям, Климов отправился в Нейшлотский переулок и долго ждал Пермякова, который, конечно, не удосужился отдать пятнадцать рублей. Климову повезло: Пермяков ввиду отсутствия работы, а значит, и средств вернулся вполпьяна, то есть в том состоянии, когда он еще мог, в общем, соображать, что ему говорят.

— Есть работа, — сказал Климов.

— Я готов, — бодро ответил Пермяков, слегка, впрочем, покачиваясь.

После этого обмена мнениями они долго стояли на тротуаре и шептались. Пермяков согласился быть шофером «Черных воронов», получая по десять рублей в сутки в тех случаях, когда «вороны» его приглашали. Он обязался не пить в эти дни или пить умеренно, ничему не удивляться и не задавать никаких вопросов.

ОРУЖИЕ ПУЩЕНО В ХОД

От Нейшлотского переулкa до центра расстояние не маленькое. Деньги на извозчика у Климова были. И все-таки он пошел пешком. Ему надо было подумать. Странно все-таки получилось. Жил рабочий парень. Работал. Ходил на танцульки. Одалживал до получки, чтоб купить пару ботинок. И вдруг оказалось, что и одалживать не надо, и получки ждать не надо, да и работать вовсе не обязательно. Вот уже несколько месяцев, как жил он красивой жизнью, и, наверно, если сосчитать те минуты волнения, которые нужны были, чтобы украсть три дорогие шубы, то было их круглым счетом не больше чем шестьдесят.

Климов улыбнулся, подумав о том, что были у него в литографии курсы, на которых преподавал молодым рабочим искусство литографии старый, очень известный литограф, о котором мы уже говорили. Со снисходительной улыбкой вспоминал Климов, что весь интерес в жизни этого старика заключался в том, что он литографировал знаменитые картины, переписывался с английскими и французскими литографами, постигал тонкости своего искусства, которое казалось ему удивительным. Вот уже сколько лет работает он, и старый он уже человек, и до могилы ему, вероятно, недалеко, а он все открывает новые тайны своей профессии и рассказывает их молодым рабочим, и лицо его сияет от восторга, а костюмчик у него, между прочим, старенький-старенький и локти аккуратно залатаны.

И Климову показалось, что далеко он ушел от пригородных парней, своих товарищей по работе, и от пожилых рабочих, живущих на небольшую зарплату и не обиженных за это на жизнь. Вот они, бывшие его товарищи, склонились над литографскими камнями и тщательно проверяют, точно ли лег на камень рисунок. Кончится рабочий день, и, надев засаленные пиджачки, пойдут они по домам, чтобы пить чай, нянчить детей или читать газету.

Нет, Климов уже не может так жить. Он даже не подумал об этом, он это почувствовал. Конечно, и «Ша Нуар» не слишком роскошен. Это он уже понимал. Где-то в Париже или в Буэнос-Айресе настоящие рестораны.

Ну что ж, может, будет в его жизни это. Важно то, что он вступил в мир, где красиво живут. Что этот знаменитый литограф? Ведь небось одна у него радость: попить из старой, растрескавшейся чашки чаек. Нет, Володе Климову этого мало. Огромные, казалось ему, страсти кипели в нем, и огромные, казалось ему, чувствовал он в себе силы.

Опять выплыла мысль о том, о чем надо будет завтра же сказать остальным «Черным воронам». Он уже все предвидел и на все решился. Что-то скажут его друзья? Шоферу Пермякову они добавят к десятке трешник, и он будет молчать. Мещанинова, эта сатана в юбке, небось будет даже довольна. Ладыга? Черт его знает, что такое Ладыга. Худощавый, с усиками, величавый не по комплекции. Еще испугается и побежит донесет. Черт его в самом деле знает, что такое Ладыга.

Михайлова? Эта, пожалуй, на убийство не пойдет. Но ей и не надо идти. А молчать и получать деньги ее Ладыга уговорит. Если, конечно, сам не струсит.

Климов подумал, что они справятся и вдвоем с Ладыгой. Фу ты черт! Конечно, неприятная операция, но лучше, чем вскакивать по звонку будильника, бежать на работу и два раза в месяц получать зарплату.

И снова подумал Климов: правильно ли все то, что он делает? И снова сравнил жизнь, которою он живет, с жизнью, которою он жил прежде. Может быть, та, прежняя, была лучше? Конечно, нет. Да и все равно вернуться к ней уже никак невозможно. Жалко шофера? Но он не знает, кто такой этот шофер. Может быть, он окажется бандитом, скверным, злым человеком. И, кроме того, ценой этой, неизвестно еще, хорошей или плохой, жизни будет куплена та жизнь, на какую он, Климов, имеет, наверно имеет, право.

Да, он, Климов, имеет право жить красиво, потому что он умный и талантливый.

Нет, подумал он, сам не желая так думать — бывает так, что мысли приходят против собственной воли, — нет, это неправда, и в литографии есть люди талантливые, да и вообще, мало ли людей с дарованиями.

Шел дождь. Выборгская сторона блестела черным блеском. На трамваях ехали разные люди: и рабочие, и нэпманы, и подпольные спекулянты. А Климову кружили

голову удивительные мечтания. Убийство шофера представлялось такой мелочью, что о ней не стоило и говорить.

У Финляндского вокзала он позвал извозчика и, не торгуясь, за тридцать копеек, хотя красная цена была двугривенный, поехал к себе на Петроградскую сторону, к дому, в котором он снимал комнату.

Десять раз продумывал Климов, решаться или не решаться его товарищи.

В ресторане «Кахетия» начался второй, очень важный для дальнейшего разговор.

— Завтра,— сказал, почему-то радостно улыбаясь, Климов,— мы приобретем автомобиль. Шофера придется заменить. Понимаете?

— Я понимаю,— спокойно сказала Мещанинова.

— Ну вот,— сказал Климов,— я думаю, мы вдвоем с Ладыгой справимся.

— Нет,— сказала Мещанинова,— я еду с вами. Я ведь авантюристка. Я хочу видеть, как это все произойдет.

Краем глаза Климов поглядывал на Ладыгу. Ладыга молчал. На верхней его губе, непонятно с каким выражением, топорщились маленькие усики. Бунт, однако, начался не с него. Вzbунтовалась маленькая Михайлова, которая, как казалось Климову, от природы была неспособна противоречить людям.

— Мы с Ладыгой на это не можем пойти,— заговорила она, страшно волнуясь.— Шубы красть и то было страшно, а шофера ведь придется убить? Да? Ведь за это расстрел полагается. И потом, вообще убийство — это... Это ужасно — убийство!

И тут наконец заговорил Ладыга.

— Тамарочка,— сказал он ласково, стряхивая пепел с папиросы,— а на что же ты будешь жить, моя девочка? Мы ведь с тобой в институте месяца три не были, что же ты думаешь, придем и нам за все три месяца стипендию выложат? Небось нас уже исключили. К родителям отправишься? Выгнанная из института, невесть где шатавшаяся? А если и родители выгонят?

Он еще раз затянулся папиросой, выпустил дым, кольца он пускать так и не научился, хотя тренировался часами, и торжествующе посмотрел на Климова — вот, мол, как я ей все изложил.

Михайлова вся раскраснелась, и в глазах у нее показались слезы.

— Нет, я понимаю,— заговорила она, тяжело дыша от волнения,— конечно, надо находить способы, надо красиво жить и, значит, надо иметь деньги, но есть же и другие средства.

— Какие, Тamarочка? — ласково спросил Климов.

— Ну, вот, например, шубы...

— Чудо, что мы на третьей шубе не попались, а уж на четвертой попадемся наверное,— усмехнулся Климов.— За красивую жизнь надо платить, Тамара. Да и что такое жизнь какого-то шофера? Наверно, простой, необразованный парень, который и в ресторане-то приличном никогда не бывал. Тянет себе от получки до получки.

В эту минуту кто-то хлопнул сзади Ладыгу по плечу. Все четверо вздрогнули. У Ладыги вся кровь отхлынула от лица, больно уж серьезный шел разговор, не предназначенный для посторонних ушей.

— Вот вы где, оказывается! — радостно улыбаясь, сказал вновь подошедший красивый молодой человек.— Прожигаете жизнь? А я смотрю, что-то на лекциях вас не видать.

Не спрашивая разрешения, он подставил стул и подсел к столу.

— Знакомьтесь,— спокойно сказала Мещанинова,— это наш товарищ по институту Петя Кулябко.

Климов протянул новому гостю руку и назвал свою фамилию. Он испугался, наверно, так же, как другие, даже, может быть, больше других, потому что он видел Кулябко первый раз в жизни, и все-таки улыбка не сошла у него с губ и рука, державшая папиросу, не дрогнула. Он отметил это и подумал еще раз с удовольствием, что, конечно, сама судьба создала его атаманом.

— Ты в «Кахетии» уже бывал? — спросила равнодушно Мещанинова.— Мне здесь, в общем, нравится. Хотя в «Ша Нуаре», пожалуй, публика эlegantней.

Ладыга достал платок, вытер пот со лба и наконец заставил себя улыбнуться.

— Как видишь,— сказал он,— прожигаем жизнь.

— А деньги где берете? — спросил Кулябко.

— У моего отца в Москве большой магазин,— тороп-

ливо вмешался Климов.— В хорошие минуты папаша бывает щедр.

Заказали еще вина. Выпили. Поговорили.

— Здесь, конечно, мило,— сказал Кулябко,— но вообще кутить лучше в частных домах. Во-первых, народ проверенный, никто за тобой не наблюдает. Во-вторых, интересные дамы. В-третьих, можно сыграть в картишки и выиграть.

— В Москве я знаю такие дома,— небрежно сказал Климов,— а в Петрограде не запасся адресами.

Расстались поздно ночью, подружившись окончательно. Кулябко был сын известного петербургского адвоката, у которого и сейчас в приемной толпились клиенты. Отец сам в молодости принадлежал, как говорили когда-то, к «веселящемуся Петербургу» и сыну не жалел денег на развлечения. Молодому Кулябко, конечно, и в голову не пришло, что его друзья и этот уверенный в себе, хорошо одетый молодой человек Климов просто обыкновенные воры. Он признавал только небольшие нарушения закона, не грозящие крупными неприятностями: посещение притонов, покупка наркотиков, что-нибудь такое, в общем, безопасное. Расставаясь, договорились, что встретятся с Кулябко послезавтра и он поведет их в одну частную квартиру. Кулябко сначала предложил пойти туда завтра, но Климов попросил отложить на день этот интересный визит. Завтра они все четверо должны быть на скучном дне рождения у его, Климова, тетушки. Старая дама будет очень обижена, если гости не придут.

На следующий день в первом часу ночи из ресторана «Ша Нуар» вышла подвыпившая компания. «Черные вороны» были в полном составе. С ними был шофер Пермяков. Михайлову посадили на извозчика и отправили домой одну. Потом перешли улицу. У подъезда «Европейской» гостиницы стояло несколько частных машин, и шоферы зазывали пассажиров. Климов оглядел их. Почти все шоферы пожилые люди, и среди них только один веселый молодой человек.

«Пожалуй, вот этого, веселого,— подумал Климов,— наверно, не женат. По крайней мере, семья не останется без кормильца». Он не знал о том, что этому шоферу осталось до свадьбы две недели, он не знал о невесте, которая завтра станет несчастной на всю жизнь. Ему ка-

залось, что, подумав о семьях пожилых шоферов, проявив такую заботливость и доброту, он этим уже искупил предстоящее убийство.

Все было условлено заранее. Рядом с шофером сел Пермяков, чтобы перехватить руль, когда упадет убитый. За спиной шофера сел Климов, рядом с ним Мещанинова и Ладыга. Делали вид, что провожают домой Мещанинову. Она указывала дорогу, выбирая самые глухие и темные переулки. Климов почти не волновался. Ему казалось, что он, сильный человек, имеет право для своей высокой цели пожертвовать жизнью какого-то обыкновенного парня. Он огляделся. На улице было пусто. Он вынул наган и направил его в затылок шоферу. Он нажал курок, и наган дал осечку. Шофер увидел в висящее впереди зеркало, что пассажир целится ему в затылок. Шофер затормозил и, испуганный, обернулся.

— Что вы, гражданин? — спросил он.

— Да я же шучу, — сказал, смеясь, Климов, — он не заряжен.

Шофер снова пустил машину. Пассажиры были веселые, могли хорошо заплатить, а до свадьбы оставалось всего две недели. Тогда Климов спустил курок второй раз, и на этот раз наган не дал осечки.

Выстрел прозвучал не очень громко. На улице по-прежнему было пустынно и тихо. Труп вытащили и выбросили на улицу. Карманы обыскивать не стали, надо было скорее уезжать. Пермяков сел за руль. Мещанинова села с ним рядом и удивленно сказала:

— Это совсем не страшно. Я думала, будет страшнее.

Долго колесили по переулкам. Заехали в какую-то подворотню и повесили фальшивый номер, он был приготовлен заранее. Машину загнали во двор дома отца Мещаниновой. Пермякову дали пятнадцать рублей. Условились встретиться завтра. Из ювелирного магазина артельщик выносил деньги около девяти часов. До инкассаторского пункта ему предстояло пройти километра полтора. Тут и должна была подъехать машина: Климов с Ладыгой, выскочив из нее, оглушат артельщика, отберут мешок с деньгами и уедут.

Днем катались по городу, пообедать решили в «Европейской» гостинице. Пермяков остался в машине. Когда

вышли после обеда, Пермяков был вдребезги пьян. Машину он все-таки кое-как повел, но часов в семь машина запыхтела и остановилась. Пьяный шофер полез в мотор и объявил, что мотор испорчен и нужен капитальный ремонт. Пермякова прогнали. Чтобы отвязаться, дали ему десятку.

На Выборгской стороне, на Чугунной улице, бросили машину. Обидно было, что убивали зря, но Климов сказал, что на ошибках учатся и что артельщика можно взять и без машины. Еле успели на трамвае доехать до нужного места. Маршрут артельщика девушки выследили заранее. Стояли в подворотне, прикидывались пьяными. Качались и говорили ерунду. Артельщика оглушили рукояткой нагана, выхватили мешок и убежали. Через два квартала их ждала Мещанинова с чемоданчиком. Деньги пересыпали в чемоданчик, спокойно дошли до большой улицы, сели в трамвай и уехали. На следующий день встретились у Климова и пересчитали добычу. Денег оказалось много. Больше восьми тысяч. Вечером встретились с Кулябко и пошли на его «частную квартиру». Каждый взял на первый случай по двести рублей.

АРТЕЛЬЩИКИ ВООРУЖАЮТСЯ

В старой России артельщики были своеобразным народцем, жившим по своим житейским правилам, имевшим свои традиции, свои устойчивые понятия о хорошем и о плохом.

Что такое артельщики? Речь в данном случае идет о членах артели инкассаторов. Каждый член этой артели вносит залог, и из всех залогов получается немалая сумма. Вот этой суммой вся артель отвечает за каждого своего члена. Если среди артельщиков оказался растратчик или жулик, убежавший с казенными деньгами, артель покрывает убыток. Поэтому в артель принимают не каждого. Кандидат должен быть человеком солидным, не замеченным ни в чем дурном, таким, чтобы товарищи могли на него полностью положиться.

Так как в артели действует круговая порука и за преступление одного отвечают все, артельщики долго обсуждают каждого кандидата и только после тщательной проверки принимают нового члена. С годами в инкассатор-

ских артелях подобрались люди солидные, трезвые, честные, которым без опаски можно было доверить любую сумму.

До революции артельщики выполняли поручения частных магазинов и фирм, а теперь с такой же добросовестностью выполняли поручения государственных предприятий и учреждений.

Вечерком получал артельщик выручку магазина, под утро получал выручку ресторана и безоружный, без всякой охраны тихонько, не торопясь нес деньги до ближайшего банка. Было, правда, несколько попыток нападения, но грабители, видно, оказались неопытные, а артельщики поднимали такой отчаянный крик, что даже глухую ночью на защиту сбегались люди.

И вдруг дважды подряд артельщиков ограбили. И в первом и во втором случае обстоятельства были совершенно одинаковы. Из подворотни, мимо которой шел артельщик с деньгами, неожиданно выскочили два щеголеватых молодых человека, один с тоненькими усиками, другой с бритым лицом, и последнее, что вспоминали оба ограбленных артельщика,— это занесенная над их головой тяжелая ручка нагана. Пришли в себя ограбленные артельщики только в больнице. Оба раза неподалеку от места нападения находили пустую сумку, такую, в каких артельщики носят деньги. Очевидно, грабителей поджидал третий соучастник, чтобы переложить деньги из сумки в чемодан или мешок, которые опознать невозможно.

После второго ограбления Васильев поехал в ОГПУ. Он рассказал обстоятельства дела и предложил немедленно вооружить всех артельщиков. В ОГПУ спорить не стали. И польза была несомненная, да и оружия как раз сейчас было много. Только что закупили в Германии большую партию немецких маузеров. Маузерами вооружили сотрудников ОГПУ и милиции. Поэтому оказалось много свободных наганов.

Сложности начались там, где их никто и предполагать не мог. Дело в том, что артельщики категорически отказались вооружаться. Все они были немолодыми людьми, со своими сложившимися привычками, и им представлялось очень страшным не только стрелять, но даже ходить с револьвером.

В Петрограде во время наводнений стреляли из пу-

шек, чтобы предупредить население об опасности. И в старом Петербурге любили рассказывать анекдот про наивного обывателя с Охты или с Васильевского острова, который боится не взбунтовавшейся Невы, а стреляющих пушек, потому что, как только они ударят, так вода и течет с моря в Неву, стало быть, от пушек все зло и происходит.

Вот на этих наивных обывателей и были похожи артельщики. Бандитов они, конечно, боялись, но эта опасность, считали они, неизбежная, обязательно сопутствующая их профессии. А вот носить в кармане револьвер, а то, не дай боже, еще и стрелять в кого-то казалось им смертельно опасным, и согласиться на это они не могли.

Неделю их уговаривали, действовали и добром и строгостью. Наконец они согласились, но своим печальным видом свидетельствовали перед богом и перед людьми, что все это делается против их воли.

Пока их уговаривали, ограбили еще одного артельщика. Снова два молодых человека неожиданно выскочили из подворотни, и один из них был с тоненькими усиками, а другой — бритый. Снова артельщик был оглушен и пришел в себя только в больнице, и снова неподалеку была брошена его пустая сумка.

Теперь артельщики испугались всерьез и стали беспрекословно ходить на стрельбище. Некоторые, впрочем очень немногие, научились даже неплохо стрелять. Зато большинство не обнаружило никаких снайперских дарований. Едва начиная поднимать наган, они уже плотно зажимались от страха. Руки прыгали у них так сильно, что инструктора отступали подальше назад. Впрочем, постепенно и очень медленно дело налаживалось, и некоторые пули даже стали время от времени попадать в мишень.

Только у одного самого старшего и всеми уважаемого артельщика Амфилохиева все еще ничего не получалось. Перед каждым выстрелом он долго крестился, и, хотя пуля каждый раз попадала в совершенно неожиданное место, которое заранее никак нельзя было предугадать, он после выстрела начинал снова креститься, потому что даже это очень неточное попадание не могло бы, по его мнению, совершиться без участия высшей силы. Хотели уж признать его непригодным и освободить

от обучения, но Васильев взялся за него сам и добился в конце концов, что старик перестал жмуриться и попал не очень далеко от цели.

Это было все-таки лучше, чем ничего. На выстрел, может быть, люди сбегутся, да и бандитам будет все пострашнее. И надо же было так случиться, что именно на Амфилохиева было совершено следующее нападение.

Шел он в час ночи посредине улицы — артельщики теперь из осторожности ходили подальше от домов, — и вдруг из подворотни выскочили два молодых человека, у одного из которых были тоненькие усики.

Амфилохиев сразу, конечно, закричал, это средство старое и проверенное, но потом, наконец, вспомнил про револьвер и начал его вытаскивать. К сожалению, бандиты бежали быстрее, чем револьвер вылезал из кармана. Все-таки, когда высокий, безусый поднял над головой Амфилохиева наган, артельщик успел выстрелить. Больше он ничего не помнит.

К этому времени были предупреждены все милицеские посты, и специальные патрули ходили по улицам.

Когда Амфилохиев очнулся в больнице, ему рассказали, что милиционеры и патрульные с разных сторон побежали на выстрел. Бандитов видели издали, вслед им стреляли, но попали или нет, неизвестно. Брошенной сумки поблизости не нашли. Очевидно, сообщник, обычно поджидавший бандитов с чемоданом или мешком, чтобы переложить деньги, на этот раз их не дождался.

Артельщиков охватил боевой подъем. Они сами настояли, чтобы занятия на стрельбище проходили чаще. Они старались изо всех сил и понемногу начали попадать приблизительно туда, куда целились. Выйдя через неделю из больницы, Амфилохиев явился на стрельбище и потребовал, чтобы его учили дальше.

Кроме того, принимались более серьезные меры. Увеличили количество патрулей. Круглосуточно дежурила специальная бригада в угрозыске. Васильев спал на клеенчатом диване в кабинете, готовый мчаться по первому звонку.

Прошла неделя, и две, и три. Артельщики спокойно носили по улицам полные денег сумки. Ни разу никто их даже не попытался ограбить.

ПРОТИВНИКИ РАЗМЫШЛЯЮТ

Ходит Васильев по кабинету и без конца раздумывает. Сначала три, в общем, одинаковым способом украденные из гардероба шубы. Потом убийство шофера и угон машины. Через день машина брошена на Выборгской стороне. Пока преступники владели машиной, ни в городе, ни в пригородах ничего не произошло. Просто убили шофера, угнали машину и через день бросили. Зачем угоняли машину? Зачем убили этого молодого парня, видно, хорошего человека, который собирал деньги, чтобы жениться? После того как машина найдена на пустынной Чугунной улице, вдруг подряд идут четыре ограбления артельщиков. В первый раз — восемь тысяч, во второй — двенадцать, в третий — семь, в четвертый — восемь. И после этого опять молчание. Будем рассуждать: три шубы украдены, конечно, одним человеком или одной компанией, убийство шофера дело рук, вероятно, других людей, ограбление артельщиков — это, наверно, третья шайка. У каждой группы свой особенный почерк преступлений. Ну, а если представить себе, что все это одни и те же люди и что особенность их почерка заключается как раз в том, что они все время меняют почерк? С давних времен знают криминалисты, что у каждого крупного преступника, совершающего преступления неоднократно, даже, может быть, регулярно, есть свой почерк. Что такое почерк преступника? Излюбленный метод или неповторимые детали. Есть преступники, которые, ограбив квартиру, обязательно садятся закусить или выпить чаю. Есть преступники, которые вскрывают кассу всегда одним, только им свойственным способом. Великие криминалисты говорят в один голос: не проявить своей излюбленной манеры, своих индивидуальных черт преступник не может. Эту свою манеру, свой стиль, то, что укладывается в емкое понятие «почерк», можно всегда узнать. Значит, изучайте манеру преступников, изучайте историю преступлений, и это поможет вам в каждом следствии найти правильный путь. В этом случае почерк разный. Почерк похитителей шуб — это одно. Почерк убийц шофера — это другое. Между прочим, никак нельзя догадаться о цели и смысле этого преступления. Наконец, почерк двух молодых людей, выходящих из под-

воротни, оглушающих артельщиков и уносящих сумку с деньгами,— это третий почерк. Представить себе, что в Петрограде появилось одновременно три шайки преступников? Представить себе это можно. Но случай маловероятный. А если почерк как раз и заключается в том, что его все время изменяют? Скажем, украдено три шубы. Дурак подумает: так же легко будет украсть и четвертую. Умный подумает: на четвертой уже обязательно попадусь. И вот именно в ту минуту, когда расставлены все капканы и все глаза нацелены на театральные гардеробы, он себе говорит: довольно! И начинает в темных переулках оглушать рукояткой нагана артельщиков. Три случая проходят благополучно. И вдруг... Оказывается, артельщики насторожились. Оказывается, они теперь вооружены. Во время последнего нападения артельщик хоть неудачно, но выстрелил. Со стариком, хоть и вооруженным, справиться можно. Но значит, угрозыск насторожен. Угрозыск поджидает ударов. Стоп. Пора переходить на новый почерк. Артельщики могут спокойно нести свои запечатанные сумки с деньгами — преступник продумал новый метод. Времени у него хватает. Денег достаточно.

Вот только убийство шофера путает. Убили человека, угнали машину и через день бросили. Похоже, скорее, на «шалость» пьяных мерзавцев. Может быть, это разгулялись богатые молодые люди? Может быть, это ни к шубам, ни к артельщикам отношения не имеет? Балованные сынки торговцев решили испытать сильные ощущения.

Ходит Васильев по кабинету и думает.

Может быть, конечно, и так. А может быть, и другое. Может быть, придуман был план, для которого нужен автомобиль. Шофера убили, автомобиль угнали, а план не удался. Шоферы угрозыска проверили мотор. Мелкое повреждение, которое знающий шофер устранил в полчаса. Но откуда мы знаем, что у них был знающий шофер? А если это был любитель? А если это был пьяный? А если просто они боялись и важно им было скорей убежать?

Ладно, отбросим пока историю с машиной. Представим себе, что какая-то компания молодых людей — то, что они молодые, это бесспорно, женщины, потерявшие шубы, говорят об этом единодушно,— так вот, компания молодых людей, чтобы разжиться деньгами, решает проделать эту операцию и, пофлиртовав с незнакомыми девушками,

приобретает три дорогие шубы. Если это были богатые люди, им незачем воровать шубы. Если это были люди бедные, то аппетит приходит во время еды. Продолжать знакомиться с молодыми девицами и отбирать у них шубы опасно. Три шубы стоят самое большее пять тысяч. Они продали дешевле. Вероятно, скорняку на поделки, так, чтобы шубы разрезали и опознать их стало невозможно. Ну, скажем, три с половиной тысячи. Деньги большие, тратить их можно свободно. Потратили. Что делать дальше?

Нет, скорее всего, это просто перемена почерка. Сначала были шубы, потом артельщики. А шофер и машина? Может быть, это другие люди? Может быть, это просто неудавшийся замысел, который не стоит и разгадывать, раз он не удался?

«Отбросим пока шофера,— думает Васильев.— Остаются похищение шуб и ограбления артельщиков. Казалось бы, очень разные преступления. И все-таки в главном, в психологии преступников, есть очень много общего. Вот я, допустим, преступник. Я высматриваю, где открытая дверь, дверь, про которую не подумали. И вот такая находится».

Три-четыре быстрых удара. Как только мы спохватываемся, как только мы настораживаемся, как только мы готовы их схватить, они уже далеко, они уже высмотрели новую незакрытую дверь.

Так это же и есть почерк!

Суметь вовремя уйти из театрального гардероба. Суметь забыть про сумки с большими деньгами, которые так легко отнять у артельщиков... Это очень одинаково. За этим один замысел и одна воля. Все время почерк меняется. Но перемены сами по себе материал для опознания. Правы были классики криминалистики: у каждого преступника своя манера и свой стиль. У этого чуточку похитрей. Значит, и розыску надо быть похитрей.

А может быть и другое. Возможно, все это только домыслы, а на самом деле просто была одна компания, которая ворует шубы, а другая—которая грабит артельщиков? Вряд ли. Всегда бывает так, что у преступника не хватает воли остановиться вовремя. И вдруг чтобы в одном городе одновременно появились две шайки, которые вовремя остановились! Не может этого быть. Нет, это тот

же почерк, о котором знают все криминалисты, только немножко труднее распознаваемый».

Ходит по комнате Васильев, думает.

Если это так, то должен быть совершенно неожиданный удар где-то в области, ничем не напоминающей прежнюю. Предусмотреть? Как предусмотреть? Можно грабить ювелирные магазины, отбирать выручку у торговек молоком, раздевать мужчин в шубах с бобровыми воротниками.

Ювелирные магазины? Для этого нужно умение. Да и специальные инструменты, которые так просто не достанешь. А эти грабители, видимо, дилетанты. Они интеллигентней обычных бандитов, у них больше выдумки, но инструментов у них нет и умения тоже. Торговки молоком, мужчины с бобровыми воротниками? Мелко. Риск большой, а выручки мало. Что же остается?

Ходит Васильев по кабинету и думает. Не как Васильев — работник угрозыска, а как главарь таинственной шайки, неведомый его противник.

Все ищет он, где просчет угрозыска, где незакрытая дверь, где возможность внезапно и смело сразу взять большую сумму. Из магазинов и ресторанов деньги в банк доставляют артельщики. Ну, а из банка зарплату на заводы и предприятия? Кассир с двумя охранниками едет днем на извозчике. Кругом людные улицы, постовые, телефоны. А в пригород? В пригородах немало предприятий. Кассир с двумя охранниками занимает отделение в обыкновенном дачном вагоне. В соседних отделениях едут пассажиры. Пассажиры люди мирные, безоружные, их легко запугать, а места между станциями пустынные, и стоп-краном поезд можно остановить...

Зарплата у Васильева невелика, но дорогие папиросы иногда он себе позволяет. Он открывает ящик, достает картонную коробку папирос «Жемчужина Крыма» и закуривает толстую, желтого цвета папиросу.

...Да, сегодня же надо распорядиться. Пусть, кроме охранников в форме, с завтрашнего же дня в каждом вагоне, в котором везут деньги, едут два сотрудника угрозыска, вооруженных, но в штатском. Может быть, Васильев ошибается и неведомый его противник рассуждает иначе, задумывает совсем другое, но поймать его можно, только предусмотрев и предупредив его планы. Еще раз

проверить, еще раз продумать все. Нет, почти наверняка главарю неизвестной шайки должна прийти в голову мысль о тихом дачном поезде и о внезапной стрельбе, которая парализует сопротивление.

Светится окно в бывшем здании Главного штаба. Стоит у окна Васильев. Смотрит на Дворцовую площадь. Думает.

Начало марта. Холодный и резкий ветер. Мало кому в такую погоду придет в голову шататься по городу без нужды. Но вот человек в дорогом пальто, подняв меховой воротник и засунув руки в карманы, медленно, очевидно прогуливаясь, переходит Дворцовую площадь. Обойдя Зимний дворец, он выходит на набережную. Сразу ветер с залива налетает на него, холодит уши, нос, щеки. Молодой человек глубже утыкается в воротник. Хорошо одетому человеку ветер не страшен. Климову удастся даже закурить, повернувшись к ветру спиной. Медленно идет он по набережной, попыхивая папироской, богатый бездельничающий человек. Год с небольшим прошел после того, как молодой рабочий встретился с тремя студентами в танцевальном зале рабочего клуба, который казался ему очень шикарным местом. Сейчас Климов мог бы купить себе десять шуб, дорогие бриллиантовые кольца, золотой портсигар. Мог бы ходить каждый вечер в самые лучшие рестораны. Но ему все это не нужно. Он не какой-нибудь маленький спекулянт, сегодня разбогатевший, чтобы разориться завтра. У него большие деньги, солидное состояние. Он мог бы войти компаньоном в торговую фирму или открыть свое собственное дело. Но зачем все это ему нужно? Он избалован богатством, ему доступно все, и поэтому он ничего не хочет.

Кокетничает Климов. Даже наедине с собой, сейчас, когда на набережной не видно ни одного человека, все равно кокетничает Климов. Деньги у него есть, и много. Это верно. А все остальное неверно. Скверные сны снятся ему по ночам. Несколько раз за ночь просыпается он в холодном поту. В ресторан он может, конечно, пойти, но, если часто будет ходить, вдруг да поинтересуются, откуда у рабочего парня из маленькой литографии, давно уже уволенного за постоянные прогулы, такие деньги. Его друзья студенты давно уже не студенты. Он, рабочий, давно

уже не рабочий, и, если по правде сказать, мало бывает у него спокойных минут. Идет он по Невскому и все смотрит, не налетит ли вдруг на него бывшая владелица дорогой шубы, с которой когда-то сидел он в голубых бархатных креслах Марининского театра. Приходит к нему, франтоватому, красивому молодому человеку, спившийся оборванец шофер Пермяков и просит десятичку, и богатый барин Климов не может ему отказать, а то вдруг разозлится этот бродяга, выпьет для храбрости, пойдет и расскажет, как выстрелом в затылок убили шофера прокатного автомобиля. Опасности кругом. А ведь сколько они принимают предосторожностей! Кажется, все продумано. И каждую минуту все может сорваться. Вдруг какой-нибудь из ограбленных артельщиков вспомнит усики Ладыги или покажется ему знакомым профиль Климова. Улики? Да начни только проверять, улики найдется сколько угодно. Метрдотели всех ресторанов покажут, что он бывал у них постоянно и не стеснялся деньгами. А откуда деньги? Не работает, не торгует, даже не спекулирует. Нет уж, если случайно попадешься на глаза, до всего докопаются.

Каждый раз, ограбив артельщика, в ту же ночь делили они деньги, и Климов с Ладыгой уезжали в разные города. Ладыга не знал, где Климов, Климов не знал, где Ладыга. Выбирали они обычно курорты. Туда приезжают разные люди, и не надо искать причины приезда: приехал погулять, отдохнуть, повеселиться. Михайлова и Мещанинова в нападениях не участвовали. Когда артельщиков грабили, они поджидали неподалеку с чемоданчиком, чтобы переложить деньги и сумку выбросить. Значит, их не могли опознать. Они оставались в Петрограде, пока молодые люди прогуливались по набережной Севастополя или Сухума. Дней через десять, а то недели через две, увидев, что все спокойно и, значит, следы не замечены, одна из них давала в вечерний выпуск «Красной газеты» заранее условленное безобидное объявление о том, что, мол, ищу родственника, Колесникова Ивана Петровича. Прошу его написать до востребования, Ленинград, почтаamt, И. П. К. И Ивана Петровича Колесникова на свете не было, и таинственный И. П. К. не заходил на почтаamt спрашивать письмо до востребования, а просто в Одессе или Батуме Климов и Ладыга, купив очередной номер вечернего вы-

пуска «Красной газеты», прочитывали это объявление и знали, что можно спокойно возвращаться в Петроград. Вот как были они осторожны. И все-таки опасность подстерегала на каждом шагу. Многого можно предусмотреть. Можно рассчитать каждый шаг, все предвидеть и все предугадать, кроме случая. Неожиданное стечение обстоятельств, случайная встреча, какое-нибудь нелепое совпадение, которого по теории вероятностей не может быть и которое все-таки будет, и кончено.

Даже здесь, на пустынной, безлюдной набережной, Климову было страшно. Холодный ветер пробрался за воротник, и Климов вздрогнул от холода. Он посмотрел на светящиеся часы — был уже двенадцатый час — и подумал: нервы расшатались. Еще одно дельце покрупнее, и надо будет толком подлечиться и отдохнуть. Но сейчас отдыхать еще рано. Слишком быстро вооружились артельщики. Еще не набралась сумма, на которую можно прожить всю жизнь или, чем черт не шутит, накупив золота и бриллиантов, перейти глухой ночью лесную пустынную границу.

Нужно еще одно дело. Какое же? Ему, Климову, надо выдумать. Не Ладыга же выдумает, не Михайлова же.

План за планом перебирает Климов. Этот слишком опасен, тот сулит слишком мало выгоды. Прежде всего внезапность. Нападать надо днем, на людях. Стрельба, паника и растерянность. И тут вспоминает Климов свою литографию. День полочки. Кассир с двумя охранниками выходят из вагона дачного поезда, а в вагоне едут бабы, возившие в город молоко или картошку, мужики в лаптях, ездившие на заработки. Все народ не боевой, трусоватый...

Может быть, конечно, это случайность, что мысль о дачном поезде пришла и Васильеву и Климову, а вернее всего, Васильев по прошлым делам уловил метод мышления главы «Черных воронов» и поэтому точно угадал его дальнейшие планы.

Не угадал бы на этот раз — угадал бы в следующий. А следующий раз был бы обязательно. Слишком легко доставались «Черным воронам» деньги, чтобы хватило у них силы воли остановиться. План на будущее составлен. Ветер воет над Невой. Уже двенадцатый час, пора пойти развлечься.

ВСЕМ ВЕЗЕТ, УДИВИТЕЛЬНО ВЕЗЕТ

В Петрограде в то время было свободно с жилой площадью. Бежали за границу владельцы особняков и богатых петербургских квартир. В голодное время многие петроградцы уехали на юг, где можно было прокормиться на сытых кубанских или украинских хлебах. Наконец, правительство переехало в Москву, за ним потянулись учреждения, опытные работники и специалисты. Теперь, когда страна вернулась к нормальной жизни, у петроградцев, оставшихся в городе, появились средства и возможности ремонтировать, отделять и обставлять квартиры. Много всякого смутного народа крутилось тогда в Петрограде. И во многих квартирах были притоны. Они ничем не напоминали суматошные притоны времен военного коммунизма, где аристократы встречались с бандитами, пили самогон, играли в очко и составляли заговоры. Время заговоров прошло. Никто уже не верил в генерала Деникина или Юденича, которые на белом коне под малиновый звон колоколов въезжают на ликующий Невский. Генералы обивали пороги приемных в Париже, белогвардейцы оказались трусами и бандитами. Теперешние притоны выглядели как вполне приличные частные квартиры. Посетителей в них пускали с разбором, и никакого безобразия не допускалось. Здесь бывали только хорошо одетые, воспитанные мужчины, которые встречались с красивыми дамами, пили дорогое вино и играли не в грубое бандитское очко, а в интересную американскую игру покер, которая теперь наконец добралась до России. Здесь жирный владелец колбасного магазина встречался с окончившим Пажеский корпус бывшим гвардейцем. Модный частнопрактикующий врач или адвокат играл в покер с крупным советским работником, директором треста или специалистом.

Да, советские работники здесь тоже бывали. Государственный аппарат создавался в условиях войны и разрухи. Работников было ничтожно мало, и разбираться особенно не приходилось. Самые разные люди попадали на посты, в том числе и на крупные: честные и бесчестные, искренние и неискренние.

И угар нэпа был. Ловкачи, попавшие случайно в партию и случайно занявшие крупные посты, завидовали

богатым и независимым нэпманам. Почему, если торговец может сидеть в хорошо обставленной квартире, в обществе хорошо одетых, вежливых людей, пить дорогое вино или крупно играть на зеленом сукне ломберного стола, почему же он, большой начальник, руководитель, должен отказываться от всего этого? Показываться в публичных местах ответственному работнику было опасно — приметят, и начнутся неприятности, — а в уютных частных квартирах все шито-крыто, никто не узнает. Торговцу выгодно быть хорошо знакомым с ответственным работником и даже проиграть ему в покер сотню-другую. Придешь потом в трест — знакомы, отказать неудобно. Он и контракт подпишет и авансирует. Словом, пойдет навстречу. Тут уж выигрыш не на сотни считается, а на тысячи.

Вот именно в такой дом Кулябко в свое время привел Ладыгу и Климова. В квартире было много ковров, бархатных портьер, фарфора и торшеров. Тут были красивые женщины, можно было заказать вина или сесть сыграть в карты. Словом, Климову и Ладыге очень понравилось. И они тоже здесь пришли к двору. Одеты хорошо, вежливы, денег много, не скупятся. Словом, они быстро стали своими людьми. Через три дня после ночной прогулки по набережной Климов пришел сюда. Было поздно, но в этот дом приходиться позволялось когда угодно. Он позвонил условным звонком: три коротких, два длинных; ему открыла красивая хозяйка и радостно поздоровалась. Его уже не ждали. Народу было сегодня много и все знакомые, те, с которыми Климов здесь неоднократно встречался. Все шло как обычно: пили вино, играли в карты. Ладыга увидался за очень красивой, но немного громоздкой дамой, раза в два выше и шире Ладыги. Усики у него топорщились, и этим он как бы восполнял недостаток роста и комплекции. Ладыга был в ажиотаже. Ему казалось, что он блестящий, умный человек и находится не в обыкновенном притоне, где за все приходится платить, а в одной из роскошных приемных старого Санкт-Петербурга, где все им восхищены и где он совершенно свой человек.

Только через полчаса Климову удалось вызвать его в переднюю.

У многих посетителей квартиры случалась необходимость поговорить наедине. Для этого была отведена передняя. Там стояли два кресла, столик, пепельница. Ме-

шать разговаривающим было не принято. Ладыга и Климов уселись, закурили, и Климов очень тихо сказал:

— Ездил сегодня в Бабино. Там чудaki живут. По-прежнему на собрания ходят, курсы какие-то открыли. Я пришел к одному, Вася такой. Даже не помню фамилии. Они там думают, что я на Путиловском работаю. Ну, сказал, что, мол, хочу жениться, попросил двадцать рублей на неделю. Как я ждал, так и получилось. Вася говорит, денег нет, но завтра в двенадцать получка, если я к часу приеду, он даст. Я посмотрел расписание, поезд десять ноль-ноль. Я думаю, что деньги везут этим поездом. На вокзал прийти надо пораньше. Часов в девять. Встретимся на перроне.

Ладыга сидел, закинув ногу на ногу, откинув голову назад, и пытался выпустить изо рта хотя бы одно-единственное кольцо дыма. Но кольца не получалось. Была у этого маленького человека большая мечта: пускать кольца папиросного дыма не хуже Климова, но никак этого ему не удавалось добиться.

— Договорились? — спросил Климов.

Ладыга молча кивнул головой. Он играл перед друзьями и перед собой молчаливого значительного человека и старался говорить поменьше. Он считал, что, чем больше дела, тем нужно меньше слов.

Посидев немного с дамами и выпив несколько бокалов вина, Климов решил поиграть в карты.

В игровой комнате стояли два ломберных стола. За одним сидели винтёры, люди все пожилые, серьезные, молчаливые. У них на столе лежали щеточки и мелки, и игра шла на умении, на расчете, на опыте. За вторым столом играли в покер, в игру азартную, дерзкую, построенную на обмане, который входит в ее правила и культурно называется «блэф». Когда Климов вошел в комнату, жизнерадостный молодой человек, которого все здесь звали Петенькой, вел торговлю с солидным ответственным работником Мироновым. Два остальных партнера, компаньоны братья Чикины, владельцы галантерейного магазина, играли вяло и все время пасовали. Вероятно, они уже проиграли Миронову столько, сколько считали нужным проиграть ему за то, что он порекомендует их нужному человеку или уступит им какой-нибудь подряд. Сразу уходить было им неудобно, а проигрывать больше они не хотели.

Настоящая цена была уплачена, а дорожке Миронов не стоил. Петенька, сын зубного протезиста, имевшего дело с золотом, был глуп как пробка. Он появлялся здесь только тогда, когда ему удавалось вытянуть у отца приличную сумму. Тогда он врывался возбужденный и радостный, заказывал вина и садился играть. Так как глуп он был непроходимо, партнеры поумней быстро обыгрывали его, и Петенька часа через два уходил с видом щенка, которого неизвестно за что побили.

И на этот раз тоже Петеньку обчистили дочиста. Он встал огорченный, пробормотал, что ему пора уходить, и исчез.

— Будете играть? — спросил Миронов.

— Можно, — сказал Климов и занял свободное место.

Климов сегодня был взвинчен. Завтра им с Ладыгой предстояло ограбить кассира, везущего зарплату в Бабино. Прodelать всю операцию предстояло днем, в вагоне, полном пассажиров, и, остановив поезд стоп-краном, удирать прямо по полю по снежному насту. Казалось бы, дело было очень рискованное, но Климов считал, что шансы на успех почти верные. Кто же нападает днем, в переполненном вагоне? Раз никто не нападает, значит, никто и не ждет нападения. На их стороне внезапность, быстрота и паника. И все-таки он был, повторяем, взвинчен. Только игра, казалось ему, может ускорить томительный ход времени.

Миронов думал, что сегодня у него необыкновенно удачный день. Ну, братья-галантерейщики проиграли со знанием, это он понимал, а вот уж Петеньку просто судьба подкинула. Сколько он всего за вечер выиграл? Миронов был игрок азартный и, как все азартные игроки, суеверный. Он верил во множество примет, в том числе и в то, что до конца игры подсчитывать выигрыш не к добру. И еще верил он, что бывают счастливые и несчастные дни. Сегодня у него был счастливый день. Такой день нельзя было упустить. «Сейчас обыграю этого Климова, — думал он, — а уж тогда подсчитаю».

Миронов недавно еще занимал крупный пост в губернском суде. Всего года три назад он вступил в партию, но так как имел юридическое образование, а юристами партия была небогата, то быстро выдвинулся. Он считал, что раз он член правящей партии, то ему сами собой полага-

ются крупные посты и солидные оклады. Он думал, что и все так думают, а молчат только потому, что об этом полагается молчать. Речи он произносил хорошо и бить себя кулаком в грудь умел. Брал он взятки или не брал, было никому не известно, но, во всяком случае, несколько дел решено было неправильно. Решения в Верховном суде отменили, а на Миронова стали коситься. Начальству казалось подозрительным, что все эти дела решены были в пользу частных торговцев.

Может быть, конечно, рассуждало начальство, просто он не сумел правильно политически оценить факты. С другой стороны, юрист же! Должен понимать. А может быть...

Дальше председатель губсуда не хотел идти в своих рассуждениях. Слишком уж страшно было даже в мыслях обвинить коммуниста, что он берет у нэпманов взятки.

Посоветовались в обкоме партии и решили, что берет он или не берет, а лучше из губсуда его убрать. Слишком горячее дело. Назначили Миронова на пост директора треста водоочистки. По протокам Невы, по Малой и Большой Невке, по Фонтанке и Мойке, по каналам и канавкам медленно двигались большие, неуклюжие землечерпалки. С грохотом, стуком и свистом поднимали они со дна ил, наносы, тину. Работа была спокойная, медленная, ленивая, но необходимая для города. Все эти землечерпалки подчинялись тресту, который и возглавлял Миронов. Конечно, это не губернский суд. В губернском суде человек не станет скупиться, если знает, что завтра в открытом судебном заседании решается его судьба. В тресте столько не дадут. И все-таки были кое-какие выгодные подряды, и от Миронова зависело, кому их передать и с кем подписать договор. Кое-что покупалось у частных фирм, и тоже Миронов мог выбрать продавца. Словом, детишкам на молочишко... Впрочем, у Миронова детишек не было и молочишко он не любил... Так или иначе, кое-что очищалось. С одной стороны, очень обидно, что доходы сильно понизились. С другой стороны, хорошо уже было то, что о старых делах не пронюхали. Миронова неудержимо влекло к дорогому вину, к красивым женщинам, к карточному столу. Денег ему всегда не хватало. И вот наконец сегодня выпал его день.

Игра сразу пошла крупная. И Миронов и Климов представляли по полбанка. Банк рос на глазах. Открылись.

У Климова карта была старше, он небрежно пододвинул весь банк к себе. Роздали карты снова. Братья-галантерейщики спасовали сразу. Климов и Миронов торговались до прикупа, потом прикупили, и тут торговля пошла совсем крупная. Миронов решил, что проигрыш был только случаем. Сегодня же ему везет. Он должен выиграть. Да и карта была хорошая. Он поднимал и поднимал банк, и Климов тоже с охотой все повышал ставки. И уже слух о том, что идет большая игра, распространился по квартире. Пришли гости полюбоваться, и даже винтеры повернули головы к покеристам. Наконец торговля кончилась. У Миронова дрожали руки, он разложил карты на столе.

— Все?—спросил Климов, выложил свои карты и усмехнулся, потому что его комбинация опять была старше.

Часу не прошло, как Климов сел к столу, а Миронов уже проиграл и те деньги, которые он принес с собой, и те, которые ему нарочно проиграли хитрые братья-галантерейщики, и те, которые спустил ему сдуру радостно улыбавшийся Петенька. Среди тех пачек банкнотов, которые Климов после игры небрежно засовывал в карман, последней была заветная пачка, которой Миронов собирался на следующий день покрыть свой долг в бухгалтерии. Бухгалтер давно уже требовал погашения долга, а бухгалтер был такой человек, что, если не погасить долг, мог устроить и неприятность. И так хорошо получалось сначала! Погасил бы долг Миронов и был бы чист. А теперь даже отыграться не на что. И глупость какая, ведь везло же ему сегодня. Не могло же так вдруг перестать везти.

— Черт знает что! — сказал Миронов. — Не захватил с собой больше денег. Давайте до завтра под честное слово одну игру?

— Нет, — усмехаясь, ответил Климов, — на наличные, если хотите, пожалуйста.

— Выйдем на минуточку, — сказал Миронов, и что-то просительное было в его голосе. Очень уж хотелось ему отыграться.

Они вышли в переднюю, но не сели, а стали у стены.

— Маузер вам нужен? — тихо спросил Миронов.

— Большой, маленький?

— Маленький, недавно привезенный из Германии.

— Он у вас с собой?

Миронов молча вынул из кармана маленький вороненой стали маузер.

— Патроны? — деловито спросил Климов.

— При себе двадцать пять, — сказал Миронов.

— За сколько пойдет?

— Сколько предложите?

Сторговались за двести. Климов их отыграл в две игры. Он отвлек Ладыгу от громоздкой высокой дамы, и вдвоем они вышли на улицу.

Было три часа ночи. Решили, что Ладыга пойдет к Климову ночевать и утром они вместе поедут на вокзал. По Дворцовому мосту зашагали на Петроградскую сторону. На середине моста остановились, закурили.

— Завтра нас ждет удача, — сказал Климов. — Вот увидишь, постреляем немного, заберем деньги и скроемся. Преступников всегда ловили потому, что преступники были дураки. А у нас все предусмотрено. Красиво мы проживем, Ладыга.

Ладыга молчал.

— Ты что, не уверен? — спросил Климов. — Ты же видел, как мне сегодня везло. Я ведь даже играть серьезно не собирался. Так, думаю, от нечего делать. А выиграл не меньше тысячи. Домой придем — посчитаем. И как раз накануне дела судьба еще пистолет посылает. Маузер просто конфетка, новенький, только что из Германии. Так что же ты думаешь, судьба это нам зря дарит? Завтра наша удача, Ладыга. Мы с тобой еще знаешь как красиво проживем! Кстати, сбрей усики. Небось артельщики про них уже рассказали. Не надо, чтобы были приметы.

В ПРИГОРОДНОМ ПОЕЗДЕ

Утром на перроне Николаевского вокзала стоял железнодорожный состав, и жители пригородов с мешками, узлами и молочными бидонами не торопясь заполняли грязные, тесные вагоны. Все это были бедно одетые люди, крутившие самокрутки из обрывков газеты и нагруженные таким количеством вещей, что, казалось, одному человеку их и снести невозможно. В вагонах пахло грязной одеждой, махоркой и смазанными дегтем сапогами. Два молодых человека резко отличались от остальных пассажиров. Они были одеты хорошо, даже нарядно. Один хотя

ростом был и невелик, но вышагивал по перрону с важностью необыкновенной. Другой держался попроще, но тоже был одет не для загородной поездки. В его остроносых ботинках и бежевых гетрах, пожалуй, нельзя было пройти по заваленным снегом немощеным улицам маленьких поселков, к которым отправлялся поезд. Естественно, что, придя почти за час до отправления, они гуляли по перрону и не заходили в вагон. Весна уже чувствовалась, воздух был теплый и свежий, не хотелось лезть в вагонную духоту.

Минут за двадцать до отхода поезда по перрону прошли три человека. Два стрелка военизированной охраны шагали по сторонам, между ними шел немолодой кассир, неся в руке маленький чемодан. Все трое вошли в четвертый от паровоза вагон и заняли целое отделение. Кассир сел у окна, стрелки — друг против друга, поближе к выходу.

Франтоватые молодые люди продолжали прогуливаться по перрону и, кажется, даже не заметили кассира со стрелками. Они смотрели, как, пыхтя и пуская струи пара, пятясь, подошел и прицепился к составу паровоз. Только тогда, когда в ответ на свисток дежурного по станции паровоз простуженным басом загудел, дернулся и по всему составу зазвякали буфера, потом еще раз и еще раз дернулся и только с третьего раза, поднатужившись и громко пыхтя, медленно потащил состав, — только тогда молодые люди уже на ходу вскочили на подножку того вагона, в котором ехал артельщик.

Хотя ехать было недалеко, но пассажиры расположились основательно, на долгую дорогу. Франтоватые молодые люди сели в середине вагона, закурили и молча стали смотреть на пассажиров, на неторопливо проползавший за окном снежный весенний пейзаж. Поезд останавливался часто. Стоял подолгу, трогался паровоз с трудом. Молодые люди молчали, прислушивались к разговорам пассажиров, прислушивались равнодушно, просто так, чтобы скорее прошло время, кажется, даже дремали с закрытыми глазами. Поезд шел уже час, а отъехал от Петрограда недалеко, километров двадцать или двадцать пять. Кассир дремал, стрелки закурили, не потому, что им хотелось курить, а потому, что очень клонило ко сну, и хотя днем в дачном поезде, в вагоне, полном пассажи-

ров, никакая опасность им не угрожала, но порядок есть порядок, охране спать не положено, а без самокрутки не ровен час можно и заснуть.

Снова остановился поезд у маленького деревянного перрона, снова стал дергать паровоз, собираясь с силами, зазвякали буфера, и наконец поезд тронулся, и медленно поплыли назад деревянный перрон и маленький деревянный вокзальчик; тогда тот из молодых людей, который был повыше; встал и, лениво потянувшись, сказал своему маленькому товарищу:

— Пошли, что ли.

Маленький тоже встал, и оба не торопясь пошли по вагону в ту сторону, где сидел артельщик.

Никто не обратил на это внимания. Мало ли что. Может, они такие сознательные, что идут на площадку покурить, хотя все курят прямо в вагоне. Может, им сходить на следующей станции.

И никто ничего не понял, когда вдруг в вагоне поднялась стрельба.

Только что было спокойно и тихо, как всегда бывает в дачных поездах, постукивали колеса на стыках, велись негромкие разговоры, и вдруг неожиданно стрельба, крики. Первыми повалились стрелки; один повалился на бок, держа винтовку в руках, а другой — вперед, загородив путь к кассиру. Кассиру пуля попала в голову, и он лежал мертвый, так, наверно, и не поняв, что случилось. Маленький вскочил на лавку, переступил через убитого стрелка, схватил чемоданчик артельщика и ловко, как-то даже по-балетному ловко, как будто танцевальным «па», перескочил через стрелка обратно. Второй, у которого в каждой руке было по револьверу, один из них сунул в карман и, подойдя к стоп-крану, резко дернул ручку. Сразу заскрежетали колеса, поезд стал замедлять ход, два молодых человека кинулись к выходу. Первым бежал маленький, вторым тот, который повыше. Тут пассажиры не то чтобы опомнились, опомниться никто еще не успел, так быстро все произошло, но просто заинтересовались, что происходит. Какая-то девочка из соседнего отделения выскочила, чтобы посмотреть, что за шум, и молодой человек сразу выстрелил в нее из нагана, и она села на пол, почувствовав только удар, но не почувствовав еще боли. Мать бросилась к ней и тоже осела на пол, потому что пу-

ля попала ей в бок. Поезд уже стоял. Маленький настезь распахнул двери и коротко свистнул. Тот, который повыше, вышел на площадку и закрыл за собой дверь.

В отделении, соседнем с тем, в котором сидел кассир, расположились два неприметных человека, судя по одежде — скромные служащие какого-нибудь загородного предприятия. На самом деле это были сотрудники угрозыска, неприметно сопровождавшие кассира. К сожалению, Васильев, по приказанию которого они ехали, предупредил их, что у одного из бандитов тоненькие усики. Ладыга их сбрил накануне, и поэтому, оглядев всех пассажиров, сотрудники не опознали «Черных воронов».

Они решили, что эта поездка зряшная и им остается только дремать. Они и дремали до тех пор, пока не поднялась стрельба.

Собственно говоря, только теперь в вагоне началась паника. Только теперь заплакала раненая девочка. Кинулись к женщине, но она была мертва. Теперь сотрудники угрозыска опомнились и побежали к площадке. Поезд уже стоял. Метров на двести шло голое поле, покрытое твердым снежным весенним настом. По этому насту быстро бежали два молодых человека к начинавшейся дальше сосновой роще. Из других вагонов тоже выскакивали люди. Они не знали, что произошло, и просто хотели выяснить, почему вдруг в поле остановился поезд. С площадки вагона, в котором ехал кассир, кричал какой-то старик: «Держите, держите!» Сотрудники угрозыска, вынуженные наганы, начали стрелять в бегущих, но те уже скрылись за стволами сосен. Сотрудники бросились за ними, из рощи раздалось еще несколько выстрелов. Один из сотрудников был ранен в руку, но оба продолжали бежать. Из рощи больше не стреляли. Обыскали всю рощу и, конечно, никого не нашли. Были следы, но за рощей начиналось шоссе, и там следы обрывались. Вышли на шоссе, осмотрелись. Никого не было видно. Бегом побежали обратно к поезду, и поезд сразу же тронулся дальше. Раненую девочку надо было довести до врача, да и путь нельзя было занимать. Когда поезд подходил к первой станции, сотрудники на ходу соскочили и бросились к телефону...

Климов и Ладыга, пробежав метров сто по шоссе, свернули на проселок. Климов места эти знал прекрасно. Еще

когда он работал в литографии, летом ходили сюда с ребятами выпить и закусить на чистом лесном воздухе. Кроме того, задумывая ограбление, он заново прошагал тут все дороги и все продумал. Расчет был точный. Наст выдерживал человека. Климов накануне попробовал пройти и убедился в этом. На шоссе терялись следы, да и на проселке следы не оставались. Проселок вел к кирпичному заводу и был так изъезжен телегами с кирпичом, что сам черт не нашел бы здесь следов. По проселку они прошли с километр. Шли быстро, но не бежали, чтобы не выдохнуться.

Через километр сделали еще перебежку по снежному насту, вышли на другой проселок, который вел к станции, ближней к Петрограду. Климов посматривал на часы и торопил: скоро должен был пройти поезд на Петроград. Все дело было в быстроте. Важно было доехать до города прежде, чем объявят розыск. Они подходили к вокзалу, когда дым паровоза был уже виден. Со станции навстречу им шли оповещенные по телефону стрелки. Климов и Ладыга повернули назад. Было ясно, что на станциях показываться нельзя. Решили вскочить в товарный на ходу. Плутали по лесу. Устали так, что еле ноги тащили. Чемодан с деньгами несли по очереди. Встретили какого-то мужичонку, Климов решил его пристрелить, но Ладыга стал хныкать, что это лишняя улика, и ударил Климова по руке, в которой тот держал маузер. Молчаливый Ладыга от страха стал смелым и решился спорить с атаманом! Климов очень удивился, решил проучить Ладыгу, чтобы не нарушалась дисциплина в шайке, но в это время загудел паровоз. Железная дорога шла, оказывается, совсем рядом, не видная за деревьями. Оба, забыв про все, кинулись к поезду. Каждый боялся оставить другому чемодан. Климов вскочил на пустую площадку с чемоданом в руке, и сразу за ним вскочил Ладыга. Они отдышались и привели себя в порядок. Не доезжая товарной станции, соскочили с поезда, прошли до города пешком и сели в трамвай. Доехали до Николаевского вокзала, прошли мимо тяжеловесного памятника Александру III и замешались в толпе, гулявшей по солнечной стороне Невского. Здесь им уже ничто не угрожало. Мало ли молодых, нарядно одетых людей! Они снова сели в трамвай, проехали до Садовой, вышли, прошли до Мар-

сова поля, прошли по Мойке. Тут было пустынно. За ними никто не шел. Ограбление удалось.

«Теперь опять надо сделать перерыв,— подумал Климов,— и выдумать что-нибудь новое. Теперь, наверно, кассирам усилят охрану, а мы неожиданно ударим в другом месте, где нас не ждут».

Климову стало весело. Он подумал, что все прежние преступники были глупые, ограниченные люди. Их хватало только на то, чтобы выдумать один какой-нибудь способ. Конечно, их быстро узнавали по почерку и ловили. А если фантазия преступника неограниченна? Если почерк все время меняется? Если каждый удар наносится в неожиданном месте? Как тогда? И Климов подумал, что у него хватит фантазии на много лет и на много разных, не похожих друг на друга способов ограблений. Он чувствовал, что ему все удастся не по глупому счастью, не по счастливой случайности, а потому, что он хитрей, ловчей, изобретательней, чем угрозыск.

«Первое время,— думал он,— будут нас искать по приметам. А мы в это время уедем. Я — в одно место, Ладыга — в другое. Поживем в хороших гостиницах. Поедем туда, где уже весна и деревья цветут».

Они зашли к Климову. Климов достал бутылку французского коньяка. Откупорил, разлил по маленьким рюмочкам. Коньяк действительно был хороший. Острый виноградный запах разошелся по комнате. Не раздеваясь, они выпили. Все-таки, как они ни гордились своим хладнокровием, а нервничали, конечно, очень. Надо было успокоиться. Опрокинув рюмки, сняли пальто, потом Климов подошел к письменному столу и открыл ящик. Он вынул из кармана наган, положил его в ящик, сунул руку во второй карман, и лицо у него изменилось.

— Что с тобой? — спросил Ладыга.

— Маузер потерял,— сказал Климов.— Вот неудача!

В сущности, особых оснований тревожиться не было. Маузер, конечно, упал, когда они спорили с Ладыгой, стоит ли убивать мужичонку. Он мог проваляться месяц в снегу, пока его кто-нибудь найдет. Да и потом, неизвестно, откуда он у Миронова. Если получен официально, тогда плохо. Номер зарегистрирован, и до Миронова по номеру доберутся. Но скорее всего, он купил маузер так же, как купили наганы Ладыга и Климов. Подумаешь,

трест очистки каналов! С какой стати ему будут давать оружие? Неприятно было только одно: все так точно рассчитано, а эту ерунду не предусмотрели.

Васильев со своей бригадой выехал на машине сразу же, как только взволнованный голос по телефону прокричал что-то неразборчивое, из чего, впрочем, можно было понять, что убит и ограблен кассир, убита охрана, ранена девочка, убита женщина и, главное, между какими станциями это произошло.

Васильев с двумя сотрудниками сошел на шоссе, примерно там, где преступники соскочили с поезда, а еще один сотрудник поехал на следующую станцию, чтобы опросить свидетелей. У железнодорожного полотна была такая путаница следов, что разобраться в них было невозможно. На снежном насте следы были видны кое-где, там, где ноги бегущих проваливались. Легко было понять по следам, что двое прошли через рощу и вышли на шоссе. Здесь следы терялись. В какую сторону они могли пойти? Васильев думал, что, наверно, в сторону Петрограда. Вероятно, они рассчитывали добраться до города прежде, чем их начнут ловить. На всякий случай один сотрудник пошел по шоссе в другую сторону, а Васильев и второй сотрудник пошли к Петрограду. Они шли по двум краям шоссе, тщательно вглядываясь, не сошли ли преступники с шоссе в снег.

Нет, на снегу следов не было. Дошли до проселка. Была ли у них машина? Вряд ли. Машин за последнее время никто не угонял, да и не так много в то время было автомобилей. Шоссе идет параллельно железной дороге до самого города. Идти до города пешком? Можно, конечно, но зная, что наверняка догонят. Ходу самое меньшее часа четыре. Оставив машину на шоссе, Васильев с сотрудниками сошли на проселок. Ни одного человека не попадалось на дороге, не у кого даже было спросить, куда проселок ведет. Снег по сторонам был белоснежен и чист. С проселка в снег никто не сходил. На проселке следов тоже нельзя было разобрать. Снег был укатанный, твердый. Шли молча. Дошли до развилки. Остановились. Куда идти — направо или налево? Казалось, что в сторону Петрограда должен вести левый проселок, но кто их зна-

ет, эти проселки, они иногда так петляют. Васильев осмотрелся. По левому проселку неторопливо шагал маленький мужичок с бородой, в лаптях и в куртке солдатского сукна. Шагал он спокойно, не торопясь и дошел бы до Васильева, видно, не скоро, если бы Васильев решительно не зашагал ему навстречу.

— Здравствуй, дедушка,— сказал Васильев.— Дорога куда ведет?

Старичок остановился, снял шапку, поклонился и сказал:

— Здравствуйте. Дорога ведет на станцию.

— И далеко до станции?

— Версты две.

— А ты не видал ли двоих людей с чемоданчиком?

— Видал,— спокойно сказал старичок.

Старичок смотрел на Васильева как-то странно. Не то он что-то не решался сказать, не то хотел что-то спросить.

— Где видел? — спросил Васильев.

— У самой чугунки.— Старичок помялся.— А вы, граждане, из милиции?

— По форме не видишь разве?

— Украл что?

— Хуже,— сказал Васильев.— Убили, мерзавцы, четырех человек и девочку ранили. Вооруженный грабеж.

Старичок подумал, потом полез в карман и, держа руку в кармане, неторопливо проговорил:

— Где я видал, там их теперь нет, а вот нашел одну штуку, так, может, это ихняя.

Он вытащил руку из кармана и протянул Васильеву маленький черный маузер вороненой стали. Васильев схватил его. Да, конечно, это был маузер из той партии, которую недавно правительство купило в Германии. У Васильева у самого был точно такой же. Васильев посмотрел на номер. Номер был отчетливо виден.

— К машине! — сказал Васильев.— Спасибо, дедушка! — и быстро зашагал по шоссе.

ПО СЛЕДУ

План Васильева, можно сказать, не удался. Вооруженные сотрудники, ехавшие в этот день на всех поездах, на которых кассиры развозили зарплату, не опознали

преступников и не захватили их. Васильев понимал, почему это произошло. Очевидно, усатый сбросил свои усики, которые всем так запомнились. Из-за этого погибло несколько человек. Но все равно, песня шайки была спета. План Васильева сорвался из-за случайности. Поэтому убиты люди и похищены деньги. Но одно утешение: когда сотрудники поняли, что упустили шайку, они бросились в преследование. Они упустили бандитов, но они не дали им вздохнуть. Они измотали их. Нервы бандитов сдали. Бандитам удалось убежать, но впервые они оставили в руках у Васильева кончик ниточки. Теперь можно было начинать стремительный, оперативный розыск. И еще одно радовало Васильева. До сих пор бандиты диктовали правила игры. Они ошеломляли неожиданностями, которые невозможно было предусмотреть. Психологически они были хозяевами. Но вот их неожиданный ход был, оказывается, предусмотрен угрозыском. Он был ожидаем. Неудача тут не играла роли. Они совершили именно то преступление, которого ждал угрозыск, и именно там, где он ждал. Психологическая победа важна во всякой войне, в том числе и в войне закона с преступником.

Все это было правильно, но не было времени об этом думать. Надо было идти по следу, пусть слабому, но следу, и во что бы то ни стало сделать так, чтобы след этот не оборвался.

Уже через двадцать минут по железнодорожному телефону с маленькой станции Васильев дозвонился в Петроград и спросил, за кем зарегистрирован маузер № 485996. Ему сообщили: маузер с этим номером принадлежит Миронову, бывшему заместителю председателя Петроградского губернского суда, ныне директору треста по очистке каналов и рек. Где он живет? На улице Жуковского.

Да, кончик ниточки наконец в руках, но как ему легко оборваться! Ведь может же быть, что Миронов просто потерял маузер. Если его из губсуда перевели в такой ерундовый трест, так, наверно, человек с грехами. Потерял спьяну, может быть, даже продал, чтобы деньги пропить. Побоялся сообщить об этом. А потом маузер попал на рынок, и ищи-свищи, кто там купил его на рынке из-под полы!

Машина ехала уже по окраинам Петрограда, и Васильев с трудом сдерживал нетерпение. Может быть, так, но, может быть, и иначе. Может быть, он продал кому-нибудь маузер и помнит кому. Теперь, когда появилась ниточка, появилась надежда, Васильеву хотелось действовать, сквитаться за время вынужденного бездействия. Была половина второго, когда машина остановилась на улице Жуковского. Миронова не должно быть дома, но вдруг повезет.

Васильев и два сотрудника бегом поднялись по лестнице. Дверь открыл невысокий человек с опухшим, одутловатым лицом.

— Я Миронов, — ответил он на вопрос Васильева.

У него забежали глаза, когда он увидел милицескую форму. Он пошел вперед, показывая дорогу, и ввел Васильева в большую запущенную, неубранную комнату. На письменном столе, накрытом газетой, стояла бутылка пива, лежало кольцо колбасы и толсто нарезанный хлеб.

— Где ваш маузер? — спросил Васильев быстро и резко. Нельзя было давать время Миронову придумать оправдания.

— У меня, — удивленно сказал Миронов.

— Покажите, — потребовал Васильев.

Миронов пожал плечами и вынул из ящика письменного стола большой маузер старого образца, совсем не похожий на тот новенький, аккуратно вычищенный и смазанный, который лежал у Васильева в кармане.

Иван Васильевич посмотрел на номер. Номер был правильный — 485996. Что-то странное было в цифрах. Не очень ровно они стояли, как будто их выбивали поодиночке.

— Где вы взяли это старье? — резко спросил Васильев. — И куда дели ваш?

Миронов молчал.

— Говорите быстро: пропили, продали, проиграли?

— Проиграл, — сказал Миронов.

— Кому, когда, где?

— В одном доме, вчера вечером, Климову.

— Кто такой Климов?

— Не знаю.

— Где этот дом?

— На Бассейной.

— А откуда у вас этот маузер?

— Землечерпалка подняла. На Крюковом канале. Рабочие мне и отдали.

— Номер сами перебивали?

— Сам.

Сразу было видно, что это не человек, а размазня. Так же точно, как он не мог противиться предложению выпить, поиграть в карты, так же не мог он противиться и резкому, требовательному тону Васильева. Иван Васильевич не сомневался, что теперь, когда угроза наказания стала реальной, он без сопротивления ответит на все вопросы, чтобы выторговать за это поменьше хоть на годик-другой заключения.

— Одевайтесь,— сказал Васильев,— поедemте с нами в этот дом.

В машине Васильев сказал:

— И помните, Миронов, там есть, конечно, условный знонок. Не пытайтесь нас обмануть.

Надо сказать, что хозяйка притона держалась довольно спокойно. Она давно была готова к тому, что, открыв дверь, увидит людей в милицейской форме, и понимала, что раньше или позже посидеть все равно придется. Она знала только одна, даже ее муж об этом не знал, что в городе Ростове-на-Дону у ее двоюродной тетушки, старушки, не вызывающей никаких подозрений, лежит запечатанный ящик, в котором хранится достаточное количество драгоценностей, чтобы, отсидев года два или три, прожить беспечально остаток жизни. Муж ее, который, повторяем, об этом ящичке ничего не знал, был зато перепуган ужасно. У него дрожали руки, и он лепетал что-то невнятное об интеллигентном обществе, которое здесь собирается, о литературных беседах и даже дошел до того, что утверждал: за этим ломберным столом играют, конечно, в карты, но только так, для развлечения, и не больше чем в подкидного дурака. Сказав про подкидного дурака он, впрочем, покраснел.

Этот дом жил круглые сутки. Днем здесь тоже бывали гости. Хозяйка, державшая себя так, как будто она служит у Васильева и спокойно выполняет его приказания, как было условлено, взялась за медальон, висевший у нее на груди, когда вошел Петя Кулябко. Васильев сразу отвел Кулябко в отдельную комнату.

— Где вы познакомились с Климовым?

— В ресторане,— сказал Кулябко.

Он был очень спокоен. В сущности, он был виноват только в том, что посещал притон. Он понимал, что за это в тюрьму его не посадят. Да и, кроме того, если с законом получатся небольшие неприятности, то отец сумеет выручить. Он и посложнее дела решал.

Узнав, что Климов бывал в ресторане со студентами мединститута Ладыгой, Мещаниновой и Михайловой, Васильев позвонил в милицию и узнал адреса всех четырех. После этого два сотрудника остались в засаде, а Васильев помчался в угрозыск за подкреплением. Он не рассчитывал, что найдет преступников дома, но все-таки надо было проверить.

Климова дома, конечно, не оказалось, и обыск не дал ничего. Само по себе было подозрительно, что нигде не записано ни одного адреса, ни одного телефона. Конечно же, Климов ждал обыска. Потеря маузера его насторожила. Не было дома и Ладыги. Он снимал комнату у врача, у которого были излишки площади. Вся квартира, в том числе и комната Ладыги, была заставлена красным деревом с бронзой. Не старинным красным деревом точного стиля и строгих форм, которым обставлялись дворянские усадьбы, а тем красным деревом в стиле модерн дурного вкуса, который появился в начале века и являлся признаком преуспевания у частнопрактикующих врачей и адвокатов.

И у Ладыги не было никаких записей. Лежала, правда, бумага с подсчетами, но квартирохозяин показал, что квартирант подсчитывал, сколько он должен за свет, за телефон и за домработницу. Домработница тоже оплачивалась на паях. Поехали к Мещаниновой. Она жила на Загородном проспекте, в большом пятиэтажном доме. Квартира была на втором этаже. Рядом с дверью висела старая вывеска: «П. Н. Мещанинов — обувной мастер. Поставщик Двора Его Императорского Величества».

Открыл дверь сам поставщик двора. Это был сухонький старичок с маленькой бородкой клинышком. Он сказал, что дочери нет дома, и непонятно было, то ли он в самом деле не удивился, увидев работников милиции, то ли просто его лицо никогда ничего не выражало. У Мещаниновой Васильев оставил двух человек в засаде, а

сам поехал к Михайловой. Надежды застать ее дома у него почти не было. По-видимому, потеря маузера заставила всю шайку сняться с места. Но, к его удивлению, Михайлова оказалась дома.

Она очень испугалась, увидев милицейскую форму. Она так испугалась, что даже не смогла говорить. У нее прыгали губы, и она вся дрожала.

После обыска (и здесь тоже ничего не нашли) Васильев повез ее в угрозыск. Она, очевидно, сразу решила, что все погибло и что лучше всего говорить правду.

Она рассказала, в сущности, то, что уже знал или подозревал Васильев. Да, и кража шуб, и убийство шофера, и ограбление артельщиков, и вчерашнее дело — всё это они, «Черные вороны».

— Как? — спросил Васильев. — Что это за «черные вороны»?

— Ну, это мы себя так называли. Это Вера предложила, Мещанинова. Ведь у нас вроде как шайка была, ну, а шайка должна иметь название.

Она рассказала, как после каждого дела «мальчики» — этих многократных убийц она с абсолютной уверенностью называла «мальчики» — разъезжались по разным городам, а они с Верой ждали неделю или десять дней, а потом давали объявление в «Красной газете».

— Деньги они вам оставляли перед отъездом? — спросил Васильев.

— Да, они брали себе две трети, а треть давали нам с Верой на двоих. Но зато в ресторанах платили они.

— А когда они вам должны были передать деньги за вчерашнее?

— Сегодня в пять часов.

— Где?

— На трамвайной остановке на Невском возле улицы Марата.

— Кто?

— Климов.

— Кому?

— Мне.

— Дайте карточку Климова.

— У меня нет.

Впрочем, словесное описание наружности Климова

дали уже и Кулябко, и Миронов, и хозяйка притона. Васильев оформил ордер на арест Михайловой и поехал к Мещаниновой. Если, как говорила Михайлова, до назначенного свидания «мальчики» и «девочки» не должны были видаться и, значит, Климова никто предупредить не мог, Климов мог сегодня прийти на трамвайную остановку.

ТРАМВАЙНАЯ ОСТАНОВКА

Михайлову Васильев решил с собой не брать. Она была, очевидно, не самой страшной преступницей из шайки. Судя по тому, как она испугалась и как сразу все стала откровенно рассказывать, это была просто слабовольная девчонка, которую затянули в шайку более сильные товарищи. Да она, в сущности, и не принимала непосредственного участия ни в одном из преступлений, если, конечно, верить ей. Но Иван Васильевич ей верил. Он верил в то, что она действительно случайно попала в шайку и не была закоренелой преступницей. Но бог ее знает, может быть, есть у них какие-то условные знаки; может быть, все-таки она захочет и сумеет подать Климову понятные ему и не понятные другим сигналы опасности.

Словом, Михайлову решили не брать. Пошли втроем. Надели штатские костюмы, положили в карманы маленькие маузеры, точно такие, как тот, из-за которого попалась шайка, и на разных трамваях, поодиночке, без четверти пять были на остановке. В помощники себе Васильев взял двух ребят из своей бригады. Это были толковые парни, накопившие уже опыт розыскной работы, изучившие основы криминалистики. Но не за эти качества Васильев выбрал их, а потому, что оба были спортсмены, ловкие и сильные люди. Для этой операции физическая сила нужна была больше, чем умение следователя.

Договорились так. Когда они увидят Климова — а по описаниям они представляли его себе очень точно, — Васильев подойдет к нему сзади, схватит его за руки и упадет, повалив на себя. А тут уже набросятся два сотрудника. В сущности, Васильеву можно было самому и не идти на операцию. Выбрать еще одного человека и по-

слать троих. Справились бы, дело нехитрое. Но все-таки, хотя операция и не сулила особых опасностей, мало ли что. Васильев считал, что заместитель начальника бригады должен участвовать сам.

Народа на остановке было порядочно. Недавно кончился рабочий день, и были те часы, которые потом получили красивое название «часы пик», а в те годы еще никак не назывались.

Никто, конечно, не обратил внимания на трех человек, очевидно не знакомых друг с другом, которые ждали трамвая. Они с нетерпением смотрели вдоль по Невскому, поджидая нужный им номер. Если бы кто-нибудь за ними следил, то, вероятно, заметил бы, что уже все номера прошли, а они все еще не садятся. Но кому бы пришлось в голову следить за ними? Ожидавшие сами сидели то в один, то в другой трамвай. Климова не было среди ожидавших. Не было никого среди ожидавших, кто хотя бы приблизительно подходил к описанию Климова. Не было на остановке, не было и на тротуаре. Васильев, прохаживаясь взад и вперед, поглядывал на тротуар. Может быть, стоит там Климов, присматривается, нет ли опасности. Но, во-первых, и на тротуаре не было никого подходящего, а во-вторых, никто не стоял и не смотрел на остановку. Шли себе люди по своим делам и не интересовались, кто там поджидает трамвая.

Без десяти пять. Без пяти пять. Ровно пять.

Как бы ни был опытен работник угрозыска, сколько бы раз ни приходилось ему вот так поджидать в засаде преступника, все равно каждый раз он волнуется так же или почти так же, как волновался во время первой своей операции. Придет или не придет? Узнаем или не узнаем? Может быть, заметит опасность и скроется. Да, наконец, сумеем ли удержать — ведь маузеры-то взяты только так, для острстки. Нельзя же, в самом деле, открывать стрельбу днем, на многолюдном проспекте.

Две минуты шестого. Пять минут шестого. Семь минут шестого. Неаккуратен. Видно, плохая у них дисциплина в шайке. Удобно ли так часто смотреть на часы? Если он следит за остановкой, это может навести его на подозрение. А впрочем, почему? Человек опаздывает к обеду, а нужного трамвая все нет. Естественно, человек нервничает, поглядывает на часы.

Десять минут шестого. Двенадцать минут шестого. Четверть шестого. Неужели не придет?

Первым увидел его Васильев. Решил еще раз взглянуть на тротуар, и как раз в эту минуту Климов сошел с тротуара и спокойно пошел к остановке. Посторонние люди не заметили, не почувствовали, как насторожился Васильев, но свои-то сотрудники думали о том же и, хотя Иван Васильевич был внешне совершенно спокоен, сразу поняли, что идет Климов. С равнодушным, может быть, слишком равнодушным видом они повернулись к тротуару. Да, если бы не описание, которое все трое помнили назубок, никогда бы им не пришло в голову, что этот нарядно одетый спокойный молодой человек — бандит, только сегодня убивший четырех человек. Он шел не торопясь, им даже показалось, что он что-то напевает или насвистывает. На ногах у него были бежевые гетры, которые единодушно вспоминали все те, кто описывал его внешность. Пальто у него было, очевидно, заграничное, очень просторное, такое, какие, если верить модным журналам, носили в то время члены английской палаты лордов. Может быть, он и волновался, но внешне это было никак не заметно. Идет молодой человек, хорошо одетый, в прекрасном настроении. Деньги у него есть, вечер ему предстоит приятный. А может быть, проголодался и идет сейчас в хороший ресторан съесть котлету по-киевски, запить сухим вином.

Васильев рассчитал довольно точно. Он так прогуливался по остановке, что, когда Климов подошел, Васильев оказался как раз у него за спиной. И два сотрудника подошли как будто случайно и стояли рядом, поглядывая, не идет ли наконец нужный им трамвай.

«Почему он не ищет Михайлову? — подумал Васильев. — Положим, вероятно, он еще с тротуара увидел, что ее нет. У них, наверно, в обычае опаздывать на свидания». И тут Иван Васильевич быстрым движением просунул сзади руки под локти Климова, крепко зажал их и упал на спину. Климов смешно задрогал ногами. Руками он шевелить не мог, но ноги у него были свободны. Бежевые гетры на секунду мелькнули в воздухе, но сразу же на Климова навалились сотрудники. Теперь он и шевельнуться не мог. Стоявшие на остановке сначала даже не поняли, что случилось, так все было сделано быст-

ро и ловко, а потом, конечно, сразу же собралась вокруг толпа. Люди любопытны. С обоих тротуаров бежали прохожие. Они бы бежали, даже если бы просто началась драка, но тут ясно, что это не просто драка. Слишком все было ловко и быстро сделано. Догадливые петроградцы, читатели отделов происшествий в газетах, сразу поняли, что берут опасного преступника. Не каждый день увидишь такое! Какой-то мальчишка, захлебываясь от волнения, кричал, надрываясь, своим друзьям:

— Сюда, сюда скорее! Скорей же, скорей! — Он был, видно, хороший товарищ и хотел, чтобы его друзья тоже насладились зрелищем, которое послала ему судьба.

Впрочем, зрелище было очень интересное, но и очень короткое. С улицы Марата выехала машина, которая неприметно стояла там у подъезда, будто поджидая пассажира. Выехав на Невский, она подъехала вплотную к остановке. Взяв за руки Климова, сотрудники подняли его и поставили на ноги. Выдержка у Климова была крепкая. Он с интересом посмотрел на сотрудников, на поднимавшегося с мостовой Васильева и легкомысленно присвистнул, как будто не понимая, что теперь уже ему не отвертеться. На заднее сиденье посредине посадили Климова, по сторонам сели сотрудники. Васильев сел рядом с шофером, и машина поехала.

Толпа, оставшаяся на Невском, была сначала очень разочарована. Как будто начался спектакль, на который куплен билет, на редкость хороший спектакль, и вдруг в самом интересном месте опустили занавес и актеры разошлись по домам. Впрочем, через несколько минут каждый из зрителей вспомнил, что и то, что он успел увидеть, очень интересно. Что все это надо немедленно рассказать родным и знакомым. Все побежали, чтобы рассказать поскорее, и так как не все были скрупулезно правдивы, да и фантазия у людей богатая, то на следующий день в городе уже рассказывали о перестрелке на Невском, о ловле отчаянного бандита, который бежал отстреливаясь, а кое-кто говорил даже, что милиция привезла пулемет.

Климов в машине вел себя необыкновенно развязно. Он поглядывал то на одного сотрудника, то на другого, попросил разрешения закурить, выкурил папиросу «Сафо», которую достал ему из кармана один из сотрудни-

ков, иногда почему-то даже посмеивался. Приехали в угрозыск, прошли в кабинет к Васильеву. Климова обыскали. Оружия при нем не было.

— Ваши документы,— сказал Васильев.

Климов вытащил из кармана корреспондентский билет «Красной газеты» и протянул его Васильеву.

«Федоров Павел Андреевич, литературный сотрудник»,— прочел Васильев про себя.

Он сразу понял, что произошла нелепая ошибка. Фотография была безусловно Федорова.

«Черт с ним, с Федоровым,— думал Васильев, не отрывая глаз от корреспондентского билета.— Ну, извинимся перед ним, объясним, в чем дело. Если он газетчик, ему даже должно быть интересно. Но Климов, Климов ушел! Он, может быть, и смотрел, как мы Федорова брали. Предупрежден, в сущности говоря. Только дурак после этого останется в Петрограде. А он не дурак. О нет, не дурак. Ну, а Федорова, раз мы уж его взяли, все-таки надо проверить».

— Подождите меня,— буркнул Васильев и вышел.

Из соседней комнаты он позвонил в редакцию газеты. Да, Федоров Павел Андреевич там работает. Живет он на углу улицы Марата и Невского. И даже гетры носит. Проклятые гетры! Если бы не они, может быть, и не спутали бы его с Климовым.

Вернулся в свой кабинет Васильев очень смущенный.

— Вы уж извините, товарищ Федоров,— сказал он,— опасного бандита ловим. Только сегодня четырех человек убил. И представьте себе, такой же молодой, как вы, хорошо одевается и тоже носит бежевые гетры.

Федоров, впрочем, оказался неплохой парень. Он рассмеялся и стал утешать огорченного Ивана Васильевича.

— Да вы не волнуйтесь,— сказал он.— Мне было даже интересно. Может быть, я теперь детективный роман напишу. Все-таки есть личный опыт. И вы не думайте, в газете я ничего писать не буду. Что ж тут такого? Ошибка естественная. Жаль только, что бандита вы упустили.

Федорова отправили в редакцию на машине. Чтобы не возвращаться к нему, скажем, что через несколько дней в газете все-таки появился очень хлестко написан-

ный маленький фельетон. Там рассказывался случай на трамвайной остановке, происшедший с автором фельетона, и очень иронически описывалось поведение детективов, которые действовали в лучших традициях сыщичьей литературы. Беда только, что должен был уехать на трамвае журналист, а попасться детективам бандит. А получилось как раз наоборот: попался в руки детективам журналист, а бандит, к сожалению, ушел или, скорее всего, уехал на трамвае. Васильев имел по этому поводу не очень приятный разговор с начальником угрозыска и, расстроенный разговором, даже не удержался и позвонил в редакцию.

— Что же вы, товарищ Федоров,— сказал он,— сами обещали не писать и все-таки написали!

Федоров рассмеялся:

— Вы уж извините. Квартирные соседи заставили. Я живу как раз напротив остановки. Они из окна видели, как вы меня брали. Прихожу домой, а на меня все смотрят испуганно. Иду по коридору, а все разбегаются по комнатам и запираются. Решили, что, если меня забрали, значит, я и есть самый главный бандит. Вот пришлось написать.

Впрочем, все это было потом, когда дело шайки «Черных воронов» было закончено. А когда Федоров, любезно простившись со всеми, вышел из васильевского кабинета, дело еще далеко не было закончено. Почти сутки сидела засада в квартире у Мещаниновой, и Мещанинова еще не пришла домой. Может быть, и она узнала об опасности.

Васильев на всякий случай направил трех сотрудников на трамвайную остановку возле улицы Марата, а сам поехал к Мещаниновой.

«Климов почти наверное не придет,— рассуждал он.— А если придет, так возьмут и без меня. А вот почему не вернулась до сих пор домой Мещанинова, это интересно». На условный стук Васильеву открыл дверь сотрудник. Он сообщил, что пока в засаду попало три сапожника, которые, вероятно, работают на старика по домам. Пришел сын старика, совершенно пьяный. Положили его на диван, и он лежит отсыпается. Старик молчит, любезен, обедать приглашал, но они отказались, у них бутерброды были, так они поели и водой запили.

Васильев вошел в комнату старика. Поставщик двора сидел в кресле и дремал. Услышав шаги Васильева, он проснулся и встал.

— Сидите, сидите,— сказал Иван Васильевич, садясь в кресло напротив.— Что же это вашей дочери так долго нет?

Очень стар был Мещанинов. У него слезились глаза, дрожали руки, и почему-то, перед тем как заговорить, он долго шевелил губами.

— Дети у меня плохие, гражданин начальник,— сказал он каким-то вялым, бесцветным голосом.— Вон на диване спит сын. Видали оболтуса? Ведь месяцами пьет, и все на мои деньги. Ничего не делает, нигде не работает. А ведь я в свое время пять тысяч за этого дурака отдал, чтобы его, мещанина, сына сапожника, произвели в офицерское звание. Да еще за свои денежки пришлось и поклоняться. Как это, мол, так, хама — да в русские офицеры. И вот имею благодарность. Толку от звания никакого: только произвели в офицеры, тут сразу революция, так что от звания его не только никакой выгоды, а, извините, одни убытки. Пьет беспробудно, у меня деньги берет не считая да еще меня же срамит. Вы, мол, папаша, мещанин и сапожник, а я офицер русской армии. И не поспоришь, все правильно.

— Ну, а дочь? — спросил Васильев.

— Дочь! — Старик махнул рукой.— Этого своего барбоса я хоть понимаю, пьяная скотина, и все. А дочь я, гражданин начальник, даже и понять не могу. Ну, деньги у меня просит — это я понимаю: дело молодое, одеться хочется. Но для чего одеться? Чтобы замуж выйти со смыслом. Я же понимаю, хороший жених требует, чтобы и туфельки были по моде, и платьице от хорошей портнихи. Я ведь не нищий, могу и подбросить сотняжку-другую. Ну, а она для чего одевается? Женихов не видать. Все какие-то молодые люди, так, для гуляния. Иногда ночует дома, иногда нет. Иногда по три дня домой не приходит. И замечаю, вином пахнет. Будь я помоложе да покрепче, я бы ей раз-другой сделал выволочку, она бы и уснокоилась. А так что же, разговор один. Толку никакого. Начнешь говорить, а она: «Вы, папаша, современной жизни не понимаете, вы свое жили, да отжили, дайте и нам пожить». А я и вправду не понимаю, что

это за жизнь. Я в свое время уже богатый был и то что себе позволял? Схожу в воскресенье в трактир с канарейками, был недалеко тут такой трактир. Ох, и хорошо же там канарейки пели! Посидишь, послушаешь, как божьи птички заливаются, выпьешь чайку, целковый заплатишь и за целую неделю отдохнешь. А тут невесть что! На доктора поступила учиться. Ну, думаю, хорошо. Так представьте себе, сейчас вот, перед уходом, говорит: мы, говорит, папаша, с Ладыгой больше учиться не будем и документы из института возьмем. Теперь, говорит, образование ни к чему, мы, говорит, и без образования богатые будем...

— Простите, папаша,— сказал Васильев.— Мне сейчас надо поехать по делу, а потом я приду, и мы еще с вами поговорим.

Он подумал, что, может быть, действительно Ладыга придет в институт за документами и что этот случай упускать нельзя.

ДРУЗЬЯ НЕ ВЕРЯТ ДРУГ ДРУГУ

И Климов и Ладыга делали вид, будто ничто не изменилось. Потеря маузера, в сущности, ерунда. На всякий случай некоторое время не надо будет ходить в этот уютный притон, где оба они чувствовали себя богатыми, избалованными жизнью людьми, для которых постланы ковры и повешены портьеры, для которых смеются красивые женщины и открываются бутылки французского вина. Ну, в конце концов, это уж не такое большое лишение. В ресторанах тоже бывает неплохо, тем более, если тебя хорошо знают и привыкли, что ты даешь щедрые чаевые.

А на самом деле оба чувствовали, что полоса удач кончилась и настало время расплачиваться по счетам.

Им в самом деле необыкновенно везло. Ни разу не встретились они с ограбленными женщинами, ни разу, когда они грабили артельщиков, не оказались на улице посторонние люди. И эти удачи, это случайное стечение счастливых обстоятельств делало их уверенными и смелыми. А в настоящей смелости, которая проявляется при неудачах, при обстоятельствах неблагоприятных, при

опасности непредвиденной, в этой настоящей смелости пока еще они не нуждались. Она понадобилась теперь в первый раз.

Как обычно, они сначала пересчитали деньги. Денег было много. Восемнадцать тысяч четыреста рублей. Треть полагалась девушкам. Они отсчитали шесть тысяч сто. И по шесть тысяч сто взяли каждый себе.

— Кто передаст деньги девушкам? — спросил Ладыга небрежным тоном, так, как будто это не имело никакого значения.

— Я, — сказал Климов, — у меня условлена встреча с Тамарой.

Оба старались говорить так же небрежно, как они в таких случаях говорили обычно, но так как оба очень старались, то говорили слишком небрежно. Каждый чувствовал эту нарочитость тона и у себя и у товарища. В сущности, оба были перепуганы насмерть, и оба скрывали это потому, что понимали: главное — не поддаваться панике. Была, впрочем, и еще одна причина, из-за которой говорили они неискренне. Каждый из них твердо решил бежать, бежать немедленно и обязательно одному. Как-то вдруг сразу между этими, казалось бы, близкими друзьями появилось взаимное недоверие. Каждый понимал, что другой его предаст, если только этим сможет хоть немного себе помочь. Каждый понимал, что и он предал бы другого не раздумывая, если бы это могло немного облегчить его участь.

Они разговаривали так, как будто подробности, о которых они говорили, не имели особенного значения и о них надо было условиться просто затем, чтобы не получилось путаницы. Но под словами, которые они говорили друг другу, таился другой смысл, в котором оба не признавались, который оба скрывали, но который оба понимали прекрасно. В сущности, когда Ладыга говорил: «А то я взял бы эти деньги. Я, может быть, успел бы к Вере зайти», на самом деле он говорил: «Почему, собственно, ты получаешь двенадцать тысяч, а я только шесть? Мне ведь тоже придется бежать неизвестно куда и, наверно, на всю жизнь».

Когда Климов ему отвечал: «Нет, лучше делать, как условлено. Раз сговорились с Михайловой, я ей и передам», на самом деле Климов говорил Ладыге совсем дру-

гое: «Черта с два я тебе отдам эти шесть тысяч, я, в конце концов, атаман».

Можно было, конечно, просто разделить по три тысячи на брата, но для этого надо было признаться в том скрытом разговоре, который они вели друг с другом, а на это ни один из них не решался. Они уже друг другу не верили, и они уже друг друга боялись.

У Климова воля была сильнее. Ладыга понял, что ничего не добьется и что придется ему обойтись шестью тысячами.

Они вышли. Климов сказал, что ему направо, Ладыга сказал, что ему налево. Они простились, договорившись, что встретятся завтра вечером в ресторане «Ша Нуар». Они разошлись, зная, что завтра вечером ни один из них в ресторан не придет.

Ладыга уехал бы первым поездом, но он рассудил, что уехать придется на всю жизнь или, по крайней мере, на много лет, что надо устраиваться на работу, чтобы не бросаться в глаза, и надо иметь по крайней мере хоть аттестат об окончании школы. А аттестат этот лежал в канцелярии Медицинского института. Он сразу поехал в институт. Но опоздал — канцелярия уже не работала. Он привязался к какому-то своему бывшему товарищу, повел его в ресторан, напоил и, наврав что-то очень путаное, напросился к нему ночевать. Утром он встал, когда товарищ еще спал, не прощаясь, ушел и на извозчике поехал в институт. Он попросил свои бумаги, объяснив, что учиться больше не может, так как вынужден поступить на работу. Его заставили написать заявление, потом секретарша пошла, чтобы получить резолюцию начальства, потом вернулась с резолюцией и отдала Ладыге бумаги.

Ладыга ждал ее возвращения, и сердце у него билось очень тревожно. Думал он и передумывал, велика ли опасность, и получалось по его расчетам, что совсем невелика. Во-первых, могли не найти маузера, во-вторых, если даже нашли, может быть, Миронов купил его на рынке и тогда концы обрываются, по маузеру ничего не узнаешь. Но если даже маузер зарегистрирован, то все равно путь от маузера до него, Ладыги, долгий. Суток еще не прошло с ограбления, за это время не доберутся. Получалось по логике, что бояться ему совершенно нече-

го, но все-таки сердце билось у него тревожно, и он на всякий случай, хоть никогда и не верил в бога, помолился, чтобы бог его спас, и дал богу слово, что больше никого убивать не будет. Спокойнее от этого он не стал. Каждый человек, входивший в канцелярию, казался ему работником угрозыска, пришедшим специально за ним. Немного ему полегчало, когда он получил бумаги. Тут он даже стал хвастать перед самим собой своей смелостью, минуты две улыбался и благодарил. Наконец он вышел. Лекции уже начались, и коридор был пуст. «Кажется, пронесло»,— подумал он. Пошел к выходу и решил, что на всякий случай зайдет сейчас в маленькую какую-нибудь парикмахерскую и сбреет свои усики. «Мало ли,— думал он.— Опасности, конечно, нет, но береженного бог бережет». Странно, но только гораздо позже он вспомнил, что сбрил усы еще накануне. Он все время чувствовал на верхней губе свои франтовские усики. Ему даже хотелось разгладить их пальцами, но он почему-то боялся этого. Ему нужно было в парикмахерскую. Это он твердо знал. Настроение при этом было у него неплохое. Он неожиданно для себя стал очень суеверным, и ему показалось, что, раз он помолился, значит, ему уж наверно ничто не угрожает. Он вышел из институтского здания. Какая-то машина стояла у подъезда. Не обратив на нее внимания, он повернулся и пошел вдоль по улице. За углом, помнилось ему, была маленькая парикмахерская. Но дойти до парикмахерской ему не удалось. С двух сторон его взяли под руки.

— Тихо,— сказал Васильев,— пройдем к машине.

Ладыга рванулся, но почувствовал, что держат его крепко, что вырваться не удастся. С трудом передвигая ноги, он дошел до машины и сел. По сторонам сели два работника угрозыска, по-прежнему держа Ладыгу за руки. Он подумал, что сейчас был бы уже на третьем курсе, скоро предстояло бы перейти на четвертый, и проклял Михайлову, Мещанинову, Климова, которые втравили его, как теперь ему казалось, в дурацкую эту шайку. Не проклял он только себя самого, потому что, по странно-му свойству психологии глупого человека, был почему-то твердо убежден, что, во всяком случае, он-то, Ладыга, конечно, ни в чем не виноват и страдает совершенно безвинно.

И снова сидит Васильев у Мещанинова. Проснулся сын-офицер. Застонал от головной боли, нашарил в буфете бутылку водки и выпил, закусив корочкой хлеба. Ему не стали мешать. Лучше всего он был, когда спал. Он и вправду сразу заснул и во сне бормотал что-то невнятное. Старик Мещанинов продолжал разговор с Васильевым:

— Вы вот поймите, гражданин начальник, я человек трудовой. Если стал поставщиком двора, то это ведь все по труду, потому что шить сапоги умел лучше, чем другие. Взятки, конечно, приходилось давать. Без взяток, знаете, затолкают. Но ведь главное все-таки умение. А началось со случайности. Работал я подмастерьем у одного сапожника. Хозяин мой человек был ничего, с капиталцем. Подмастерьев было семь человек, и жили все в мастерской. Шил-то я уж тогда лучше других, и хозяин меня отмечал. Но только средств у меня не было открыть свою мастерскую. Работал я много и свою работу любил. По воскресеньям у нас как получалось. Сутрамы все вместе с хозяином шли в церковь. Вместе и возвращались. Полагалось после этого всем вместе обедать. После обеда давали чай с пирогами. Ну, а как чай отпили, так расходились кто куда хочет. И хозяин с хозяйкой уходили в гости или гулять. И вот в одно воскресенье я попросился: мол, разрешите я сегодня останусь, дошью сапоги. У нас пара одна была не кончена, а в понедельник заказчик должен был прийти. Заказчик был человек солидный, богатый.

Ну, все разошлись, а я остался. Один сапог кончил и поставил на подоконник, чтобы не мешал. Сажу, кончаю второй. Вдруг дверь раскрывается, и входит молодой офицерик. Потом-то я узнал, что он был из артиллерийского училища. Там, знаете, больше аристократы учились. А тогда я в формах плохо разбирался. Вижу только, что офицерик хоть и молодой, а держит себя важно.

«Кто,— говорит,— сапог шил?»

«Я,— говорю,— шил, ваше благородие».

«Сшей,— говорит,— мне к тому воскресенью пару сапог. На тебе десять рублей задатку. А сошьешь, еще пятнадцать дам».

Конечно, не имел я права в мастерской хозяина брать заказ для себя, но подумал: может быть, мне бог за мое

трудолюбие случай такой посылает. Всю неделю по вечерам шил, таясь от хозяина. В воскресенье опять попросился остаться. Ну, пришел офицер, похвалил сапоги, дал еще пятнадцать рублей. И в училище сапоги понравились. Стал я по воскресеньям дома оставаться. Обязательно один, а то и два заказа получал. Представьте себе, через два месяца открыл свою мастерскую. И пошло. Ну, я, уж конечно, старался. Тут работа нужна была экстра. Сперва офицеры, потом генералы пошли, а после уже я самому военному генерал-губернатору сапоги шил. По сто рублей взятки давал лакею, хотя за сапоги только двадцать пять получал. Тут мне не так деньги были важны, как слава. И верно. Меня господин военный генерал-губернатор ко двору представил. Стал поставщиком. С двора-то я тоже наживал не так много, всем приходилось давать, а то, знаете, долго ли лакею ножичком кожу надрезать или лак поскрести. Глядишь, и потеряешь звание. А звание мне большие деньги давало. Ведь вот уже и государя-императора нет, и двора нет, и вывеска поржавела, а на эту ржавую вывеску знаете сколько ко мне заказчиков ходит? Отбоя нет. Я теперь сам уже не работаю, отдаю по домам работу, себе только треть удерживаю, а и то на жизнь хватает. А на случай чего, я вам честно скажу, господин начальник, у меня и капиталец есть. Я ведь, знаете, не как некоторые. Акции не покупал. Ну их, думаю, к богу, разоришься с этими акциями. Я золотишко покупал. Часики хороших фирм. Они, конечно, доходу не приносят, но уж зато на них положиться можно. И вот, понимаете,—сказал Мещанинов, глядя на Васильева слезящимися старческими глазами,—отец, понимаете, из грязи да в князи, а дети, знаете, из князей да в грязь. Вон, смотрите, храпит сынок. Ну что из этой дряни сделаешь? И Верка, наверно, наделала делов, раз вы ее поджидаете. Я и сам знаю, девка дрянь, прямо сказать — подлюга. Я об них и не думаю, об своих детях. Я для них что мог сделал. А если свинья, то она все равно грязную лужу ищет. И откуда они у меня такие, не пойму!

Вот в эту минуту стало слышно, что кто-то снаружи отпирает ключом входную дверь. Все трое сидевших в засаде работников угрозыска бросились в переднюю в твердой уверенности: это она.

Двое держали Мещанинову за руки, а Васильев задавал вопросы:

— Мещанинова Вера Семеновна?

— Я,— спокойно сказала Мещанинова.— Знаете ли что, вы лучше меня обыщите. Оружия у меня нет, и дайте мне закурить. Я уж давно хочу. Но я все-таки дама, на улице курить неудобно.

Она была на редкость наглая женщина.

Когда она сняла пальто, то ее и обыскивать не стали. Платье плотно облегалo фигуру, и было видно, что оружия у нее действительно нет.

— Первый вопрос,— сказал Васильев,— куда уехал Климов?

— Гражданин следователь,— спокойно сказала Мещанинова, с удовольствием затягиваясь папироской,— я сама не хочу терять лишнего времени и ваше время хочу сберечь. Раз вы меня арестовали, значит, мальчишки что-то проворонили и тут торговаться уже бессмысленно. Ладыга был всегда болваном, и я никогда на его счет не заблуждалась, а Климов казался мне человеком неглупым, и я думала, что он сумеет не попасться хотя бы несколько лет. Ну, это неинтересно. Так или иначе, раз попались, так попались. Скрывать нечего. Я принимала участие в убийстве шофера. Вы, наверно, уже знаете, что шофера убили мы. Я хорошо знала о сегодняшнем ограблении и знала, что будет убито самое меньшее три человека, а может быть, и больше. Так что, как видите, выгораживать себя я не собираюсь. Выгораживать мальчишек я тоже не собираюсь. Во-первых, они мне безразличны, а во-вторых, раз попались, значит, дураки. Конечно, мне надо было быть главой «Черных воронов». Но знаете, как-то не принято женщине возглавлять разбойничью шайку.

— Куда уехал Климов? — повторил Васильев.

— Вот видите, гражданин следователь, вы меня не дослушали. Все, что я знаю, я вам с удовольствием расскажу. Мне все равно не миновать расстрела, так что мне тянуть незачем. Мальчишек тоже все равно расстреляют. И черт с ними. Они ведь мне были нужны потому, что благодаря им я могла красиво пожить, а сейчас мне на них плевать. Так вот, гражданин следователь, я действительно не знаю, куда уехал Климов. У нас был обы-

чай, что после каждого дела мальчики уезжают в другие города и ждут там, пока в Петрограде не успокоится. Но куда каждый из них уезжал, он не сообщал никому. Дело в том, что, говоря между нами, мы, «Черные вороны», не очень-то верили друг другу. Каждый из нас четырех понимал, что и он сам и трое остальных подлецы.

ОДИНОКИЙ ПОСТОЯЛЕЦ В ГОСТИНИЦЕ

Ладыга тоже не знал, куда уехал Климов. «Черные вороны», очевидно, действительно не очень доверяли друг другу. Мещанинова была человек злой и умный. Ладыга был человек злой и глупый, а Михайлова была просто слабовольная дуручка, которую судьба толкнула в компанию бандитов. На допросах все рассказывали то, что знали. Каждый понимал, что вина все равно бесспорна и скрывать что-нибудь не имеет смысла. Васильев заинтересовался, куда уезжали прежде Ладыга и Климов. Ладыга перечислил Батум, Сочи, Новый Афон, Севастополь, Феодосию, Одессу.

«Всё курортные города,— подумал Васильев.— Это понятно. Там и пожить можно красивее, с точки зрения «Черных воронов», там и приезжий человек незаметнее. Приехал отдохнуть, повеселиться, объяснять ничего не надо».

В курортные города Крыма и Черноморского побережья пошли телеграммы с запросами, не приехал ли, не остановился ли Климов, молодой петроградец, лет двадцати пяти. Оставалось ждать.

Тяжелое было это дело, дело шайки «Черные вороны». Тяжелое потому, что много и долго приходилось ждать. Может быть, труднее всего следователю тогда, когда ход событий обрекает его на бездеятельность. Правда, сутки, от находки маузера до ареста Мещаниновой, угрозыск действовал энергично и быстро. Если бы не замешалась идиотская история с сотрудником газеты, можно было бы сказать, что и хорошо. Теперь оставалось только думать и передумывать: пришел бы Климов на свидание с Михайловой, если бы угрозыск не выдал себя, или, почуяв опасность, он просто сел на первый поезд и уехал. Что ему, в конце концов, было за дело до его товарищей по шайке? Пропавшие они все пропадом.

Время шло. Одна за другой приходили телеграммы с курортов о том, что Климова нет и что никто похожий на его описание в городе не появился. Только на девятый день пришла телеграмма из Ялты, что в гостинице «Франция» остановился Климов из Петрограда, двадцати пяти лет. В тот же вечер два сотрудника из бригады Васильева выехали скорым поездом в Севастополь. Через два дня они с тремя сотрудниками севастопольского угрозыска поехали на служебной машине в Ялту. Все были в штатских костюмах. Никто не смотрел ни на Байдарские ворота, ни на Ласточкино гнездо. Всю дорогу шел жаркий спор, когда брать Климова, днем или ночью. Петроградцы считали, что только днем. Днем это можно сделать совершенно внезапно, не дав ему даже вытащить наган. То, что у него был наган, сомнению не подлежало. Севастопольцы настаивали на том, что брать нужно ночью. Они считали, что ночью, со сна, человек растеряется и его легко будет обмануть каким-нибудь убедительным предложением. Севастопольцев было трое, и они были хозяева. Двоим петроградцам пришлось согласиться. Они стояли в вестибюле гостиницы, когда Климов прошел мимо них. Администратор мигнул им, что это, мол, и есть Климов. Позже они поняли, какая была допущена глупая ошибка, что дело отложили на ночь.

Расставшись с Ладыгой, Климов пошел по улице и стал думать о том, что ему делать. В сущности говоря, серьезных оснований для тревоги не было. Маузер мог оказаться засыпанным снегом. Если Миронов его купил на рынке, то маузер вообще не мог послужить никакой уликой, да, наконец, если и добрались до Миронова, то Климов считал, что несколько дней у него все равно в запасе есть. Придется, наверно, переменить квартиру, может быть, подыскать фальшивые документы на другую фамилию, но уйти все-таки удастся. К счастью, у него есть деньги. О, с деньгами можно многое сделать. Вспомнив о деньгах, Климов вспомнил и о предстоящем сегодня свидании с Михайловой. Свидание не представляло, по его мнению, опасности. Не могли еще докопаться до Михайловой. Она-то к маузеру не имела отношения, и Миронов ее не знал. Мысль о Кулябко Климову в голову не пришла. Он не пошел на свидание с Тамарой не потому, что

боялся, а просто потому, что ему стало жалко шести тысяч, которые придется ей передать. Почему, собственно, он должен лишаться половины своего капитала? И вдруг Климов подумал, что именно сейчас пришла минута круто повернуть судьбу. Это диктовалось и осторожностью. Как ни мала опасность из-за потери маузера, все-таки опасность есть. Но, кроме осторожности, было еще одно, более романтическое чувство. Климов читал мало, но кое-что в своей жизни прочел. Из каких-то бульварных книжонок осталось у него в мозгу представление о романтическом, благородном разбойнике, который грабит богатых, чтобы благодетельствовать бедных, который уходит от всех погонь и обманывает всех сыщиков. Правда, Климов никогда еще никого не благодетельствовал и не собирался этого делать, но все-таки самому себе представлялся он этаким романтической фигурой, смелым, дерзким, всегда побеждающим. В конце концов, думал он, с какой стати продолжать возиться с этими девушками, которые неизвестно за что получают от него огромные деньги, с дураком Ладыгой, который только топорщит усики да выполняет его, Климова, приказания? Ну их к дьяволу, этих «Черных воронов», пусть они попадаются угрозыску и отвечают за сделанное. А он, Климов, всех обманет. Он, Климов, поедет сейчас на вокзал, возьмет билет и первым же поездом уедет в Ялту. Действовать надо неожиданно и быстро. Тогда успех обеспечен.

Первый поезд уходил, как оказалось, в семь часов вечера. Климов купил себе чемодан, летний костюм, белье, бритву, словом, все то, что могло ему понадобиться в Ялте. Он сдал чемодан на хранение и в половине шестого сел у вокзала в трамвай и проехал по Невскому мимо улицы Марата. Ехать в трамвае было безопаснее всего. Если на остановке и есть засада, то кто же будет проверять пассажиров идущего трамвая?

Как будто засады на остановке не было. Но не было и Михайловой. Это встревожило Климова. Михайлова была девушка добросовестная и терпеливая. Она должна была бы дождаться. Но, может быть, и не дождалась. Климов пересел во встречный трамвай, пообедал в вокзальном ресторане, выпил три рюмки водки и перед самым отходом поезда, помахивая новеньким чемоданом, вошел в международный вагон.

Курортный сезон еще не начался, поезда шли полупустые, и, как и рассчитывал Климов, он оказался в купе один. Он сидел в международном купе, в кресле, обитом красным бархатом, курил дорогую папиросу «Жемчужина Крыма» и представлял себе красивым молодым наследником большого состояния, решившим съездить на юг проветриться, поскучать под шум моря. Мимо окна вагона промелькнуло здание литографии, в которой только полтора года назад работал простой рабочий Климов. И снова вспомнил молодой наследник большого состояния о старике литографе, вспомнил его потертый костюм и залатанные локти и подумал, что если даже случайно старик и видит проносящийся мимо поезд, то уж наверно не придет ему в голову, что в международном вагоне сидит и покуривает элегантный молодой человек, которого когда-то он обучал тайнам литографского искусства.

От Севастополя до Ялты Климов доехал на частной машине. Он со скучающим лицом посматривал на море и на скалы, на Байдарские ворота и на Ласточкино гнездо. Шофер, казалось Климову, думает, что вот человек, которого ничем не удивишь. Небось по заграницам катается. И поглядывал шофер на своего пассажира, как казалось Климову, с почтительностью и уважением.

На самом деле шофер великолепно видел, что это просто петроградский пижон, которому очень хочется казаться богатым и загадочным, и шоферу было смешно на него смотреть. Но платил пассажир хорошо, а сезон был не курортный, пассажира найти было трудно, и шофер делал вид, что смотрит на Климова уважительно и серьезно.

В гостинице «Франция» Климова тоже приняли хорошо. Постояльцев было мало, а он взял дорогой номер, с балконом на море.

И вот ходит по пустынной ялтинской набережной молодой наследник большого состояния, задумчиво смотрит в море, заходит в ресторан «Орианда», брезгливо потыкает вилкой в шашлык и потом долго сидит одинокий, загадочный, не торопясь попивая вино редкой и дорогой марки «черный мускат».

Вечерами он стоял на балконе, слушал, как шумит море, и казался себе очень красивым, загадочным, и думалось ему, что, наверно, прохожие, которые спешат по сво-

им маленьким житейским делишкам и подсчитывают в уме, сколько нужно каждую получку откладывать, чтобы купить себе новый костюм, прохожие эти, думалось ему, смотрят с завистью на элегантного одинокого человека на балконе дорогого гостиничного номера и думают: «Эх, пожить бы нам так хотя бы недельку!»

Иногда приходили ему в голову мрачные мысли. Каждый вечер покупал он у швейцара «Красную газету» и тщательно просматривал объявления. Он все равно не собирался ехать в Петроград. С «Черными воронами» было покончено, да и, кроме того, по совести говоря, жалко было возвращать шесть тысяч. Но, если бы он увидел то объявление, которое обычно печатали девушки, чтобы просигнализировать ему и Ладыге, что все спокойно, он, по крайней мере, точно бы знал, что угрозыск за ним не гонится. Впрочем, и так он не особенно волновался. Во-первых, вряд ли уж так просто размотался клубок с маузером, а во-вторых, никто ведь не знает, что он в Ялте. Мало ли Климовых живет по всем городам России.

Впрочем, черные мысли все-таки возникали. Но он их гнал от себя и прогнал с успехом. Ему казалось, что раз ему удастся освободиться от этих мыслей, значит, у него сильная воля. Ему и в голову не приходило, что это, скорее, результат самого обыкновенного легкомыслия.

Так прошла неделя. Он совсем успокоился. Подумывал взять машину и покататься по Южному берегу, посмотреть Ливадию и Алупку, порисоваться еще перед одним шофером. И в это время, если бы петроградцам удалось настоять на своей точке зрения, днем, во время прогулки, или в ресторане, они взяли бы его без всякого труда. Но петроградцы уступили севастопольцам.

И вот однажды ночью, когда он уже крепко спал после утомительной и долгой вечерней прогулки, в дверь номера тихо постучали. Он проснулся сразу же. Вероятно, он только делал вид перед самим собой, что так спокоен и уверен в своей безопасности. Вероятно, на самом деле он все время ждал этой минуты, когда наконец случится страшное, о чем не хотелось думать. Он сразу вскочил, быстро надел брюки, носки и туфли, на цыпочках выбежал на балкон и посмотрел вниз. Два милиционера стояли на тротуаре. По ночам здесь не было поста. Он это заметил раньше. Он побежал к чемодану, так же тихо сту-

пая на цыпочках, открыл его и достал наган. В дверь стучали все громче. Теперь он мог откликнуться.

— Да,— сказал он сонным голосом, как будто только что проснулся,— кто там, в чем дело?

— Гражданин Климов,—негромко сказали за дверью,—наверху лопнула труба, у вас начнет сейчас протекать потолок.

Климов торопливо надел пиджак и переложил деньги из чемодана в карманы. Он ни на что не надеялся. Он просто обманывал сам себя. Он понимал, что мышеловка захлопнулась. Он впервые понял, какая разница между тем, когда ты убиваешь, и тем, когда убивают тебя. Он знал, что смертной казни ему не избежать. Пять убийств—этого более чем достаточно.

В дверь опять постучали, более громко и более нервно.

— Гражданин Климов, открывайте скорее! — крикнули из коридора.

Климов, не отвечая, выстрелил в дверь. Это было глупо. Даже если пуля пробьет дверь, маловероятно, чтобы она попала в кого-нибудь. Он, собственно, выстрелил для того только, чтобы создать у себя самого ощущение, что он что-то делает, как-то обороняется. В сущности говоря, он выстрелил только для того, чтобы не думать, не потерять голову, не завизжать от ужаса, как ему хотелось. В нагане было только семь пуль, то есть теперь только шесть. В чемодане у него был хоть и маленький, но запас, однако перезаряжать наган не было времени. Могли ведь ворваться, как только он начнет перезаряжать. Ой, как он боялся расстрела! Почему-то, когда он стрелял в других, ему было совсем не страшно. Он выстрелил еще раз и еще три раза подряд. Конечно, неразумно было так тратить заряды, но, в конце концов, все, что бы он ни делал, все равно было бессмысленно. Не было никакой надежды, хотя бы самой маленькой. Он выстрелил еще раз. Теперь осталась одна, последняя пуля. Ночь была лунная, и даже при тусклом лунном свете были видны дырки в белой двери, которые пробил его наган. И почему-то снова вспомнил он бедного старичка литографа, и залатанные его локти, и его радостную улыбку, когда он рассказывал про секреты своего искусства, и почему-то теперь этот старичок уже не смешил его, ему уже не казалось, что он неудачник и доволен своею жизнью только потому, что

настоящей никогда и не видел. Ох, как он завидовал теперь этому старичку! Он поднес наган к виску. Он все-таки медлил. Ему очень хотелось жить. Никогда еще он не думал, как хотелось жить тем людям, в которых стрелял он. И вдруг он подумал, что осталась ему минута, может быть две, и вдруг понял, что жизнь уже прожита, прожита бездарно и глупо, что за полтора года дешевого пижонства, дешевого франтовства, наивного притворства, что за полтора года, бестолково и, в общем, безрадостно прожитых, он отдал и ум и талант, которые у него, наверно, были, вот честное же слово, были, а через минуту погибнут ни за что.

И была у него секунда, а это немалое время, если вся жизнь исчисляется несколькими минутами, была у него секунда, чтобы подумать о том, с чего же началась эта путаница, так изменившая все. Как же так случилось, что он, любимый ученик знаменитого литографа Тихонова, стал грабителем и убийцей, за которым охотятся, как за бешеной собакой, которому осталось жить считанные минуты. С чего же начался этот путь? С танцев? С франтовства? С любви к модным штанам и к острым носкам ботинок? Вздор. Тысячи людей танцуют в рабочих клубах, в ресторанах или на танцплощадках. Тысячи людей носят модные, иногда до уродливости модные штаны. Может быть, в том была причина, загнавшая его в чертову эту ловушку, что слушал он мудрые советы мастера с одной только мыслью: надо выучиться, потому что тогда будут больше платить.

Не было времени дальше думать, дверь затряслась. Снаружи на нее налегали плечом, мог не выдержать замок или дверь могла соскочить с петель.

Когда взломали дверь номера, на полу лежал мертвый Климов, застрелившийся потому, что бездарно растратил доставшееся ему от предков наследство — ум и талант.



Глава восьмая

В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ

БРОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ

Придворная аристократия в России после революции очень быстро опустилась. Вернее сказать, просто выступили на поверхность пороки, свойственные ей и раньше.

До революции придворная аристократия жила во дворцах и особняках, одевалась в мундиры и нарядные платья. Ездила в каретах и автомобилях. Когда вся эта мишура была отнята, скрытое раньше стало явным. Вдруг стало всем видно, что среди высшей российской аристократии очень много алкоголиков и наркоманов. Алкоголики пьянствовали и раньше, наркоманы и раньше не могли жить без наркотиков, но все это было покрыто глубокой тайной, скрывалось в интимных покоях особняков.

Большая часть аристократии бежала за границу. Их дальнейшая судьба не является целью нашего повествования. Меньшая часть по нерасторопности или в результате сложившихся обстоятельств осталась в России. Многие из них быстро растратили то, что осталось от их богатств, опустили, продавали на толкучке какие-нибудь никому не нужные веера или подсвечники, оборвались и ничем, ни внешностью, ни поведением, не отличались от самых обыкновенных подонков, которые, не желая и не умея работать, всегда толкались по рынкам и окраинным улицам императорского Петербурга. Была и другая, количественно гораздо меньшая группа. Это были люди, рассудившие, что, как бы ты ни относился к революции, считаться с тем, что она произошла, все-таки приходится. Представление о революции было у них самое туманное. Для них богатый купец или фабрикант, нищий рабочий и голодный студент — все это было одно и то же: «плебс» — так они думали, и «народ» — так называли они его вслух.

Они ничего не понимали в том, что произошло, но думали, что к истории надо применяться и если их поместья, дворцы и сокровища конфискованы, стало быть, надо жить как-то иначе, так же, как живет и «простой народ». Под «простым народом» они разумели тех, кто не имел громкого титула и длинной родословной.

Легко сказать — применяться. К сожалению, почти все аристократы ничего, буквально ничего не умели делать. Ни о какой работе, ни о какой специальности им даже думать не приходилось. Самым легким из доступных занятий им казалась коммерция. Почему-то они не сообразили, что для коммерции тоже нужно иметь и деловую хватку, и определенный навык.

Однажды Васильеву пришлось столкнуться с таким аристократом.

Князь Долгорукий, представитель одной из древнейших фамилий русского дворянства, объединившись с молодым бароном Фредериксом, сыном бывшего министра двора его императорского величества, продали какие-то драгоценности и, так как в то время начался нэп и частная торговля была разрешена, открыли в Петрограде пять дровяных складов. Был случай, когда на князя Долгорукого пало подозрение в том, что он участвовал в убийстве одной очень богатой графини. Подозрение было неопределенное, и Васильев решил не арестовывать князя, а поехать допросить его дома. Князь жил в маленьком особняке, в котором до революции жила семья управляющего его имениями. К удивлению Васильева, его встретил лакей в традиционной ливрее Долгоруких. Васильев назвал себя, и лакей пошел доложить князю. Вероятно, по правилам хорошего тона полагается докладывать о посетителе, но правилами угрозыска это строго запрещено. Подозреваемый человек может подготовиться к вопросам да, наконец, даже просто уничтожить улики. Васильев вошел в столовую, где его сиятельство завтракал, вместе с лакеем. Князь принял Васильева очень любезно, пригласил сесть и даже хотел было угостить его завтраком, но Васильев отказался. Князь был маленький, слабый и, наверно, очень глупый человек. Анемичность и беспомощность сквозили в каждом его движении. Он думал, что со стороны его, князя Долгорукого, очень демократично, что он так любезно разговаривает с простым человеком. Через несколько минут лакей вошел и, поклонившись, доложил, что пришли «мужики» за расчетом. На дровяные склады надо было привозить дрова, и это, конечно, князь и барон поручали «мужикам».

Князь замахал руками.

— Гони эту сегую сволочь! — сказал он грассируя. — Не видишь — я с офицером газговагиваю!

В убийстве графини Долгорукий, как выяснилось, участия не принимал, но и в торговле дровами они с бароном Фредериксом не преуспели и разорились очень быстро.

Была, наконец, еще одна категория бывших аристо-

кратов. Это были люди, сумевшие сохранить кое-что из своего богатства, люди расчетливые, умелые, твердо уверенные в том, что революция—явление временное, что все утрясется и в конце концов обязательно снова установится царство богатых. Обычно эти люди принадлежали не к самым верхам знати. В придворные круги они пролезали с помощью хитрости, унижений и лести. У них не было огромных поместий, и тысячи крестьян не сеяли и не убирали для них хлеб. И все-таки какими-то путями, чаще всего нечестными, они добивались некоторого влияния и сумели разбогатеть. Это были люди ловкие, хитрые, изворотливые, но и жизнеспособные. Была, например, такая Куманина. Она и ее муж были не титулованные и, стало быть, принадлежали к дворянству не высшего сорта. Тем не менее они многого добились при дворе, завели очень полезные связи, хотя и не в самом высшем кругу, и жили до революции припеваючи. Особенной заносчивости у них не было, потому что придворная их карьера требовала многих унижений, искательства и подхалимства.

Муж Куманиной сразу понял, что царство аристократии кончилось, и не чинясь, как только объявили нэп, завел мучные лабазы и повел себя как обыкновенный купец, строго следя за служащими и покрикивая на них, не упуская ни одной возможности нажиться. Был у них и сын, человек очень неглупый, стыдившийся прошлого своих родителей, отлично учившийся в институте и ставший потом серьезным и деловым инженером. В то время, о котором идет речь, то есть 2 ноября 1923 года, он, впрочем, был еще студентом.

Муж Куманиной почти целый день проводил у себя в мучных лабазах, да и по вечерам застревал где-нибудь в ресторане, чтобы окончательно договориться о какой-нибудь коммерческой сделке. Сын ее целый день проводил в институте, а по вечерам, как правило, сидел в Публичной библиотеке. Куманина жила в отдельной квартире, жила очень замкнуто, презирая мужа за то, что он занялся недворянским делом — торговлей, презирая сына за то, что он готовится к такой недворянской профессии, как профессия инженера. Теперь, после революции, она считала себя настоящей аристократкой, забыв, что в свое время получала приглашения далеко не на все балы и ужины в Зимнем дворце.

У нее работала приходящая домработница, которая до революции служила в каком-то очень знатном семействе и которой Куманина доверяла. Доверяла, впрочем, не настолько, чтобы оставлять ее в квартире на ночь. Куманина сумела сберечь много ценностей, у нее была иностранная валюта, золото и бриллианты. В квартире были тайники и в стенах и в дымоходах. Вещи были запрятаны очень старательно, и грабителям потребовалось бы много времени, для того чтобы их обнаружить. Считалось, что Куманины живут только на доходы с мучного лабаза и что все состояние их пропало. Тем не менее Куманина очень боялась грабителей.

Все меры предосторожности были, казалось ей, приняты. Входные двери были изнутри обиты толстым листовым железом. Запирались двери на крепкие, тяжелые замки, сделанные по специальному заказу. И все-таки Куманина ни днем, ни ночью не была спокойна. Она завела фокстерьера необыкновенно скверного характера. Он очень долго привыкал к каждому новому человеку и, пока не привыкнет, яростно на него набрасывался и не просто лаял, а безжалостно кусал. Кроме того, на входной двери были две крепкие цепочки, и Куманина всегда имела возможность посмотреть на человека, который хочет войти в квартиру. Жила она очень изолированно. Она боялась всех, и грабителей, которые, казалось ей, в советское время спокойно разгуливают по улицам, помахивая кистенями и высматривая богатые квартиры, боялась и представителей власти, которые очень просто могли у нее на основании своих безбожных законов отобрать те ценности, которые ей удалось утаить и припрятать. Она боялась и просто обыкновенных людей, потому что считала, что в безбожное это время даже порядочный человек при случае может ограбить даму. Она верила только узкому кружку людей, знакомых ей по прежней прекрасной придворной жизни. Это были истинно порядочные люди — дворяне, бывавшие при дворе, принятые в лучших домах, люди, для которых дворянская или офицерская честь была дороже любых драгоценностей и даже иностранной валюты.

И вот только узкий кружок этих тщательно отобранных людей, на каждого из которых можно было положиться как на каменную гору, только узкий кружок

допускался в эти забронированные, наглухо запертые покои Куманиной.

И все-таки 2 ноября 1923 года, когда сын Куманиной, пообедав в студенческой столовой (он не любил великосветского тона родительской квартиры), пришел домой около пяти часов вечера, чтобы отдохнуть и вечером еще, может быть, немного заняться, и позвонил в электрический звонок, ему никто не открыл. Он знал, что сегодня домработница выходная. Она всегда работала по воскресеньям, потому что в воскресенье и отец обедал дома да часто заходили и члены избранного аристократического кружка, некоторым из которых, к сожалению, пришлось пойти на советскую службу.

Итак, за воскресенье работница получала выходной в какой-нибудь удобный обеим сторонам день недели.

Именно сегодня она была выходная. Но мать должна была быть дома. Она почти никогда и никуда не выходила. Молодой Куманин, чертыхаясь, вытащил из кармана целый набор ключей, которые он должен был всегда носить с собой. Ключей было столько же, сколько замков, и каждый ключ поворачивался медленно и тяжело. Открыть эту бронированную квартиру было очень не просто. Все-таки наконец все замки были отперты. Куманин открыл дверь, вошел и сразу понял, что квартира ограблена. В толстой кирпичной стене, отделявшей переднюю от соседней квартиры, был тайник, запертый стальной дверцей и оклеенный снаружи обоями. Этот тайник был взломан, очевидно топором или ломом, потому что замок был весь перекорежен, стальная дверца оставлена открытой настежь, а все ценное из тайника вынута. Он прошел по квартире и всюду видел такие же следы разрушения. Некоторые тайники он знал и раньше, а о некоторых узнал только сейчас, когда они были открыты и опустошены. Войдя в столовую, он увидел труп фокстерьера. Собаке проломили голову топором или ломом, может быть тем же самым, которым вскрывали стальные дверцы. Матери не было нигде. Невозможно было понять, как же она впустила каких-то чужих людей, когда всегда с такими колебаниями открывала дверь даже знакомым.

И потом, где она сама?

Он увидел ее в ванной. Она лежала мертвая, задушенная солдатским ремнем...

Дело об убийстве Куманиной было передано старому, авторитетному сыщику Николаю Емельяновичу Свиридову. Это был пожилой человек, один из лучших уголовных сыщиков царского времени, много лет служивший инспектором сыскной полиции. Ни к какой политике Свиридов отношения не имел, с охранкой связан не был, а просто был знающий и способный мастер уголовного розыска.

В советское время работал он честно и добросовестно, дело свое знал досконально, раскрыл много серьезных преступлений и многому научил молодых людей, которым приходилось осваивать заново трудное искусство сыска.

Свиридов взялся за дело с увлечением. Дело было действительно интересное. Многое было просто невозможно понять. Входная дверь была не взломана. Значит, Куманина открыла дверь сама. Кто же этот человек, которому она так доверяла? Преступники возились в квартире долго. Вероятно, они не знали, где тайники, в которых хранились ценности. Это было видно по тому, что они пытались проломить стены в нескольких местах, где на самом деле тайников не было. Значит, им пришлось простукивать стены, тщательно обследовать каждый уголок квартиры. На это нужно было несколько часов. Значит, они пришли утром. У Куманиной поддерживался тон светского дома старого времени. Кто же в старое время мог прийти навестить светскую даму утром? Все знакомые Куманиной были люди светские, и, конечно, нарушение кем-нибудь из них приличий было совершенно исключено. Значит, незнакомый? Почему ему Куманина открыла дверь? Проверили домработницу. Она, оказывается, на свой выходной день поехала к родственникам в Царское Село, и 2 ноября ее видели соседи и многие ее знакомые.

Короче говоря, провозившись с этим делом месяца два, Свиридов доложил начальству, что ничего сделать не может. Для него обстоятельства дела категорически непонятны.

Дело передали другому, молодому советскому работнику угрозыска, и тот без конца возился, перепроверял с начала и до конца все данные Свиридова, убедился, что все правильно, и тоже зашел в тупик. Потом этим зани-

мался еще один следователь, потом четвертый, а потом дело положили в архив, потому что оно явно было безнадежно. Прошел двадцать третий год, шел к концу двадцать четвертый, и не только дело Куманиной, но даже и память о нем покрылись архивной пылью.

ПАРАБЕЛЛУМ В ПЕЧКЕ

Ходили сотрудники угрозыска по вечерам в игорные клубы. Именно там часто появлялись скрывшиеся от преследования бандиты, именно там часто можно было увидеть кассира, получающего маленькую зарплату и швыряющего на зеленый стол крупные деньги, и сделать из этого бесспорный вывод, что он глубоко засунул руку в государственную кассу.

И вот однажды осенью двадцать четвертого года к Васильеву подошел один его сотрудник, бывший накануне в клубе «Трокадеро».

— Вчера, между прочим, был там Август Кинго, — сообщил он. — Играл, хоть и не очень крупно. Что-то кажется мне, что собирает он старых друзей.

Август Кинго был человек, в свое время попавшийся в краже из квартиры крупного инженера, осужденный за это на не очень большой срок ввиду чистосердечного раскаяния, а также и потому, что кража не удалась, отбывший наказание и вернувшийся в Петроград.

То, что он появился в «Трокадеро», было, в конце концов, его личное дело. В Петрограде он проживал совершенно законно и мог посещать те места, какие ему хотелось. И все-таки сообщение настораживало. Можно было предположить, что Кинго сколачивает шайку для новых, более серьезных подвигов. Лучше было предупредить преступление, чем ждать, пока оно совершится.

Словом, Васильев решил посмотреть, как обстоит дело и не пришло ли время, образно говоря, погрозить Кинго пальцем и сказать, что за ним, мол, следят.

В «Трокадеро» Васильев бывал редко и не боялся, что его узнают, но беда в том, что Кинго его прекрасно знал. И тут Васильеву (напомним, что ему было двадцать четыре года) пришла в голову замечательная идея. Все сыщики, про которых он когда-то читал, без

конца наклеивали бороды, усы и бакенбарды и, таким образом, оставались неузнанными. Некоторые даже одевались женщинами, и это тоже не вызывало никаких подозрений. Чем они, работники советского уголовного розыска, хуже? Он доложил о своем плане по начальству. Начальство посмотрело на него с сомнением и покрутило головой.

— Что-то я никогда про такое не слышал,— сказала начальство.— Вроде бы это только в книжках бывает. Ну, да, впрочем, попробуй. Беды тут нет.

Для такого важного случая Васильев решил, что ехать в «Трокадеро» надо вдвоем. Товарищ, которого он выбрал для этого похода, был моложе его на два года и увлекся планом ужасно.

Решили обставить все по первому классу. Из Александринского театра вызвали самого лучшего гримера, и тот приклеил Ивану Васильевичу небольшую бородку клинышком и маленькие усики на верхней губе. Товарищу Васильева, наоборот, приклеили на верхней губе большие пушистые усы. Оба они долго любовались друг другом, смотрелись в зеркало и пришли к выводу, что они откроют сегодняшним походом новую страницу в истории советского уголовного розыска. Чтобы грим как-нибудь не пострадал в трамвайной толчее, они взяли машину и оставили ее квартала за два до игорного клуба. Уже подходя к сверкающему огнями входу в «Трокадеро», Васильев вспомнил, что в суматохе он забыл папиросы. В то время Петроград, как и другие города страны, был населен шумным племенем папиросников. Беспризорные и безнадзорные дети торговали папиросами поштучно и наживали на каждой коробке несколько копеек. Характер у этого народца сложился бойкий и предприимчивый. Это были ближайшие родственники парижских гаменов, острые на язык, любящие посмеяться, нахальные и веселые. Вот к одному из таких папиросников и подошел Васильев. Он протянул ему деньги и собирался отсчитать из коробки десяток папирос «Сафо», но папиросник смотрел Ивану Васильевичу в лицо широко открытыми любопытными глазами.

«Что он смотрит?» — удивленно подумал Васильев.

Папиросник повернулся к своему товарищу, стоявшему тоже с папиросами в нескольких шагах, и заорал

громким голосом, разнесшимся по проспекту и по ближайшим переулкам:

— Петька, гляди сюда, у дяденьки борода приклеена!

Поняв, что дело с гримом безнадежно провалено, раз первый же папиросник в уличной полутьме сразу заметил приклеенную бороду, сыщики, то чертыхаясь, то смеясь, добрались до машины и уехали обратно в угрозыск.

Таким образом, новая страница в историю советского уголовного розыска вписана не была.

На следующий день Васильев отправился в «Трокадеро» уже без бороды и без всякого грима.

Он замешался в толпе и скоро увидел у рулетки хорошо знакомого ему Августа Кинго. Издали Васильев долго наблюдал за ним. Кинго играл азартно, хотя внешне и сохранял спокойствие. Только по тому, как внимательно следил он за шариком рулетки, можно было понять, что в нем бушует страсть игрока.

Ему не везло. Крупье забирал у него ставку за ставкой и, улыбаясь, опускал в щель, проделанную в столе. Видно, все-таки Кинго сохранил немного хладнокровия. Он отошел от стола, проиграв не все деньги, и пошел в ресторан. Он был хорошо одет, фигура у него была спортивная, плечи широкие, лицо спокойное. Вслед за ним несколько человек из толпы тоже стали протискиваться к ресторану. Через несколько минут Васильев заметил, что эти люди, ничем не показавшие раньше, что они с Кинго знакомы, сидели с ним за одним столом.

«Э,— подумал Васильев,— дело варится».

День за днем, внешне спокойный, эстонец Кинго сидел за столом, но проигрывал понемногу. Значит, преступление еще не было совершено. Денег у Кинго было мало. Васильев справился в адресном столе. В адресном столе Август Кинго не значился. Значит, он или не успел прописаться, или и не думал прописываться. Если не успел — хорошо, а если и не думал — значит, вынашивает какой-то план. Короче говоря, однажды, уже под утро, когда Кинго вышел из «Трокадеро» и усталый пошел домой, за ним пошел Васильев. Шел он по другой стороне улицы, довольно далеко сзади, и незамеченный прошел до того дома, в подворотню которого Кинго свернул. В те годы в Петрограде ворота на ночь запирались, и человек, пришедший после двенадцати часов ночи и

разбудивший дворника, должен был, по решению Петровсовета, платить ему десять копеек. Кинго позвонил; когда дворник отпер калитку, дал ему гривенник и прошел во двор. Через десять минут, время, достаточное, чтобы Кинго поднялся в свою квартиру, позвонил Васильев. Он показал дворнику удостоверение, и дворник объяснил ему, что человек, вошедший во двор десять минут назад, снял комнату у одной старушки, у которой двухкомнатная квартира, и не прописался, потому что проживет, говорит, недолго — недели две с половиной, а потом уедет в Гдов. В Гдове и вокруг него живет много эстонцев, и ему приятно будет жить среди своих соотечественников.

— Как его зовут? — спросил Васильев.

— Эрхорс Виборг, — с трудом произнес дворник. Он не очень-то разбирался в этих нерусских именах и фамилиях.

Пока Васильев ехал в угрозыск, пока выписывали ордер на обыск и на арест, пока будили шофера, пока приехали, было уже часов десять утра. Надеялись, что Август еще спит. Все-таки лег он под утро. Взяли управдома и дворника понятыми, постучали в квартиру. Старушка открыла беспрекословно и указала на комнату Кинго. Комната была заперта. Долго стучали. То ли Кинго действительно крепко спал и никак не мог проснуться, то ли за это время он, бесшумно бегая по комнате в одних носках, пытался что-то спрятать.

Наконец, когда Васильев сказал: «Если не откроете, будем ломать дверь», Кинго сделал вид, что проснулся, долго будто бы не мог понять, кто пришел и по какому делу, и наконец открыл дверь.

Обыскали самого Кинго. Ничего предосудительного не нашли. Обыск в комнате занял немного времени. В комнате стояли только кровать, два венских стула, чемодан и маленький шкаф. В шкафу висел на распялках выходной костюм, в котором Кинго ходил в «Трокадеро». В чемодане лежало белье, на подоконнике стояло небольшое зеркальце. Была еще печка. Васильев открыл дверцу и заглянул в нее. Он великолепно видел, что зола возвышается слишком высокой горкой. Он уверенно предположил, что эта горка скрывает, конечно, револьвер. И все-таки он спокойно закрыл дверцу, как будто ничего не заметил.

— Оружие есть? — спросил Васильев. понимал,
— Что вы! — удивился Кинго. — Какое у меня оружие?

После того как Васильев закрыл печную дверцу, Кинго почувствовал себя гораздо увереннее. То, что он жил без прописки, беда была небольшая, и он понимал, что в худшем случае отделается небольшим штрафом. Обыск быстро закончился, дверь комнаты запечатали, Кинго повезли в угрозыск.

— Ну, Август, — сказал Васильев, — рассказывайте, какое дело готовите.

— Я? — удивился Кинго. — Я, гражданин Васильев, скажу вам, попробовал заниматься непозволенными делами, попался, отсидел и решил, что больше не буду. Значит, уголовник из меня не получится, если я на первом деле попался. Придется быть честным.

— Ай, Август, Август, — покачал головой Васильев. — Что же, вы хотите меня убедить, что дело, на котором вы попались, первое ваше дело? Вы же неглупый человек. Ну подумайте сами, кто вам поверит?

— В чем попался, в том виноват, — сказал Кинго, — а в чем не попался, в том не виноват.

— Хорошо, — сказал Васильев, — довольно об этом. Так какое же вы готовите дело?

— Я уже сказал, перехожу на честную жизнь.

— Эх, Кинго, Кинго! — Васильев сокрушенно покачал головой — Хотел я для вас лучше сделать. Думал, откроете вы какое дело готовите. Поскольку преступление не совершено, мы бы вам и обвинения не предъявляли. И стали бы вы действительно человеком честным. А вы мне голову начинаете морочить. Ну разумно ли это?

— Я вас, гражданин следователь, не понимаю, — обиделся Кинго. — Я думал, что уголовный розыск разбирает факты. Я думал, что уголовные романы пишут писатели, а не работники розыска. Честное слово, обидно! Человек раскаялся, отбыл наказание, решил начать трудовую жизнь, и вдруг на тебе, нелепые подозрения, обыск, арест.

— Значит, думаете уехать в Гдов? — спросил Васильев.

— И это знаете? Ну что ж, да, не скрываю. Думаю

уехать в Гдов. Может быть, там не будут про меня фантазировать, незаконно обыскивать и задерживать.

— А револьвер зачем? — очень тихо спросил Васильев.

— Какой револьвер? — также тихо спросил Кинго.

— Который в печку спрятали и золой засыпали. Кстати, засыпать золой револьверы вредно. Если бы мы его не нашли, пришлось бы вам здорово повозиться, пока бы вы его отчистили.

Час бился Васильев. Ему хотелось, чтобы Кинго сознался сам. Он думал, что, может быть, и получится из Августа честный человек, но Кинго упирался до конца. И дела он никакого не готовил, и револьвера у него никакого нет, и вообще, он человек, глубоко осознавший свои ошибки и твердо решивший вести трудовую жизнь.

— Ну что ж, — грустно сказал Васильев, увидев, что Кинго не переубедишь. — Поедемте, покажу вам ваш револьвер.

Снова сели в машину, снова поехали на квартиру Кинго. Взяли понятых, сняли печати, открыли комнату, открыли печную дверцу, вынули из-под золы большой парабеллум.

— Вот видите, Кинго, — сказал Васильев, — так бы у вас чистосердечное признание было, а теперь, я думаю, вы и сами понимаете, что за хранение оружия штрафом вы не отделаетесь.

Снова поехали в угрозыск, снова прошли в кабинет Васильева. Сели на диван. Васильев попросил уборщицу принести из буфета два стакана чаю и граммов двести печенья. Снова повели разговор.

Кинго был теперь подавлен. От прежнего его гонора и следа не осталось. Только что вышел из тюрьмы, и придется опять садиться. Ох, как теперь он жалел, что вовремя сам не рассказал о парабеллуме! Если бы рассказал, может быть, учли бы. Может, дали бы условно. А теперь тюрьмы не миновать.

Этот разговор ничем не походил на допрос. Сидели два человека на диванчике, попивали чай, грызли печенье и разговаривали негромко и внешне дружелюбно, будто просто два товарища сошлись почаевничать и поболтать.

— Вы поймите, Кинго, — говорил Васильев, — я ведь

стараюсь сделать для вас лучше. Дело, которое вы задумали, все равно не удастся. Вы будете сидеть за хранение оружия, товарищей ваших мы заметили, когда они с вами за одним столом в ресторане сидели, и теперь уж из виду их не выпустим. Если вы сейчас все откровенно расскажете, мы их, может быть, и задержим, даже наверное задержим, но для того только, чтобы объяснить, что мы за ними следим и идти им на преступление нет никакого смысла. А если вы упретесь, промолчите, мы их поймем в чужой квартире, с оружием, тогда будет уже ограбление со взломом. Честное слово, молчать вам сейчас даже по отношению к ним недобросовестно.

Кинго слушал, вздыхал и наконец сказал:

— Пишите.

Кинго рассказал, что собирался ограбить квартиру крупного ученого и подобрал себе помощников, что они узнали распорядок дня в семье и достали план квартиры. Кинго думал, что его арест не помешает предпринятию, соучастники и без него управятся. Действительно, товарищи его попытались ограбить квартиру, были задержаны и осуждены на небольшие сроки. Кинго тоже был за хранение оружия осужден на несколько месяцев заключения. Отбыв их, решил, что уголовные преступления ненадежный способ заработка и чаще приводят к тюрьме, чем к богатству, а поняв это, поступил на бухгалтерские курсы и, насколько знает Васильев, больше никогда ни в чем дурном замешан не был.

Рассказали мы о Кинго потому только, что, после того как протокол был подписан и Кинго должны были отвести в тюрьму, он горестно покачал головой и сказал:

— Нет, несправедливо устроен мир! Вот я хотел разбогатеть и второй раз вместо этого попадаю в тюрьму, а князь берет сотни тысяч и гуляет себе на свободе.

КАК ОБСТОИТ ДЕЛО С КНЯЗЬЯМИ

Сначала как-то Васильев не обратил на эту фразу внимания. Он поздно пришел домой, лег и заснул как убитый. Но и во сне почему-то казалось ему, что в ушах звенит слово «князь». Проснулся он рано, и первой его мыслью была мысль: что же все-таки это за «князь» та-

кой? Он стал спокойно рассуждать. Что значит слово «князь»? Во-первых, «князьями» почему-то с давних времен называют людей, занимающихся скупкой и перепродажей старья. В то время по глубоким петербургским дворам-колодцам ходили старьевщики и громким, певучим голосом не то выкликали, не то распевали нехитрую и не очень грамотную фразу: «Старьем берем!» Они скупали стоптанную обувь, изношенную одежду, все то, от чего каждый рад избавиться, особенно если получит за это хоть несколько копеек. Скупленное старье они сортировали, старую обувь продавали сапожникам на заплатки, одежду ремонтировали и дешево продавали приезжающим из деревни крестьянам. В общем, небольшую выгоду они получали. Вот именно за то, что их заработки были невелики, за это, наверно, в шутку и дали им прозвище «князь».

Второе: «князь» могла быть воровская кличка. Каких только кличек не дают уголовники! Каждая кличка пристает к человеку, если не навсегда, то очень надолго. Может быть, «князь» — это просто какой-нибудь вор, которого так окрестили по совершенно случайной причине.

Наконец, «князь» — это высший дворянский титул. Все княжеские фамилии известны наперечет. Многие из них стали князьями с таких давних времен, что даже и не понять, когда, собственно, получили они этот титул. Многие княжеские роды обеднели, в каждом роде были младшие линии, наследовавшие титул, но не наследовавшие богатства, захиревшие, ведущие скромную, иногда даже бедную жизнь. Многие из них не любили и вспоминать о своем княжеском происхождении, отбрасывали титул и с течением времени даже забывали, с какими знатными, богатыми людьми находятся они в родстве.

Интересно все-таки, какой же это «князь» взял сотни тысяч? Это должно было быть прогремевшим преступлением. Или же, конечно же, нераскрытым. Иначе Кинг не завидовал бы этому неведомому «князю».

Интересная получалась задачка. Васильев, не допив чаю, помчался в угрозыск.

«Князь, князь... — думал он. — Что же это за князь такой? Скорее всего, конечно, уголовная кличка. Старьевщики редко бывают замешаны в грабежах. Среди настоящих князей, конечно, масса мерзавцев. Но, во-первых,

большинство из них в эмиграции, а во-вторых, те, что остались, выродившийся народ». Он вспомнил князя Долгорукого. Ну можно ли себе представить, что этаким безвольный, слабый и глупый князь совершит ограбление и возьмет сотни тысяч? Нет, надо искать среди уголовников.

К этому времени энтузиаст криминалистики Алексей Андреевич Сальков уже начал составлять заново карту теку преступников. Картотека эта росла с каждым днем. На каждой карточке были записаны фамилия, имя и отчество, приметы, преступления, в которых он был замешан, и обязательно кличка, если, конечно, она была. Васильев просидел весь день, просматривая картотеку. «Князей» оказалось довольно много. Видно, кличка эта имела широкое распространение. Были «князья» двенадцати-тринадцати лет, беспризорники, стащившие белье с чердака или вытащившие кошелек у зазевавшейся домохозяйки. Трудно предположить, чтобы кто-нибудь из этой мелюзги сумел взять несколько сот тысяч. Был и старый «князь», когда-то вскрывавший стальные сейфы, но давно ушедший на покой и в последние годы ни в чем плохом не замеченный. Ему было восемьдесят два года, и ценности на такую огромную сумму он, наверно, просто не смог бы унести. Была «княгиня», поступавшая домработницей в богатые дома и открывавшая дверь квартиры бандитам. Но речь шла ведь о «князе», а не о «княгине». К вечеру Васильев убедился, что ни один «князь», зарегистрированный Сальковым, не мог совершить такое крупное преступление. Может быть, тот «князь», которого он ищет, еще не занесен в картотеку? Может быть, этот человек только что совершил свое первое преступление и пройдет время, пока он будет описан и зарегистрирован Сальковым?

Васильев поехал по отделениям милиции. Там прежде всего регистрировались преступления, совершенные в районе, и преступники, их совершившие. Тут «князей» было полным-полно. Был один «князь» на деревянной ноге, алкоголик, шатающийся по пивным и за стопку водки отгрызающий край у стакана. Он несколько раз попадался при попытке украсть со стойки пивной забытую шапку или залезть в карманы заснувшего собутыльника, но работники милиции твердо были уверены, что

никакие сотысячные дела ему и в голову не приходили. Был даже «князь», ему шел одиннадцатый год, ловкий карманник, которого милиция регулярно отправляла в детский дом и который столь же регулярно из детского дома убегал. Были «князья», давно сидящие за решеткой, были «князья»-спекулянты, «князья»-алкоголики, «князья»-карманники, но не было ни одного «князя», который мог бы пойти на дело, дающее сотни тысяч рублей.

Что касается старьевщиков, то в подавляющем своем большинстве уголовными делами они не занимались. Из поколения в поколение передавали они свою специальность. Они могли обмануть человека и купить за грош дорогую вещь или продать задорого рваньё. Самое большее, на что они решались, это, случайно попав в открытую квартиру, унести пальто с вешалки, а грабежи, крупные кражи, налеты, словом, серьезные уголовные преступления были не их специальностью.

Оставались настоящие титулованные князья. Но, во-первых, их было очень мало. Во-вторых, их было трудно найти. После семнадцатого года титулы стали в России не в чести, и от титула человек мог ждать только неприятностей. Поэтому в подавляющем своем большинстве наследники громких титулов скрывались и утверждали, что они происходят из самых недр пролетариата и беднейшего крестьянства.

Словом, дело с князьями обстояло очень плохо.

Васильев решил начинать с другого конца. Сотни тысяч — это очень большие деньги. Конечно же, ограбление на такую сумму было если и не раскрыто, то, во всяком случае, известно и в меру возможности расследовано. Васильев начал листать сданные в архив дела.

Грабили в то время много. Новый, советский уголовный розыск только входил в силу, только осваивал настоящее умение. С другой стороны, Россия только приходила в себя после империалистической войны, после революции, после гражданской войны и разрухи. Появилось огромное количество людей деклассированных, скрывающихся, не имеющих работы. Старые, опытные преступники, рассчитывая на слабость молодого уголовного розыска, прибирали к рукам безработных и беспризорных, людей, скрывающих свое прошлое, и людей, не имеющих будущего. Бывшие богачи прятали в квартирах

утаенные остатки своих богатств. Люди, действительно потерявшие богатства, стремились любыми способами разбогатеть снова. Они скоро сообразили, что выгодно сообщать вора, у кого из их друзей припрятано золотишко или валюта, и получать за это процент добычи. Да, грабили много. Васильев листал ежедневные донесения, которые концентрировались в уголовном розыске, и много было там сообщений об ограблении квартир и магазинов. Но самая большая сумма, в которую оценивалось награбленное, была двадцать или тридцать тысяч. Это тоже были очень большие деньги, но Кинго ведь говорил о сотнях тысяч.

Перелистал Васильев и дело об убийстве Куманиной. Он и раньше слышал о нем и вспомнил его, когда стал перебирать в памяти все нераскрытые преступления, которые мог совершить этот таинственный князь. Он вспомнил и забыл, потому что там сумма награбленного была как будто тридцать тысяч. На всякий случай он перелистал дело. Сын Куманиной сказал, что он не знает, сколько было у матери денег, но думает, что много. Муж Куманиной, владелец мучного лабаза, сначала утверждал, что тысяч на десять было ценностей, не больше, потом с колебанием согласился, что, может быть, и на двадцать, потому что у жены, мол, сохранились кое-какие камешки, а под конец согласился, что, может быть, и на тридцать. Это, конечно, не сотни тысяч, но все-таки... Васильев обратил внимание на разницу цифр. Сперва Куманин называет десять тысяч, а потом соглашается на тридцать. Даже по протоколу допроса кажется, что он как бы торгуется со следователем и старается доказать, что похищено было не так уж много. Казалось бы, он действует вопреки собственным интересам. Представьте себе, что похищенные ценности найдут и оценят в двести тысяч рублей. Значит, по-видимому, Куманиной принадлежит только часть, а остальное награблено в другом месте.

Но представим себе другое. Представим себе, что часть ценностей была, например, в валюте. Может быть, даже в валюте, выпущенной где-нибудь в Англии или Америке уже после революции. Скупка валюты запрещена, значит, Куманину придется за эту валюту отвечать. С драгоценностями тоже не так просто. Если Куманина

сохранила свои драгоценности, то ладно. А если она скупила их? На какие деньги? Очевидно, на доходы с мучного лабаза. А если муж утаил эти доходы от фининспектора? Лабаз принес за год по документам двадцать тысяч, а драгоценностей куплено на сто.

Можно же представить себе, и это будет вполне логично, что Куманин сознательно преуменьшал сумму ограбленного. Найдут ли грабителей или не найдут — это еще вопрос, а пока что придется самому отвечать. Может быть, наконец, и совсем другое. Куманина была, видимо, женщина деловая и энергичная. Она могла совсем не посвящать мужа в свои финансовые операции. И сын и муж говорят, что у Куманиной был очень узкий кружок знакомых. Вот, может быть, именно среди них и был какой-то человек, через которого Куманина производила свои операции. Вполне вероятно, что она собиралась уехать за границу. Сын, по-видимому, был ей совершенно чужой. Он был человек склада научного, а не коммерческого. Муж увлекся своими мучными лабазами. Может быть, хитрая женщина решила набрать как можно больше валюты и драгоценностей, переправить их каким-нибудь тайным способом за границу, потом выхлопотать себе разрешение на выезд, в то время это было нетрудно, и мирно уехать к ожидавшему ее там богатству.

Короче говоря, перелистав дело, Васильев решил: вполне возможно, что именно у Куманиной взял таинственный князь эти таинственные сотни тысяч. Члены узкого кружка, с которыми вела знакомство и даже дружбу Куманина, были перечислены и мужем и сыном. Конечно, все это были дворяне. Был там какой-то барон, был даже какой-то граф, правда из захудалых, но князя, как назло, не было ни одного. Все члены этого кружка были тщательно допрошены Свиридовым. По протоколам было видно, что непричастность каждого к этому делу была бесспорно доказана. Один был в это время в больнице — к делу была подшита справка. Другой служил и весь этот день был на службе, и это тоже подтверждалось справкой. Третий ездил в Кавголово и ходил на лыжах, потому что он, хотя человек и немолодой, всегда увлекался лыжным спортом. Пять человек свидетельствовали, что он действительно весь этот день провел в Кавголово. Короче говоря, Свиридов расследовал дело

добросовестно. Беда была только в одном: кто совершил убийство, осталось невыясненным.

Однако из всех дел, которые просмотрел Васильев, только у Куманиной могли быть отняты сотни тысяч, и по связям ее, по среде, ее окружавшей, только ее мог убить настоящий князь.

Васильев вызвал к себе на допрос мужа Куманиной. Пришел человек лет, наверно, пятидесяти пяти, тихий, молчаливый и очень вежливый. Станным образом в нем переплеталась придворная вежливость и достоинство с какой-то лабазно-приказничьей угодливостью. Видно, привычки, приобретенные до революции, перемешивались с привычками, приобретенными в годы нэпа в мучном лабазе.

Да, Куманин думает, что у жены было ценностей не больше чем тысяч на тридцать.

— А может быть, на триста? — спрашивает Васильев.

— Может быть, и на триста, — вежливо соглашается Куманин. — Только если на триста, то я ничего про это не знал. Жена была женщина самостоятельная, дела вела сама и меня в них не посвящала. Мы ведь с ней были не в очень хороших отношениях. Честно вам скажу, если бы в царской России не было так сложно развестись, так я бы с ней еще до революции развелся.

— Но ведь после революции развестись несложно, — говорит Васильев.

— Все, знаете, руки не доходили. Торговля для меня дело новое, пришлось изучать. А вообще мы с ней были люди давно чужие.

Тогда Васильев, решив попробовать наудачу, небрежно спрашивает:

— Вот вы перечисляли членов этого маленького интимного кружка, собиравшегося у вашей супруги, а почему вы ничего не упомянули о князе? Там ведь был еще князь.

— Был когда-то, — хмуро соглашается Куманин. — Правда, кавказский князь. Его княжество еще надо проверить.

— И он дружил с вашей супругой?

— Раньше бывал иногда, а года два уже я его не встречаю. Может, поссорились, может, умер. Это ведь ее все друзья, а не мои. Мои друзья в лабазах сидят. Я те-

перь купец, а барыня моя, видите ли, все себя придворной считала.— Куманин усмехнулся и добавил: — Смешно, право, императора нет, двора нет, а придворные, изволите ли видеть, есть.

— А как фамилия князя? — спросил Васильев.

— Вот уж чего не помню, того не помню,— решительно сказал Куманин.

ОБРАЗЦОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Часом позже в кабинете Васильева сидел сын Куманина.

— Скажите,— спросил его Иван Васильевич,— почему вы не назвали князя, который дружил с вашей матерью?

Молодой человек мало был похож на отца. То есть, может быть, в чертах лица и было некоторое сходство, но насколько старший Куманин был уверен в себе уверенностью человека богатого, насколько ясно было видно, что интересуют его только дела и что после окончания гимназии он, наверно, не прочел ни одной книжки, настолько у сына было лицо умное и интеллигентное.

— Видите ли,— сказал молодой Куманин, немного смутившись,— вы только поймите меня правильно. Я совершенно лишен того, что именуется сословными предрассудками. Не знаю уж, как это получилось, но только я еще в гимназические годы был в семье чужим человеком, и вся эта суeta мелкого честолюбия, которая занимала всю жизнь моих родителей, была мне смешна и неприятна. Я совершенно не вижу причин гордиться своим дворянским происхождением, тем более что когда я однажды из любопытства стал изучать наше, так сказать, родословное дерево, то убедился без труда, что дворянство у нас, можно сказать, поддельное. То есть не то чтобы совсем, но, во всяком случае, еще пятьдесят лет назад о «знатном» роде Куманиных никто и не слышал. Я занимаюсь теорией сопротивления материалов. Это меня интересует. Сам профессор Тимошенко похвалил мою статью, и это дает мне надежду, что кое-чего я в своей специальности добьюсь. Как я говорил, в семье я всегда был чужим человеком. Мне всегда казались мелкими и скучными интересы отца и матери. Они это чув-

ствовали и относились ко мне, по совести говоря... ну, скажем, холодно.

Молодой человек вдруг замолчал и очень смутился. Лицо его медленно залилось краской.

— Вы только не думайте, гражданин следовательно,— сказал он,— что я все это говорю для того, чтобы объяснить, какой я горячий сторонник Советской власти. Мои политические взгляды к делу никакого отношения не имеют. Наоборот, я считаю, что в эпоху гигантских исторических переворотов, громко говоря, преступления родителей бросают тень на детей. Я не собираюсь своих родителей проклинать и доказывать, что я в душе пролетарий. Вероятно, пороки сословия, пороки класса сказались и во мне, только, может быть, в несколько своеобразной форме.

Куманин смутился окончательно и замолчал. Васильев смотрел на него, тоже молчал и думал, какое бесконечное количество удивительных, не похожих друг на друга судеб, какое бесконечное количество конфликтов и драм рождено революцией. Вот сидит молодой человек, принадлежащий по рождению, по среде, окружавшей его с детства, к пусть не очень родовитому, но все же придворному дворянству. Он никогда не скажет, что принимает Советскую власть, не скажет потому только, что это могут принять за корыстный отказ от своих родителей и своей среды. Ему противно мелкое честолюбие, ради которого его родители всю жизнь шли на унижения, примазывались к знатым и богатым и еще гордились своей непочтенной жизнью.

Сыну интересна только наука, и он все понимает и знает про родителей, но боится сказать эту настоящую правду, чтобы не подумали, будто он примазывается к новой власти.

— Как фамилия этого князя?

— Татиев,— сказал Куманин.— Видите ли, всю эту горячую речь я произнес ради того, чтобы можно было сказать просто и коротко. Для моей матери, бог ей теперь судья, важно было, что Татиев князь. Для меня важно, что он, по-моему, человек непорядочный.

— Что же непорядочного он совершил? — спросил Васильев.

— Ну, это неважно,— сказал, опять смутившись, Ку-

манин.— Вы, наверно, сможете сами узнать, а мне бы об этом говорить не хотелось.

— Он работает где-нибудь? — спросил Васильев.

— Раньше, во всяком случае, работал. Он, видите ли, штабс-капитан царской армии, а в советское время был назначен комендантом аэродрома.

— В Новой Деревне? — спросил Васильев.

— Да, работал в Новой Деревне.

Отпустив Куманина, Васильев сразу поехал на аэродром. Ехал он в машине и думал: что же все-таки заставляет Куманина с таким презрением относиться к Татиеву? Происхождение, с точки зрения дворянина, хорошее. Какой-никакой, а князь. Если работает комендантом аэродрома, значит, человек порядочный. Все-таки из старого офицерства на сторону Советской власти перешли лучшие. Во всяком случае, брали на работу лучших. Может быть, за всеми этими рассуждениями Куманина, рассуждениями противоречивыми, недоговоренными, стоит одно: если старый офицер пошел работать на Советскую власть, значит, он человек непорядочный. Тогда понятно, почему Куманин так и не сказал, почему он не любит и вроде бы стыдится знакомства с Татиевым. Черт их знает, этих дворян! С ними намучаешься. Много, конечно, просто мерзавцев, а многие путаются, колеблются, сами не знают, что они любят и что не любят.

На аэродроме Васильев сразу пошел к коменданту. Комната коменданта находилась в бревенчатом рубленом доме, в котором помещалась и комната, где ночевали летчики, и буфет, и еще какие-то служебные помещения. Все они были разделены дощатыми перегородками, и если в первой комнате чихнуть, то из последней доносилось «будьте здоровы».

Комендантом оказался парень лет двадцати пяти, широкоскулый, со вздернутым носом, явно не кавказского происхождения. Васильев хотел было прямо обратиться к нему «товарищ Татиев», но, увидев его лицо, замолчал.

— Вам чего, товарищ? — спросил комендант с явно не княжескими интонациями.

Васильев показал ему удостоверение, и комендант удивился.

— Что вы, товарищ Васильев, — сказал он, — у нас народ все честный, летчики — это же знаете какие ребята?

— Вы комендантом давно работаете? — спросил Васильев.

— Скоро два года.

— А до вас кто был комендантом?

— Работал тут один из бывших, Татиев, штабс-капитан царской армии.

— А сейчас он где?

— Пять лет отсиживает.

— Как — отсиживает? — Васильев даже привскочил. — За что?

— Знаете, — сказал комендант, — я уж после него пришел. Я лучше ребят позову. Тут есть старики, лучше меня знают. — Он негромко сказал: — Ребята, давайте сюда!

Негромко сказанная эта фраза была тем не менее слышна во всех углах дома, и в комнату коменданта стал набиваться народ. «Стариками» оказались молодые, здоровые парни лет двадцати шести, народ все плечистый и жизнерадостный.

Стоило назвать фамилию «Татиев», как «старики» все разом загудели. Из отдельных фраз, иронических реплик, рассказов, перебивавших друг друга, Васильев узнал следующее.

Татиев был комендантом. Сам он из бывших, штабс-капитан. Будто бы даже князь. Это можно проверить, в архиве есть его анкета. Человек он был молчаливый, но службу знал. Спрашивал строго, но ребята на него не сердились. Летное дело такое, тут распускаться нельзя. Говорил мало и все по делу. Как будто не пил, во всяком случае, на службе пьяным не бывал. А тут случилась ревизия, и вдруг оказалось, что он, понимаете, по каким-то вроде фальшивым документам получал деньги и растратил, говорят, пять тысяч рублей.

Тут пошли страшные ахи и охи: подумайте только, пять тысяч! И на что ему столько денег? И жалованье ведь получал приличное. Вполне прожить можно. Тем более человек одинокий, неженатый. Детей нет.

Тут начались шутки насчет Вани, которому пять тысяч до зарезу необходимы. Ваня, оказывается, стал ухаживать за какой-то девушкой, а отец у девушки врач, она избалованная, все в ресторан да в ресторан. Ваня залез в долги, исхудал весь, а потом написал девушке, что, мол, представьте себе, переводят меня на Крайний Север, на

секретнейшую работу, так что прощайте, мол, дорогая, больше мы с вами не увидимся. Ну, написал, получил зарплату, долги раздал, стал отъедаться, и вдруг, представляете, поехали в выходной компанией на острова. Ходим гуляем, пивка по кружечке выпили, и вдруг Ваня со своей девушкой прямо нос к носу.

Когда дошло до этого места, тут уже хохотали все. Сгибались от хохота. Хватались за животы. Оказалось, что Ваня, к удивлению товарищей, увидев девушку, вдруг повернулся да как бросился бежать. Девушка за ним, ребята ничего не могут понять, а он прямо через мост, только пятки сверкают. На ходу впрыгнул в трамвай и скрылся.

— В какой колонии Татиев? — спросил Васильев, когда смех затих.

Вспомнили, что было письмо из колонии, просили на Татиева характеристику. Долго искали это письмо, наконец нашли. Оказалось, что характеристику дали хорошую, потому что работал Татиев добросовестно, но в конце характеристики оговорили: если не считать, что украл пять тысяч.

Записав номер колонии, Васильев сразу поехал туда. Начальник колонии хорошо знал Татиева.

— Один из лучших заключенных, — сказал он. — Человек положительный. Мы с ним беседовали. На жизнь смотрит серьезно. Имеет планы. Работает добросовестно. Никогда никаких скандалов, ничего такого. Мы поставили вопрос о досрочном освобождении. Что ж, человек осознал ошибки, раскаялся. У него уж на счету двести восемьдесят рублей заработанных. Так он, представьте себе, попросил их перевести на счет аэродрома. Выйду, говорит, на службу поступлю, все отработаю.

— Поощрения имеет? — спросил Васильев.

— А как же? — Начальник даже удивился. — Каждое воскресенье выходной получает. И приходит всегда вовремя, трезвый. По порядку доложится, все, как надо. Знаете, военная косточка. Уважает порядок.

Васильев попросил показать ему Татиева. Пошли в слесарную мастерскую. Начальник колонии сделал вид, что показывает мастерскую начальству, и незаметно кивнул на невысокого плотного человека, стоящего у станка и спокойно и умело работающего. Васильев подо-

шел поближе и долго стоял и смотрел, как ловко и быстро княжеские руки обтачивают какую-то деталь. Татиев работал уверенно, равнодушно посмотрел на Васильева и, ни на секунду не замедляя темпа, взял следующую деталь.

Васильев с начальником прошли по мастерской и вернулись в кабинет.

— А кто-нибудь навещает Татиева? — спросил Васильев.

— Навещают, — сказал начальник. — Он во время следствия сидел в «Крестах» и там подружился с тремя тоже подследственными. Один немец, некий Траубенберг, бывший офицер. Он теперь танцы преподает на Литейном в танцклассе. Знаете, афиши везде висят.

— У Саши Баака? — спросил Васильев.

— Во-во, — сказал начальник. — Потом эстонец один, Зибарт, и латыш Эглит.

— У меня к вам просьба, — сказал Васильев. — В это воскресенье не отпускайте Татиева. Придумайте что-нибудь. Назначьте его дежурным. Ну, словом, это вы лучше меня решите.

— А что, он замешан в чем-нибудь? — искренне удивился начальник.

— Нет, что вы, — сказал Васильев, — разве такой примерный заключенный может в чем-нибудь быть замешан? Так смотрите, ни в коем случае не отпускайте. А на той неделе я к вам заеду.

В полной темноте, окружавшей историю убийства и ограбления Куманиной, наметился некоторый просвет. Зибарт и Эглит были старые петербургские «медвежатники», то есть специалисты по вскрытию касс. Было до революции совершено в Петербурге несколько крупных ограблений, в которых, Васильев был уверен, они участвовали. Люди эти были ловкости необыкновенной. Несколько раз их арестовывали до революции, и каждый раз их участие в преступлениях доказать было невозможно. Два раза по подозрению арестовывал их Васильев. И каждый раз улики оказывались недостаточными, и, просидев некоторое время в «Крестах» (под этим названием была известна петроградская подследственная тюрьма), они выходили на свободу, и Васильеву приходилось даже перед ними извиняться. И все-таки Иван Васильевич был

убежден и в том, что до революции занимались они грабежами, и в том, что после революции продолжали заниматься тем же.

Может ли быть случайным это совпадение? Почему именно с Татиевым сдружились в «Крестах» эти специалисты по взлому и грабежам? Почему именно его они навещали в колонии? Естественно предположить, что Татиев привел их к Куманиной. Открыв дверь через цепочку, Куманина увидела старого своего знакомого и сняла цепочку. Вместе с Татиевым вошли еще трое: Зибарт, Эглит и Траубенберг. Вероятно, они стояли спрятавшись, пока она смотрела, кто пришел. Но, как только цепочки были сняты, все четверо вошли в квартиру. Вероятно, сразу она даже не испугалась, подумала просто, что Татиев привел своих друзей. Ну, а потом, наверное, даже крикнуть не успела. Трое, вероятно, душили ее, а четвертый убил собаку. Потом не торопясь — Татиев хорошо изучил порядки в доме и знал, что несколько свободных часов у них есть наверняка, — не торопясь они простукали стены, обыскали дымоходы и один за другим нашли все тайники. Картина складывалась очень убедительная. Только одно возражение мог привести против нее Васильев. Дело в том, что убийство произошло в среду, он это точно помнил, а отпуск в колонии давали только по воскресеньям.

ДЕЛА ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ

Васильев пошел на Литейный проспект в танцкласс Саши Баака. Сам Саша танцевать не умел, но очень хорошо одевался и, с точки зрения быстро разбогатевших нэпманов, был великолепно воспитан. Он всегда целовал дамам ручки, держал себя очень вежливо, хотя без всякой угодливости, и с большим достоинством. Среди учеников ходили таинственные слухи о его будто бы аристократическом происхождении, которое — тут рассказчик делал таинственное лицо — приходится сейчас, вы понимаете... Все догадывались, что, очевидно, Саша Баак был человек из самого высшего общества, может быть, даже не то граф, не то барон. Были люди, утверждавшие другое. Саша Баак незаконный сын великого князя, которого отец хотя и не признал, но тем не менее ввел в самый выс-

ший круг. Васильев хорошо знал Баака, потому что некоторые уголовники считали нужным овладеть хорошими манерами и ходили к Саше в танцкласс. Поэтому Васильев и сам бывал у Саши неоднократно и несколько раз вызывал его к себе в угрозыск. Знал Васильев и то, что ни к какому великому князю Саша отношения не имел и никаким титулом не обладал. Был он до революции просто дамским парикмахером и скромное свое имя Саша переделал в роскошное Алексис. Тем не менее Васильев, бывая в танцклассе, слушал с серьезным лицом разговоры о Сашином аристократическом происхождении и иногда даже почти подтверждал его, говоря, что он тоже что-то такое слышал.

Саша в танцклассе играл роль не только владельца, но и церемониймейстера. Он любезно, с достоинством встречал гостей, обменивался с каждым двумя-тремя ничего не значащими фразами, знакомил кавалеров и дам и передавал их на руки преподавателей. Когда начинал играть рояль и пары довольно неумело, все время сбиваясь с ритма, начинали кружиться по залу, Саша благосклонно на них поглядывал, и вид у него был такой, что если бы, мол, не его общественные обязанности, так он и сам с удовольствием пошел бы танцевать. Танцевать он, однако, никогда не шел, потому что уважал танцы только как дело, которое приносит ему доход.

Васильев поздоровался с Сашей и спросил, есть ли у него в танцклассе учитель, по фамилии Траубенберг. Оказалось, что Траубенберг есть, что сейчас он ведет урок, а после урока Саша с удовольствием познакомит с ним Васильева.

— Хороший учитель,— сказал Саша.— Знаете, действительно дворянин и действительно бывший штабс-капитан. Но, к сожалению, уходит.

— Почему? — спросил Васильев.

— Уезжает за границу,— сказал с горечью Саша.— У него мать в Эстонии, так вот пишет, что хочет перед смертью повидать сына.

— А когда едет? — насторожился Васильев.

— Предупредил меня, что работает только до первого числа следующего месяца.

Васильев успокоился, вспомнив, что до первого осталось еще семь дней.

Тапер, студент консерватории, зарабатывавший у Саши Баака деньги, чтобы учиться, играл лениво и вяло. Он был действительно талантливый пианист. Ему было очень скучно играть все время одни и те же вальсы, фокстроты, танго и шимми. Ему была смешна вся эта толпа учеников с поразительным отсутствием изящества, но необыкновенно старательно выделяющих ногами несложные па всех этих модных танцев. Между танцующими скользил бывший штабс-капитан Траубенберг и на ходу, иногда даже чуть-чуть подпевая музыке, будто бы даже пританцовывая, шепотом делал указания то одной, то другой паре, а иногда командовал всем танцующим и пианисту: «Быстрее... еще быстрее... Медленно, совсем медленно...»

Штабс-капитану, наверно, исполнилось лет тридцать пять. Маленький, худенький, он двигался легко и свободно и был действительно превосходным танцором. Через пять минут, дождавшись конца музыкальной фразы, он негромко скомандовал: «Перерыв». Все остановились. Пианист опустил крышку рояля и, обретя сразу вид человека, который никакого отношения к роялю не имеет, вынул из портфеля книжку и начал читать. Он экономил каждую минуту, потому что занятия в консерватории и таперство отнимали у него все время, а он любил читать книги о музыкантах, их письма, воспоминания о них. У большинства великих музыкантов жизнь была трудная и бедная, и это утешало тапера в том, что он драгоценные часы для серьезных музыкальных занятий тратит, барабанив на рояле эти никому не нужные танцы.

Танцующие, запыхавшиеся и разгоряченные, расселись на стульях, стоящих вдоль стен, и негромко разговаривали между собой. Траубенберг, ничуть не запыхавшийся и, кажется, совсем не уставший, подошел к Саше Бааку. Саша познакомил его с Васильевым и отошел. Перерывы были временем его работы. Спокойный, серьезный, он шел вдоль стульев, отпускал комплименты, любезно, но без всякой угодливости уверял каждого, что сегодня он танцевал уже гораздо лучше, а некоторых, самых старых и выгодных учеников, даже спрашивал на ходу о домашних и семейных делах. За его спиной танцоры шептались о том, что он не то незаконный сын великого князя, не то законный сын графа. Ну, словом, сразу видно, прожил всю жизнь в самых высоких кругах.

— Вы, говорят, бросаете работу здесь? — спросил Васильев.

— Еду навестить матушку, — сказал Траубенберг, — она пишет, что плоха и хочет меня еще раз повидать. Я всегда был хорошим сыном и считаю себя обязанным исполнить ее желание. Может быть, это наша последняя встреча.

— А где ваша матушка? — спросил Васильев.

— В Ревеле, — сказал Траубенберг, — то есть теперь он Таллин. Не понимаю я этих новых названий. Почему вдруг называется Таллин?

— Надолго едете?

— Месяца через два вернусь.

— И что думаете делать потом?

— Буду преподавать танцы. Вам, наверно, покажется странным, что я, имеющий воинское звание, вдруг занялся танцами. Но дело в том, что танцы я любил всегда. Вы знаете, до революции меня даже приглашали на большие балы в Пажеский корпус дирижировать танцами. Конечно, раньше были сословные предрассудки и моя матушка была бы очень огорчена, если бы я, бросив военную карьеру, посвятил себя танцам целиком, но сейчас, слава богу, предрассудки эти уничтожены, и матушка даже пишет, что я выбрал себе хорошую профессию.

Действительно, ничего военного не было в этом маленьком, изящном человеке, который стоял перед Васильевым. Весь он был какой-то невесомый и принимал позы одна изящней другой. Принимал несознательно, не потому, что хотел показать, какой он изящный и легкий, а просто потому, что позы эти были ему свойственны. И голос у него был слабый, и произносил он слова протяжно и хотя не грассировал, но казалось, будто бы и грассирует, и нельзя было представить его стоящим перед солдатским строем и произносящим отрывистые и четкие военные команды.

Подошел Саша Баак и подал, вероятно, какой-то не замеченный Васильевым знак. Траубенберг вдруг оживился и заскользил по паркету, проходя мимо тапера, кинул ему: «Прошу вас, мосье», и громко скомандовал всем: «Прошу вас, господа!» Тапер, с грустью закрыв интересную книгу, начал лениво играть скучные танцы, и Васильев, простившись с Сашей Бааком, вышел на улицу.

Шел дождь. Мокрые торцы впитывали и впитывали воду, и уже поверх тротуара и мостовой сверкали лужи, и город был точно покрыт черным лаком. Казалось, ни одного сухого местечка не осталось в городе. На Невском Васильев сел в трамвай и поехал к Главному штабу. Он остался на площадке, смотрел на прохожих в пальто с поднятыми воротниками, в галошах и с зонтиками, на лужи, которые покрывались грязью от все падающих и падающих с неба капель, и без конца думал и передумывал.

«Траубенберг,—рассуждал он,—кажется, ни в чем никогда не был замешан. Зибарт и Эглит старые уголовники, и вряд ли можно от них ждать, что они раскаются и начнут честную жизнь. Татиев растратил пять тысяч рублей. Это, конечно, уголовное преступление, но, может быть, результат просто слабости и неумения противостоять искушениям. Может быть, он игрок, не удержался и проиграл эти деньги. Все-таки между растратчиком и убийцей большая разница. Если Август Кинго сказал «князь» случайно или имея в виду совсем другого князя, то, в сущности, все предположения ломаного гроша не стоят. Хорошо, Татиев познакомился в тюрьме с Траубенбергом, Зибартом и Эглитом. После освобождения из тюрьмы они его навещали в колонии. Просто, может быть, подружились; может быть, условились, когда Татиев освободится, открыть вместе магазин или мастерскую. Значит, у них могут быть просто деловые разговоры. То, что Траубенберг едет за границу, тоже можно толковать по-разному. Может быть, обогатившись на убийстве Куманиной, он едет в Эстонию, зная, что денег хватит ему на всю жизнь. Но может быть также, что он действительно хочет навестить свою матушку и через два месяца станет снова водить хороводы у Саши Баака. Интересно, Зибарт и Эглит тоже едут в Эстонию? Если все трое едут, то это уже серьезно. Хотя, с другой стороны, что это доказывает? Едут они, очевидно, легально. Если бы они собирались тайно переходить границу, вряд ли Траубенберг так откровенно говорил бы об этом. Траубенберг, очевидно, из прибалтийских дворян. Зибарт—эстонец, Эглит — латыш. В конце концов, люди возвращаются к себе на родину. Никакого обвинения здесь не построишь. И все-таки какой-то секрет здесь есть. За границу сейчас пускают

легко, но уж не так легко. Нужна валюта. В Эстонию ни с чем не приедешь. Так или иначе, поездка за границу — событие для каждого. У каждого масса хлопот — визы, пропуска, валюта, — и в это горячее время три человека регулярно ездят навещать случайного знакомого по тюрьме. Нет, не верю. Логичнее думать иначе. Награбленное разделено и как-нибудь переправлено за границу или должно быть переправлено. Эти трое едут совершенно легально. За ними хвостов нет, вина их никак не доказана, и, конечно, иностранный отдел свободно выдаст им пропуска. Кому они нужны тут, в России? Вот они и уезжают. У Татиева другое дело. Он находится в заключении, и, конечно, никто его сейчас за границу не выпустит. Чего он должен желать? Прежде всего — насколько возможно сократить срок заключения. Работает превосходно. Ни одного замечания нет. Естественно, что начальство колонии возбудит ходатайство о досрочном освобождении: человек, мол, раскаялся, человек, мол, исправился. Сидит он уже два года. Все основания думать, что через полгода его освободят. Ну, в крайнем случае через год. Тогда он или подает заявление о пропуске, или, человек он, видно, решительный, свяжется с контрабандистами, выберет ночку потемнее и где-нибудь в районе Пскова перейдет границу.

То, что эти трое уезжают раньше, совершенно понятно. Во-первых, зачем им рисковать? Вдруг что-нибудь вскрыется и их арестуют. Во-вторых, всем четверым вместе уезжать тоже рискованно. Могут возникнуть подозрения, и их в последний момент задержат. И, наконец, последнее: они там пока реализуют ценности, обеспечат Татиеву прием, если ему придется переходить границу нелегально, Татиев придет на готовенькое».

Васильеву было двадцать четыре года. Это не очень большой возраст и не очень большой стаж был у него розыскной работы, но одно он уже знал совершенно точно: фантазировать необходимо. Без фантазии хорошо скрытое преступление не раскроешь. Самые дикие, самые неожиданные мысли, которые приходят тебе в голову, нужно продумать как следует и проверить. И все-таки только фантазия может помочь найти нужные, точные и бесспорные факты. В сущности, сейчас, перебирая все, что ему известно, он пришел к одному печальному для него

выводу: факты, которые он знает, одинаково свидетельствуют и в обвинение и в защиту князя Татиева.

Иностранный отдел Петроградского исполкома помещался через несколько комнат от васьильевского кабинета. Раздевшись, Васильев торопливо прошел туда. Траубенберг? Да, подал заявление. Вызван для получения пропуска на первое число. Зибарт? Да, подал заявление. То же вызван на первое число. И Эглит то же самое.

— Если первого числа они получают пропуск, когда они могут уехать?

— Могут даже первого вечером. Поезд отходит в девять вечера, получают пропуска, возьмут билеты. Билетов туда сколько угодно.

Конечно, можно поступить просто. Можно поехать на квартиры ко всем трем, сделать обыск и попробовать найти что-нибудь из вещей Куманиной. Вызвать для опознания мужа и сына, и, если хоть какая-нибудь мелочь найдется, есть все основания выписывать ордер на арест.

Васильев уже протянул руку к телефонной трубке. Надо было звонить в адресный стол и узнать адреса, но в последнюю минуту он трубку не снял.

А если это люди хитрые и осторожные? Если вещи, похищенные у Куманиной, спрятаны ими у каких-то не известных ему знакомых или даже просто сданы на хранение на вокзал, а квитанция запечатана в конверт и отправлена до востребования в не известное ему почтовое отделение, на собственное имя преступника? Чего он добьется обыском? Только того, что они почувствуют опасность. Он ничего не найдет, и оснований для ареста у него не будет. Значит, неделю они будут гулять на свободе, и если, как следует думать, есть у них какие-то доверенные лица, какие-то люди, которые выполняют их поручения, то вещи Куманиной уплывут, преступники уедут за границу и, уж конечно, навсегда останутся безнаказанными.

Васильев подумал еще и пошел опять в иностранный отдел. Он решил, что все трое будут задержаны, когда придут за пропусками и когда им останется только несколько часов до поезда в Таллин.

БРИТВА С МОНОГРАММОЙ

Каждый день кто-нибудь из сотрудников угрозыска, как будто случайно, заглядывал к Саше Бааку. Кружились неуклюжие пары, с достоинством любезничал Саша, скользил между танцующими изящный, спокойный Траубенберг. За квартирами Зибарта и Эглита тоже было установлено наблюдение. Когда кто-нибудь из них выходил на улицу, его пропускали, но, если бы он шел с чемоданом, приказано было за ним следить и в крайнем случае задержать. Зибарт и Эглит жили как обыкновенно. По вечерам сидели обычно вдвоем где-нибудь в ресторане, пили очень немного, уходили рано, прогуливались по Невскому; словом, ничего подозрительного в их поведении не было. Тридцатого числа, накануне дня, когда они должны были получить в иностранном отделе пропуск, накануне того дня, когда, как предполагал Васильев, они собирались уехать, они зашли к Бааку, дождавшись конца занятий, забрали Траубенберга и поехали в колонию к Татиеву. Свидание было такое же, как обычно. Начальник колонии слышал, что они смеялись, шутили, только на прощание расцеловались и долго трясли друг другу руки. В этом ничего особенного не было. Люди уезжают за границу и, стало быть, долго не увидят князя. Тридцатого же Васильев пошел к начальству и взял три ордера на обыск и арест. Первого числа с самого утра в одной из комнат иностранного отдела сидел Васильев и ждал гостей. Ордера лежали у него в кармане. Как он и предполагал, гости пришли рано. Часов в десять утра, как только началась выдача пропусков, все трое стояли уже у стола сотрудника, выдававшего пропуски. Сотрудник, спокойный и вежливый молодой человек, извинился, сказав, что их пропуска на подписи у начальства и что лучше всего пусть они сами пройдут к начальнику. Он при них же и подпишет. Сотрудник указал на дверь комнаты, в которой сидел начальник.

Они вошли все трое совершенно спокойные, ничего плохого не ожидая, но, когда увидели Васильева, лица у них изменились.

Васильев предложил им сесть.

— За границу едете? — спросил он их любезно.

— Мы с вами, если не ошибаюсь, — немного растяги-

вая слова, сказал Траубенберг,— встречались в танцевальном зале?

— Совершенно верно,— кивнул Васильев.

— Так я же вам тогда рассказывал, что магушка моя, женщина пожилая и слабого здоровья, просит меня приехать к ней повидаться.

— Рассказывали,— согласился Васильев.

Внешне все трое были по-прежнему спокойны. Могло ведь быть и так, рассуждали Зибарт и Эглит, раньше работал Васильев в уголовном розыске, а теперь в иностранном отделе. Может быть, тут ничего особенного нет. Подпишет он им пропуска и отпустит. Мало ли что он их подозревал, когда арестовывал в прошлый раз, ведь отпустил же. Значит, подозрения не подтвердились.

Васильев долго молчал. Потом Зибарт спросил:

— Наши пропуска у вас?

— У меня,— сказал Васильев,— но я хочу сначала с вами поговорить кое о чем. Дело в том, что вскрылось наконец дело об убийстве Куманиной.

Ничто не изменилось. Все трое по-прежнему были спокойны, никто не вздрогнул, никто даже, кажется, не удивился неожиданному повороту разговора. И все-таки Васильев почувствовал, как напряглись, как насторожились все трое. Теперь он внутренне был уверен: да, они убили Куманину. Уверенным быть хорошо, но, к сожалению, этого мало. Надо еще доказать виновность. Прошел год. Вещи убитой могли быть проданы, могли быть контрабандой переправлены за границу. И какие у Васильева доказательства, если ни у кого из них не будут найдены вещи Куманиной? Придется извиниться за арест, придется извиниться за обыск, придется вручить всем троим пропуска за границу.

— Так как же, граждане? — спросил Васильев.

Зибарт был полный, даже тучный человек. Васильев видел, как медленно наливается у него кровью лицо. Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. Он сидел развалившись и смотрел на Васильева с яростью.

— Ой, как ты мне надоел, гражданин Васильев! — сказал он громко, не боясь, очевидно, что каждое слово будет слышно в коридоре.— Что ты ко мне привязался? Раз сажаешь в тюрьму, шьешь мне какое-то дело, о котором я никогда не слышал, держишь в тюрьме, потом

выпускаешь — сам видишь, что нет оснований держать. Ну хорошо, я думал, отвяжешься. Решил за границу вехать. За границей, думаю, хоть не увижу гражданина Васильева. Подал заявление в официальное место, в иностранный отдел, как полагается по закону. Иностранный отдел видит — нет оснований задерживать Зибарта, дадим ему пропуск, пускай едет. Опять приходит Васильев, начинает устраивать шум. Не хочу я видеть тебя и говорить с тобой. Посадишь опять в тюрьму, продержишь два месяца ипустишь. Ведь это что же такое получается? Сумасшедший придумывает какие-то глупости, а я за них отвечаю! Отпусти ты нас за границу, как положено по закону. Не желаю я дело иметь с советским угрозыском! Завтра тебе еще десять убийств в голову придут, и я за всех убийц в ответе. Я жаловаться буду, Васильев, ты у меня вот где сидишь! — И Зибарт показал на горло. Мол, поперек горла ты у меня.

— Зря волнуетесь, гражданин Зибарт, — спокойно ответил Васильев. — Если я противозаконно действую, я за это отвечаю. И все-таки вы мне скажите, как вы убили Куманину и где находятся ценности, которые вы у нее забрали.

Зибарт задохнулся от ярости. Он развел руками, показывая, что он не в силах продолжать разговор. Тогда, растягивая слова и как будто бы даже грассируя, заговорил Траубенберг.

— Гражданин Васильев, — сказал он, — у меня матушка в Ревеле, то есть в Таллине, почтеннейшая старушка, предки мои переселились в Прибалтику из Германии вскоре после ливонских войн. Если я вам покажу свою родословную, вы увидите, что все мои предки были исключительно порядочными людьми. Я с большим уважением отношусь к моей матушке и ко всем пожилым дамам вообще. Неужели вы думаете, что я мог бы пойти на убийство пожилой дамы?

— Почему вы думаете, что она была пожилая? — быстро спросил Васильев.

— Я так понял по вашим словам.

— Я ничего не говорил о возрасте Куманиной.

— Ну, дамы вообще! — крикнул Траубенберг. — Я всегда был рыцарски вежлив с дамами. Как я мог позволить себе что-нибудь невежливое!

Траубенберг встал с дивана, на котором сидел в почитительно-выжидающей позе. Теперь в его позе было что-то патетическое. С балетным изяществом он простер к потолку свои маленькие, женственные руки. И, глядя на него, не из-за пафоса, с которым он говорил, а из-за того, каким он казался бессильным, женственным, безукоризненно воспитанным, Васильев усомнился в том, что этот деликатный, женственный человек, который, казалось, и муху не может обидеть, затягивал солдатский ремень на шее у пожилой дамы.

Но тут же вспомнил Васильев странную его оговорку: откуда знает он, что Куманина пожилая, если никогда о ней не слышал?

— Почему вы волнуетесь, граждане? — спросил Иван Васильевич удивленно. — Во-первых, все совершенно законно. Ваш отъезд задержится не больше чем на сутки, конечно, если я неправ. Сейчас мы у всех вас произведем обыск в присутствии мужа и сына Куманиной. Если у вас не будет найдено ничего из ее вещей, вы вечером будете освобождены, а завтра получите пропуск и уедете. Ну, а если ее вещи будут найдены, так у вас тем меньше оснований сердиться. Согласитесь сами, что это наводит на подозрение и что оснований для ареста у меня будет более чем достаточно.

Эглит, худошавый латыш с бесцветными ресницами и рыжеватыми волосами, спросил, удивленно разведя руками:

— Но, господин Васильев, я не скрою от вас, что, собираясь уехать, мы все трое покупали на толкучке некоторые, может быть, немного и ценные вещи. Вполне вероятно, что среди купленных нами предметов было кое-что и из вещей этой женщины, которую, вы говорите, кто-то убил.

— Ну, — сказал Васильев, — если вещи Куманиной будут у вас найдены, тогда уж вам придется доказывать, что вы купили их на толкучке, а не забрали сами, убив хозяйку. И тогда вам придется несколько отложить свой отъезд.

Васильев нажал кнопку звонка. Вошли три вооруженных бойца. Зибарт, Эглит и Траубенберг с негодующим и возмущенным видом отправились в камеру ждать, пока их повезут на обыск.

Только когда их шаги стихли в гулких коридорах старого здания Главного штаба, только тогда Васильев стал звонить Куманиным.

Он ни в чем не подозревал ни отца, ни тем более сына. Он был твердо уверен, что к убийству и к ограблению ни один из них отношения не имел. Ну, а вдруг он ошибался? Отношения в семье были, конечно, сложные и не родственные. Копила ценности, конечно, сама Куманина. Может же быть и такое, что, скажем, мужу нужны были деньги, чтобы вложить их в свои лабазы и расширить дело, а жена ему отказала. Может же быть, что Куманина скупилась для сына, не давала ему денег и сын подговорил, скажем, того же князя Татиева или старого взломщика Зибарта на ограбление. По правде сказать, это не похоже ни на отца, ни тем более на сына. Но в жизни бывают разные, самые неожиданные случаи. А разве Траубенберг похож на грабителя и убийцу? Разве похож на убийцу примерный заключенный князь Татиев? А если кто-нибудь из Куманиных соучастник, то, узнав, что предстоит обыск, разве не побежит он предупредить убийц, чтобы они спрятали, сожгли или утопили все, что осталось у них из награбленного? Ведь если попадутся они, то вполне вероятно, что хотя бы из стремления смягчить свою участь могут они подробно рассказать обо всех обстоятельствах дела. Нет, Васильев Куманиных ни в чем не подозревал, и тем не менее он обязан был принять все меры, для того чтобы преступники не ушли от ответа.

Поэтому только теперь позвонил он Куманиным и попросил их срочно приехать в угрозыск. Но даже и теперь он не сказал, зачем их вызывает. Он только предупредил, что дело срочное и важное. Через час оба сидели у него в кабинете. Оказалось, что из всех трех оба они знают только Траубенберга.

— Прекрасной фамилии человек,— сказал отец.— Не думаю, чтобы он был замешан. Кроме того, он у нас никогда не бывал. Жена бы просто его непустила.

— Фамилии, может быть, и прекрасной,— сказал очень сухо сын,— но вообще проходимец и жулик. Я бы ему руки не подал.

Васильев стал расспрашивать сына, и сын не очень охотно, он не любил говорить про людей дурное, рассказал про какую-то историю с завещанием, происшедшую

еще до революции, в которой Траубенберг вел себя явно непорядочно. Отец подтвердил, что история с завещанием действительно была темная, но тем не менее Траубенберга принимали в очень хороших домах. Странная это была пара — отец и сын Куманины. Он, владелец лабаза, приобретший уже купеческие замашки, цеплялся за свое дворянское прошлое, все еще мыслил категориями, принятыми в узком кругу, в котором он вращался когда-то; сын, уже типичный интеллигент, с раздражением и ненавистью относился к своему аристократическому происхождению и к аристократической среде, в которой он родился и вырос.

Сели в машину и поехали к Траубенбергу. У Траубенберга была маленькая отдельная квартира. Мебель была, очевидно, продана и уже вывезена, так что стояли какие-то табуретки, какая-то солдатская кровать, которую, наверно, продать было невозможно. Траубенберг держался спокойно. Он был очень обижен несправедливыми подозрениями. У него были трагически изломанные брови и глаза выражали горечь и недоумение.

Он совсем уже собрался в дорогу. Три больших запертых чемодана стояли в передней. Васильев вежливо попросил у него ключи, и Траубенберг протянул их ему с таким видом, как будто хотел сказать: берите все, я все отдаю, но это несправедливо!

Отперли чемодан. В нем аккуратно были уложены стеганый халат, белье, маленькая шкатулочка с драгоценностями. Драгоценности тщательно осмотрели. Куманины не опознали ни одной. Открыли второй чемодан. Там было два костюма, еще немного белья. В манжетах одной рубашки были дорогие запонки с бриллиантами, и тоже Куманины отрицательно покачали головой. Этих запонок они никогда не видели. Третий чемодан был самый маленький. Там лежал кожаный несесер с серебряной мыльницей, коробочкой для зубного порошка, с хрустальными флаконами для духов и одеколona. Под ним лежали полотенца, и Васильев начал каждое полотенце разворачивать, надеясь, что, может быть, выскользнет какая-нибудь хоть небольшая драгоценная вещица, которую Куманины опознают.

Васильев очень волновался. Неужели же он ошибся и все его домыслы и предположения просто мыльный

пузырь, который сразу же лопнет? Хорошо тогда он будет выглядеть! Конечно, все трое пойдут жаловаться, будут строить из себя незаслуженно обиженных людей, начальство влепит выговор, вообще неприятностей не оберешься. Вот осталось уже последнее полотенце. Без всякой надежды, просто потому, что дело надо было довести до конца, вынул он его, развернул, но и в этом полотенце ничего не было.

Васильев собирался закрыть чемодан и признаться в своей неудаче, как вдруг увидел, что в углу на дне лежит кожаный футляр с золотой монограммой. Две буквы переплетались на монограмме — М и К. Отца зовут Михаил, фамилия Куманин. Васильев не успел даже задать вопрос, как Куманин вскрикнул:

— Моя бритва! Она в квартире на туалетном столе лежала.

Сын посмотрел на футляр и сказал:

— Да, твоя.

Еще более трагическим стало выражение лица Траубенберга. Еще более скорбно изломились его брови.

— Я купил это на Никольском рынке, — сказал он, — у какого-то спекулянта. Если мы поедem на рынок и я его встречу, я его, наверное, даже узнаю.

Траубенберга увезли в угрозыск, взяли Зибарта и поехали делать обыск к нему.

ПОРТСИГАР

У Зибарта тоже была вывезена вся мебель. У него даже кровати не было. Просто лежал на полу рваный матрац, на котором он проспал последнюю ночь. Он был человек попроще, чем Траубенберг, и у него было только два чемодана. И вещички в чемоданах были попроще и подешевле. И как их ни трясли, как их ни перекладывали, ничего куманинского не нашли. Погода была осенняя, холодная, мокрая, Зибарт был в пальто и кепке, в том самом пальто и в той самой кепке, в которой он пришел получать пропуск за границу. И все-таки выглядел он здесь, у себя в комнате, совсем не таким, каким видел его Васильев сегодня утром. Он сидел на подоконнике спокойный, недовольный нелепыми подозрениями, которые вдруг мешают ему законно получить пропуск и законно

уехать. Что же изменилось в нем с утра? Утром он выглядел гораздо наряднее. Зрительная память была у Васильева точная, и ошибиться он, конечно, не мог. Пальто то же самое. И кепка та же самая. Чего же не хватает?

— Скажите, Зибарт,—спросил Васильев,—куда вы дели ваше кашне?

— А я разве был в кашне? — как бы вспоминая, спросил Зибарт.— Может быть, я его забыл в машине или потерял.

Васильев подошел к нему, быстро сунул руку в правый карман пальто и сразу же в левый. Да, в левом кармане действительно лежало кашне. Васильев его вытащил.

— Стойте! — закричал Куманин-отец.—Это мое кашне. Я узнаю, но я хочу, чтобы вы проверили. Не показывайте мне его. Посмотрите сами. Примерно сантиметрах в пяти-шести от конца есть небольшая дырочка, прожженная папиросой. Ну, посмотрите, есть или нет?

Васильев расправил кашне и внимательно его осмотрел. Кашне было вязаное, пушистое, из светло-голубого очень пушистого гаруса. Прожженная папиросой дырочка была почти не видна, но, когда кашне чуть-чуть растянули, она все-таки показалась наружу.

— Где вы купили кашне?—спросил Васильев.—У спекулянта на Никольском рынке?

— Да, у спекулянта,—сказал Зибарт.

Теперь у него был очень растерянный вид. Он, вероятно, шел в иностранный отдел, совершенно уверенный, что дело об убийстве Куманиной давно позабыто и что, конечно же, никого из Куманиных он не встретит. Да и потом, мало ли вязанных из гаруса кашне носили в то время! Прожженная дырочка? Может быть, он забыл о ней, а если и не забыл, все равно считал, что ничем не рискует. Кто же будет срывать с него кашне и осматривать, прожжено оно папиросой или не прожжено.

Отвезли и Зибарта. Поехали к Эглиту.

Васильев даже усмехнулся, когда увидел, что и у Эглита из комнаты вывезена вся мебель и стоит один большой запертый чемодан. Перерыли все вещи—их было немного, чемодан был наполовину пуст,—и не нашли ничего. Эглит спокойно смотрел, как переворачивают вещи. Он, видно, точно знал, что это безопасно.

Обыск кончился. Куманины, просмотрев тщательнейшим образом каждую мелочь, пожали плечами и отошли в сторону. Понятые — дворник и сосед по квартире — переминались с ноги на ногу, нетерпеливо ожидая, когда им скажут, что они свободны. Васильев стоял задумавшись. Вероятно, следует уезжать отсюда. Во-первых, вполне можно допустить, что убийство совершили трое — Татиев, Зибарт и Траубенберг. Во-вторых, даже если Эглит участвовал тоже, то его можно уличить показаниями других подследственных. И все-таки... Все-таки Васильеву казалось, что чего-то еще он не сделал. Ведь вот у Зибарта в чемодане тоже ничего не нашли. Один только Траубенберг сдуру сунул в чемодан бритву с монограммой. Если бы нашли только одну бритву, это действительно могло быть случайностью. Мог же человек купить на рынке вещь, принадлежавшую Куманину. Ведь грабители наверняка продают награбленное и кто-то это награбленное покупает. Если бы он не вспомнил про зибартовское кашне, единственная улика была бы очень сомнительна.

И как было бы хорошо, если бы у третьего тоже нашлась пусть мелочь какая-то, какой-нибудь пустяк, но несомненно принадлежащий Куманиным! Васильев посмотрел на Эглита. Нет, внешне в Эглите как будто бы ничто не изменилось. Такой же спокойный рыжеватый человек с бесцветными ресницами. Он, наверно, никогда не был франтом. Он выглядел удивительно бесцветно. Ничто в нем не бросалось в глаза. Наверно, вы могли его встречать каждый день и ни разу его не заметить. В графе «особые приметы» можно было написать: «незаметный». У него и пальто было попроще, чем у Зибарта и Траубенберга, и пиджачок был дешевенький, и туфли такие же, как у тысяч разных людей, шагающих утром на работу и вечером — с работы домой. И кашне у него не было утром, это Васильев точно помнит, и ничто в одежде не изменилось. Иван Васильевич стал припоминать весь свой утренний разговор с этим бесцветнейшим человеком. В сущности, вспоминать особенно было нечего. Эглит и сказал-то всего одну или две фразы. Такая же была рубашка, такой же пикейный воротничок, такой же трикотажный шелковый галстучек с пропущенной под галстуком, между отворотами воротничка, дешевой цепочкой, такой, какие

продаются в любом галантерейном ларьке. Что же было еще?

Эглит тогда, уже после Зибарта, тоже выразил свое возмущение незаконной, по его мнению, задержкой. Васильев очень точно себе представлял и выражение его лица, когда он говорил, и позу, в которой он сидел. Что же он сделал потом? Васильев даже вздрогнул. Конечно же, он закурил. Он вынул из кармана не папиросную коробку. Это Васильев точно помнил. Какой-то светлый предмет. Портсигар или просто белую коробочку, приспособленную под портсигар. Да, конечно, он курил. Васильев зрительно представил себе, как он стряхивает пепел в пепельницу, стоящую на столе. Почему же он сейчас не курит? Они ехали в машине минут, наверно, двадцать да здесь возятся уже, наверно, час, и он, конечно, волнуется, даже если и не виноват. И ни разу не вынул портсигара, ни разу не закурил. Может быть, у него кончились папиросы? Но тогда он попросил бы у него или у Куманина. Какой же курящий человек откажет другому курящему в папиросе! Нет, он, вероятно, боялся даже напомнить о курении. Васильев подошел к Эглиту и тоном, не допускающим возражения, резко сказал:

— Дайте ваш портсигар, Эглит.

Бесцветные ресницы замигали. Голова Эглита ушла в плечи, как будто он боялся, что его ударят.

— Портсигар! — резко повторил Васильев. — Быстро!

Эглит молчал и смотрел то на дверь, то на потолок, будто ждал, что откуда-нибудь непременно придет неожиданное спасение. Тогда Васильев сунул руки в карманы его пальто. В кармане лежал носовой платок, в другом лежала коробка спичек. «Если есть спички, должны быть и папиросы», — мелькнуло у Васильева в голове. Он расстегнул Эглиту пальто — тот так и сидел в пальто, застегнутом на все пуговицы и с поднятым воротником, — он расстегнул пальто и сунул руку в карман пиджака. Да, портсигар был здесь. Большой, очень гладкий и тяжелый. Он вытащил его и осмотрел. Слоновая кость, и на крышке в углу золотая монограмма. Он узнал ее даже раньше, чем разобрал буквы. Такая же точно монограмма была на кожаном футляре с бритвой. Он протянул портсигар Куманину.

— Ваш? — спросил он.

— Мой,— сказал Куманин.— Между прочим, теперь такие вещи не ценят, но все-таки могу вам сообщить как исторический факт: портсигар этот мне подарил лично его императорское высочество великий князь Дмитрий Павлович. Я ценил его как подарок и потому никогда не носил. Хранился всегда дома, в безопасном месте.

И вот заполнены три протокола обыска, подписаны понятыми, и производившими обыск, и опознавшими вещи. Вопрос о пропуске за границу отпал. Обвиняемые и сами не поднимают об этом вопроса. Они недолго и сопротивлялись. Представить себе, что три разных человека купили три разные вещи на рынке у какого-то спекулянта и все эти три вещи оказались принадлежавшими раньше Куманиным... Можно, конечно, представить себе и такую версию, но слишком уж она невероятна.

Первым признается Траубенберг. Он слабый человек, этот штабс-капитан царской армии и преподаватель танцев в танцклассе у Саши Баака, бывшего парикмахера Алексиса. Он признается и рассказывает, как было дело, но, прервав сам себя, начинает сокрушаться, что его старый благородный род опозорен им первым и что в этом его благородном роду ни одного преступника, конечно же, никогда не было.

Васильева мало занимает история благородного рода Траубенбергов. Он, только чтобы утешить огорченного танцмейстера, говорит ему, что, может быть, это и так, а может быть, и не так. Может быть, у предков, если они были действительно знатны и богаты, было просто больше возможностей скрывать свои преступления. Лучше бы Траубенбергу вернуться к рассказу об ограблении и убийстве Куманиной.

Да, действительно, задумал все дело и всем руководил князь Татиев. С Траубенбергом они были знакомы и прежде. Потом у Траубенберга были неприятности с завещанием, на него наклеветали, и, к сожалению, многие поверили этой клевете, и дошло даже до того, что с ним многие перестали здороваться, в том числе, представьте себе, и князь Татиев. Потом он ничего не слышал о князе, и вдруг неожиданная встреча в «Крестах».

— Вы ведь, наверно, знаете, гражданин Васильев, меня привлекали по обвинению в похищении бриллиантов. К счастью, обвинение не подтвердилось.

— Нет,— возражает резко Васильев,— просто следователь не сумел его доказать.

Траубенберг беспомощно пожимает плечами и продолжает:

— Князь сам подошел ко мне, сказал, что он растратил казенные деньги и не видит теперь причин не подавать мне руки. Я с радостью откликнулся на этот истинно княжеский жест, познакомил его с Зибартом и Эглитом, и князь предложил нам это куманинское дело. Он сам бывал у Куманиной, она его хорошо знала и совершенно доверяла ему. Мы были освобождены, а князь Татиев осужден, но он сказал, что завоюет в колонии уважение и добьется того, что его будут отпускать по выходным дням. Он сказал, что это даже хорошо, что он осужден. Он единственный из нас знаком с Куманиной, значит, единственный, на кого может пасть подозрение, но как раз у него великолепное алиби, потому что он сидит в исправительной колонии, то есть за решеткой.

— Как он добился того, что его отпустили не в воскресенье, а в среду? — спрашивает Васильев.

— У них в колонии,— поясняет Траубенберг,— каждое воскресенье несколько человек оставались дежурными, и им за это дежурство давали отпуск, если они, конечно, заслуживали отпуска, в другой день. Князь знал, что домработница Куманиной выходная в среду. Он в среду и отпросился.

Траубенберг сидит перед Васильевым, маленький, худенький, с изящными движениями, продукт многих поколений, не знавших ни труда, ни нужды, и рассказывает обо всем так спокойно, как будто все происшедшее имеет к нему очень далекое отношение.

— А где ценности? — спрашивает Васильев.

— Ценности за границей,— говорит Траубенберг и смотрит на следователя виноватыми, извиняющимися глазами.— У Зибарта есть знакомый контрабандист, который взялся переправить их за границу, удержав себе всего только двадцать процентов. Зибарт его рекомендовал, и на него действительно можно было положиться. Я уже получил письмо от матушки, в котором была условленная фраза, что она себя плохо чувствует и просит меня приехать повидаться с ней. Это означает, что ценности

доставлены и мы можем ехать. Вот мы и подали заявление.

Эглит ничего не говорит на допросе. Он только молча кивает головой в ответ на вопросы и так же молча, без возражений подписывает предъявленные ему протоколы. Васильеву отлично известны все подробности, потому что их рассказал Траубенберг, и от Эглита ему нужно только признание. Зибарт, человек темпераментный, то ругается и жалуется на несправедливость судьбы, на то, что все награбленное ими достанется этой паршивой старухе Траубенберг, страшной гадине и скупердяйке, то жалуется на судьбу, то проклинает Татиева и говорит, что это князь их соблазнил, что он, Зибарт, противник убийства и на этот раз вынужден был согласиться только потому, что сумма была уж очень большая.

И вот наконец перед Васильевым сидит князь Татиев. Он молчалив и мрачен. Спорить ему, собственно говоря, не о чем. Ему предъявлены протоколы допросов трех его сообщников. Он пытается, правда, сказать, что его отпускают по воскресеньям, а преступление совершено в среду, но Васильев молча кладет перед ним собственное его заявление с просьбой разрешить ему выходной в среду 2 ноября ввиду того, что прошлое воскресенье он оставался на дежурстве.

Князь только вздыхает. Спорить действительно нечего.

Да, соучастники стояли за дверью, когда он позвонил Куманиной. Куманина, увидев его сквозь щель в двери, очень обрадовалась и сняла цепочки. Тогда он сказал: «Разрешите представить моих друзей», и все четверо вошли в квартиру и заперли за собой дверь. Ну, потом было все просто. Куманина так испугалась, что почти не кричала. Фокстерьер бросался и лаял, но его быстро убили. Долго пришлось искать тайники. В таких делах Зибарт очень опытен и много помог. Инструменты были у Эглита, так что вскрыли они тайники без труда. Уже подписав протокол, Татиев вздыхает и говорит:

— Все это трагическая судьба российской аристократии!

— Ну почему же трагическая судьба? — удивляется Васильев. — Вы ведь служили комендантом аэродрома, получали неплохую зарплату.

— Видите ли, — объясняет Татиев, — конечно, мое со-

стояние до революции было не первой руки, не то что там шереметевское или юсуповское, но все-таки солидное. Мне необходимо было играть. Я привык к игре, и довольно крупной, с юности. Я довольно долго держался, отказывал себе во всем, но в день полочки отправлялся в клуб и играл. А потом, знаете, самолюбие заело. Гляжу, кругом меня люди играют по крупной, а я все ставлю какую-то мелочь. Вот и пришлось пойти на растрату.

— Вы же знали, что это откроется? — спрашивает Васильев.

— Во-первых, бывают же выигрыши, — пожимает плечами Татиев. — И потом, всякие могли быть возможности. Можно было бежать на Кавказ. А потом, когда написали в газетах, что я растратчик, мне стало уже и на Кавказ неудобно ехать. Во-первых, потому, что я растратил. А во-вторых, потому, что я не сумел скрыть растрату. Я сразу понял, что трагическая судьба российской аристократии непременно доведет меня до преступления, и решил не сопротивляться. Куманина, между прочим, была жадина ужасная. Может быть, в том, что ее убили, была историческая справедливость.

Следствие было кончено, и дело передано в суд. Васильев заново вспоминал все подробности и думал: почему опытному и добросовестному Свиридову не удалось распутать дело? Конечно же, потому, что и его загипнотизировало это казавшееся бесспорным алиби Татиева. Не может же человек в одно время сидеть за решеткой и совершать преступления. Если бы не случайная фраза Кинго о князе, который безнаказанно берет сотни тысяч, то и Васильеву бы не пришлось в голову поднимать это старое и уже забытое дело. И он подумал о том, как важно не упускать ни одного, даже случайно сказанного слова, даже случайно услышанного намека. Так когда-то его насторожила и направила на верный след услышанная в вагоне фраза о гире на ремешке, так и сейчас помогла ему распутать второе дело случайная фраза Кинго.

А что касается трагической судьбы российской аристократии, то о ней Васильев не думал. Аристократия его не интересовала.



Глава девятая

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ»

«РАБОТАЛИ НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА»

В Ленинграде на Невском был в 30-х годах фирменный магазин Ювелирторга «Русские самоцветы». На витринах лежали серьги и кольца, ложки из белого металла, похожие на серебряные, позолоченные браслеты, поддель-

ные алмазы, рубины, изумруды. Это всё вещи недорогие, и только человек, не имевший дела с драгоценностями, мог подумать, что это настоящие камни и настоящее золото. В магазине есть и подлинно дорогие вещи, но они на витрину не выставляются. Они лежат на прилавке под стеклом, и вы можете ими полюбоваться. Если захотите, продавщица даст вам их в руки посмотреть подробнее, обратит ваше внимание на качество грани, на игру света в камне, на пробу золота. Она, конечно, не будет смотреть на вас настороженно и подозрительно, но, любезно улыбаясь, она все-таки не отведет глаз от ваших рук. Вы не сможете ни подменить драгоценность, ни незаметно выйти из магазина, рассеянно сунув ее в карман. Конечно, вас ни в чем не подозревают, но порядок есть порядок: продавщица бережно примет у вас драгоценную вещь и положит ее под стекло.

Когда магазин закрывается, настоящее золото и настоящие бриллианты унесут в заднюю комнату и спрячут в тяжелые стальные сейфы. Сейфы запирут особенными ключами, наберут условные числа или условные слова, навясят пломбы и только после этого уйдут из магазина. Всю ночь витрины магазина будут освещать Невский ярким светом. Всю ночь будет ходить перед магазином сторож. На витрине будут лежать недорогие украшения из фальшивого золота и фальшивых бриллиантов. Настоящие ценности будут храниться в тяжелых сейфах во второй комнате. Оттуда вход только через магазин, другого хода нет. Дверь в магазин заперта на тяжелый замок и запломбирована. Перед витриной ходит сторож. Ограбить магазин невозможно.

Да и некому грабить магазин. Прошли времена знаменитых «медвежатников», вскрывавших совершенными инструментами самые совершенные сейфы. Каждое ограбление готовилось несколько месяцев. «Брали» один магазин в год и потом целый год гуляли и веселились.

Семь лет прошло с той поры, как поймали, присудили к расстрелу и расстреляли последнюю в Ленинграде шайку знаменитого в свое время Жорки Александрова. Тридцать девять крупных ограблений числилось за Жоркой: ювелирные магазины, ломбарды, банки. Он грабил еще до революции и, когда начался нэп, решил, что настали прежние времена, что можно вернуться к «работе». Пло-

хо разбирался он во временах. Очень скоро он и вся его шайка были задержаны. Процесс был громкий. Газеты давали о нем подробные отчеты, публика ломилась в зал. Суд был беспощаден. Вся шайка, во главе с Жоркой, была расстреляна. Только один, самый молодой член шайки, Леня, отделался небольшим наказанием. Суд учел и то, что он молод, и то, что он искренне раскаивается, и то, что в шайку он попал недавно и участвовал только в последних ее делах, и то, что роль его была невелика — он только стоял на страже, чтобы подать сигнал в случае опасности. Леня работал теперь на Путиловском заводе, радостно улыбался, когда встречал кого-нибудь из работников угрозыска, и, хоть за ним и приглядывали, ни в чем замечен не был.

Итак, прошли времена дерзких грабежей, технически совершенных инструментов, задолго подготовленных, продуманных до мелочей вскрытий сейфов, стальных дверей, несгораемых касс.

Невозможно ограбить магазин, и некому его грабить. Когда город стихает, продолжает сверкать витрина. Проходят по тротуару загулявшие компании, стоят на углах милиционеры. Сторож прохаживается перед витриной. Хоть и некому грабить, а порядок должен быть.

На Думской башне бьют часы. Ночь идет ни быстро, ни медленно. Все тише и тише на Невском. Уже мало стало запоздалых гуляк, прошел старик с собакой на поводке, почтенный старик, «из бывших». Продребезжал извозчик. Снова пробили часы. Стало светлей, начинается утро. Открылись булочные, потом гастрономические магазины. Невский ожил. Тротуары заполнили прохожие, люди торопятся на работу, потом прошли домашние хозяйки с кошелками на базар или в магазин. Наконец появились заведующий «Русскими самоцветами» и два продавца. Короткий разговор со сторожем о погоде, несколько привычных шуток, и наконец заведующий привычным движением срывает пломбу, отпирает замок, входит в магазин и останавливается. Продавцы ждут. Он мешает им войти. Заведующий оборачивается, у него бледное, растерянное лицо.

— В магазин нельзя входить, — говорит он, — магазин ограблен. Стойте здесь и никого не впускайте. Я — к телефону.

Пожилой человек с бледным, перекошенным лицом бежит по Невскому. Он вбегает в соседний магазин. Он торопливо проходит в кабинет заведующего, где телефон. Он нервно нажимает кнопку.

— Барышня, бога ради, скорей дайте угрозыск! — кричит он телефонистке.

Прикрыв рот рукой, он торопливо говорит в трубку:

— Товарищ, это заведующий магазином «Русские самоцветы». Магазин сегодня ночью ограбили.

По коридорам угрозыска, в бывшем здании Главного штаба на площади Урицкого, торопливо идут люди. Дело об ограблении магазина «Русские самоцветы» поручено Васильеву. Он уже в фуражке стоит за столом у себя в кабинете и непрерывно звонит: «Две машины к подъезду!», «Спускайтесь вниз». Он вызывает фотографов, экспертов, агентов, и, выслушав его короткий приказ, каждый хватает фуражку и выскакивает из комнаты. Машины подруливают к подъезду. Из подъезда выходят люди. Васильев перебирает в памяти: кажется, вызваны все, кто нужен. Он выходит из кабинета и быстро спускается по лестнице. Вызванные уже в машинах. Васильев садится в первую машину и говорит шоферу:

— На Невский.

Заперты двери ювелирного магазина и находящегося рядом с ним цветочного. Два завмага, четыре продавца прогуливаются по тротуару. У дверей стоит милиционер. Он стоит с равнодушным видом, чтобы не привлекать внимания, и сонно посматривает на проспект. Проспект уже ожил. Цокая копытами, по торцовой мостовой едут извозчики. По асфальту тротуаров шаркают ногами гуляющие. Посередине Невского идут трамваи, и на остановках толпится народ. Троллейбусов и автобусов в Ленинграде еще нет. О метро никто и не думает.

Машин мало. На перекрестках не горят светофоры, только на самых оживленных стоят милиционеры и плавными взмахами рук регулируют движение. На тротуарах толпятся зрители: регулировщики внове. Весь город говорит о том, что их чуть ли не балетмейстеры обучали плавности и изяществу движений. Особенно знаменит милиционер, который стоит на углу Невского и улицы Лассаля, маленький, худощавый, с лицом монгольского типа. Он действительно необыкновенно пластичен и сам это знает

и наслаждается этим. Он уже познал славу и привык, что на углах толпится народ. Местные остряки говорят, что до поступления в милицию он танцевал в Мариинском театре Одиллию из «Лебединого озера».

Но вот он сбился с ритма. Хотел перекрыть движение по проспекту и вдруг почему-то передумал, да так неожиданно, что «линкольн», отъезжавший от «Европейской» гостиницы, не успел вовремя затормозить и остановился, на полкорпуса выехав на Невский. А милиционер, изящно взмахнув рукой, пропустил две стремительно мчащихся от Главного штаба машины. Машины эти проносятся мимо Гостиного двора, мимо Публичной библиотеки, мимо Александринского театра и круто тормозят у Аничкина дворца. Торопливо выскакивают фотоаппараты с тяжелыми фотоаппаратами и треногами и люди, одетые в милицескую форму. Все они почти перебегают Невский прямо к магазину «Русские самоцветы». Вместе с завмагом входят они в магазин. Кое-кто из прохожих задержался: может быть, случилось какое-нибудь происшествие, стоит остановиться, посмотреть. Но дверь закрылась, и над витриной опустилась занавеска. На улице стоит милиционер— все равно ничего не увидишь.

Через некоторое время с Фонтанки выезжает еще одна машина и тоже останавливается у магазина. Еще один человек, пожилой, с небольшими усиками, в обыкновенном синем, потертом до блеска пиджаке, неся в руках актерский чемоданчик, входит в магазин. Такой у него простой, обыденный вид, так ясно, что это мелкий служащий, счетовод или экспедитор, что прохожие понимают: ничего тут интересного нет, просто, наверно, какой-нибудь учет или снятие остатков. Прохожие идут дальше по сухому, залитому солнцем асфальту Невского.

Теперь у магазинов, цветочного и ювелирного, совсем спокойно. Магазины закрыты, витрины завешены, милиционер прогуливается взад-вперед, как будто к магазину он не имеет ни малейшего отношения.

А в магазинах идет нервная, напряженная работа.

Видно, что операция была подготовлена и продумана. Войти в ювелирный магазин со двора невозможно. Но можно войти в цветочный. Из цветочного есть дверь во двор, и заперта эта дверь на самый обыкновенный замок. Цветочный магазин не нуждается в сложных запорах.

Деньги каждый вечер забирает инкассатор, и не будет же человек взламывать магазин, чтобы унести пальму, кактус или букетик гвоздики. Замок отперт простой отмычкой, и дверь плотно прикрыта. Если посмотреть со двора, и не подумаешь, что магазин не заперт. Цветочный и ювелирный магазины разделяет стена, собственно говоря — перегородка в один кирпич. В этой стене у самого пола — пролом шириной метра полтора и высотой метр. Стена оштукатурена с обеих сторон. Пожилой человек с усиками, в потертом пиджаке раскрывает маленький чемоданчик. В чемоданчике лупы, рулетка и какие-то странные инструменты, для которых несведущий человек и названия не подберет. Совсем как Шерлок Холмс у Конан-Дойля, человек с усиками не торопясь осматривает замок на двери, и пол от двери до пролома, и самый пролом.

— Работали лежа, — говорит он задумчиво, будто бы для себя, — подостлали парусину. Наверно, мешок. Выбили один кирпич пробойником, а потом вынимали штуку за штукой... Э, нет, все же раствор крепко держал, видите — ломиком помогали. Не били, конечно, а рычагом, тихо и аккуратно. На улице ничего не было слышно.

Все остальные стоят по стенам, стараясь не делать лишнего шага и внимательно слушая знаменитого Алексея Андреевича Салькова. А Сальков, взяв большую лупу, внимательно оглядывает все вокруг.

— Работали в перчатках, — говорит он по-прежнему тихо, — аккуратно работали, не торопясь. Люди дело понимали. — Он сыплет какие-то порошки и осторожно сдувает их или счищает мягкой кисточкой и недовольно хмурится. Отпечатков пальцев нет. Нет следов и шерстинок от костюма. — Да, — говорит он, — грамотные люди, ничего не скажешь. Или приезжие... — Он колеблется. — В Ленинграде таких грамотеев теперь, по-моему, нет. Может, из Одессы приехали, там, говорят, еще водятся.

Снова и снова он тщательно осматривает через лупу замок, двери, пол от двери до пролома и самый пролом. А остальные стоят, не двигаются, слушают, ждут.

— Ну, пойдемте дальше, — говорит наконец Сальков и с неожиданной для его возраста ловкостью пролезает через пролом.

Из ювелирного магазина доносится его спокойный голос:

— Вы пока снимайте. Пролом снимите, и дверь, и общий вид магазина.

Фотографы начинают устанавливать треноги, ставят большие аппараты с гармошками впереди, накрывают головы черными фланелевыми занавесками. Васильев торопливо тоже пролезает в пролом и становится в стороне, чтобы не мешать Салькову.

Медленно ползет по полу Сальков, осматривая каждый сантиметр через лупу. Он хмурится и бормочет что-то про себя. Но теперь слов разобрать невозможно. И снова он сыплет на пол порошок, и осторожно сдувает его, и качает головой, и как будто о чем-то сам себя спрашивает, и что-то сам себе отвечает. И вдруг радостно поднимает голову. Лицо у него совсем изменилось, оно сияет.

— Дайте чемоданчик,— говорит он, понимая, что сейчас все зависит от его знаний и опыта и все должны ему помогать.

Он достает из чемоданчика конвертик и опускает в него что-то очень маленькое, даже не видно что.

Васильев ждет, что Сальков поделится с ним своей радостью, но Сальков молчит. Он снова движется вперед медленно-медленно, осматривая каждый сантиметр пола.

— Что вы нашли, Алексей Андреевич? — спрашивает наконец Васильев.

— Синюю шерстинку,— торжественно говорит Сальков и снова радостно улыбается.— Значит, они, как через пролом пролезли, так и поползли по полу, не поднимаясь. Ну конечно: если поднимутся, их с улицы будет видно. Даже если не сторож увидит, а, скажем, прохожий, все равно подозрительно: в ювелирном магазине—и вдруг ночью люди.

Только к вечеру доходит Сальков до второй комнаты. Нетерпение измучило Васильева. Ужасно хотелось ему зайти во вторую комнату, посмотреть наконец, что там. Но он знал, что Салькову нельзя мешать, что на этой стадии следствия Сальков главный.

Настали сумерки, зажгли свет, сходили по одному перекусили и снова ждали Салькова. И вот наконец вслед за Сальковым вошли во вторую комнату.

Сначала казалось, что в комнате все в порядке; здесь был письменный стол, и телефон, и диван, и несколько кресел, и два больших стальных сейфа с настежь раскры-

тыми дверцами. Стоя около двери, Сальков неторопливо оглядел комнату.

— Мастера,— сказал он и снова радостно улыбнулся.— Настоящие мастера, старой школы. На таких и поохотиться интересно, а, Иван Васильевич?

У МАСТЕРА ЕСТЬ СЫН

Закончив осмотр, Сальков сказал:

— Ничем не могу порадовать. Разве только то, что один из преступников был в синем костюме. Но в Ленинграде в синих костюмах ходят половина мужчин. Работали настоящие мастера, инструменты первоклассные. А кто? Не знаю.— Сальков пожал плечами.

Он очень любил свое дело, верил в криминалистику и очень был огорчен, что тут она оказалась бессильной.

Количество и ценность похищенного были очень велики. Очевидно, преступники собирали драгоценности спокойно, не торопясь и очень внимательно. Сколько было преступников? Наверно, двое. Вскрытие сейфа вряд ли было под силу одному, да и унести все украденное одному было бы трудно.

Сальков закрыл свой чемоданчик и грустный ушел.

Васильев напряженно раздумывал.

Все-таки напрасно огорчается старик. Одно он установил совершенно точно: так обокрасть магазин могли только специалисты. Ну что ж, специалистов не так уж много. Иногда отсутствие нити — это тоже нить. Значит: искать надо среди мастеров-«медвежатников». Но после Жорки Александрова в Ленинграде их не осталось. Старики, те, кто работали до революции? Архив сыскной полиции в революцию был уничтожен. Кто его уничтожил? Наверно, в этом участвовали и частные люди, которым самое слово «сыскная полиция» было отвратительно. Но, конечно, среди честных людей были и уголовники, которым выгодно было уничтожить память о своих преступлениях. Так или иначе, архива нет, а те, кто пытался совершать ограбления после революции, ликвидированы. Значит, круг поисков сужен до ноля.

И тут у Васильева мелькнула мысль. От старых «медвежатников» остался только один человек — Леня, осужденный когда-то по делу Жорки Александрова. Леня —

токарь Путиловского завода. Хоть он у Александрова был не на больших ролях, а все-таки кое-чему научился. Наверно, слушал разговоры, приглядывался, наверно, к технике дела...

К вечеру, когда Леня должен был уже прийти с работы, Иван Васильевич уложил в машину пальто, шляпу, коробочку с театральным гримом и поехал за Ленией.

Леня кончал обедать. Он радостно встретил Васильева. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы следствие по делу Александрова не велось объективно и доброжелательно. В квартире Васильева не знали, и, переодевшись в штатский костюм, он вошел к Лене спокойно. Мало ли какой к Лене приятель приехал. Они поговорили минут десять, потом Васильев ушел, свернул за угол, в пустынный переулок, где стояла машина, и сел рядом с шофером. Минут через десять к машине подошел Леня, спросил, не к центру ли едет машина, и, узнав, что действительно к центру, попросил подвезти.

— Садитесь,— сказал Васильев.

Машина тронулась. Леня надел привезенное Васильевым пальто, поднял воротник и надвинул на лоб шляпу.

— Ну как?— спросил он.

Васильев долго рассматривал его в зеркальце.

— По-моему, гримироваться не обязательно,— сказал он.

— По-моему, тоже,— согласился Леня.— Если даже стоит кто-нибудь из их дружков, так разве ж меня в шляпе узнаешь?

И вот в заднюю комнату ювелирного магазина, где стояли взломанные сейфы, вошел Леня. Глядя на него со стороны, Васильев подивился тому, как одежда меняет человека. Обычно Леня был немудрящий паренек, внешне ничем не отличавшийся от своих товарищей по цеху. Сейчас, в модном, дорогом пальто, в шляпе с лихо изогнутыми полями, в очках, которые он носил всегда, но которые как будто бы изменились и стали не простым свидетельством близорукости, а признаком учености и некоторого даже аристократизма, это был совсем другой человек. Нет, если грабители и поставили на улице наблюдателя, никогда не признает он в этом франте, важно проследовавшем в магазин, Леню с Путиловского завода.

Да и повадки у Лени изменились. Он понимал, что сей-

час все смотрят на него как на большого специалиста и ждут от него важных и решающих консультаций. Недолго он был в александровской шайке, и воровская жизнь испортила его очень поверхностно. Пережитый им страх на суде, тоскливое ожидание приговора он запомнил на всю жизнь. С ужасом вспоминал он свое уголовное прошлое и очень хорошо понимал, что, если бы следствие велось иначе, неизвестно, миновал ли бы его расстрел. И вот за ним приехал сам Васильев. Васильев, который понял, что он не отпетый бандит, и который помог ему поступить на завод. Да, для Лени это был большой день!

И вот не торопясь и очень серьезно начал он осматривать сейфы. Молча стояла васильевская бригада и ждала, что скажет консультант.

Леня не рисовался, он действительно хотел угадать почерк взломщика, помочь Васильеву, который помог когда-то ему. И именно оттого, что он напряженно думал, припоминал, сопоставлял, он действительно сейчас внушал уважение, как внушает уважение каждый человек, знающий то, чего не знают другие.

Он долго молчал и наконец произнес:

— Не знаю, что и подумать. Работа очень хорошая. Жоржка мог бы так сделать. Может быть, я мог бы, все-таки меня Жоржка учил, старик Тихомиров мог бы. Еще про нескольких человек мне рассказывали, что были мастера, но те все в революцию за границу удрали. А в России больше никого не знаю.

Он сказал это, думая только о деле, но, сказав, вдруг подумал, что сам ставит себя под подозрение, и покраснел от этой мысли и совсем смешался, подумав, что все видят, как он краснеет. Васильев это заметил, понял, что думает и чувствует Леня, но виду не показал.

— Но Тихомиров же завязал,— сказал он.

Лене легче было бы сказать, что он не знает, что не уверен, что многие, мол, завязывали, словом, навести на Тихомирова хотя бы небольшое подозрение, все-таки было бы двое подозреваемых. Но он взял себя в руки. От него дела ждут, а не переживаний.

— Завязал,— твердо сказал он.— До самого двадцать пятого года чист, как стекло. Потом-то я, конечно, не знаю, но Жоржка говорил, что старик—кремень. А Жоржка его знал хорошо. Консультировать, говорят, консульти-

рует. Одесситы к нему приезжали какие-то, так он им дал разработку, но и то это давно было.

И снова Васильев понял, как трудно было Лене выгораживать Тихомирова, и снова оценил это.

Почтенный человек в дорогом пальто и в шляпе с лихо загнутыми полями, наверно, какой-нибудь профессор или доцент, важно сел в машину, для того чтобы, проехав на ней по прямым ленинградским улицам, выйти из этой машины в виде простого рабочего паренька. Вслед за ним ушли из маразинов и все остальные. И цветочный и ювелирный магазины заперли. Сейчас здесь делать больше нечего, но и трогать здесь ничего нельзя. Может быть, понадобится дополнительное обследование.

Через полчаса все члены бригады Васильева сидели в кабинете начальника угрозыска.

— Товарищи,— сказал начальник угрозыска,— если мы это дело не раскроем, нам будет стыдно всю жизнь: Ленинградский угрозыск сейчас один из лучших в стране. Он станет одним из худших. Чтобы в центре города унесли на огромную сумму золота и бриллиантов! Это позор, товарищи! Все. Продолжайте работать.

Два дня провозилась бригада в магазинах, осматривая место преступления, слушая Салькова, советуясь с Леней. За эти два дня преступники могли уехать за тысячи километров, спрятать украденное так, что никто не отыщет. И все-таки торопиться нельзя было, и за эти двое суток ни одна минута не была зря потрачена.

Теперь надо было резко менять темп. Прежде всего проверить единственного названного человека — Тихомирова.

Звонок в картотеку: есть ли карточка Тихомирова?

— Да, есть.

Через пять минут она на столе у Васильева.

Тихомиров никогда не скрывал, что он до революции был грабителем. Угрызений совести он не испытывал, стыда тоже. Профессия его казалась ему вполне почтенной. Он знал, что дореволюционные преступления наказанию не подлежат, а после революции он ни в чем виноват не был. Когда мы говорим «не скрывал», мы, конечно, не имеем в виду, что он рассказывал об этом соседям по квартире или случайным знакомым. Большинство граждан считало профессию грабителя позорной и вряд ли

пожелало бы поддерживать знакомство со знаменитым «медвежатником». Но от угрозыска Тихомиров не видел причин скрываться. Поэтому в картотеке угрозыска была довольно подробно описана его биография. До революции был владельцем литейного завода в Москве. Жил богато, держал шесть беговых лошадей. Литейный завод был маленький, только поддерживал респектабельность этого жизнелюба, кутилы и игрока. Основные доходы были от тщательно подготовленных и умело проведенных грабежей. «Брал» ссудную кассу в Варшаве, отделение банка в Лодзи, вознесенский ломбард в Петербурге. Это дела, бесспорно совершенные им. Конечно, есть за ним и другие, никому не известные. После революции ни разу ни в чем не был замечен. Живет в Ленинграде на Стремянной улице, занимает две комнаты. Работает на заводе бригадиром, часто бывает в ресторанах, ездит на охоту, держит охотничью собаку, хорошо одевается.

В двадцать пятом году у него умерла жена, остался сын Михаил. Женился второй раз. Живут втроем: он, сын и вторая жена.

В тот же день неприметный паренек в сером потертом костюме и кепке блином искал в доме на Стремянной улице какого-то Тихонравова. Он знал только улицу и номер дома, а номера квартиры не знал. У них с Тихонравовым общий дружок в Москве. Тот ему сказал: найдешь Тихонравова, сошлешься на меня и можешь остановиться. Вот он и приехал в Ленинград. Сам он москвич, живет в Кисловском переулке. Вещички сдал на хранение и пошел искать, а адрес сдуру не записал. Улицу и номер дома помнит, а квартиру не помнит! В гостиницу попасть трудно, да и денег у него мало. А ему одну только ночь и переночевать. Как раз Тихонравов и пригодился бы.

Сначала он рассказал эту историю дворничихе. Дворничиха сказала, что Тихонравова в доме нет. Но, может, он спутал, есть Тихомиров. Надо пойти к нему, спросить.

Нет, объяснил паренек, спросить неудобно, нельзя же идти к незнакомому человеку и спрашивать, не знаете ли вы Петьку Волкова. Да, может, все-таки живет у них Тихонравов?

Дворничиха работала в этом доме давно, всех жильцов знала наперечет и твердо сказала, что Тихонравова нет, а есть Тихомиров. Наверно, приезжий просто спутал

фамилию. Тем более что и номер квартиры забыл, значит, память у него дырявая.

Так они спорили, спорили горячо, и дворничиха, чтоб доказать свою правоту, привлекла к спору всех проходивших мимо жильцов. Паренек колебался: кто его знает, действительно, Тихомиров и Тихонравов один человек или нет.

— Сын у него есть? — спрашивал он.

— Есть, — говорили соседи.

— Лет пятнадцати?

— Нет, взрослый уже. Лет двадцать с хвостиком.

Каждый отстаивал свою точку зрения, в результате приезжий узнал, что сын взрослый, что он уже водку пьет и что это совершенно точно, потому что только позавчера они с товарищем, видно, где-то выпивали, вернулись поздно, часов в пять утра, немного поспали, в баню сходили, попарились, потом опять стали водку пить, уже дома, отец им приготовил завтрак и водки купил. Но только сейчас сына дома нет и, наверно, долго не будет, потому что он уехал в Москву.

— Как в Москву, почему в Москву? — рассердился приезжий, как будто соседка, сообщавшая об этом, была виновата, что Тихомиров или Тихонравов не дождался приезжего.

Тут появилась еще другая соседка, из той же квартиры, и стала говорить, что это неправда, что никуда он не уехал, а просто загулял. Она сама видела, как они позавчера вечером уходили, Мишка с приятелем своим Валуйковым. Никаких вещей у них не было, и были они подвыпивши. А в Москву путешествие дальше, кто же туда без вещей поедет.

Первая соседка утверждала, что поехали они хоть и без вещей, а в Москву, это она точно знает. Сама слышала разговор. Мишка говорил, что, мол, в поезде выпится. А отец говорил, чтоб тетке кланялся. А тетка у него в Москве.

В это время приезжий спросил, который час, страшно заторопился, сказал, что у него через полчаса в учреждении разговор, для которого он и приехал, и ушел, кланяясь и неизвестно за что благодаря.

Спор к этому времени так разгорелся, что долго еще не утихал. Он продолжался даже тогда, когда искавший

Тихонравова паренек уже докладывал Васильеву все, что ему удалось узнать.

Васильев снова взял карточку Тихомирова. В ней были записаны и его родственники. В Ленинграде родственников не было, а в Москве была родная сестра и тетка. Интересно, кому же Тихомиров передавал привет: своей тетке или своей сестре — тетке сына?

Так или иначе, Васильев выписал адреса обеих и заказал билеты в Москву. Вечером два человека в шевинотовых костюмах, с маленькими чемоданчиками в руках вошли в жесткий плацкартный вагон скорого поезда Ленинград — Москва. Один из них был Васильев, другой — его помощник Гранин.

В ГОСТЯХ У ТЕТКИ

В Москве, наскоро перекусив на вокзале, поехали сначала к тетке отца Тихомирова. Позвонили в квартиру, вызвали тетку — это была очень дряхлая старушка, лет, наверно, восьмидесяти, — и спросили, не у нее ли остановился Миша. Она сказала, что не у нее, и довольно ясно дала понять, что если бы Миша и приехал к ней, то ему пришлось бы искать другой ночлег. Вероятно, она была в курсе преступных наклонностей этой отрасли своего семейства и не желала иметь с ними ничего общего. Тогда поехали по второму адресу, к Мишиной тетке — сестре Мишиного отца. Это была простая женщина, работница одной из московских фабрик. Да, Миша остановился у нее. Она смотрела на Васильева и Гранина испуганными глазами. Она тоже, очевидно, знала о разногласиях ее брата с законом и хотя, наверно, не сочувствовала им, но родственные чувства подавить в себе не хотела и не могла. Впрочем, Васильев и Гранин сумели ее успокоить. Они сказали, что у них к Мише поручение от человека, которого он хорошо знает, что поручение приятное и чтоб она обязательно передала Мише, когда он придет, пусть он не уходит, не дождавшись их.

Тетка растаяла, сказала, что Миша будет вечером, часов в восемь, и что она все ему обязательно передаст.

Могло быть, конечно, и так, что Миша, услышав о загадочном визите, захочет узнать, в чем дело, и решит подождать таинственных визитеров. Но могло быть и иначе.

Мог он заподозрить неладное и попытаться скрыться. Тетка жила в старом трехэтажном запущенном доме, на третьем этаже. Парадная дверь, по обычаю тех времен, была наглухо заколочена, и вход в квартиру был с черной лестницы. Лестница продолжалась после третьего этажа еще на два марша. Она вела на чердак. На втором марше, у самой чердачной двери, уселся Гранин. Решили, что он будет сторожить Мишу, пока Васильев оформит документы. Приходилось надеяться, что никто в доме не устроит как раз сегодня большую стирку и не пойдет на чердак вешать белье.

Васильев отправился за ордером на обыск и на арест.

Москва, ставшая снова столицей России, была в то время хоть и большим, но беспорядочным и запущенным городом. По кривым, вымощенным булыжником улицам медленно тащились, скрежеща на поворотах, трамваи и дребезжали извозчичьи пролетки. Невысокие каменные дома с толстыми стенами и мрачными, тесными подворотнями — это был основной вид московских строений. Население Москвы выросло колоссально. Москва стала и административным, и культурным, и промышленным центром. Сюда ехали и рабочие со всех концов страны, сюда ехали студенты, вернее, будущие студенты, чтобы наполнять аудитории бесчисленных институтов, сюда съезжались специалисты, выдвинутые на руководящую работу, актеры, мечтавшие поступить в московский театр, молодые литераторы, мечтавшие стать знаменитыми. Строили тогда, по нашим теперешним масштабам, очень мало, можно сказать, что почти ничего. Старых москвичей, привыкших к вольготной жизни в отдельных квартирах или маленьких особнячках, сильно потеснили приезжие. Мало для кого находилось место в новых домах, большинство вселялось по ордерам в без конца уплотнявшиеся московские квартиры. Всю эту массу приезжих надо было обслужить. В Москву ехали парикмахеры, продавцы, портные, полотеры, домработницы, шоферы, милиционеры, повара и официанты.

Москва была приспособлена для тихой, неторопливой жизни. Улицы не были рассчитаны на такое количество пешеходов и транспорта. Город гудел с утра и до ночи, как гудел бы улей, в который сселили пчелиные семьи с целой пасеки. Метро только начинало строиться. О нем

мечтали, говорили, шутили. Оно казалось почти таким же чудом, как кажутся нам сейчас межпланетные сообщения. Пыль, теснота, грязь, толкучка — это была одна сторона московской жизни. Каждый вечер набитые залы театров, диспуты, лекции, концерты — это была вторая ее сторона. Шумная, бестолковая, противоречивая жизнь кипела почти круглые сутки. Шаркали по каменным плитам тротуаров, по булыжникам мостовой миллионы подошв. Летели, подрубленные под корень, старые деревья на Садовом кольце. Падала и рассыпалась в прах простоявшая века Сухаревская башня. Строился на месте полукустарных мастерских гигантский автомобильный завод. Вся страна говорила о заводе «Шарикоподшипник». Извозчицы лошадки медленно цокали копытами или стояли, грустно опустив головы. Медленно ползли по рельсам всегда набитые людьми трамваи. На Тверской передвигали многоэтажный дом. Москвичи ходили смотреть, удивлялись, ахали. Это было действительно необыкновенное зрелище. К сожалению, как выяснилось потом, ломать этот дом и построить новый стоило бы гораздо дешевле. Ночевали на бульварах, поджидая, пока освободится место в общежитии, будущие академики и профессора. Вот по такой шумной и бестолковой, заполненной людьми огромной и тесной Москве ехал в медленно ползущем трамвае в управление милиции Васильев.

В милиции были уже предупреждены звонком из ленинградского угрозыска. Ордер на производство обыска в квартире Тихомировой и на задержание Михаила Тихомирова выдали быстро. Место во внутренней тюрьме было забронировано, и обратно Васильева отвезли на милицейском «газике», машине не слишком красивой, но вызывавшей необычайный восторг самим фактом своего существования. Смотрите, мол, автомобиль сделали! Впрочем, учитывая тогдашние дороги, машина была действительно геройская.

«Газик» остановился за два квартала от дома Тихомировой — мало ли что, Миша может узнать по номеру, что она милицейская, и уйти, не заходя домой. Васильев быстро дошел до дома и поднялся на третий этаж. Грани осторожно перегнулся через перила и, увидев Васильева, в страшном возбуждении сбежал вниз.

— Пришел, пришел! — зашептал он горячо. — Шесть

раз позвонил, тетка ему открыла и говорит: «К тебе приходили». Я ошалел прямо. Ну, думаю, повернется и уйдет. Но ничего, не выходил больше.

Васильев позвонил три раза, чтоб не пугать прежде времени Мишу. Открыл худенький желчный старичок, который начал было их отчитывать: мол, написано же, что Тихомировой надо шесть раз звонить, а он тихомировским друзьям открывать не обязан. Васильев и Гранин, не слушая его, прошли в кухню, где стояло восемь кухонных столов, шумели примусы и стирала белье в корыте худошавая крепкая женщина.

— Дома Тихомирова? — быстро и тихо спросил Васильев.

— По правой стороне вторая дверь, — ответила женщина, продолжая стирать.

Васильев и Гранин быстро прошли по коридору и без стука открыли вторую дверь по правой стороне.

Комната была маленькая и заставленная. Большая никелированная кровать с горой подушек, большой, очень старый облупленный шкаф, обеденный стол, покрытый клеенкой, маленький столик с зеркалом, узенький диванчик, на котором, наверно, спал Миша, и в ногах диванчика на полу, у самой стены, два чемодана.

Миша чаевничал. На столе стоял закопченный чайник, лежали баранки и дешевая чайная колбаса.

— Миша? — спросил Васильев.

Тихомиров был невысокого роста, плотный крепыш с рыжеватыми, коротко стриженными волосами. Очевидно, тетка сказала ему, что его спрашивали, и он, видно, сидел и волновался, не зная, кому мог понадобиться в Москве. И хотя, наверно, и не думал, что так скоро могло дело раскрыться и так скоро могли его найти в другом городе, в никому, как он думал, не известном теткин дом, а все же, наверно, тревожно было ему. Исподлобья, настороженно посмотрел он на вошедших в комнату и неохотно ответил:

— Я.

Гранин вытащил наган, Васильев шагнул к Мише и резко сказал:

— Ключи от чемоданов. Ну, быстро!

Сомнений не оставалось: так великолепно удавшееся ограбление было раскрыто. Впереди был суд и в лучшем

случае тюрьма. О худшем случае Миша даже боялся думать.

Так ему было обидно! Долгая подготовка, тщательное продумывание каждой мелочи, четкая, слаженная работа и в результате огромная, удивительная удача — два чемодана золота и драгоценных камней, — и планы на будущее, расчеты, надежды. И все это пошло прахом, все, оказалось, не стоит ломаного гроша. Все, что было, было напрасно, а того, что должно было быть, никогда не будет. За одну секунду пронеслось у него в голове, что достигнут он именно тогда, когда опасность казалась уже позади, следы запутаны и замечены. Через несколько дней ушли бы и золото и драгоценные камни, и попробуй тогда найди, уличи, осуди! А сейчас все, что раньше было в сейфах, лежит здесь в комнате, в чемоданах, и, конечно же, будет через пять минут обнаружено. Нельзя даже отпираться, спорить, доказывать, что ты не виноват.

— Ключи от чемоданов! — резко повторил Васильев.

— Нет у меня ключей, — мрачно сказал Миша.

Сказал не потому, что надеялся спрятать их, утаить, выбросить. Он понимал, что ключи все равно найдут, а не найдут, так вскроют чемоданы, и все-таки за что-то цеплялся, хотел, если нельзя надеяться, хоть сделать вид перед самим собой, что надежда есть и бороться стоит.

— Руки вверх! — тихо сказал Гранин.

Дуло его револьвера смотрело прямо Мише в глаза. Хмуро он поднял руки. Васильев быстро его обыскал. Ключи на металлическом кольце лежали в кармане пиджака.

— Эти? — спросил Васильев.

— Эти, — хмуро ответил Миша.

Он так и стоял с поднятыми руками под дулом гранинского револьвера, пока Васильев быстро отпирал чемоданы. Он поднял крышку одного. Блеск золота и камней ослепил его. Он опустил крышку, только приподнял крышку второго чемодана, но сразу опустил и ее. Да, драгоценностей было вполне достаточно для ювелирного магазина.

— Здесь все? — спросил он у Миши.

— Все, — ответил Миша.

Тщательно заперев чемоданы, Васильев спрятал ключи в карман брюк и встал.

Миша уже опустил руки и стоял, уставившись в пол. Оружия у него не было, в этом Васильев убедился. Пусть держит руки как хочет. Гранин спрятал наган. На всякий случай Васильев обвел глазами комнату. Может быть, не все в чемоданах? Может быть, часть спрятана в шкафу или в матрасе? Нет, не может этого быть. Он еще колебался, не устроить ли все-таки обыск, но тут увидел Мишину тетку. Пожилая женщина, работница, всю жизнь жившая на маленькую свою зарплату, привыкшая рассчитывать каждую копейку и высоко ценить каждый рубль, вряд ли когда-нибудь даже смотревшая на витрину ювелирного магазина, впервые в жизни увидела чемоданы, полные золота и бриллиантов. Она стояла, сжав руки у груди, и по лицу ее было видно, как она ошарашена и потрясена. Она, кажется, даже не понимала, что племянника арестовывают, что он грабитель, что ему предстоит тюрьма или расстрел. Сокровища ослепили ее. Ей, наверно, казался сказочным этот клад. В ее представлении человек мог украсть пиджак, шубу, бумажник с сотней рублей. Ее поразила не материальная стоимость украденного племянником, а фантастичность, сказочность того, что открылось неожиданно ее глазам в ее бедной и тесной комнате.

— Пошли,— сказал Васильев.

Миша подошел к тетке и проговорил, отводя в сторону глаза:

— Прощайте, тетя. Не довелось погостить.

Тут только тетка скинула оцепенение, охватившее ее от бриллиантов и золота. Она обняла племянника, поцеловала его и трижды перекрестила. Гранин взял чемоданы и пошел к выходу. Тетка открыла ему дверь. Васильев взял Мишу под руку, как берут доброго друга, и так они трое прошли по коридору через кухню, где шумели примусы и соседка стирала в большом корыте, и никто в квартире не понял, что происходит. Просто, подумали, наверно, соседи, приехал к Тихомировой племянник погостить, а теперь пришли за ним друзья и уводят к себе на квартиру; может, у них квартира просторнее, а может, решили куда поехать погулять.

В том же порядке дошли они до милицейского «газика», поставили в ногах чемоданы и уселись все трое рядышком — Миша в середине, Гранин и Васильев по бо-

кам. Миша молчал всю дорогу и заговорил, когда они уже подъезжали к тюрьме.

— Я вам неправду сказал,— заговорил он вдруг, глядя прямо вперед и как будто ни к кому не обращаясь.— Одну вещь я вынул из чемодана. Маленькая брошка, рублей на пятнадцать, не больше.

— Продал? — спросил Васильев.

— Тетке подарил,— ответил Миша.— Очень я вас прошу, не отбирайте у старухи, пусть ей на память останется. Я заработаю, внесу в магазин. У вас в описи, наверно, есть цена.

Квартала два проехали они, прежде чем Васильев ответил. Он понимал, что это незаконно, и все-таки сказал:

— Хорошо.

Так первый раз в жизни Васильев нарушил закон.

Следующий день прошел в описи отобранных у Миши ценностей. Действительно, не хватало одной только брошки. Стоила она тринадцать с полтиной. Вечером собрались ехать. Ехать должны были в обыкновенном жестком плацкартном вагоне. Только билетов взяли не три, а четыре, чтобы занять целое отделение. В этих случаях задержанному полагается надевать наручники. Когда Мишу вывели из камеры, Васильев сказал:

— Ну, Миша, давай руки.

Миша молчал, исподлобья глядя на Васильева. Потом отвел глаза и вдруг сказал ровным голосом:

— Гражданин начальник, прошу вас, не надевайте наручники.

— Почему? — удивился Васильев.

— Стыдно будет в вагоне,— ровным голосом продолжал Миша,— народ будет смотреть.

— Убежишь,— усомнился Васильев.

— Слово вора,— сказал Миша и невесело усмехнулся.

Так невесело, что жалко стало его Васильеву.

— Хорошо,— сказал он.

Так Васильев второй раз нарушил закон.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Первым поднялся по ступенькам в вагон Васильев, вторым — Миша, третьим — Гранин. В таком же порядке прошли они по вагону. Матери укладывали спать детей,

пассажиры, не успевшие пообедать в городе, уже доставали из корзинок жареных кур и крутые яйца. Постелей в поездах было тогда очень мало, несколько комплектов на вагон. Чтобы получить постель, опытные командировочные приезжали за час до отхода поезда. Большинство пассажиров везло с собой стянутые ремнями одеяла, подушки, простыни. Свет в вагоне горел тускло. Пассажиры устраивались поудобней. Стелили одеяла, тщательно прятали чемоданы. Тогда еще существовала почти забытая ныне профессия вагонного вора. Кто-то хотел открыть окно, говоря, что в вагоне душно, кто-то возражал, говоря, что будет дуть и можно простудиться.

Мы не замечаем, как изменяется жизнь. Если бы старого москвича, прожившего в Москве долгие годы, перенести из наших дней в Москву 30-х годов, он бы не узнал своего родного города. Сегодня москвич ворчит, что в часы пик в метро много народу. Он забыл, как висел в 30-х годах, цепляясь за поручни, на трамвайной подножке. Москвич жалуется, что квартира стала ему тесна: родилась внучка и толком после работы не отдохнешь. Он забыл огромные коммунальные квартиры, ссоры и дразги на кухнях, тесноту перегороженных комнат. Нынешний пассажир садится в вагон у большого окна, на разостланную на полке постель, заказывает чай с сухарями и ворчит, если у проводника нет сухарей. И вряд ли припомнит он, что в 30-х годах приходилось брать с собой чайник. Когда поезд подходил к станции, пассажиры прыгали с подножек на ходу, чтобы на короткой стоянке успеть выстоять очередь за кипятком.

Мы не к тому вспоминаем об этом, чтобы примирить пассажира с невнимательностью или грубостью проводников, с нехваткой того, что должно быть в достатке, будь это постель или сухари к чаю. Проводнику теперь много дано, но пассажир и спрашивать с него может много. И все-таки, сердясь на проводника, стоит порою вспомнить, насколько беднее, неудобней и медленней был тогда транспорт.

Раздался первый звонок, потом второй, потом третий. По залам ожидания и ресторану вокзала прошел человек, громко кричавший, какой звонок и какому поезду. Кричал он для того, чтобы пассажир не заговорился, успел расплатиться в ресторане и не опоздал к отходу.

Миша сидел у окна, рядом с ним сидел Васильев, напротив — Гранин. Им не надо было заботиться о постелях, им троим предстояло не спать до самого Ленинграда. Поезд шел до Ленинграда в то время тринадцать часов. Раздался на перроне свисток, паровоз с круглым, как бочка, котлом и высокой трубой загудел, дернулся и постепенно стал набирать скорость. Миша сидел, чуть отвернувшись к окну. Васильев достал папиросу и закурил. Разговаривать никому не хотелось, да и молчать было тяжело.

Суэта в вагоне понемногу стихла. Детей уже уложили спать, и только какая-то девочка, считавшая, что ее обидели, препиралась о чем-то с матерью. Скоро и она замолчала. В соседнем отделении разговаривали двое мужчин, видно сослуживцы, ехавшие в командировку. Они осуждали главного инженера за консерватизм, упомянули, что он «из бывших» и что, наверно, это сказывается. Старушка в середине вагона что-то неторопливо рассказывала, и хотя слов ее нельзя было разобрать, но по голосу слышалось, что рассказ был спокойный, неторопливый, наверно, о замужестве дочери или о женитьбе сына. Прошла проводница, заглядывая под полки. Под полками в то время часто ездили безбилетные пассажиры. Вагон громко постукивал на стыках рельсов и на стрелках, узенькое окно в деревянной раме дребезжало, и за окном все меньше было огней. Видно, Москва кончилась, начались деревни. Васильев курил, думал и все-таки краем глаза поглядывал на Мишу: мало ли что, ведь без наручников. Всякий вздор может прийти в голову, а окно рядом. Загудел паровоз, протяжно, тоскливо, и подумалось о том, что розыск-то, в общем, кончен. Все похищенное возвращено. Даже за брошку, подаренную тетке, Миша рассчитался. Преступник задержан. Второго найти нетрудно. Говорила же соседка Тихомирова, что Миша с Валуйковым пришел утром и с Валуйковым же ушел на вокзал. Куда он денется, этот Валуйков? Завтра задержат. А ведь следов они, преступники, можно сказать, не оставили. Уж если Сальков не нашел, значит, все было предусмотрено. В общем, Васильев был делом доволен. И с Леней он хорошо придумал. Все-таки порядочный человек оказался Леня. Все сказал, что знал, и посоветовал правильно. Тихомирова он подсказал. Конечно, и по-

везло. С первой попытки пошли по верному следу. Но и действовали как надо, быстро и решительно.

Да, Васильев имел право порадоваться. И все-таки настроение было у него не очень хорошее. Дело не в усталости, ночь не поспать — это привычно. Когда серьезное следствие шло, не спали по несколько ночей — и ничего.

Он повернул голову, как будто захотел посмотреть в окно. Миша сидел неподвижно. Он, наверно, так и не двинулся с той самой поры, как сели в вагон. А ведь час прошел, наверно. В вагоне тишина, пассажиры заснули. Только двое в соседнем отделении все еще не кончили осуждать главного инженера. Видно, уж очень он им наперчил.

Хорошо был скроен Миша и крепко сшит. Невысокий, широкоплечий. По внешности никогда не подумаешь, что грабитель. Да еще какой! Шутка ли, в центре Ленинграда взять такой магазин. А посмотреть — рабочий паренек. Где-нибудь в Нарвском районе или Выборгском такие тысячами ходят. Портреты их на заводах висят, в газетах о них пишут. Учатся. Некоторые уже на инженера выучились. И тоскливо стало Васильеву. Ну почему у такого молодого парня жизнь переломана? Что же он теперь? Расстрел ему вряд ли дадут, но все равно. Попадет в тюрьму, там научат такому, что и думать не хочется. И покатится вниз. Парень он волевой, упрямый. Обозлится на весь мир. Выйдет из тюрьмы, попадется снова. Тюремные дружки постараются. Не на первом, так на втором деле попадется. Опять тюрьма...

Иван Васильевич протянул руку и сам для себя неожиданно потрепал Мишу по щеке. Дружески потрепал, забыв на одну минуту, что именно он и поймал Мишу, забыв, как он боялся, что упустит его, как спешил, как боялся потерять минуту.

Миша чуть повернул голову и испуганно скосил на Васильева глаза.

— Эх, Миша, Миша, — сказал Васильев, — что же ты со своей жизнью сделал! Ведь у тебя и голова на плечах, и руки сильные. Работал бы сейчас и горя не знал. Может быть, комсомольцем бы был. С девушками бы в кино ходил.

Миша повернулся к окну. Он будто не слышал слов Ивана Васильевича. И Васильеву стало неловко. Что он

за проповедник такой? Его дело ловить преступников. Он снова достал из коробки папиросу, чиркнул спичкой, закурил и посмотрел на Мишу. Миша сидел отвернувшись. Плечи у него вздрагивали.

— Ты чего? — спросил Васильев.

Миша не отвечал, он, видно, не мог говорить — горло схватывало. Плечи его вздрагивали сильнее и сильнее.

«Истерика, — подумал Васильев. — Эх, не нужно было разговор затевать!»

Прошел контролер. В то время проводники не отбирали билеты, и по вагонам часто ходили контролеры. Васильев повернулся так, чтобы сколько можно заслонить Мишу, дал контролеру билеты, взял их обратно и спрятал, не поворачиваясь, чтобы контролеру не видно было, что Миша плачет.

Поезд подходил к станции Клин.

В то время между Москвой и Ленинградом было пять крупных железнодорожных станций, на которых останавливались скорые поезда: Клин, Тверь, переименованная в Калинин, Бологое, Малая Вишера и Любань. Железная дорога строилась при Николае I, и тупой государь, любитель порядка, приказал провести ее прямо по линейке, а вокзалы построить одинаковые, одноэтажные, с закругленными наверху окнами, такие же казенные и скучные, как все, что строилось по указанию императора. Были эти вокзалы выкрашены в неопределенный розоватый цвет, и если бы не было на каждом написано название, то пассажир и не знал бы, где он находится, в Клину или в Малой Вишере.

Несколько пассажиров из других вагонов вышли на перрон, кто-то побежал в буфет выпить рюмочку, кто-то прогуливался вдоль поезда. Иван Васильевич смотрел в окно. Не хотелось ему смущать Мишу. Как будто он заинтересовался станцией, но глаз с Миши все-таки не спускал.

Еще когда поезд подходил к перрону, прозвучал первый звонок, потом дали второй, потом дали третий. Гулявшие по перрону пассажиры неторопливо пошли по своим вагонам. Потом раздался свисток, потом загудел паровоз. Двое выскочили из буфета и бегом помчались к поезду. Станция поплыла назад. Замелькали огоньки стрелок. Сходились и расходились пути. Снова пошла,

скрытая ночью, ровная земля с редко раскиданными маленькими деревеньками.

— Вот вы удивляетесь,— вдруг заговорил Миша,— что жизнь у меня поломанная, что, мол, не работаю и не в комсомоле. А как же быть, если я с детства приучен к такой жизни и ничего другого не знаю? Собаку еще щенком начинают учить. Сторожевую — на чужих бросаться, охотничью — стойку делать над куропаткой, гончую — зайца догонять. И уж вы из гончей сторожа не делаете и с ишейкой не пойдете на охоту.

Он замолчал и все смотрел за окно, в неподвижную темноту, на изредка проносившиеся мимо керосиновые огоньки деревень. Иван Васильевич тоже молчал.

— Вы моего папашу знаете? — спросил, не поворачиваясь, Миша.

— Знаю,— сказал Иван Васильевич,— и варшавское дело знаю, и лодзинское, и петербургское.

— Он этого и не скрывает,— грустно сказал Миша,— он любит рассказывать про свои дела. Гордится очень. Тем более — старые грехи погашены, а сейчас он, как бы сказать, в отставке. Трудится, зарплату получает. Так что тут никакого секрета нет. А как он меня воспитывал, вы знаете? — Васильев промолчал. — Мама у меня была хорошая. Как они поженились, понять не могу. Вот уж разные люди! Она воровскую профессию не уважала. Она только папашу очень боялась. А его и верно бояться можно. У него характер строгий. Так он и вежливый, кажется. Слова дурного как будто сказать не может. А если разозлится — ой-ой-ой! Я сколько себя помню, лет с четырех, наверно, все слышу: «Тебе вором быть. Тебе приучаться надо, ты грабителем будешь». Другой отец такими словами сына срамит, если сын провинился, а мой в похвалу. Мол, обыкновенные люди просто дураки, а мы с тобой банк возьмем или магазин и гулять будем, вот мы какие умные. Лет в семь-восемь, если я товарища приведу, хорошего мальчишку, отец недоволен: «Это тебе не компания, ты себе компанию подбирай, чтобы потом дела с ними делать. Вы, хоть еще и мальчики, уже сейчас приучайтесь. Что плохо лежит, то ваше. Если брать умело да осторожненько, не попадешься». Ведь у меня и товарищей-то честных нет, одно жулье. Если правду сказать, честного позвать — отца боишься, сторонись их.

А потом и они сторониться стали. Мать умерла, мне двенадцать лет было. Тут уж без нее отец разошелся. Другие ребята на коньках да за грибами, а мы с папашей водку пьем. Папиросами он меня угощает. И все рассказывает, как он хорошо жизнь прожил, какие большие суммы брал и как жили весело. И про женщин разную гадость. Вспоминать противно. И он ведь ко мне не злой был. Он и подарок подарит, и погулять возьмет. А я мальчишка. Мне это приятно. Другие ребята в эти годы в девять часов спать ложатся, а я за столом сижу. К папаше пришли знакомые, водка на столе, все выпивши, и я выпивши, мне подливают, хвалят меня, как я ловко водку глотаю.

Миша скрипнул зубами. Была у него такая привычка. И снова долго молчал, глядя в окно. Молчали и Васильев и Гранин. Уже и двое командировочных, решительно осудив главного инженера, улеглись спать. Вагон затих. Только в последнем отделении сидел грабитель и два оперативника. Внешне они ничем не отличались от других пассажиров, но разговаривали о вещах страшных и удивительных, о которых, наверно, кроме них, в вагоне никто никогда и не слышал.

— Ну, потом папаша женился,— заговорил снова после долгого молчания Миша.— Они с женой хорошо живут, да и я зла на нее не имею, что с нее взять. Коза и коза. Она про папашины дела знает. Но ей-то что. Деньги есть. Папаша мужчина представительный. Официанты в ресторанах уважают. Она считает, что живут они хорошо.

Он сказал это с чуть заметной грустью и снова замолчал, вспоминая, наверно, родной свой дом.

Иван Васильевич не хотел задавать вопросов. Слишком искренне говорил Миша. Да и что Васильев мог узнать от Миши такого, что было бы важно для следствия? Миша пойман с поличным и будет осужден. Отец ведет себя осторожно, ни в чем не попался, и судить его не за что. Следовательский интерес, в сущности говоря, кончился. Начался интерес человеческий. «Странно,— подумал Васильев,— парень, видно, хороший, искренний, запутался не по своей вине, а наказание понесет. А отец настоящий негодяй, и никак его под суд не подведешь. Сын за отца ответит, и ничего тут не сделаешь».

— Мы тут одни,— заговорил Миша,— никто нас не слышит, протокола нет, так я вам скажу. Вы думаете, кто это дело разработал, я, что ли? Это отец несколько месяцев готовил. Пришел как-то, жене кольцо принес в подарок, дорогое кольцо, с бриллиантом. Ну, она разохалась: миленький, мол, спасибо, а он мне это кольцо показывает. «Эх,— говорит,— Миша, сколько в магазине «Русские самоцветы» таких вещей! Ты бы заглянул туда, посмотрел. Государству это ни к чему, а человеку на всю жизнь хватило бы». Я сразу понял, к чему он гнет, но промолчал. А он каждый день заговаривает. Все свои старые истории снова пересказал. И какой он был молодец, и какие товарищи у него молодцы были, и что, мол, теперь молодежь пошла ерундовая, трусы, мол, и неумехи, головы, мол, на плечах нет. Каждый день собаку водил гулять мимо магазина и все рассказывает, что стена от цветочного магазина отделяет тонкая, а из цветочного дверь прямо во двор. Товарища одного привел, тоже молодого человека. «Вот бы,— говорит,— вам вдвоем дело поднять».

— Валуикова? — сказал равнодушно Васильев.

— Ах, вы и это знаете,— не стал спорить Миша.— Он чахоточный, ему жить недолго. А папаша так ему расписал, как можно последние годы прожить, что тот сообщение потерял. Он невиноватый, с большого что спрашивать. Мы с папашей главные в деле. Ну, я и поддался, конечно. И натаскан с детства, как собака на куропаток, и папаша у меня умный, знает, где пошутить, где попрекнуть. Да и так думал, по совести говоря: возьму магазин, и руки развязаны. Уеду куда-нибудь к черту, начну по-новому жить. И представьте себе, папаша здорово разработал дело. На удивление. Столько с нами возился, каждую мелочь нам десять раз повторил, чтобы мы хорошо запомнили. Вот мы на дело и пошли. Инструмент у нас был хороший, работали мы быстро, часа за три управились. Пришли домой утречком, папаша встретил нас такой радостный. «Вы,— говорит,— идите в баньку попарьтесь, а мы тут пока позавтракать приготовим». Это у него еще со старых времен был обычай: после дела обязательно попариться в бане. Пришли. На столе завтрак и водочка. Выпили, рассказали. Папаша все расспросил в подробностях, а потом и говорит: «Вы,— говорит,— ма-

газин легко взяли, но зато и вас теперь легко возьмут. Это вы мне поверьте».

Снова Миша надолго замолчал. Он смотрел по-прежнему в окно, и лица его не было видно. Когда он заговорил снова, голос у него был совершенно спокойный.

— Мы с Валуиковым обалдели,— продолжал Миша.— «Как же так,— говорим,— что же вы раньше нам не сказали?» А он растерялся, видно, сказал не подумав. «Да нет, говорит, я пошутил». Но только мы с Валуиковым видели: какие уж тут шутки. Ну, а вечером я в Москву уехал.

За окном снова выплыла из темноты точно такая же станция, как Клин. Это был город Тверь. Но если б не надпись на здании вокзала, можно было бы подумать, что поезд сделал круг километров сто и снова остановился в Клину. На этот раз никто из пассажиров не сошел с поезда. Было уже поздно. Все спали. Пока стояли в Твери, Миша молчал и заговорил, только когда поезд отошел от вокзала и снова за окном была темнота.

— Гражданин начальник,— спросил он как-то нарочито спокойно, с какой-то слишком равнодушной интонацией,— как вы думаете, расстреляют меня или оставят жить?

— Я, Миша, не судья,— ответил Васильев,— точно тебе сказать не могу. Но думаю, что, если ты чистосердечно признаешься, жизнь тебе оставят.

И снова Миша долго молчал, глядя в окно. А потом сказал:

— Только знаете, про папашу это я вам сказал. А показаний я на него давать не буду. Ни за что. Хоть отец у меня и очень плохой человек, такой, что, наверно, и не бывает хуже, а все-таки показывать я на отца не буду.— И убежденно добавил: — Пусть лучше расстреляют.

СТАРИК ТИХОМИРОВ ОТКРОВЕННИЧАЕТ

На следующий день Васильев вызвал Александра Михайловича Тихомирова, Мишиного отца. Очень хотелось ему доказать, что Александр Михайлович продумал и организовал ограбление магазина и, стало быть, хотя сам и не грабил, все-таки соучастник преступления. Васильев понимал, что, вероятнее всего, обвинить его не

удастся. Насколько он понял Мишин характер, раз он решил против отца не показывать, ничем его не переубедишь. Ночной разговор в вагоне, конечно же, не мог фигурировать на суде. Не было ни протокола, ни Мишиной подписи. Мало ли что может наболтать арестованный. Наболтает, а потом откажется от своих слов. Да и, кроме того, слишком уж искренне и взволнованно говорил Миша. Говорил, не думая о последствиях. Говорил, доверяя и Васильеву и Гранину.

Миша понравился Ивану Васильевичу. Ведь, по совети говоря, воспитанный таким отцом, парень мог быть гораздо хуже.

И вот перед Иваном Васильевичем сидит хорошо одетый, барственного вида старик, похожий на профессора или на владельца завода в царское время, отдыхающего каждый год за границей, человека богатого, уважаемого и уверенного в себе.

У старика небольшая борода, аккуратно подстриженная, он отлично выбрит и, кажется, ничуть не волнуется. Во всяком случае, внешне он совершенно спокоен.

— Что вам известно об ограблении магазина «Русские самоцветы»? — спрашивает Васильев.

— То, что я прочитал в «Красной газете», — спокойно отвечает старик.

— А известно ли вам, что магазин ограбил ваш сын Михаил вместе с Валуйковым?

— Неизвестно. А если вы уже знаете, значит, неумело ограбил, значит, дурак у меня сын.

— Ну, почему ж неумело? — удивляется Васильев. — Подготовили ведь дело вы, и подготовили хорошо. Чувствуется опытная рука. С цветочным магазином, например, очень хорошо было придумано. И сейфы вскрыты прекрасно. Инструменты, наверно, еще дореволюционные?

— Вот поймаете Мишу, — говорит Тихомиров, — он вам покажет, посмотрите сами. Я-то ведь их не видел.

— А я их сегодня внимательно рассмотрел, — говорит Васильев, — первоклассные инструменты. Нынче таких не делают. Это только до революции в частных мастерских.

— Вот вы у Миши и спросите, где он их достал. Раз вы Мишу уже задержали, так я вам еще раз скажу: дурак он. Я бы уж вас поводил, будьте уверены.

— Кстати,— говорит Васильев и откладывает в сторону ручку, показывая, что вопрос неофициальный и в протокол не заносится.— Скажите, пожалуйста, вам ведь, наверно, рассказали соседи, что к вам приходили и расспрашивали о вас во дворе.

— Три человека не преминули сообщить,— усмехается старик.— Думали, может, вам все-таки я был нужен, а не Тихонравов какой-то.

— Ну, и вы, конечно, поняли, что за вами следят и что мы уже знаем о том, что Миша в Москве.

— Помилуйте,— говорит обиженно старик,— неужели ж я мог не сообразить! Я ведь из прежнего поколения. Это сейчас всякий необразованный дурак лезет брать магазин или банк. А в мое время это была профессорская работа. Если дела не знаешь, и не берись. В мое время работали только специалисты.

— Значит, знали? — переспрашивает Васильев.— Тогда позвольте следующий вопрос. Как же вы сына не предупредили? Ведь есть телеграф. Можно условленную телеграмму какую-нибудь или намеком.

Старик начинает смеяться беззвучным смехом. Он достает носовой платок и вытирает лицо. Он даже вспотел от смеха.

— Вы меня не смешите, гражданин следовательно,— говорит Тихомиров, наконец успокоившись.— Я ведь нынешний сыскной розыск уважаю. Царский не уважал, а советский уважаю. Я из-за этого и работу бросил.

— Как это — бросили? — удивляется Васильев.— Вы ведь сейчас работаете на литейном заводе бригадиром.

— Ну, вы же понимаете,— тянет старик брезгливо,— это же для видимости. Для приличия. Как нынче говорят, для социального положения. А от настоящей работы я давно отстал. И вы это знаете. Иначе давно бы меня посадили.

— Ну, так почему же вы все-таки телеграмму не послали?

— Вы меня обижаете, гражданин следовательно! — сердито говорит Тихомиров.— Раз уж вы до меня добрались и узнали, что Миша в Москве, так неужели телеграф оставили без внимания? Ну, скажем, послал бы я телеграмму такую, например: «Не стесняй тетку, переезжай к товарищам, целую, любящий папа». Телеграмму Мише

бы не вручили и, значит, пользы б я ему никакой не принес, а себе принес бы вред. Было бы доказательство, мол, отец Тихомиров об ограблении знал и, где скрывается сын, тоже знал. А теперь подозревать вы меня можете, а доказать ничего не можете. А подозревать вы меня всегда подозревали, так что это мне все равно.

Васильев усмехнулся. Действительно, позавчера, узнав про отъезд Миши, он прежде всего позвонил в московский угрозыск и попросил, чтобы все адресованные Мише телеграммы задерживались. Сначала ему было немного обидно, что старик сразу предусмотрел эту нехитрую операцию, но потом он подумал, что было б гораздо более обидно, если б старик предусмотрел, а они бы этого не сделали.

— Так за что же вы, гражданин Тихомиров, уважаете советский уголовный розыск? — спросил Васильев, чтобы перевести разговор.

Старик опять усмехнулся, на этот раз коротко и почему-то ядовито.

— Вы, наверно, думаете, — сказал он, — что я вас уважаю за таланты? Во-первых, талантов особенных нет и уменья пока нет особенного, хотя не скрою, по-видимому, уменья набираетесь. Может быть, и таланта. Но дело не в этом. Раскрываете вы больше, по-вашему говоря, преступлений, чем царские сыщики. Тут ничего не скажешь. Но ведь это дело обоюдоострое. Вот, скажем, я из-за этого свою работу не бросил бы. Человек я опытный, дело знаю. Вы бы стали умелей, и я бы понял, что надо стать похитрее, и стал бы. Ведь у меня-то времени больше. Одно дело в год мне достаточно. Значит, время подумать есть. Что-нибудь да придумал бы новое. Это, конечно, если бы я был мальчишкой, который начитался Пинкертон да Картера и думал бы, что в жизни все так и бывает. Мол, честные сыщики ловят хитрых грабителей. Мне бы тогда интересно было работать. Рискованно, но интересно. Ну, а риск во всяком деле есть. Риску бояться, так и по улицам нельзя ходить. Я вот до революции шесть скаковых лошадей держал и играл на бегах крупно. Иногда проигрывал, иногда выигрывал. Но, к сожалению, не мальчик и знаю, что Картера и Пинкертон писали голодные студенты по двадцать пять рублей за книжку. А настоящий Пинкертон провокаторов посылает

к забастовщикам в Соединенных Штатах. Забастовки подавлять помогает. И что никакой романтики нет ни в ограблении банка, ни в поимке преступника. Все, молодой человек, одна только коммерция. А в коммерции нужны обязательно две стороны: покупатель и продавец. Иначе никакая коммерция не получится. Так я работал всю жизнь, так привык и иначе не могу. А вы законы игры нарушили, так что игра для меня стала наверняка проигрышной. Зачем я буду в нее играть?

— Не понимаю,— сказал Васильев.

Старик посмотрел на дверь, потом на Ивана Васильевича.

— Гражданин следовательно,— прошептал он совсем тихо,— возьмите у меня сто тысяч рублей.

Васильев обалдел. Ему даже показалось, что он ослышался. Но у Тихомирова был такой конспиративный, такой таинственный вид, что, очевидно, старик в самом деле это сказал.

— Получите наличными, деньги у меня приготовлены. Вы меня вызовете еще раз для выяснения подробностей, и я вам их сюда принесу. Я вам верю. Вы человек порядочный, не подведете. Деньги наличные, сторублевыми ассигнациями, тысяча штук.

Васильеву стало интересно. В первый раз в жизни ему предлагали взятку.

— И что же я должен за эти сто тысяч сделать? — спросил он спокойно.— Мишу освободить уже невозможно.

— Черт с ним, с мальчишкой,— шепнул Тихомиров,— толку из него все равно не будет. Просто вывести меня из дела, и все.

Васильев рассмеялся и сказал:

— Нет, спасибо, я в зарплату укладываюсь. А вот за то, чтобы узнать, откуда у вас эти сто тысяч, я бы дорого дал.

Тихомиров опять рассмеялся и смеялся долго, потом достал платок и вытер со лба пот.

— Ну вот,— сказал он,— как же можно с вами вести дело? Я вам предлагаю сто тысяч за то, что вы все равно сделаете бесплатно. Ведь меня вы и так отпустите, улики против меня нет. Да и в самом деле, я после революции работу бросил. Значит, вас бы любое начальство одобри-

ло, поскольку держать меня не за что. И сто тысяч у вас были бы в кармане. А вы не берете. Я вот преступник-удачник, ни разу не сидел, а брал до революции крупные дела. Вы думаете что же, в царское время следователи были глупые? Были разные, и глупые и умные. Значит, что же, идти на риск? А вдруг на умного налетишь. Вы, наверно, слышали про мое дело с вознесенским ломбардом? (Васильев кивнул головой.) Ведь знаете, как об этом газеты шумели? Я было начал вырезки собирать, да бросил. А дело, в сущности, нехитрое. Ну, разведали, конечно, ломбард. Вскрыть можно, инструменты у нас первоклассные, люди подобрались умелые, работу понимающие. Пять человек, один к одному. С чего же мы начали, как вы думаете? Маски заказали, оружие? Ерунда все это. Пинкертон! Я тогда еще в Москве жил, приехал, занял люкс в «Европейской», побрился, постригся и пошел... куда бы вы думали? К околоточному. Ну, он меня встретил с почетом, видит — человек богатый, представительный. «Чем,— говорит,— могу?» Я вынул десять тысяч и говорю: «Вот,— говорю,— это вам на память от компании уважающих вас людей». Он, видно, был не дурак, глазом не сморгнул и говорит: «Весьма, мол, почтен. Чем смогу доказать мое к вам ответное уважение?» А денег, между прочим, не берет, я их так и держу. Я ему говорю прямо: «Думаем,— говорю,— взять вознесенский ломбард. Нужна ваша помощь». — «Дело,— говорит,— большое». А я ему говорю: «Столько же получите сразу после дела». Он задумался. «Двадцать тысяч,— говорит,— хорошо, а вы со второй половиной не удерете?» Я только руками развел. Он молча взял деньги, и дело было заматано.

— И помог? — спросил Васильев.

— Решили,— сказал Тихомиров, как будто не слышал вопроса Ивана Васильевича,— ломбард брать на пасху. Тогда ведь на пасху несколько дней не работали. Охранялся ломбард артелью с солидарной ответственностью. Артельщики все были народ состоятельный, все внесли большие залогов. Словом, на них рассчитывать не приходилось. Околоточный всю полицию вокруг разогнал. Надо, мол, возле церкви быть. Ну, мы думали, артельщики тоже богу пойдут помолиться. Оставят одного-двух и пойдут. Но, мерзавцы, оказались добросовестные. Люди, по-

нимаєте, по церквам ходять, благовест над городом стоить, всякая тварь бога славить, а эти злодеи сидят в ломбарде и хоть бы что. Тут появляется околоточный, при полной парадной форме, якобы обходит подведомственный околоток. Заглядывает он в ломбард, посмотреть, все ли в порядке, и видит такое безобразие: люди бога забыли! Он и говорит: «Что же вы, ребята, делаете? Святой день, а вы тут торчите. Оставьте, мол, одного, а остальные идите, празднуйте. Тут вокруг полиции столько, что муха не пролетит». Ну, они думают, действительно, раз полиция... Попраздновать-то всякому хочется. Жребий кинули, одного оставили, а остальные ушли. Ну, мы этого одного скрутили, рот заткнули и до вечера чистили ломбард. Семьдесят тысяч взяли, двадцать тысяч околоточному, пятьдесят нам. Без малого по десять тысяч вышло на брата. Околоточного, правда, выгнали из полиции, но ему было плевать. На пасху взяли ломбард, а на троицу уже у околоточного в новом доме гуляли. Хороший купил дом. Десять тысяч отдал, и не жалко было. Десять тысяч еще у него осталось, он их в дело вложил. Так бы и жил припеваючи до самой смерти, если бы революция не помешала. Ну, в этом мы не виноваты. Теперь я и не знаю, где он.

— И все в полиции брали? — спросил Васильев.

— С опаской, конечно, брали, но почти все. И можно было работать. А сейчас я вам сто тысяч предлагаю просто так, зря, за то, что вы все равно сделаете, и вы не берете. Так какая же тут работа!

Васильев посмотрел на этого барственного, холеного, циничного старика, представил себе коренастого молчаливого Мишу, тоскливо сидящего в камере. И стало у Васильева нехорошо на душе.

— Ваш пропуск, — сухо сказал он Тихомирову.

Подписал его и, кивнув, простился.

МИША ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НАСЛЕДСТВА

Ивану Васильевичу не пришлось побывать на суде. Он в это время был так занят раскрытием одного убийства, что у него просто минуты свободной не было. Ему рассказывали, что Миша и его товарищ Валуйков все признали и рассказали подробно все обстоятельства де-

ла, кроме одного: участие отца оба отрицали начисто. И прокурор и председатель суда чувствовали, что тут дело неладно, но подсудимые утверждали, что ограбление они подготовили сами, а инструменты купили на толкучке. Отец, старая лиса, выступал в качестве свидетеля. По его словам, он ничего даже не подозревал. Просто, мол, загуляли ребята, пришли утром, в баньку пошли попариться, а потом он по отцовской слабости пожалел их, поставил им опохмелиться. Когда допрашивали старика, Миша смотрел в сторону. Видно, очень его сердило, что отец так уверенно и охотно принимал и подтверждал сыновнюю ложь.

Адвокат говорил о молодости подсудимых, об их чистосердечном признании и просил снисхождения. Суд присудил обоим к пяти годам тюремного заключения. В публике говорили, что Валуйков до свободы не доживет. По всему было видно, что туберкулез совсем разъел его легкие. Он и в самом деле умер меньше чем через год после приговора.

Просидел Миша немногим больше двух лет. Вел он себя в тюрьме безукоризненно. Васильев всегда спрашивался о нем у тюремного начальства, когда попадал по каким-нибудь делам в тюрьму. Миша был молчалив и мрачен, но работал очень добросовестно и порядок никогда не нарушал. В тюрьме его любили. Как ни странно, на нем не сказались отцовское воспитание. Не было в нем этой отвратительной лихости и развязности, которая свойственна преступникам, даже выросшим в нормальной семье.

Итак, через два с лишним года Миша был освобожден. В день освобождения он позвонил Васильеву, попросил разрешения прийти и пришел в точно назначенный час. Он был такой же коренастый, сильный на вид человек. Только повзрослел очень. От юноши в нем ничего не осталось.

— Гражданин Васильев,— сказал Миша,— я к вам с просьбой. Помогите мне на работу устроиться, и обязательно с общежитием.

— Завязал? — спросил Васильев.

Миша кивнул головой.

— Честно?

— Если б не завязал, к отцу жить пошел бы.

Не сказав больше ни слова, Васильев взял телефонную трубку.

Он позвонил секретарю партийной организации одного завода. Они были знакомы. Встречались, когда Иван Васильевич вел дело о хищениях на заводе. Васильев коротко изложил свою просьбу. Секретарь парткома заколебался. История с хищениями произошла недавно, и он был теперь особенно осторожен.

— Я ручаюсь,— сказал Васильев,— под мою ответственность.

Миша сидел отвернувшись, как будто не слышал этой фразы.

Прощаясь, Васильев сказал:

— Смотри, чтоб больше мы с тобой не встречались.

Прошло полгода, и Миша опять позвонил. Васильев торопился и не мог ждать Мишу, а по Мишиному голосу понял, что дело срочное. На этот раз они встретились на улице.

«Неужели сорвался?» — думал Иван Васильевич, идя по Невскому.

Миша ждал на углу Садовой. Они пошли рядом.

— Иван Васильевич,— спросил Миша через несколько шагов,— имею я право жениться?

Васильев опешил от такого вопроса.

— Ну,— сказал он совершенно серьезно,— если ты не постригся в монахи, то можешь.

Миша не оценил шутки. Он даже не улыбнулся. Квартал они прошагали молча, прежде чем Миша заговорил:

— Встретил хорошую женщину, у нас на заводе работница. И меня любит. А я боюсь.

— Чего ты боишься? — удивился Васильев.

— Прошлого боюсь,— пробубнил Миша, по своей манере почти отвернув от собеседника голову.

— Ты ей рассказал о себе?

— Кое-что рассказал, а все не могу.

— Не рассказав, жениться нельзя,— сказал Васильев. — Зачем человека обманывать?

— Иван Васильевич,— сказал Миша,— расскажите вы ей. У меня не выходит. Язык не поворачивается.

— Ладно,— сказал Васильев,— присылай, расскажу.

Через несколько дней в кабинет к Васильеву вошла

Мишина невеста. Лицо у нее было приятное, держалась она скромно, хотя, видимо, очень волновалась.

Васильев начал с истории Мишиного отца. Рассказал о своих подозрениях, да нет, не подозрениях, а уверенности, что именно отец и был вдохновителем и организатором ограбления. Рассказал о ночном разговоре в поезде и о Мишином детстве. Он старался быть беспристрастным, говорить и хорошее и плохое, но как-то так получилось, что из его рассказа вырастала фигура сложная, противоречивая, но чистая и обаятельная. Васильев даже сам испугался, когда понял это. «Не обманываю ли я женщину? — подумал он. — В конце концов, еще совсем неизвестно, куда Мишу может занести». Но снова он вспоминал Мишину сдержанность и немногословие, вспомнил его рассказ в поезде. Вспомнил его отца, старого хитреца и мерзавца, которому Миша был обязан разве что привычкой к выпивке да умением вскрывать сейфы, и сказал не для невесты Мишиной, сидевшей против него, а для самого себя, как бы раздумывая:

— Мы ведь, когда вырастаем, несем на себе и мысли, и чувства, и привычки тех, кто нас воспитал. Если Миша своего отца сумел в себе преодолеть, это надо понять.

Мишина невеста слушала как завороженная. Она и смеялась, когда Иван Васильевич рассказывал про свой разговор со стариком Тихомировым, и плакала, вытирая слезы маленьким скомканным платочком, когда слушала о разговоре в поезде и о том, как Миша вел себя на суде. Иван Васильевич подумал, что она, наверно, добрая женщина и Мишу любит и что Мише такая жена и нужна.

Представьте себе, что эта молодая скромная женщина в первый раз столкнулась, и так близко, с миром грабежей и воровства, предательства и преступлений. Не надо поэтому удивляться, что, поблагодарив Ивана Васильевича, насухо вытерев платочком глаза, утешенная и успокоенная, она все-таки заколебалась в последнюю секунду, уже стоя в дверях.

— Иван Васильевич, — спросила она, сама смеясь над собой, — а как вы думаете, меня из партии не исключат?

— Да кто тебя исключит такую! — крикнул на нее, полусмеясь-полусердито, Иван Васильевич.

Прошло еще, наверно, с полгода, и снова позвонил Миша и попросил свидания. Он хотел, чтоб Иван Василь-

евич пришел в один из маленьких переулков возле Стремянной улицы.

— Я вам тут кое-что показать хочу,— бубнил он в телефонную трубку.

Они встретились. Миша молча пожал Ивану Васильевичу руку и повел его в глубь двора на черную лестницу. Молча они поднялись на чердак. Миша достал ключ из кармана и отпер замок так уверенно, как будто это была его квартира. Они пробрались через хлам, загромождавший чердак, и Миша уверенно разбросал обломки мебели, сваленные в углу между полом и крышей. Он вытащил неприметный деревянный ящик, обитый железными полосами, достал из кармана другой ключ и отпер его. В тусклом свете увидел Иван Васильевич замечательный набор инструментов для взлома.

— Вот возьмите,— сказал Миша,— папашино наследство. «Мечта взломщика».

— А чего же сразу не отдал? — спросил Васильев.

— Я от папашы два комплекта получил. Один отдал, а второй — дай, думаю, подержу, еще неизвестно, как жизнь сложится. А теперь возьмите.

— Больше не понадобится? — усмехнулся Васильев.

— Не понадобится,— сказал Миша.— С женой хорошо живем, и вообще... Теперь конец.

И все-таки это был еще не конец.

Ивана Васильевича перевели на работу в Москву, и долго он о Мише Тихомирове ничего не слышал. Как-то приехал в Москву товарищ, продолжавший работать в ленинградском угрозыске. Стали вспоминать прежние дела и людей, которых оба знали. Спросил Васильев и про Мишу Тихомирова.

— Миша? — улыбнулся приехавший товарищ.— Он тут было накуролесил немного, но ничего, сейчас опять в русле.

История, оказывается, получилась такая. Был день рождения у Мишиной жены. Пришли гости, выпили. Миша теперь совсем не пьет — отвык и опьянел. И вот будто бы у Миши зашел с товарищем разговор, можно без ключа открыть дверь или нельзя. Миша сказал, что он любую дверь откроет. А товарищ, он жил в соседнем доме, сказал, что его сосед по квартире запер комнату и уехал в отпуск. Главное, жена разговор не слышала, она поме-

шала бы. Миша ее очень слушается. Спорщики тихонько ушли. Миша перочинным ножом открыл дверь соседа и вошел в комнату. А в это время пришел другой сосед с работы. Миша услышал в коридоре разговор, решил, что хозяин вернулся, открыл окно, не раздумывая прыгнул с третьего этажа на улицу и сломал ногу.

Скандала никакого не получилось, потому что сосед не вернулся, да если бы и вернулся, ничего страшного бы не было. Они с тем, с которым Миша спорил, дружили. Миша кое-как до дому доковылял. Жена увидела, всполошилась. Пристала к нему. Он рассказал. Утром она чуть свет вся в слезах прибежала в угрозыск и все рассказала, как было. Мы хоть и понимали, что дело выеденного яйца не стоит, а все-таки послали человека снять допрос, чтобы Миша легко не относился. А то, знаете, войдет в привычку. Миша все рассказал. Спрашивал, сколько ему дадут. Ну, наш товарищ сказал, что на этот раз простим, не будем в прокуратуру передавать.

И еще раз услышал Иван Васильевич о Тихомирове после войны, приехав в командировку в Ленинград. Мишу завод бронировал, так что в армию его не взяли. Но он упросил начальство, пошел в народное ополчение и в начале сентября погиб под Саблином. Командир роты приезжал потом на завод, рассказывал, что воевал Миша недолго, но смело и хорошо.

На этом мы пока кончаем рассказ о делах, раскрытых Иваном Васильевичем. Вскоре началась война, и Васильеву пришлось выполнять другие задания, работать совсем в другой области, в которой тоже было очень много интересных и поучительных историй. Но рассказывать эти истории пока еще рано.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая</i> Человек выбирает профессию	5
<i>Глава вторая.</i> Человек изучает профессию	31
<i>Глава третья.</i> Гиря на ремешке	65
<i>Глава четвертая.</i> Ограбление Кожсиндиката	122
<i>Глава пятая.</i> «Благородный разбойник»	160
<i>Глава шестая.</i> Обрывок газеты	198
<i>Глава седьмая.</i> «Черные вороны»	237
<i>Глава восьмая.</i> В высшем обществе	314
<i>Глава девятая.</i> «Русские самоцветы»	361

Для среднего и старшего возраста

Бодунов Иван Васильевич
и Рыс Евгений Самойлович

ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Ответственный редактор *Н. М. Беркова*. Художественный редактор *М. Д. Суховцева*. Технические редакторы *Т. М. Токарева* и *С. Г. Маркович*. Корректоры *Л. И. Гусева* и *Л. М. Николаева*. Сдано в набор 19/V 1966 г. Подписано к печати 27/VII 1966 г. Формат 84×108^{1/32}. Печ. л. 12,5. Усл. печ. л. 21. (Уч.-изд. л. 21,03). Тираж 75 000 экз. ТП 1966 № 583. А00834. Цена 79 коп. на бум. № 2. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушевский вал, 49. Заказ № 4248.



